

Н О В Ы Й  
М И Р

7



1962

|| 11 ||

М И Р

|| 11 ||

|| 19 ||

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 7

Июль, 1962 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Первый учитель, повесть. Перевели с киргизского автор и А. Дмитриева	3
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Шесть стихотворений	34
ХУАН ГОЙТИСОЛО — Земли Нихара. Перевели с испанского А. Макаров и Н. Трауберг. Послесловие Алексея Эйснера	40
А. ЯШИН — Лесные дуги, Домбай, Мы уже боялись..., стихи	83
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ — Два рассказа	86
М. КВЛИВИДЗЕ — Тийю, Воспоминанье, стихи. С грузинского. Перевели Б. Ахмадулина и С. Поликарпов	108
И. ГРЕКОВА — За проходной, рассказ	110
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ВИКТОР ПАНОВ — У мастеров Урала	132
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ГЕННАДИЙ ФИШ — Норд вегр — путь на север	157
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
С. УТЧЕНКО — Акрополи Эллады	168
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
В. СМОЛЯНСКИЙ, комментатор агентства печати Новости — Мифы антикоммунизма	191
И. БЕЛОВ — Размышления о бумажной ленте	203
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных изданий</i>	218
Е. Трущенко. Роб-Грийе ищет точки опоры.— Вл. Рубин. Самоучители пошлости	
(См. на обороте)	

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
Г. МУНБЛИТ — Две встречи (Из воспоминаний об А. С. Макаренко)	227
Н. СТАЛЬСКИЙ — Молодой Киршон (К 60-летию со дня рождения В. М. Киршона)	232
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ИННА СОЛОВЬЕВА — Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова)	235
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	250
Яков Хелемский. Четыре века белорусской поэзии.— Э. Кузьмина. Таежные звезды.— И. Виноградов. К вопросу о «беллетристике»...— Н. Капиева. Мал золотник, да дорог.— И. Левидова. Сага о сумрачной династии.	
<i>Политика и наука</i>	270
О. Лацис. Будущее в пути.— Виктор Шкловский. Две книги о металле.— В. Далин. Мастерство исторического повествования.— Э. Мурзаев, доктор географических наук. Исследователь Средней Азии.— С. Эпштейн. Политическая экономия банкротств.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
В редакцию «Нового мира»	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

## ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

*Повесть*

**Я** открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В ясном голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предраассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, — просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

\* \* \*

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.

А над аилом на бугре стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя; они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить — то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника, но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них свой особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, переклестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки; мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и ветвям, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству открывался перед нами дивный мир простора и света. Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали насколько хватало глаз и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света, или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слышали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном. оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил здесь эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревьев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедога?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, — воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться страж-

ным, что голый бугор называют «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была, название одно. Ох, и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня, вдеть ногу в стремя — тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза — что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень, и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смиренный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же — что самое удивительное — учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так...

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил ехать, не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома. Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить, — невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. — Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уж не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось позжать ей руку. Пожалуй, Алтынай Су-

лаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиравалась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверно, всегда и с радостью и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошенные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да, — ответил парень. — Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит, — недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя, на Украине это было, и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну, да ладно. — И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. — Один из почтеннейших людей аила поднял бокал. — А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. — Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда, было так, — отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то, мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а мно-

гие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу, одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порывевшие, осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреновой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнувшим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета,— сказал я ей.

— И я об этом же думаю,— вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядающему со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски, горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным,— просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отло-



жить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнают об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было четырнадцать лет, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он сын его — Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок,— начал он заикающейся скороговоркой,— раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллою?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец,— быстро отозвался Дюйшен.— А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну, это дело...

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу, с вашей помощью, конечно, вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговорам, облокотясь на луку седла и изредка поплывывая сквозь зубы.

— Ты постой, парень, — проговорил Сатымкул, прищуривая глаз, словно бы прицеливаясь. — Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шнели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой:

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурились.

— Мы бедняки, — уже тихо проговорил Дюйшен. — Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидаяще умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что...

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь:

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы, вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять...

— Проживу как-нибудь. Жалование буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. — Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалование детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него, не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжавший мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! — И я кинулась догонять ребят. — Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга. Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал. Гляди, сколько прет на себе, не хуже байской служанки.

— А слушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, оже-ребившихся в ненастье. После прихода советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, разошедшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам:

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелем побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решила ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить, — сказала я.

— Ну почему же не отпустит, отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай, — ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя. И сама ты, должно быть, хорошая, а? — Он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело. — Так вот, Алтынай, ты и других ребят веди в школу. Ладно?

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой,— застеснялись мы.

— Ну, хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки,— крикнула я своим подругам.— Давайте высыпем кизяки в школе, все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверь и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая, осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой

беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель действительно наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. — И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты, черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. — Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткинских побоев, нет, к ним мне было не привыкать, — я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя, тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшена. Он деловито опустил на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И как в тот раз, у меня потеплело сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка. — Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка. — Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба! — гаркнул он, выбираясь из ямы. — С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девочку, хочешь учи, хочешь изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка, но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы первый раз пришли в школу, учитель посадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, — объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеневским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге, — он потерялся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, — говорил Дюйшен. — Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отжаться на такое поистине великое дело. Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны! И, конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе, о методике

преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг. Потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами айла, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир.

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулиэата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря больше-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной. как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул — ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знания?

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, — все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого учнее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы наворачивались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, тарачили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыскавая со смеху, подталкивал соседа:

— Гляди-ка, одного ташит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горячие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, забыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мосток через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудачком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, — ведь он работал босой без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду. Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся, — приговаривал Дюйшен. — Я и сам справлюсь...

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся:

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! — И помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да, — ответила я.



Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, я была на седьмом небе, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый,— сказал он, ласково глядя меня.— И способности у тебя хорошие... Эх, если бы я мог послать тебя в большой город. Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменной речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда, в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею, и крепко обнять его, и, крепко зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это было, как я теперь понимаю, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного, прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, а за мной все остальные. И в этот раз у подножья бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины — и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого: мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе — темнела одинокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

— Встаньте,— приказал он.

· Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

· — Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур,— в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче с рукой на повязке все так же смотрел на нас со стены. И все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я уйду сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких напывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истощенным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову: чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрее. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждем тебя!»

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место. берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле — ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку:

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло: — Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты, негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет,— отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки.— Давно бы пора ему дома быть, ну, да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал:

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу, за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буря накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели:

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий.— Картанбай всполошился, ища в темноте шубу.— Свет, свет давай, старуха! Да быстрее ты, ради бога!

Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, оканные! — вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома. — Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу. — Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнались, она доскакала до аила и рухнула, как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну, — суетился Картанбай. — А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть...

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня, — ответил Дюйшен. — Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой. — Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим соплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут, черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение...

— Да не сб тсм речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай. — Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять советская власть, наживу еще...

— Дело говоришь, старик, — отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. — Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорес умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышленими? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышлениши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову...— перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или ты думаешь, другие не печалются, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям...

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неумная, неуправляемая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет,— сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо: — Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуше прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну, глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неуправляемо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да никак сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы.— А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

...Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всеокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи. объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озера, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... Нашла себе забаву — в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то принимала близко к сердцу теткыны угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, — и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка, — смеялся Дюйшен. — Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколько не обижали. «Конечно, — думала я про себя, — я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая я буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое».

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе — хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех теткы:

— Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!

В ответ посылались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкло. У разостланной на кошке скатерти сидел, как пень, краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув,

отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька,— сказала она,— там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало беспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой»,— решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили. И затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы все гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:

— Постой, Алтынай.— Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.— Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мною тетка.

— Я сам за тебя отвечу,— сказал Дюйшен.— А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он.— Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе.— Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся.— Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез. Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, говорит, пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты, говорит, подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной что захотят, и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело,— сообщил он, загадочно улыбаясь.— Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой

их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливым. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно пруттик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие сизостволовые топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад. — А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А, может быть, надо было...

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказываясь, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход, — сказал он, когда мы возвращались в аил. — Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет, — ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой город, но для меня сказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот расползут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом, — быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою



тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей ухмылкой на лице. Дюйшен подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провозить. Эй ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите, сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешили с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я же говорила! — взвизгнула тетка. — Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахинаясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлеталась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — И захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове.

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с

бульжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных пастухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высушенная, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону. О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее, — приказал краснорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, козявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пронаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ошупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако, сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была так же притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дзержях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопение, беспробудный храп, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие инбные времена выдумал его? Что может быть унижительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных

человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменной, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руки, уже расшело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор, за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать отсюда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем... Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, и ничего не сказала, молча продолжая делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его помочь ей собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, взбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюйшен схватил его за шиворот, потрянул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами. — Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий, нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошным голосом. — За черные дни моп, душегуб! Не отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтоб ворон выклевал твои глаза! Не приведи господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развезающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в голове. Пришибленная, угнетенная ехала я на коне. Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня, — сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке. — Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем, — сказал он наконец. — Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся. — Он достал из кармана кусочек мыла. — На, Алтынай, не жалея. А хочешь, я отойду в сторонку, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый, брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогах им, памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке, они суетились,

плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка,— сказал он,— светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-чего понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах! Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреновом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя,— сказал он.— Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься... Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь,— дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку.— Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить, слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай.— Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай прощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб.— Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-а-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни...

Прощай учитель, прощай моя первая школа, прощай детство, прощай моя первая, никому не высказанная любовь...

Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступить. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору...

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло, я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О, родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, распаханно много полей, построены новые дороги и мосты, — но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я. — Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой вот бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизоствольными деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Иль боль и скорбь народная гудит в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножья деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся, светлая вода в полном арыке чуть рябилась, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашенная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки, солдаты выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что случилось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб,— предполагали они,— время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель,— думала я временами.— Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы прощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку.

Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход, проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова принялась за стекло. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путевым флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с помпы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатились посуда, заголодели дети и женщины. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и так же, ничего не видя перед собой, ничего не понимая,

пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски. — Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастливая, мужа или брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому, — пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну... — ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем, — сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозил мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего че-



ловека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками,— это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть — я как-то отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутившая, прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверно, и есть жизнь...

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самое себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин?.. И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-интернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречу с Учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В ясном голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрасветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники? Как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрядных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко, и сидит на ветке тополя, и смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз! Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается... И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

*Перевели с киргизского  
автор и А. Дмитриева.*



---

---

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

## ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### *Тайны*

Тают отроческие тайны,  
как туманы на берегах.  
Были тайнами Тони, Тани  
даже с цыпками на ногах.

Были тайнами звезды, звери,  
в травах робкие стайки опят,  
и скрипели таинственно двери —  
только в детстве так двери скрипят.

Возникали загадки мира,  
словно шарики изо рта  
обольстительного факира,  
обольщающего неспроста.

Оволшебленные снежинки  
опускались в полях и лесах.  
Оволшебленные смешинки  
у девчонок плясали в глазах.

Мы таинственно что-то шептали  
на таинственном льду катка,  
и пугливо, как тайна к тайне,  
прикасалась к руке рука...

Но пришла неожиданно взрослость.  
Износивший свой фрак до дыр,  
в чье-то детство, как в дальнюю область,  
гастролировать убыл факир.

Мы, как взрослые, им забыты.  
Эх, факир, ты плохой человек!  
Нетайнственно до обиды  
нам на плечи падает снег.

Где вы, шарики колдовские?  
Нетайнственно мы грустим.  
Нетайнственны нам другие,  
да и мы нетайнственны им.

Ну, а если рука случайно  
прикасается, глядя слегка,  
это только рука, а не тайна,  
понимаете — только рука...

Дайте тайну простую-простую,  
тайну — робость и тишину,  
тайну худенькую, босую...  
Дайте тайну — хотя бы одну!

### *Размышления над Клязьмой*

Я шел по берегу вечернему,  
где сосны редкие, сквозные.  
По Клязьме с тихими вращениями  
разводы плыли нефтяные.

И размышлял я не без вескости,  
что мы (от века скрыться негде!)  
замутнены, как воды вечности,  
да и одной ли только нефтью...

Я сам от этого поморщился.  
Ход мыслей был довольно плосок.  
Я сел послушать, как бормочется  
зеленым иглам на откосах.

Коптил вдали заводик болшевский.  
От сосен шелест шел да шепот.  
А я сидел и думал: «Боже мой,  
как я состарился, должно быть!

А почему? Да потому, что я,  
себе придумывая бремя,  
не жил, как сосны, потонувшие  
в своем же лепете и бреде.

Их вырубали потихонечку.  
Ножами тупо их саднили.  
Под ними с хриплым патефончиком  
галдели, пили и сорили.

Но, даже не оставшись в целости,  
стоят, на это не пеняя,  
свой долг задумчивого шелеста  
все так же строго выполняя.

Шуршат, с природой обрученные,  
в часы дневные и ночные,  
не глядя ни на копоть черную,  
ни на разводы нефтяные...»





Но те, кто верили по-детски  
тебе в твои плохие дни  
и ждали от тебя поддержки,—  
как горько сетуют они!

Живешь расхваленно и ладно  
и в то же время мельтеша,  
примером, что конец таланта  
есть невозможность мятежа.

\* \* \*

Играла девка на гармошке.  
Она была пьяна слегка,  
и корка черная горбушки  
лоснилась вся от чеснока.

И безо всяческой героики,  
в избе устроив пир горой,  
мои товарищи геологи,  
обнявшись, пели под гармонь.

У ног студентки-практикантки  
лежал я около скамьи.  
Сквозь ее пальцы протекали  
с шуршаньем волосы мои.

Я вроде пил, и вроде не пил,  
и вроде думал про свое.  
и для нее любимым не был,  
и был любимым для нее.

Играла девка на гармошке,  
о дальних пела берегах,  
и топали ее галошки  
на исцарапанных ногах.

Была в гармошке одинокость,  
тоской обугленные дни  
и беспредельная дальность,  
плетни, деревья и огни.

Играла девка, пела девка,  
и потихоньку до утра  
по-бабьи плакала студентка —  
ее ученая сестра.

### *Давайте, мальчики!*

Я был жесток.  
Я резво обличал,  
о собственных ошибках не печалюсь.  
Казалось мне:  
людей я обучал,





---

ХУАН ГОЙТИСОЛО

★

## ЗЕМЛИ НИХАРА

1

**Я** хорошо помню то тягостное впечатление ужасающей нищеты, какое произвела на меня Альмерия, когда несколько лет назад я впервые ехал по шоссе №340. Мы миновали Пуэрто-Лумбрерас, где вдоль главной улицы протянулись торговые ряды; пересекли долину Альмансоры, Уэркаль-Оверу, Веру, Куэвас, Лос-Гальядос... На одном из поворотов я увидел немыслимые домики Сорбаса, висящие над пропастью. Дальше, около Тавернас, пеклись на солнце суровые скалы, словно отесанные гигантским резцом, выветренные, пустынные, как на луне. Дорога вилась среди скал и обрывов, огибала русла высохших рек. Тщетно искал я хотя бы пятнышко тени от какого-нибудь кустика или чахлой агавы — в этом каменном царстве только горячий воздух поднимался к небу целлофановыми спиралями. Я отчетливо помню, как в первый раз спускался к Риохе и Бенадусу: зелень апельсиновых деревьев, плюмажи пальм, скудную воду... Мне показалось тогда, что здесь земля немного добрее, и только позже я понял, что ошибся. Четки пещер, опоясывающие горный склон, возвестили о том, что мы подъезжаем к Альмерии. «Столица дрока, насморка и трахомы», как называют ее в соседних провинциях, расподожилась у подножья плато, похожего издали на застывшее море.

Я уже бывал в этом городе и задержался только на минутку, чтобы выяснить расписание автобусов. Мне был знаком и вид Алькасабы, отрывающийся из квартала Чанка: жители стыдливо красят известью входы в свои пещеры, а крыши хижин похожи сверху на фишки — синие, желтые, розовые и белые. Я взобрался на Сан-Кристобаль, чтобы увидеть порт. Внизу, среди домов, возились в пыли мальчишки; оттуда же, снизу, как пыхтенье усталого животного, доносились вздохи города. В Альмерии нет ночной жизни, и в прежние мои приезды я поневоле знакомился с городом по утрам. Спешу предупредить, что я ничуть не жалею, — Альмерия стоит жертв. Ради ее рынка, ради цыган, попрошаек, зазывал, ради сонных экипажей на стоянках и эмигрантов из Марокко, размышляющих под сенью фикуса, можно и проехаться. Альмерия одна на свете — это и Африка и Испания. Я полюбил ее давно, еще дома, когда увидел ее уроженцев, доходивших до Барселоны в поисках работы и хлеба, — надо сказать, они брались за любой труд. На большой своей родине можно найти родину маленькую: с тех пор как я побывал в Альмерии, я готов отмахать каждый год не одну сотню километров, чтобы навестить ее.

За Альмерией от шоссе, ведущего к Мурсии, отходит направо дорога к пустынному гористому Нихару и к мысу Гата. Раньше, во время моих коротких наездов, я обещал себе исследовать более обстоятельно этот забытый уголок нашей земли — уголок, чье название всегда звучало

привычно благодаря нудному списку основных мысов, который мы под страхом наказания зубрили в школе:

«Сакратиф — в Гренаде,

Гата — в Альмерии,

Палос — в Мурсии,

Ла-Нао, Сан-Антонио и Сан-Мартин — в Аликанте...»

На автостанции выяснилось, что автобус только что ушел, а следующий пойдет через два часа. Я сдал багаж в камеру хранения и решил еще раз пройтись по городу. На улицах сновали разносчики, продавцы, мороженщики. Одни нараспев расхваливали свой товар, другие, поскромней, дожидались покупателя на тротуаре, поставив у обочины корзины с инжиром и сахарным тростником. Сияло солнце, женщины подметали перед домами. Безоблачное выцветшее небо предвещало жаркий день.

После серенькой северной зимы мне было хорошо в сутолоке южного города. Помню, переходя мост, я увидел две коляски с девушками в традиционных испанских костюмах. Они знали, что все на них смотрят, и изо всех сил выставляли напоказ достоинства испанок: задор, напускную серьезность, лукавство. Какой-то прохожий не замедлил отпустить им хриплый комплимент. Следом, в других колясках, ехали мужчины во фраках, военные, кудрявый мальчик, священник... Кто-то сказал, что это справляют крестины.

Толпа любопытных пстацилась за колясками, а я зашел в бар. Вместе со мной туда вошли двое мужчин. Они так и стоят передо мной — черные, худые, в темных жилетах, в наглухо застегнутых рубашках и шляпах с загнутыми полями. Они были похожи на черных птиц. Растягивая слова, они говорили наперебой:

— Да, женщины — что надо!

— Наша Испания лучше всех!

— Не такая развитая, как другие страны, зато жить хорошо...

— Ни на какую не променяю...

Заметив неестественный блеск их глаз, я понял, что оба навеселе. Когда хозяин подал мне кофе, они подсели ко мне. Их интересовало, кто я, откуда приехал и что здесь делаю. Несмотря на мои односложные ответы, они лезли с разговорами.

— Простите, я спешу, — ответил я и взглянул на часы.

— Спешите?

— Мой автобус уходит через несколько минут.

Время пролетело незаметно, и я зашагал к станции по шоссе на Мурсию.

## 2

Три автобуса в день курсируют на девятикилометровом отрезке Альмерия — Эль-Алькиан. Дорога асфальтирована до самого Нихара и сразу за городом проходит мимо заброшенного санатория — когда-то здесь проводили время праздные богачи Альмерии. Оставив позади последние домики предместья, автобус сворачивает на Нихар. Рядом со мной сидит худощавый брюнет лет сорока. Я предлагаю ему закурить, он интересуется, не иностранец ли я. Отвечаю, что я из Барселоны, и он произносит несколько слов по-каталонски.

— Я работал там почти десять лет, — говорит он. — В Барселоне, Ospitalete, Таррасе... Вот где жизнь! Не надо мне было уезжать отсюда...

Его жене не подходил каталонский климат, и он по глупости переехал сюда. Теперь у него четверо детей, пятый вот-вот появится — с места не снимешься, не то что раньше.

— Здесь быстро стареешь, а семья привязывает к месту...

Он жалуется на жизнь, я смотрю в окно. До самой бухты тянется желтая равнина в зеленоватых крапинках смоковниц. Земля испещрена трещинами и каменистыми осыпями. Вдали — все в барашках — море.

— Посмотрите-ка...

Мой сосед показывает на небольшой огород за плетеной изгородью. Каждая грядка фасоли, помидоров, баклажан, перца заботливо огорожена сухими прутиками.

— Хороши грядки, а?

Я соглашаюсь: да, хороши.

— Чтобы выжать из этой земли урожай, толстый нужен кошелек... Земля — одни камни, надо возить воду, песок, удобрения...

— Песок?

— Чтобы тепло не уходило. Капуста быстрее поспевает, можно ее продавать на рычке раньше других. У канарцев научились. Хозяину этому говорили, что капуста ему ни шиша не даст, а он в первый год положил в карман пятьдесят тысяч...

За окном — солнце, солнце, солнце. Овраги, пересекающие равнину, тянутся к морю. Автобус то опускается, то поднимается.

— Видите?

Мой спутник показывает пальцем на двухметровые стены; они стоят квадратом, как кладбищенская ограда. Солнце сверкает на беленой поверхности, коза с набухшим выменем ошиповывает маленькую смоковницу.

— Опытный огород. Два месяца, как разбили. По новому методу, — говорит он. — Под землей цистерна, покрытая металлической решеткой. Сверху — на две пяди — унавоженная земля и слой песка. Так меньше испарений. Через решетку корни уходят в воду.

Въехали в Эль-Алькиан. Не знаю почему, он напомнил мне деревни в дельте Эбро. Улиц здесь нет, домики стоят в беспорядке. Автобус облепила туча ребятишек. Я прощаюсь с попутчиком и выхожу. Жара. Иду по тротуару. В тени домов судачат женщины. Несколько парней убивают время, муштруя местного дурачка. Он бородатый, лопухий, с отвисшими губами. Карабином ему служит ясеневая палка, и, повинувшись команде, он высовывает язык.

Дорога, к счастью, обсажена деревьями. У выезда из Эль-Алькиана, в эвкалиптовой роще, стоит недостроенное здание. Это школа для детей рыбаков. Когда я через некоторое время возвращался в Альмерию, шофер объяснил, что школа находится в таком состоянии уже десять лет. У профсоюза не хватило денег, и теперь путешественник может любоваться пейзажем через отверстия и щели.

Прохожу еще метров сто, домиков становится меньше. Огороды сменяются пустырями, земля — песком. Зелени совсем мало: дикие смоковницы, агавы, иногда маленькая корявая олива. Справа равнина тянется до самого песчаного берега, тропки вьются среди камней и теряются в колючем выжженном кустарнике. На мысе Гата вершины гор увенчаны облаками. Море на горизонте — как полоска расплавленного свинца.

Слева горы, словно вырезанные из картона. Дорога огибает Куэвас-де-лос-Убедас и Куэвас-де-лос-Мединас. Старые шахтерские поселки, пережившие кризис начала века, прилепились к склону горы, как ястребиные гнезда. Отсюда грузовики везут породу в Альмерию, там ее грузят на пароходы и отправляют в немецкие, французские или английские порты.

Вдоль дороги расположено несколько питомников Государственного лесного ведомства. На больших участках темно-желтой земли растут агавы примерно в пядь высотой. Солнце печет их, сушит на корню. Они похожи на искривленные морские звезды, распростертые на земле. На-

циональный институт освоения земель заботится об их разведении: листья их употребляются в текстильной промышленности.

После питомников агав путешественник видит еще одну техническую культуру, приспособившуюся к недостатку воды. Это гуайуле. Бесконечные ряды маленьких бесцветных растений пересекают желтую волнистую поверхность поля. Институт разводит их для резиновой промышленности в треугольнике Нихар — Родалькилар — Гата. Как мне говорили, пока что расходы не оправдали себя.

Цепь эвкалиптов, растущих вдоль дороги, оборвалась. Выходить на солнцепек страшно. Но, когда я поднял руку, остановился первый же грузовик. Шофер спрашивает, куда я направляюсь, а я в ответ спрашиваю его.

— Я в Родалькилар,— помолчав, сообщает он.

— Хорошо. Поеду с вами.

Он приглашает меня сесть рядом, и грузовик с грохотом трогается. Я молча радуюсь удаче. Надеяться на поднятую руку здесь почти не приходится. Никто не хочет останавливаться, кроме редких туристов,— ни легковые машины, ни грузовые. Гражданская гвардия останавливает машину, как только завидит пассажира, и штрафует на пять и даже десять дуро за нарушение правил.

Шофер, подобравший меня,— молодой парень — закуривает, благодарит и рассказывает мне, что накануне после рабочего дня согласился доставить одного человека в Мотриль и всю ночь не сомкнул глаз.

— А когда один еду, тоже боюсь заснуть. Вот с вами говоришь, и не так хочется спать.

Он справляется, откуда я еду, и, услышав о Барселоне, проводит языком по губам. Для всех альмерийцев Каталония — несбыточная, райская мечта вроде легендарного Эльдорадо. Шофер спрашивает о ценах на квартиры, о заработной плате, называет человек пять друзей в Барселоне, надеясь, что я могу знать кого-нибудь из них.

— А Пако Гонсалеса — такой, со шрамом — не знаете? Он разгружает уголь в порту.

Я говорю, что, к сожалению, не имею чести знать Пако Гонсалеса. Шофер огорчен.

— Пако ведь и женат на каталонке. Я дам вам его адрес, если хотите. Скажите, что вы от Санлукара. Вот обрадуется!

Мы едем по пустынной горной местности. Дорога извилистая, по бокам — столбики. Вдруг на развалившейся стене домика мы видим надпись: «Больше деревьев — больше воды!» И этот горестный призыв словно ударяет меня. Такую надпись — лозунг Национального института освоения земель — я увижу еще на всех путях и дорогах, на стенах амбаров, домов, барачков. Деревья, которые могли бы удержать влагу, сами нуждаются в ней. В Альмерии нет деревьев, потому что нет влаги, и нет влаги, потому что нет деревьев. Только серьезные капиталовложения и постоянные усилия инженеров могли бы разомкнуть этот порочный круг и дать обделенной земле и воду и зелень.

Грузовик сворачивает с шоссе на дорогу в Родалькилар. Агавы, дикая смоковница. Желтеют выжженные поля ячменя. Жара. Санлукар клюет носом.

— Работаю сразу на двух предприятиях...

— Когда же вы спите?

— Редко. Больше по праздникам. Моя девушка почти меня и не видит. Пршное воскресенье весь вечер храпел.

Мы проезжаем поля ячменя, усеянные маками и маленькими желтыми цветочками, которые здесь зовут уксусницей. Грузовик, петляя, поднялся в гору, и мы видим два мавританских селения, разделенные

высохшей речушкой. Ближайшее называется Рамбла Моралес. Около двери табачного ларька роется в сухой земле привязанная свинья. Едем вдоль канавы, и у оврага Санлукар тормозит. Чуть дальше, под тенью эвкалиптов, женщины полощут белье в ручейке. Санлукар подходит к одной из них и вручает письмо.

Я тоже выхожу и, спустившись к речушке, рассматриваю второе селение — Эль-Барранкете. Дома там прямоугольные, с квадратными окошечками и острыми крышами. Издали эти крыши напоминают колпачки в деревнях на юге Италии. Среди агав и смоковниц блестят на солнце беленые стены. Возле домов роются в песке полуголые дети, и девочка верхом на осле заглядывает в овраг.

Возвращается Санлукар, становится рядом со мной и смотрит на белые домики.

— Прямо Африка, а? — говорит он, словно прочитав мои мысли.

Мы садимся в кабину, и Санлукар молча заводит мотор. Солнце, злобствующее над нами, не располагает к беседе. Мне хочется прилечь в тени и уснуть.

Машина тяжело взбирается по склону горы. Из радиатора идет пар. Земля — густо-желтая, до красноты. Какой-то рабочий роет канаву. Санлукар высовывается из окошечка и машет ему рукой.

— Это Тигр. Хороший парень. Выпить любит, вот и мается. От зари до зари за пятнадцать песет вкальвает...

Замечаю, что дорога в хорошем состоянии, на поворотах — столбики. Агавы чередуются со смоковницами. На оградах, на стенах разрушенных домов все те же надписи — краской или дегтем, — которые следуют за мной от самой Альмерии:

«Франко

Франко

Франко».

Я молчу, и Санлукар спешит объяснить, что его превосходительство глава государства посетил золотые прииски Родалькилара во время своей триумфальной поездки по провинции.

— Золотые прииски?

— Сами увидите, если пустят. Они в Испании одни.

Деревушки, водоемы. Здесь, на земле Нихара, над колодцами ставят башенки с окошками и белым круглым верхом. Какая-то женщина набрала воды и теперь запирает окошко.

Мы проезжаем Лос-Ньетос и Альбарикокес. Это дикие, заброшенные деревушки домиков по двенадцати. Я вижу свиней, кур, осликов, коз. Теперь земля почти красная. Здесь хорошо растет ячмень. Появляются новые цвета: темно-зеленый, густо-зеленый, песочный, желтовато-белый.

Вдруг Санлукар дергает меня за руку и командует:

— Нагнитесь!

Я нагибаюсь, не понимая толком, что происходит, и некоторое время смотрю на коробку скоростей и на цветные ремешки его сандалий. Потом Санлукар позволяет мне сесть нормально.

— В чем дело?

— Гражданская гвардия. Вас не заметили.

Я рискнул посмотреть назад через окошечко и действительно вижу в клубах пыли уменьшающиеся фигурки в лакированных треуголках, с карабинами на ремне.

Происшествие разведело Санлукара, он улыбается и потирает руки.

— Мы недалеко от приисков. Если сторожем сейчас мой приятель, он нас пропустит. А если нет, придется возвращаться и ехать в объезд.

Он объясняет мне, что в Родалькилар ведут две дороги: одна принад-

лежит компании золотых приисков, другая — проселочная, по которой ходят автобусы. Я спрашиваю, какая лучше.

— Которая компании, — говорит он. — Совсем другое дело!

Грузовик едет между скалами. Навстречу из-за поворота вылетает машина с какими-то туристами, и Санлукар чудом избегает столкновения.

Горное эхо множит сигналы машин. Солнечные лучи не достигают нас; я смотрю, как они сверкают наверху, в скалах.

Вскоре шоссе раздваивается, и мы сворачиваем на дорогу компании. Толстый брус шлагбаума преграждает путь, словно мы на границе или у железнодорожного переезда. Из будки выходит светловолосый человек в клетчатой рубашке. Мы тормозим.

— Привет.

— Добрый день.

Сторож встает на подножку и пожимает руку Санлукару. Они молча смотрят друг на друга.

— Видишь, работаю...

— Мы-то всегда работаем...

— Такая жизнь.

— Да... вот так.

Санлукар спрашивает о здоровье сторожева зятя и узнает, что тому лучше.

— А ему оплатили?

— Обещают на следующий месяц.

У сторожа широкое, скуластое лицо и ясные голубые глаза. Он машет нам рукой на прощание и поднимает шлагбаум.

— Счастливо! До скорого! — кричит Санлукар.

Дорога идет вниз. Она хорошо утрямбована, здесь могут разехаться три грузовика. Путешественнику кажется, что он попал в пустынную равнину, какие показывают в ковбойских фильмах. На скале у дороги кто-то написал: «До Галевуда 2 километра». Грузовик едет вверх на хорошей скорости, поднимая клубы пыли. Угнетающая тишина. Я смотрю на бурые голые скалы. На равнине появились желтые пятна — отверстия шахт. Нежилые дома, брошенный сарай.

Дорога идет по краю оврага, и за поворотом мы видим внизу промысловые бассейны и дома Родалькилара. По склону горы сверкают на солнце ярко-красные склады. Здесь промывают золотоносную породу, а потом грузовики отвозят ее к сушилкам. Вокруг желтоватая трясина — это отходы. Справа, на равнине, уютно притулился Родалькилар.

Поселок маленький и разбросанный. На первый взгляд, в нем нет центра. Улиц еще не коснулась городская культура, и грузовик сразу стало трясти. Дома низкие, уродливые. Санлукар тормозит около одного из них.

— Вот мы и приехали...

Уже часа два, и у меня начинает сосать под ложечкой. Я приглашаю Санлукара пообедать в закусочной, он отказывается.

— Нет, нет, вы идите... У меня дела. Может, попозднее зайду выпить рюмочку...

Я благодарю его.

— Ручей перейдете — будет закусочная. Вон, за эвкалиптами.

Улицы пусты, солнце свирепствует всюю. Церковь, школа, казарма гражданской гвардии построены недавно. Одинаково убогие, унылые здания. Минував высохший ручей, нахожу закусочную.

Когдаходишь с улицы, глаза с трудом привыкают к полумраку. Двери и окна завешены шторами, солнце сюда не проникает. Новый посетитель садится к общему столу и здоровается с другими: с тремя муж-

чинами в синих костюмах и двумя хорошенькими девушками, судя по виду — издешними. Они отвечают на приветствие, официант принимает заказ.

Пока он накрывает на стол, я разглядываю помещение. Это большая комната с облупившимися голыми стенами и выщербленным плиточным полом. Официант приносит девушкам кофе. Один из мужчин делает вид, что хочет выбить у него из рук чашку. Девушки смеются, и у меня улучшается настроение. У той, что пониже, на щеках появляются ямочки, а глаза светятся простодушно и лукаво. Другая не такая смуглая. Волосы у нее собраны в узел. Мне кажется, она из Валенсии.

Официант приносит мне тарелку гороха с треской и пол-литра вина. В отличие от Кадиса и Малаги здесь пьют немного — вероятно, потому, что вино тут плохое. То, которое я пью сейчас, — укусное, прокисшее — мало отличается от выдохшегося мутного вина Гарручи. Сам того не желая, я вспоминаю с тоской о красном вине Хумильи — легком, сухом и терпком. Сто километров на север, а какая разница!

— До свиданья. Приятного аппетита.

Девушки встают и направляются к выходу. Они одеты по-городскому, и я решаю, что они туристки, как я, или родственницы какого-нибудь инженера. Мой сосед поясняет:

— Это учительницы.

Я интересуюсь, давно ли они в Родалькиларе и есть ли у них семьи.

— Вы же видели, как они обедают? Живут одни. Здесь мы все люди темные, никто с ними и заговорить не решается. Вот бедняги...

В разговор включаются его товарищи. Учительницы обязаны поработать в деревне, иначе им не разрешат работать в городе. Те, кто побогаче, нанимают замену, а другие вынуждены на несколько лет похоронить себя среди настоящей нищеты.

— Выберется отсюда — глядишь, уже старая дева, никто тебя не берет.

— Вы не думайте, такое место тоже не всякой дадут. Чтоб диплом получить, очень много надо учиться.

— Которая поменьше, говорила: шесть лет зубрили.

Официант подает мне яичницу. Мужчины уже пьют кофе. Мой сосед медленно прихлебывает и говорит:

— Тканями торгуете? — Не давая мне ответить, он добавляет: — Извините, пожалуйста, если ошибся. Мне сказали, утром из Альмерии приехал агент.

— Нет, это не я.

— Вы ведь издешний?

— Нет.

— То-то я никогда вас не видел. Тут у нас — раз, два и обчелся, все друг друга в лицо знаем.

Самый молодой из троих — в берете, сдвинутом на затылок, — тербит волосы, спадающие на лоб.

— В автобусе приехали?

— Нет, на грузовике.

— Вам повезло. Не всякий рискнет. Штрафы...

Я соглашаюсь, что мне повезло, и, забыв обо мне, они вполголоса обсуждают новости — болезнь Эдельберто, работу в шахте, то, что случилось с Эмилиано. Официант приносит мне кофе, время идет, и я слушаю, как они говорят о Кандидо, о Хосе, о Виторино.

— Нам-то еще грех жаловаться...

— Верно, грех...

— Потому что подсобники...

— А вот камнедробильщики...

Я смакую горьковатую жидкость, а они шепчутся. Иногда они оставиваются, и парень в берете что-то говорит на ухо соседу:

— В тот день...

— А, тогда!..

Они встают и платят по счету. Проходя мимо меня, каждый кивает. Парень в берете протягивает мне руку.

— До свидания. Желаю удачи.

Они ушли, и я тоже прошу счет. Вероятно, уже четвертый час. Я прикуриваю от оставленного окурка. Смотрю на пустые стулья, где сидели девушки и мужчины, и говорю себе, что пора двигаться в путь. Портьера у входа шевелится, но это не Санлукар. Официант возвращается из кухни и говорит кратко:

— Шестнадцать песет.

## 3

Там, снаружи, солнце все еще в зените. Я иду к проселочной дороге. Поселок оживает после тяжелой дремоты. Навстречу попадают женщины, мальчики, старики. Священник беседует с гражданскими гвардейцами. Из школы доносится монотонный хор детей, поющих молитвы.

— Извините... Вы каталонец?

Меня остановил крупный брюнет лет сорока.

— Да.

— Я приятель Санлукара. Он сказал, что вы в закуской.

— Да, сейчас был.

— Вижу, вы идете мимо часовни — сразу подумал, что это вы.

У него хорошая, открытая улыбка. Рукава рубашки засучены, руки скрещены на груди.

— Путешествуете?

— Да.

— Санлукар сказал, вам надо в Нихар.

— Да, хочу туда съездить.

— Тогда подождите с полчаса, и мы вас отвезем.— Он показал в сторону промывочных бассейнов.— В субботу мы кончаем работать пораньше.

— Вы работаете на шахте?

— Нет, не в шахте... Для компании. Я водитель грузовика.

Он ведет меня по проселочной дороге. Наверху, у поворота, метрах в ста от нас, несколько человек сидит у придорожной канавы.

— Вы можете ехать с ними. В кузове...

— Они едут в Нихар?

— Нет. Тут больше из Агуас Амаргас и Фернан Перес. Только мы остановимся в Лос-Пипасес.

— Где?

— Километра за четыре.

Мы подходим к ним и садимся рядом. Их человек восемь-девять. Грязные, небритые, в заношенных рубашках, в латаных-перелатанных брюках... У одного пальцы вылезли из рваных тапочек, у другого штаны подвязаны веревкой. Солнце еще печет, и соломенные шляпы надвинуты на лоб. Почти все — с котомками или мешками. Мой сосед держит на коленях кастрюлю, обмотанную красной тряпкой.

Шофер говорит, что я из Барселоны, и все глаза с любопытством впиваются в меня. Для здешних жителей мы, каталонцы, вроде американцев. У каждого есть знакомый или родственник в Бадалоне или в Таррасе.

— Там и работаете? — спрашивает один.

Чтобы не пускаться в долгие объяснения, говорю:



— Да.

— Родные, значит, здесь.

— Нет. Они в Каталонии.

— Не развлекаться ж сюда приехали!

Я объясняю, что у меня оказалось десять свободных дней и захотелось отдохнуть.

— Вот так-так! Ну и номер! — восклицает парень, подпоясанный веревкой. — Сюда приехал из Барселоны!

Общее веселье. Все хлопают друг друга по плечам, по коленям, по спинам и потешаются, как мальчишки.

— Сюда из Барселоны! Вот бы мне там пожить...

— Вам бы на мое место, а мне на ваше!

— Жил бы я в Каталонии, ну, хоть убей, не приехал бы в Альмерию...

Другой, усатый, облизывается:

— Я там был, когда демобилизовался. Ух, и бабы в Барселоне!

Он хочет рассказать свои похождения, но мой сосед его обрывает:

— Ну, ну, заткнись... На тебя обезьяна, и та не посмотрит.

— Не посмотрит, говоришь?

— Вот именно. Ну и рожа у тебя! Сейчас из лесу.

Я пускаю по кругу пачку «Идеалес». Все смеются. Какие хорошие лица у этих людей! Несмотря на двухдневную щетину, на рваную, бедную одежду, в них есть настоящее человеческое достоинство.

— Глядите, идут...

Человек пять рабочих спускаются вприпрыжку по склону горы. Шофер встает и кричит им:

— Нажимай! В кино из-за вас опаздываю.

— У вас есть кино в поселке?

— Из Мурсии приехала передвижка.

— А какая картина?

— Не знаю... Для меня они все на один лад.

Усатый говорит, что вот до войны<sup>1</sup> действительно были картины...

— Помню, смотрел я в Валенсии. Вот это было кино! А теперь все как одна.

Грузовик стоит у откоса. Мы взбираемся в кузов. Я сел было на корточки в середине, но рабочий, подпоясанный веревкой, уже занял для меня место.

— Садитесь сюда. Не так будет дуть.

Шофер заводит мотор, и земля скользит у наших ног. Мы едем, тесно прижавшись друг к другу, словно сардины в банке, и, бросая вызов пыли и зною, двое затягивают песню.

По дороге идут рабочие с котомками, в соломенных шляпах. Дорога вся в рытвинах, грузовик подскакивает. Я показываю моему соседу на рабочих и спрашиваю, сколько народу занято на приисках.

— Ух, много! — говорит он. — Человек пятьсот, не меньше...

Солнце мгновенно исчезло за скалами, и кажется, стало легче дышать. Шум страшный, все разговаривают, поют, грузовик тарыхтит. Приходится объясняться знаками или прикладывать рупором руки к уху соседа.

— ...А-а?

— Сходите в Лос-Пипасес?

— Да.

— Эти трое тоже сойдут.

Грузовик не такой старый, как у Санлукара. За несколько минут мы оставляем позади владения компании и едем по равнине на хорошей

<sup>1</sup> Говорится о гражданской войне 1936—1939 годов. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

скорости. Я узнаю домики и посеvy овса, которые видел, когда ехал сюда, только теперь цвета изменились.

Внезапно мы сворачиваем направо. Мой сосед кричит мне в ухо, что мы не свернули на Нихар, а едем прямо через Лос-Ньетос. Дорога плохая, зато скотим хороший кусок.

Грузовик переваливает через каменистую речушку. Мы поднимаемся по склону, и перед нами открывается поистине лунный пейзаж. Беловатый грунт, пустыри, каменистые осыпи чередуются до самого горизонта. Земля покрыта камнями — летом скалы нагреваются и трескаются, на много километров вокруг не видно ни одного дерева.

— Смотрите!

Сосед показывает мне полуметровую ящерицу. Она замерла у дороги, и, по-видимому, наше вторжение ничуть ее не потревожило.

— Эх, притормозить бы, я бы ее поймал! Мы их едим.

Я сказал, что во многих деревнях Каталонии крестьяне тоже едят жареных ящериц.

— Мы их с помидорами варим. Еще чесноку кладем и укропу... Вкусно!

Шофер часто сигналил — дорога петляет между большими скалами.

Субботнее настроение заразительно, многие поют. Мелодии отличаются от других андалузских напевов. Слова грустные, почти гневные, шахтерские жалобы. Вот сейчас они поют об одиночестве и разлуке, о печальной любви и горьком прощанье. Невеселая песня, так и берет за душу.

Постепенно все голоса покрыл голос молодого русого парня. Несмотря на шум мотора, я хорошо разбираю слова. Когда он замолкает, я спрашиваю соседа, откуда этот парень.

— Здешний. Слезает в Агуас Амаргас.

— У него очень хороший голос.

— Вы бы другого послушали. Тоже с нами работал. Лукасом звали. Фанданго, серраны, тьенто — все что хотите пел! В жизни такого не слышал!

— Где же он?

— Уехал во Францию... Только ему не повезло... Врачи нашли у него силикоз и вернули обратно. А инвалидность ему не оплатили — самовольно с присков уехал. Не знаю, где он теперь... Говорили, ушел куда-то.

Солнце спускается к вершинам гор, и все окрашивается золотом. Грузовик ныряет в овраги, время от времени выбирается на равнину. Переезжаем еще один ручей. Зелени очень мало: низенькие смоковницы, ежевика, иногда — агавы. Небо над нами синее, одинаковое.

Еще километр — и мы въезжаем на земли Нихара. Равнина большая, желтая. Целина чередуется со вспаханными полями. Борозды, оставленные плугом, — сухие, в трещинах — теряются вдаль. Небольшие пашни окружены кустарниками, чахлыми дикими деревцами миндаля и олив.

— Вон те домики и есть Лос-Пипасес, — говорит мой сосед.

Грузовик уменьшает скорость и тормозит у развилки. Я прощаюсь и прыгаю на землю. За мной прыгают трое местных. Шофер высовывается из окошка кабины.

— Счастливого пути!

— Спасибо большое!

Я слежу за грузовиком, пока он не скрывается в ложбине. Местные молча шагают рядом со мной. Навстречу попадают виноградники, по мудреным проволочным сеткам карабкаются лозы. Они совсем молодые,

не старше трех лет, но на некоторых уже есть побеги и маленькие несъедобные гроздья.

— Несколько тысяч посадил, — говорит один из моих попутчиков. — Можно сказать, вчера здесь была пустыня.

— Не меньше сорока фанег засажено. Через несколько лет одни виноградники будут.

Я вспоминаю виноградники долины Альмансоры, между Альбоксом и Пурченой, и спрашиваю, откуда здесь берут воду.

— Из колодцев, тут много вырыли. Глубина от сорока восьми до пятидесяти шести метров. Мы вам покажем один, если хотите...

Мы подходим к деревне. Самый ближний дом, по-видимому, построен недавно. Возле других, недостроенных, суетятся каменщики. На грядках растут баклажаны и помидоры. Ветер кружит щепенку.

— Эй! — кричит один из моих спутников. — Где Хуан?

Каменщик, размешивающий цемент, оборачивается к другим:

— Где Хуан?

— Пошел куда-то с мальчишкой...

— Да вон они идут!

— Эй, Хуан!

— Что?

— Земляки тебя ищут.

Хуан подходит не спеша. Это худой, угловатый мужчина в черных вельветовых брюках и клетчатой рубашке. На ногах сапоги из телячьей кожи, на голове широкополая крестьянская шляпа.

— Как дела? В город?

— Да, домой...

— Ходил посмотреть виноградник. На лозах, что посадил первыми, уже появились гроздья.

— Видели мы твой виноградник.

— Все будет хорошо — на тот год соберем урожай...

— Виноград?

— Ну, хоть кислый.

Помолчали. Закурили. Мои спутники говорят, что я приезжий и хочу посмотреть здешние колодцы.

— Идемте... Покажу тут один, недалеко...

Хуан широко шагает впереди; один из спутников говорит мне на ухо, что он управляющий.

— Он нездешний. Живет в Альмерии, каждый день ездит на мотоцикле.

Над колодцем выстроена кирпичная башенка. Отперев дверцу, управляющий приглашает войти. Внутри гудит мотор. Колодец окружает дощатая решетка-помост. Я опираюсь на нее и решаюсь заглянуть вниз.

— Эй, мальчик!

— Да?

— Поверни выключатель.

Мальчик зажигает свет. Хуан говорит, что глубина колодца — пятьдесят один метр.

— Много дает воды?

— Посмотрите. Вон какая струя.

Мы выходим, и он улыбается довольной улыбкой. Лет через десять, уверяет он, здесь будет сплошной виноградник. Приглашает меня приехать еще, посмотреть как следует.

Мы уходим, а он идет к рабочим, и мы слышим, как он отдает приказания мальчику.

— Приятель ваш? — спрашиваю я.

— Знакомый...

— Кажется, хороший человек.

— Ничего, симпатичный... Но своего не упустит.

Один из моих попутчиков — тот, который пониже ростом, — говорит, что только у человека появится хоть какая власть — он портится. Все так.

— Ну, не все.

Тот, кто это сказал, напоминает о каком-то Габриэле, который не такой, как все.

— Габриэль один, — говорит маленький. — Сам знаешь, что с ним стало.

— Ну, не в том дело.

— Пойди скажи его жене — послушай, что она ответит.

Мы вернулись к развилке и сворачиваем направо. Вот и первые жилища Нихара, выдолбленные в склоне горы. Дальше дорога опять идет пустырем. До городка еще километра четыре, и мои спутники шагают быстро.

У низенького за спиной котомка. Он рассказывает мне, что вот уже десять лет, как день за днем по утрам и вечерам он проходит этот путь, ни шагу в сторону.

— Говорят, мир меняется, скоро на Луну полетят, а для нас все дни одинаковые...

Его товарищи молчат, мы с ним отстали, он прибавляет шагу и заводит речь о местном климате.

Земледельцам здесь приходится туго. Деревьев мало, и от этого почва очень выветривается. Уровень осадков, объясняет он, тут самый низкий в Испании. Почва каменистая, засухи, и все время дуют сильные ветры. Чтобы уберечь от них солому, крестьянам приходится строить крытые ометы. Эти ветры гонят пыль, а от пыли все болеют трахомой, которая принесла краю печальную известность. Когда же наконец засуха сменяется ливнем (через несколько дней мне довелось увидеть его) — он совсем желтый от скопившейся пыли, прямо грязевой душ.

— Здесь хоть земля родит! — восклицает рассказчик. — А перевалите через горы, попадете в Карбонерас...

— А что там?

— Ящерицы да камни. Самый жестокий край.

Пока мы беседуем, дорога пересекает оливковые рощи. Аккуратно очерченные участки разделены полуметровыми заборами, в промежутках хозяин посеял горох. Пейзаж немного напоминает поля Таррагоны. Чувствуется близость жилья, и, пройдя метров сто, мы выходим на большую дорогу.

Наши спутники ждут нас у километрового знака.

Я немного устал и снова пустил по рукам пачку «Идеалес». За холмом показались дома Нихара. Небо над городком черно от птиц. Мы идем дальше.

## 4

Ощущение дикости и даже неприветливости, возникающее при виде Нихара, исчезает, когда подходишь ближе. Окрестности города невзрачны, но человеческий труд украсил их. По желтым склонам гор разбросаны фруктовые и миндальные сады, а целые рощи олив спускаются к городским окраинам стадом курчавых овец.

Нихар вправлен в один из отрогов горной цепи, и кажется, что его домики удерживают солнечный свет. По дороге едут на ослах торговцы и покупатели с ярмарки. У самого въезда в город стоит бензоколонка; подойдя к ней, мы видим двух гвардейцев с карабинами за спиной — они направляются в Карбонерас.

— Сегодня базарный день,— говорит один из моих спутников. — Это с хуторов едут.

— Что же они продают?

— Все, что есть. Поросят, кур, яйца... А на вырученные деньги купят масла и хлеба, чтобы хватило на неделю. Далеко друг от друга живут — от деревни до деревни несколько километров. Сюда ходят по субботам.

По улице спускаются женщины в черном и цыган верхом на осле.

Дома в Нихаре одноэтажные, беленые, но в отличие от Эль-Барранкете или Лос-Ньетос африканского в них мало. Они напоминают скорее центральную Андалузию или Эстремадуру. Крыты они чаще всего белой черепицей, в отворенные двери видны семейные фотографии, религиозные эстампы, бумажные розы, миски, столики, цветочные горшки.

Вдруг низенький шахтер хватает меня за руку и тащит в один из домов.

— Входите. Познакомлю вас с женой и детьми.

Входят в дом и его друзья. Комната маленькая, квадратная, в ней ничего нет, кроме деревянной скамейки. С потолка свисает липучка для мух, на стене — картинка Диснея.

— Модеста!

Входит женщина с ребенком на руках и, увидев меня, приветливо улыбается. Несмотря на преждевременно увядшее лицо и уже заметную беременность, она еще красива.

— Сеньор из Каталонии... Приехал посмотреть наш городишко,— объясняет муж.

— Очень приятно.

Я говорю, что тоже рад знакомству.

— Может быть, отдохнете немного?

— Спасибо.

— Принеси стул, Модеста.

— Сейчас... Возьми-ка малыша.

Она исчезает за плетеной занавеской и тут же приносит стул. За ее юбку держатся еще двое ребятишек.

— Садитесь.

— Нет, нет, садитесь вы...

— Садитесь, садитесь,— настаивает хозяин, — мы поместимся на скамье.

Мне приходится подчиниться. Модеста и трое мужчин устраиваются напротив. Некоторое время сидим молча. Малыши по-прежнему держатся за юбку матери.

— Сколько им?

— Этому три, а тому четыре. Ну-ка скажите: «Добрый вечер, сеньор!»

Услышав, что говорят о них, дети съежились и закрыли лица ладонями. Я смотрю на самого маленького.

— А ему сколько?

— В апреле полтора стукнуло.

Отец берет его на руки и целует.

— Хорош парень, а?

Ребенок в самом деле кажется крепче братьев. Но я замечаю, что глаза у него тусклые, безжизненные, и Модеста подтверждает мою догадку:

— Он у нас слепенький...

— Да, ничего не видит,— говорит муж.— С самого рождения.

Я спрашиваю: смотрел ли его какой-нибудь врач?

— Ездили мы с ним в Альмерию. Там сказали: надо оперировать.

— В Альмерии?

— Нет, в Барселоне.

- Да, в Барселоне есть хорошие врачи.
- Хорошие или плохие — нам все одно.
- Зачем ты так говоришь! — упрекает женщина.
- Правду говорю. Никто нам на дорогу не даст...

Он баюкает ребенка с удивительной нежностью, отгоняет мух от его лица.

— Живьем едят, беднягу...

— Дай мне его, Хосе, — просит жена. — Он пугается, когда слышит чужие голоса.

С улицы вбегают мальчик лет восьми. У него большие зеленые глаза и черные волнистые волосы.

— Мой старший, — представляет Хосе. — Поздоровайся с сеньором.

— Добрый вечер, сеньор.

Осмелевшие малыши тоже здороваются по примеру брата.

— Опомнились? — говорит Модеста. — Что о вас подумает сеньор?

Дети, смеясь, снова ныряют в сборки материнской юбки.

— Четверо, а пятый в дороге, — поясняет Хосе.

— Наши женщины всегда на сносях, — говорит один из его товарищей.

— В каждой семье по пять-шесть ребят.

— На нашей улице живет одна, у нее тринадцать было...

— Чем семья бедней, тем детей больше.

— Ночи длинные, а мужчинам деться некуда, не то, что в городе.

Трое мужчин обмениваются суждениями под покорным взглядом Модесты. С улицы в дверь заглядывают ребята и смотрят на нас, пуская слюни.

— А ну, пошли отсюда! — кричит Хосе.

Я пользуюсь случаем, чтобы подняться.

— Спасибо, но уже темнеет, а я бы хотел пройтись по городу.

— Что хотите посмотреть?

— Да так. Просто улицы.

— Вы видели главную улицу? — спрашивает Модеста.

— Нет, сеньора.

— Тогда мой сын вас проводит... Антоньико, проводи сеньора.

Зеленоглазый мальчик дружески берет меня за руку.

— Идемте.

Я прощаюсь с Модестой и ее мужем и благодарю их за гостеприимство.

— Сколько пробудете в Нихаре?

— Завтра еду.

— Ну, счастливого пути...

Все высыпают на улицу, чтобы еще раз попрощаться. Мы с Антоньико идем, окруженные тучей ребятишек.

— Не обращайтесь на них внимания, — говорит мальчик. — Прямо с ума сходят, как увидят чужого.

Наше шествие понемногу притягивает к себе любопытных ребят из окрестных переулков. Их уже двадцать пять или тридцать. Все бедно одеты, в отцовских штанах; они не кричат и не шумят, а чинно идут за нами на почтительном расстоянии.

Мы сворачиваем в узкий пыльный переулок и выходим на главную улицу. Это настоящий проспект — асфальтированный, метров в сто длиной. словно желая подчеркнуть его великолепие, Антоньико показывает на шеренгу серебристых фонарных столбов с неоновыми трубками. Я протираю глаза: мне кажется, что это сон, что все это перенесли прямо с модного курорта. Я удивился бы меньше, если бы увидел среди пустыни дом современной архитектуры.

— В прошлом году поставили,— говорит мальчик.— Нравится? Ребята ждут моих похвал, и я не отказываю им в удовольствии.

— Ночью зажигают!

— Наверное, очень красиво.

— Очень! Приходите через два часа — сами увидите.

Дожидаясь вечера, чтобы предстать во всем великолепии, проспект выполняет днем более скромные функции: когда мы уходили, мужчина в сомбреро и крестьянской куртке гнал по асфальту стадо свиней.

— Что вы еще хотите посмотреть?

Я благодарю Антоньико и говорю, что иду в гостиницу. Мальчик мне верит и уходит с остальными ребяташками. Оставшись один, я возвращаюсь к переулку, откуда мы вышли, и по боковым улицам отправляюсь на поиски гончарных мастерских.

Керамика Нихара славится по всему югу. Наравне с керамикой Байлена она считается одной из лучших в Испании. Покрытые лаком, ярко раскрашенные тарелки и миски продаются в Мадриде, Барселоне и Валенсии по цене, которая, несомненно, привела бы в изумление их скромных создателей. В Нихаре за несколько песет можно нагрузить машину самой разной глиняной утварью. В последнее время мастера, кажется, заметили, как выгодно их ремесло, и, рассчитывая на иностранных туристов, покрывают посуду наивным народным узором, а потом продают владельцам машин, проезжающих по шоссе через Лорку, Тотану и Пуэрто-Лумбрерас. Улица, по которой я иду, очень крутая, и сточные воды текут вниз прямо по топкой, глинистой мостовой. Вечерет; у дверей домов сидят люди. По радио гремит песня.

Я спрашиваю, где найти гончара, мне указывают ближайшую мастерскую — низкий темный навес, под которым работают четверо. Под мастерье уплотняет глину, шлепая комки о камень, а мастера на станках придают форму изделиям. В глубине на довольно широкой доске рядами сушатся миски.

Кажется, здесь уже привыкли к любопытным. Станки стоят в ямах, мастера видны по поясу. Они крутят педали с непостижимой быстротой, в мгновение ока комок глины приобретает в их руках форму миски. Они кладут ее на доску и принимают за другую.

— Приезжий? — спрашивает один из гончаров через некоторое время.

— Да, сеньор.

— Вчера вечером к нам немец с семьей заходил.

Одинаковые миски выходят одна за другой из его рук.

— Сколько штук делаете за день?

— Не знаю, не считаем.

Гончар, кажется, неразговорчив. Его миски заполнили всю доску, и ученик уносит их во двор сушить. Я вижу сквозь приоткрытую дверь, как он переливает из миски в миску белую жидкость, похожую на молоко.

— Что это?

— Каолин. Идет для лакировки.

Мастер кончил миску, я протягиваю ему сигареты, и мы закуриваем. Пока другие выбирают из-за станков и стряхивают с рук глину, он объясняет мне, что в городке больше дюжины мастерских и все бедствуют. Тяжелое дело и, надо сказать, дает мало. Чтоб гончаром стать, нужно с детства учиться, а выгода вся другим.

— Работали бы на себя, оно бы окупалось,— вступает в разговор другой мастер.— А так — он верно говорит.

— В других местах станки мотор вертит, а тут жми на педали, и все.

— Знаете, что я скажу? — восклицает мастер.— Лучше тут сидеть по десять часов за девять дура, чем под землей рыться, как кроту.

— Наша работа тяжелая, зато хоть не связан. И не покалечишься, не состаришься раньше времени.

Первый гончар тоже говорит, что ни на что не променяет свою работу. Темнеет, пора закрывать мастерскую, и мы выходим на улицу. Солнце уже зашло за горы, но вершины еще очерчены его светом. После дневного зноя спустилась прохлада.

На углу таверна, мы заходим выпить по рюмке вина. Поговорив про свое ремесло, гончары умолкли. Подмастерье спрашивает меня, остановился ли я в гостинице, и я говорю, что еще ни одной не видел.

— Я тут знаю две-три. На площади будет выгодней всего.

Они уходят, а я еще долго брожу по городку. Двери всех домиков раскрыты, и всюду та же самая безрадостная картина. Я вижу велосипедную мастерскую, склад зерна. На площади играют в камушки ребята, священник беседует со старшиной гражданских гвардейцев. Три кафе, церковь, кино. Кафе набиты, на кино — реклама фильма Висенте Эскирива, а подойдя к церкви, я вижу выцветший плакат: «Пожертвуйте на семинарию!» Я хочу войти, но дверь заперта.

Вдоль ручья едут на осле две женщины с большими корзинами. Они возвращаются с рынка. Я решаю подняться наверх. Вдоль улицы выстроились лавки, и скоро я выхожу на рыночную площадь. Торговцы уже складывают товар в большие корзины. Ослы нетерпеливо ревут.

— Смокву не купите, сеньор?

Старик умоляюще смотрит на меня, но я машинально говорю «нет», а потом уже поздно. Я иду дальше, рассчитывая подойти к нему на обратном пути. Городок больше, чем кажется на первый взгляд, и я не знаю, как вернуться на площадь. Приходится спросить дорогу у какой-то девушки, и когда я снова прохожу рынок, старика уже нет.

Вечером, пока хозяйка гостиницы готовит ужин, я вспоминаю, что Ортега-и-Гассет<sup>1</sup>, иллюстрируя свою знаменитую теорию восстания масс, упоминает о событиях, происшедших в Нихаре 13 сентября 1759 года, когда на троне воцарился Карл III. Он пересказывает старый документ, принадлежавший сеньору Санчесу де Тока, выдержки из которого приводит В. Мануэль Данвила в своей книге «Царствование Карла III»: «...Потом приказали принести напитков для благородной компании. Сеньоры выпили семьдесят бочек вина и четыре бурдюка можжевельной водки. Это так распалило их, что они, не переставая славить короля, направились к общинному зернохранилищу и через окна выбросили из закровов на улицу всю пшеницу и девятьсот реалов из сундуков. Потом они пошли к табачному складу и приказали выбросить деньги, вырученные за месяц, и весь табак. Для вящей пышности они сделали то же самое во всех лавках, приказали выбросить все припасы и вылить все вино. Духовенство действовало с не меньшим рвением, советуя женщинам выбросить из домов всю утварь, что те и делали с превеликим усердием; так что в домах не осталось ни хлеба, ни зерна, ни муки, ни ячменя, ни тарелок, ни кастрюль, ни ступок, ни стульев — ничего не осталось, весь город разорили».

«Великолепный Нихар,— восклицает Ортега,— тебе принадлежит будущее!»

Теперь, после того как я поездил по Испании, я думаю так: то, что произошло два века назад в Нихаре, сейчас творится по всей стране. Только Ортега напрасно иронизировал над местными жителями. Ведь это избранное меньшинство, а не народ бросает деньги на ветер. А народу остается одно — терпеть. И даже если он весело вторит безумствам богатых — как делал в Нихаре, если верить документу сеньора Санчеса

<sup>1</sup> Хосе Ортега-и-Гассет — современный испанский писатель и философ.



де Тока,— честный человек сразу разберется, кто жертвы, кто виновники...

Я думаю об этом и обо многом другом, но хозяйка уже несет миндальный соус с толченым красным перцем, и я принимаюсь за терпкое вино и за еду и забываю обо всем на свете.

Хорошо спится тому, кто плотно поел и знает, что завтра тоже нуждаться не будет и может ходить из города в город, и ни с одним городом не связан, и смотрит по сторонам, словно зритель, не причастный к драме. Это знаю и я, но, когда гаснет свет, думаю о других. Стрелки шествуют по циферблату, а сон бежит от меня.

## 5

Движимый похвальным намерением увидеть восход солнца, я попросил хозяйку разбудить меня на заре, но не встал. Мы, счастливые обладатели свободных профессий, давно забыли, как вставать чуть свет, чтобы заработать на хлеб, и автор этих строк поднимается как раз тогда, когда дети несут жнецам корзинки с обедом.

— Вы опоздали на автобус,— укоризненно заметила хозяйка.— Он давно ушел, а другого до завтра не будет...

Ленивый автор платит за ужин и постель и под неодобрительным взглядом хозяйки идет в первую же парикмахерскую. Если бы нужно было тремя словами описать юг Испании, я сказал бы: парикмахерские, дети, мухи. Все городишки Мурсии и Андалузии стараются, как могут, это подтвердить. Судя по моему опыту, расписание работы южных парикмахерских очень неопределенно. В Гуадисе я насчитал шестнадцать и вошел в семнадцатую чуть ли не в одиннадцать вечера. Здешняя еще беднее. Пока парикмахер намыливает мне щеки, я разглядываю мухоморы, пустые флакончики, бездействующий вентилятор в углу...

— Сколько километров до Лукаинены?

— Так, десять будет.

— А до Карбонерас?

— Километров двадцать семь. Если машины нет...

Я объясняю, что иду пешком, и он говорит, что Лукаинена, Карбонерас и Туррильяс — места неинтересные, вряд ли стоит туда идти.

— Кроме того, вы там не встретите ни души. Лучше сверните к мысу Гата.

— Тоже не близко.

— Да, далеко. Зато поинтересней, чем Карбонерас, и легче поймать попутную машину.

Парикмахер говорит с певучим провинциальным акцентом. После бритья он слегка припудрил мне лицо тальком.

— Сколько с меня?

— Сеньор должен мне шесть реалов.

Солнце уже печет, и, поскольку в воскресенье надеяться на попутный грузовик или хотя бы повозку не приходится, я следую совету парикмахера — иду к мысу Гата.

Я иду по той же дороге, по которой пришел, но у старого входа в город, не доходя до бензоколонки, от которой начинается проселочный тракт, я сворачиваю налево и плутаю среди каменных потрескавшихся стен, пока не выхожу к воротам кладбища.

Справа — горы и горы, до самого горизонта. Слева в дымке — белая равнина, испещренная возделанными участками. На западе плывут лохматые облачка. В оливах трещат цикады. А солнце сверкает в небе над землями Нихара.

Дорога причудливо вьется, от развилки поднимается вверх и, минуя бензоколонку, сбегает к равнине. Двое гражданских гвардейцев стоят

в карауле на горке. Они смотрят, как я удаляюсь от зеленого оазиса, созданного веками безымянного, бессловесного труда, и ухожу все глубже в пустынные, дикие земли, где нет ни людей, ни зелени, ни воды.

Дорога прямая, и кажется, что ей нет конца. Деревьев все меньше. Исчезли последние чахлые оливы, я один среди моря глины, и у меня нет коммаса, только блики солнца на асфальте дороги.

Уже через полчаса ходьбы жара становится нестерпимой. Над горячей равниной вьется дымка. Сонно стрекочут цикады. И даже путник, который на своем севере чахнет и вянет, словно растение без света, и тоскует по солнцу,— смотрит сейчас, нет ли где хоть пятнышка тени, чтобы прилечь.

Тени нет, и я прохожу еще порядочный кусок. Вдали виднеется блестящий кузов автомобиля, стоящего у обочины. До него примерно километр. Шофер расхаживает по асфальту.

Земля темная, тут растут агавы и смоковницы. Большая змея подняла над колючками голову и быстро скрылась. Слева от дороги — деревушка с водоемом. На стене написан дегтем лозунг института: «Больше деревьев — больше воды!»

До машины уже метров триста. Кажется, что шофер, опершись на крыло, ждет именно меня. Вскоре я вижу, что у откоса сидит еще один человек. Среди агав какой-то парень ковыряет киркой землю. Краснокрылая ореховка садится на дикую смоковницу у дороги. Облачка на вершинах гор собираются в скирды. Над равниной дымка. Я иду быстрее.

Это «пежо-403» с парижскими знаками. Владелец его — блондин лет сорока в белой рубашке и в шортах цвета хаки, как путешественник из фильма. Не хватает колониального шлема.

— Pardon, сеньор. Est-ce que vous savez <sup>1</sup>, где воды? — говорит он, когда я подхожу к нему.

— Je ne sais pas, c'est la première fois que je prends cette route <sup>2</sup>.

Он удивленно шурится. По лицу льется пот.

— J'ai oublié de mettre de l'eau dans le réservoir et je suis en panne, — говорит он. — Il n'y a aucune fontaine aux environs? <sup>3</sup>

— Je ne sais pas, mais ça me paraît un peu difficile. De l'eau, ici <sup>4</sup>.

— C'est embêtant. Voilà plus d'une heure qu'on attend et encore on n'a pas vu de boguile <sup>5</sup>.

В окошке машины появилось сердитое женское лицо с облупленным носом.

— Je te l'avais dit quarante fois. Toute cette région-là c'est un désert. Maintenant essaie de trouver de l'eau. Cela t'apprendra à m'emmenner dans des pays pauvres! <sup>6</sup>

— Veux-tu la fermer? <sup>7</sup> — злобно огрызнулся мужчина.

У склона сидит старик в потертом пиджаке. Когда он заговорил, сердце радостно подпрыгнуло у меня в груди: несмотря на широкополую шляпу, затенявшую его лицо, я узнаю старика, предложившего мне вчера на рынке смокву.

<sup>1</sup> Простите... Не знаете ли вы... (Франц.)

<sup>2</sup> Не знаю, я в первый раз иду по этой дороге (франц.).

<sup>3</sup> Я забыл налить воду в бак и теперь застрял... Тут нет где-нибудь колодца? (Франц.)

<sup>4</sup> Не знаю. Мне кажется, тут с водой трудно (франц.).

<sup>5</sup> Вот досада. Больше часа жду и ни одной повозки не видел (франц.).

<sup>6</sup> Сорок раз тебе говорила: здесь пустыня! Теперь ищи воду. Увидишь, как меня таскать по нищим странам! (Франц.)

<sup>7</sup> Ты можешь помолчать? (Франц.)

— Объясните. ему, что за два километра отсюда есть колодец,— говорит он, явно не узнавая меня.

— Il dit qu'il y a un puit à deux kilomètres d'ici <sup>1</sup>.

— De quelle côté? <sup>2</sup> — спросил француз.

— Куда надо ехать?

Старик встает, и я вижу его усталые синие глаза — такие, как вчера, только сегодня они ни о чем не просят.

— Видите тот холм за смоковницами?

— Да.

— По ту сторону есть деревня. Там вода.

Я перевожу. Турист открывает дверцу машины.

— Il paraît qu'il y a un puit là bas <sup>3</sup>.

Женщина делает вид, что не слышит, и яростно обмахивается газетой.

— Au revoir <sup>4</sup>,— говорит нам турист.— Спасибо.

Старик и я вместе идем по дороге. Солнце палит. Мой спутник несет на руке огромную корзину.

— Вы очень хорошо говорите по-испански,— говорит он немного погодя.

— Я испанец.

— Вы?

— Да, сеньор.

Старик смотрит на меня так, словно я пошутил.

— Нет, вы не испанец.

— Почему?

— Вы француз.

— Я говорю по-французски, но я испанец.

Старик глядит по-прежнему недоверчиво. Для наших южан культура — исключительное преимущество иностранцев. Француз, говорящий на десяти языках, удивит их меньше, чем испанец, кое-как лопочущий по-французски.

— Смотрите,— говорю я, опуская руку в карман.— Вот паспорт. Читайте. Национальность: испанец.

Старик смотрит на паспорт и возвращает его мне.

— А где вы живете?

— В Париже.

— Вот видите! — торжествует он.— Значит, вы француз.

— Испанец я!

— Ладно, парижский испанец.

Его решение непререкаемо, и я отказываюсь от спора. Несколько минут мы шагаем в молчании. Дорога перед нами кажется бесконечной. Корзина прикрыта мешком, и я спрашиваю, не осталось ли в ней смоквы.

— Смоквы? Откуда вы знаете?

— Вчера вечером вы были в Нихаре?

— Да.

— Кажется, я вас видел на рынке.

— Так чего ж вы спрашиваете, осталось у меня или нет? — Он останавливается и смотрит на меня почти гневно.— Сколько угодно. Берите, все вам дарю.

— Я не для того...

<sup>1</sup> Старик говорит, что в двух километрах есть колодец (франц.).

<sup>2</sup> В какой стороне? (Франц.)

<sup>3</sup> Кажется, там есть колодец (франц.).

<sup>4</sup> До свидания (франц.).

— Берите, говорю. А не понравится — плюньте. Я не обижусь.

Он откидывает мешок. Корзина полна до краев.

— Пятнадцать дюжин. Берите даром.

— Спасибо, я...

— Нечего благодарить. Никому они не нужны. Моя жена лежит, лихорадка у нее. Денег нет. Что делать? Собрал смокву — и в город... Вот старый дурак! Люди больше любят, когда у них прямо милостыню просят.

Старик говорит хрипло, медленно роняет слова. Потом оборачивается ко мне.

— Вы умеете их резать?

— Да.

— Тогда отойдем в сторону. Я дам вам вилку и нож.

— Сейчас?

— Да, сейчас. Может, они нагрелись на солнце. Ну, все равно. Холодные тоже никому не нужны.

У края дороги стоит желтая, рахитичная смоковница. От нее падает слабая тень. Мы садимся на землю, и старик протягивает мне нож и вилку.

— Ешьте сколько влезет. Все равно выбрасывать.

Я говорю, что его смоквы на вкус не такие, как в Каталонии. Старик молча смотрит на свои руки.

— Эти я больше люблю. Они вкуснее.

— Вы это из любезности. Спасибо.

— Нет, что вы. Сушая правда.

Ножом я срезаю концы и взрезаю корку посередине. Утром я выпил только чашку плохого кофе и теперь замечаю, что голоден.

— В детстве, дома, мы их дюжинами ели.

Старик смотрит, как я ем, и не говорит ни слова.

— Отец запрещал нам есть сразу и смокву и виноград... Говорил, косточки в желудке перемешаются и будет понос.

Старик внимательно рассматривает руки.

— У меня два сына в Каталонии, — говорит он.

Монотонная музыка цикад приглушает слова. Солнце над равниной сверкает, как огненный ком.

— Когда мы были молодые, жена хотела много детей. Думала, бедняга, в старости будем не одни. И вот, сами видите. Как будто никого у нас и не было.

— Где же они?

— Уехали. В Барселоне, в Америке, во Франции... Ни один после службы не вернулся. Сначала писали, карточки посылали и денег... Потом женились и забыли нас.

Старик устало улыбается. Его синие глаза сразу словно выцвели.

— Самый старший был не такой, как эти...

— Не такой?

— Нет. Он с детства про других думал. Не только про нас с матерью, а обо всех таких нищих, как мы. В наших краях люди рождаются, живут, помрут, а о жизни своей и не думают. А он думал. У него идея была. Мы с матерью это знали и любили его больше других, понимаете?

— Да.

— Когда война началась, он сразу ушел воевать за эту свою идею. Его не тащили силком, не то, что других. Сам пошел. Потому мы за нем и не плакали.

— Он погиб?

— Снарядом разорвало в Гандесе.

Мы молчим, старик смотрит на меня, но глаза его пусты. Ветер гонит по равнине маленькие смерчи пыли.

— В ваших местах, наверное, дожди. Всегда хотел уехать туда, где бывают дожди. А теперь... Тверда стала тростинка для свирели.

Слова выходят с трудом из его губ, он безучастно смотрит по сторонам.

— Столько лет тут живу, а здесь ни капли не выпало.. Мы с женой каждый год сеяли ячмень как дураки, каждый год чуда ждали.. А потом в одно лето все посохло. Пришлось зарезать скотину. Осла купил после войны — сдох. Вы себе и представить не можете, что это было..

Долина вокруг нас курится от зноя. В сторону Нихара, каркая, пролетает стая ворон. Небо по-прежнему нестерпимо синее. Трескотня цикад сливается в гул какого-то протеста; и кажется, что он идет из самой земли.

— Мы смоквой живем. Наша земля больше ничего не родит. Только смоквой желудок и набиваем. Сколько вы съедали, говорите?

— Не помню.. Несколько дюжин.

— Мы их сотнями едим. Прошлый год, перед тем как жена заболела, я ей говорил: «Ешь сколько я, может, лопнем в конце концов...» Только у нас, у бедняков, крепка кишка.

Кажется, ему действительно плохо. Я вижу, что он хочет встать, и тоже встаю.

— Почему вы их продаете? — говорю я.

Старик выбрасывает смокву на землю и смотрит на свои ноги.

— Я их вам не продал. Подарил.

Я неловко вынимаю из бумажника деньги.

— Милостыню мне подали, — говорит старик краснея.

— Это за смокву.

— Она ничего не стоит. Лучше я попрошу у вас, как другие.

Мимо с грохотом проезжает мотоцикл. Старик протягивает руку:

— Подайте, Христа ради!..

Раньше, чем я успеваю ответить, он берет деньги и, не глядя на меня, идет по дороге, прямой, с корзиной на плече.

## 6

После Венты-де-лас-Кантерас дорога огибает голые отроги гор. Волны Сьерры-Аламиллы теряются у горизонта, как море. Время от времени через дорогу стремительно, словно удирая от гончих, перебегают заяц и ныряет в заросли ежевики. Тут хорошие места для охоты, и наверху, над самой пропастью, я замечаю прижавшийся к скале охотничий шалаш.

У развилки, откуда отходит дорога на Родалькилар — там, где вчера мы проезжали с Санлукаром, — пейзаж уже совсем африканский: голые каменные гряды, желтый песок оврагов и, словно резкие мазки кистью, светлые пятнышки цветов. После полуторачасовой ходьбы я начинаю уставать. На дороге ни души. Ветер, и мне кажется, что откуда-то из пустыни доносится пень молотилки. Это, конечно, обман слуха: я останавливаюсь — и снова тишина. Дорога к мысу Гата начинается недалеко от Эль-Алькиана, и я иду напрямик. За песками на юге уже ощущается дыхание моря. Равнину пересекают тропинки, полустершиеся, как ложный след. Я иду по одной, теряю ее, возвращаюсь. Наконец я выхожу на проселочную дорогу и спускаюсь в овраг, усыпанный камнями.

При моем появлении с громким карканьем взлетает стая ворон. На склоне лежит какая-то падаль, и от зловония невозможно дышать. Я ускоряю шаг, но по камням идти трудно. Вокруг — ни кустика, ни смоковницы, ни кактуса. Только упрямое синее небо, и солнце кидается на тебя, как бешеный бык.

Прохожу еще метров сто и начинаю подниматься по склону. Сверху хорошо видна равнина, и дышать, кажется, легче. Камней много и тут; замечаю несколько змей. Ноги у меня болят, но я не останавливаюсь. Когда же появится море?

По боковой тропке идет какой-то человек с котомкой. Я останавливаюсь, поджидаю его.

— Добрый день.

— Добрый день.

— Скажите, пожалуйста, какая дорога к мысу?

— «Пожалуйста» ни к чему... Вы как раз на ней стоите.

Человек с любопытством разглядывает меня. У него трахома, глаза узенькие, как петельки.

— Откуда идете?

— Из Нихара.

— Жарко, а?

— Да. Очень.

Я предлагаю ему закурить, и мы идем рядом. Он прихрамывает.

Тропка огибает поле агав, и внезапно мы оказываемся на шоссе.

— Мы к жару привыкли, а вот приезжие...

— Вы здешний?

— Живу недалеко, в Торре Гарсиа. Знаете?

Когда я сказал, что не знаю, он обиделся.

— Это место все знают. Десять тысяч лет назад там явилась рыбакам морская святая дева...

— Давно!

— Да. Теперь она покровительница Альмерии. Туда каждое лето съезжается много народу на праздник.

Мы проходим еще один овраг. У дороги — возделанная земля, и мой спутник показывает пальцем на засеянные клочки.

— Видели?

— Да.

— Ячмень пошел в стебель...

— Почему сеют только у дороги?

— Вы не ходили в Эль-Алькиан?

— Ходил. Там тоже так.

— Нам выделяют участки по краям дорог, — объясняет он. — Разрешите представиться: Фелисиано Хиль Ягуэ, дорожный мастер...

— Очень рад.

— И я рад.

Я вспоминаю рабочего с родалькиларской дороги и спрашиваю, не знакомы ли они.

— Его еще Тигром прозвали.

— А, Родегарио... Очень хороший человек. Жаль только, что пьет.

— Да, мне говорили.

— Тут у нас очень не любят, когда кто пьет. А что поделаешь? Человек старый, никого у него нет...

— Да, конечно.

Фелисиано рассказывает, что сам он вдовец, у него четверо детей.

— Старший скоро пойдет в армию. Он в два раза выше меня.

— Все дети живут с вами?

— Да. Каждый работает на себя, а живем вместе в Эль-Алькиане.

— Я там вчера был.

— Будете еще — обязательно загляните. У меня дочка очень красивая, глаза — во какие!

— Спасибо.

— У них у всех глаза хорошие. Не подумайте, что пошли в отца.

— Нет, что вы...

— С детства болею. И брат тоже. Нас обоих не взяли на военную службу.

Мы идем, и он рассказывает, как местные парни, чтобы избежать призыва, втирали в глаза пыль и сухую горчицу. Врачи думали, что это трахома, и браковали их.

— Один парень, Эулохио, втер себе столько пыли, что ослеп.

— Он жив?

— Умер. И знаете как?

— Нет.

— Грузовик задавил у самого города. Девять дней умирал!

Фелисиано рассказывает обо всем спокойно, даже с каким-то наслаждением.

— Здесь вообще много несчастных случаев.

— Да?

— В прошлом месяце у моей соседки свинья отгрызла голову ребенку... Все газеты писали.

Он подробно описывает, как это было, а я думаю, что, вероятно, жителям Альмерии этот горький юмор облегчает жизнь. Однажды в этих же краях мне довелось посмотреть бродячих комедиантов. От их мрачных шуток над нищетой и смертью содрогнулся бы житель любой другой страны, но здесь они вызывали бурное веселье. Фелисиано — порождение той страшной Испании, которую живописали Гойя и Валье-Инклан, — рассказывает свои истории, а красные глазки лукаво поблескивают, щель беззубого бледного рта растянулась в улыбке.

— Вы читаете «Эль Касо»?

— Иногда.

— Там была фотография этого ребенка.

Дорога идет между участками, огороженными колючим кустарником. У дороги канава, грядки еще влажные. Мы приближаемся к деревне. Кажется, она большая; пальмы и шум воды придают ей романтический вид оазиса.

— Ну вот, — говорит мой спутник. — Мы пришли.

— Куда?

— В Торре Марсело. Вы идите прямо и скоро будете на мысе Гата. Я остаюсь здесь.

Я прощаюсь с Фелисиано, обещаю, что, если буду в этих краях, найду познакомиться с его детьми, и долго смотрю, как мелкими шажками он идет по залитому солнцем гумну. Ослик тоже смотрит на него из окна конюшни, а собаки, скуля, бегут к нему, прыгают, пытаются лизнуть его руки.

Дорога бежит вдоль шеренги эвкалиптов и, следуя линии оросительного канала, пересекает сады, где растут пальмы, оливы и фруктовые деревья. Дует соленый ветер — предвестник моря. Снова сухая земля. Полчаса я иду по прибрежной равнине, и вот возникает Сан-Мигель на мысе Гата.

Путешественник снова вспоминает Африку. Дома квадратные, белые, похожие на маленькие крепости. Ветер сечет берег альмерийского залива, и защитный барьер смоковниц сдерживает пески.

Решаю не заходить в поселок и обхожу его садами. Моря не видно, я настойчиво ищу его и наконец через десять минут сбрасываю одежду и кидаюсь в воду.

Через несколько минут голод все же заставил меня направиться в селение. Его дома отвернулись от моря, и задние стены подвергаются постоянному натиску песка. Черными жуками лежат на берегу лодки,

шлюпки, боты, баркасы. На мысе Гата, как в Мотриле, ставят сети от самого берега.

Недалеко от моря стоит полуразрушенная, но красивая башня, построенная, видимо, несколько веков назад для защиты от пиратских набегов. пляж огромный, очень чистый. Метрах в пятистах от берега покачивается судно, ожидая погрузки. Здесь добывают соль. Дальше, на горизонте, резко и внезапно возникают утесы.

В селении за мной бегут любопытные дети — худенькие, смуглые дети юга, кудрявые, большеглазые, полукарлики-получертенята. Они размахивают руками, голоса у них певучие, и недетская печаль освещает их жадные, хитрые мордочки.

— Таверну ищите?

— Да.

Они окружают меня, спорят, дергают за рукав.

— Сюда...

— Нет сюда.

— Вы француз?

— Здесь один человек говорит по-французски.

— Я испанец.

— Испанец! — подхватывает хор голосов. — Испанец, испанец!

Самые проворные убегают, чтобы разнести новость, и вновь встречают меня у площади.

Таверна — такой же дом, как и остальные, белый снаружи, прохладный внутри. Здесь есть бар, ящики с пивом, бочка вина и цветной календарь на стене.

— Сюда, — торжествуя говорят дети.

Хозяин оказался молодым человеком приятной наружности, в джинсах, в полотняной рубашке. Ребятишки подводят меня к нему и застывают в ожидании.

— Вы можете покормить меня?

— Смотря, что вы хотите.

— Мне все равно. Что есть.

Хозяин говорит, подбоченясь:

— У меня есть хлеб, маслины, помидоры, лук, жареная рыба...

— Хорошо...

— Есть и консервы, если хотите...

— Нет.

— А выпить?

— Пол-литра красного...

Хозяин ведет меня в столовую. Как и в Родалькиларе, там стоит один стол. Когда мы подошли, за ним ели салат двое мужчин лет сорока.

— Приятного аппетита.

— Спасибо.

Мои сотрапезники оказываются словоохотливыми и сразу заводят беседу.

— Вы здешний?

— Нет.

— Мы тоже. Ремонтируем тут мотор для рыбацкого судна. Село на мель в прошлом месяце.

— Где?

— Напротив соляных копей. А поесть ходим сюда, на коях ничего нет.

Того, кто справа от меня, зовут Виторино Фернандес. Он из Картагены, жил там в квартале Консепсьон и рыбачил, прежде чем стать механиком. Второй говорит, что он из Аликанте. Я запомнил только его фамилию — Карратала.

— Я знаю весь юг и восток Испании, — говорит Виторино. — От Пор-



тугалии до мыса Креус. У моего отца была лодка. Там я научился ремонтировать моторы.

Я вспоминаю рыбацьи села этих мест — Масаррон, Агилас, Сан-Хавьер, Лос-Алькасарес.

— Вы там бывали?

— Проездом.

— Хорошая рыба в лиманах, а?

— Да.

— Видели, как ее ловят?

— Видел.

Виторино — гурман; когда он говорит о еде, его глаза блестят и кажется, что у него текут слюнки.

— Ну и готовят же в тех местах! Я всегда говорю: такой тушеной рыбы во всем мире нет.

Карратала проклинает судьбу, забросившую их сюда.

— Выйдешь вечером на улицу — ни души. Все закрыто. Чтобы повеселиться, надо ехать в Картахену.

— Или в Малагу. Мы с ним в апреле там чинили моторы. Вот это жизнь!

Хозяин подает мне салат, лук, помидоры и маслины. Моим собеседникам он принес целое блюдо жареной рыбы.

— Вы не слышали, что здесь было вчера? — спрашивает он. — Американцы с корабля затеяли драку...

— Не слыхали, что они сделали?

— Приехали втроем на такси из Альмерии, накачались, как бурдюки, и не хотели заплатить шоферу... Сказали, что нет денег. Шофера я знаю: здоровый детина, дьявол, недаром его прозвали Тарзаном! Избил всех троих, раздел, отобрал часы и все прочее...

— Когда это случилось?

— Не знаю. Часа в четыре, в пять. Утром Хулио видел двоих, валялись на пляже. Говорят, были совсем голые. Третий поплыл на корабль.

Хозяин пошел за бутылкой вина, а мои сотрапезники обрушились на американцев.

— Понаехали, думают, могут делать все что угодно! В Аликанте мусорщика избили, сволочи!

Виторино спрашивает, не учился ли я в университете. Я отвечаю утвердительно, он откашливается и заводит речь о Барселоне, о Мадриде и о студентах, приезжавших работать на верфи во время каникул.

— Хорошие ребята, — говорит он. — Интересно было послушать. Может, вы их знаете?

Хозяин приносит мне рыбу, вино и маленькую дыню, вкусную на вид. Он пробует ее и делит на три части.

— Ну как? — спрашивает Виторино.

— Первый сорт.

Сидя вчетвером, мы говорим о самых разных вещах и так разволновались, раскричались, что хозяину приходится закрыть дверь. Когда я выхожу, мальчишки все еще ждут меня на площади, считают ворон. Я протягиваю руку трем новым друзьям и направляюсь к маяку.

Дорога вьется вдоль кромки прилива. Позади остались домики, руины башни, смуглые тощие дети. Солнце уже не так печет, и ветер прохладный. В море ждет погрузки корабль из Панамы.

Через двадцать минут я вхожу в поселок у соляных копей. Дома лепятся один к другому теснее, чем на мысе Гата. Новая серая церковь, одинокий крест в память погибших рыбаков, и снежно-белые горы соли. Пахнет окраиной большого города, поселок разбросанный, без всякого плана.

Дорога, открытая солнцу и ветру, идет через копи и через пляж. Внезапно возникает громада скал. У их подножья через четверть часа пути открывается третий поселок — Ла-Фабрикилья, такой же нищий и печальный, как те два. Улицы кишат голодными собаками, дети возятся в грязи.

Мне хочется выпить, и я захожу в бар. Залпом опрокидываю рюмку анисовой настойки. Последние лачуги поселка подходят к горам. В склонах гор виднеются грязные пещеры. Какой-то мужчина карабкается к ним с ребенком на руках. Я поднимаюсь к маяку, пейзаж меняется. Горы обрываются к морю, волны яростно бьют о скалы.

Дорога набирает высоту, горизонт отодвигается. Солнце светит, но уже не греет. Течения расцвелили полосами синюю неподвижную гладь, и прибрежные скалы, украшенные пеной, точно моржи, высовываются из воды.

Горы темно-желтые, голые. Тут ничего не растет, кроме крохотных пальм, из которых здесь делают веники и циновки, а вкусную белую мякоть едят.

Я иду еще полчаса по извилистой дороге, и вдруг передо мной предстает маяк мыса Гата — один из красивейших маяков мира. Горы совершенно отделяют его от земли, море бичует день и ночь, а он стоит — одинокий, грубый — напротив мавританского берега, как верный часовой, оберегающий от крушений, оберегавший от нашествий.

Я с грустью думаю, что это место могло бы стать достопримечательностью страны, и печально смотрю на узкую дорогу, извилистую и пыльную, по которой трудно проехать; самое смешное, что сюда, как я прочитал, «запрещается въезд на частных машинах без специального разрешения».

Кроме смотрителя маяка и его семьи, тут обитают только гвардейцы, которые слоняются по берегу метрах в ста, и шведы, муж и жена, — они приехали в такси несколько месяцев назад с белокурым синеглазым ребенком, брезентовой палаткой и швейной машиной.

— Do you speak English? <sup>1</sup>

— Нет.

— Parlez-vous français? <sup>2</sup>

— Нет.

— Parlate italiano? <sup>3</sup>

— Нет.

Беседа невозможна, и мы довольствуемся улыбками. Один из гражданских гвардейцев, слоняющихся по берегу, говорит мне, что муж — любитель подводной охоты, которая здесь очень хороша.

Возвращаясь в городок, я думаю, что шведы, наверное, немного сошли с ума, если решили забраться сюда, так далеко от родины. Вечером я поделился этой мыслью с хозяином таверны, глаза у него заблестели, и он сказал:

— Конечно, сумасшедшие. Больше, чем вы думаете.

## 7

Между мысом Гата и Гарручей почти сотня километров берегом. Дикое, пустынное место, иссеченное ветрами зимой, выжженное летом, неизведанное и удивительно красивое: тут есть и скалы, и островки, и бухты, и утесы. Песок нежно струится сквозь пальцы, море приглашает поплавать.

<sup>1</sup> Вы говорите по-английски? (Англ.)

<sup>2</sup> Вы говорите по-французски? (Франц.)

<sup>3</sup> Говорите по-итальянски? (Итал.)

На этом берегу раздолье для любителей одиночества. Туристы не забираются дальше Гарручи, испанцы сюда не приезжают, и только изредка богатые французы и американцы на собственных яхтах или любители подводной охоты вроде шведов посещают эти места.

Береговое шоссе согласно проекту обрывается у Мохакара, и чтобы добраться до прибрежных селений — Сан-Хосе, Эскуйос, Ла-Ислета, Эрмита-де-Родалькилар, Лас-Неграс, Агуас Амаргас, Карбонерас, — надо ехать по местной дороге, соединенной с ними уймой проселков, расходящихся от Нихара и от развилки, как пластинки веера: чем дальше, тем больше расстояние между ними.

Я начал третий день путешествия, заранее разработав маршрут.

Мне всегда казалось, что поговорка: «Кто рано встает, тому бог подает» — рассчитана на дураков; и этот рассвет на мысе Гата укрепил меня в моем мнении. По площади уныло бродили худые, плохо одетые тени, и по пути к соляным копиям мне пришло в голову, что автор поговорки всю жизнь вставал в одиннадцать (именно в этом часу встают любимцы судьбы). По-видимому, он просто пошутил.

Хозяин таверны сообщил мне, что у Архимиро, который каждое утро ездит от соляных копей до Насарено, есть повозка.

— Скажите ему, что вы друг Габриэля, кабатчика, и он вас довезет до Бока-де-лос-Фрайлес. Оттуда до Сан-Хосе рукой подать.

Архимиро жил на окраине. Я поплутал немного и столкнулся с ним. Когда я передал ему слова Габриэля, Архимиро — некрасивый добродушный парень — запряг мула, поднял с земли корзины и пригласил меня в тележку.

— Значит, вы приятель Габриэля, — сказал он, когда мы отправились в путь. — Как у него дела?

— По-моему, неплохо.

— А как жена?

— Кажется, тоже ничего.

— Вы жили у него, когда была эта история со шведкой?

— Нет.

— У маяка тут живут, с ребенком.

— Да, я их видел.

— Так вот: шведка связалась с Габриэлем, а его жена застучала их на пляже и устроила черт знает что...

Архимиро лукаво улыбается, показывая большие испорченные зубы.

— Да, так оно было. А швед до сих пор ничего не знает.

Повозка, на которой мы едем, грубая, маленькая. Бортами ей служат две доски, к ним для прочности приделаны автомобильные крылья. Оглобли покрашены в красный цвет. Когда колеса застревают в колее, мул останавливается и Архимиро приходится стегать его кнутом.

Навстречу часто попадают рабочие соляных копей в больших шляпах, в коротких штанах. Они похожи на птиц: кажется — вот-вот взлетят. Солнце палит их целый день, но они, наверное, привыкли. Многие одеты в сплошные лохмотья. Отвечая на приветствия Архимиро, рабочие едва шевелят губами.

Оставив позади копи, дорога вьется у подножья гор.

Земля темно-желтая; мы едем по полю. Пустоши, поля под паром, посевы ячменя, пшеницы. Чтобы не истощать почву, земледельцы придерживаются многопольной системы и после жатвы дают земле отдохнуть.

— На прошлой неделе вон там разбился мотоциклист.

Архимиро рассказывает, что на одном хуторе недалеко от Альбарикокес были танцы и хозяин мотоцикла, его приятель, возвращался навеселе.

— Когда бывает праздник, обязательно несчастье случится.

— Отчего?

— Здесь люди не танцуют в обнимку, как в городе. У нас принято играть фанданго. Женщины пляшут, а мужчины поют, прямо на ходу сочиняют: кто, мол, самая красивая или кого он любит. Еще недавно так всякое сватовство начиналось. Только грубые у нас ребята. Выпьет лишнего и полезет к людям: «Ты, мол, вор, а ты врешь, а у тебя отец такой-сякой...» Ну и до ножей доходит.

День обещает быть жарким. Солнце медленно поднимается над вершинами, и пейзаж окутывается дымкой. Ячмень у дороги не шелухнется, ветра нет, не то что вчера.

— Дождь будет,— прищурившись на вершины, говорит Архимиро.— Когда тут на скалах тучи, небо хмурится...

— Надо бы,— говорю я.— Сколько времени уже не было дождя?

— Не помню, несколько месяцев. Алькальд<sup>1</sup> сказал недавно, если и дальше так будет, придется устроить крестный ход.

Долина большая, почва тут красная. Архимиро называет мне каждую гору, каждый кустик. Слева — поле сникшей пшеницы; повозка скрипит на дорожных ухабах.

— Чьи это поля?

— Дона Хосе Гонсалеса Монтойя. Весь Сан-Хосе его, и поселок у мыса тоже.

Архимиро понизил голос. Я тоже невольно говорю тихо. Мул тащит нас по равнине, а мы откровенничаем, пока в пылу не доходим до крика. Истории все одни и те же, и в конце концов мы умолкаем.

Солнце завладело всем вокруг, оно торчит вверх рожим козлом. Воздух неподвижен. Земля дымится. В тишине долины скрипит наша повозка. Мы единственные люди на много километров вокруг, и пестрая, точно резиновая, ящерица, высунувшись из расщелины, осторожно разглядывает нас. Примерно через полчаса земля снова желтеет, и Архимиро говорит, что мы приближаемся к копам.

— Копи? Какие?

— Свинцовые.

— Эксплуатируются?

— Нет. Зброшены.

Он рассказывает, что еще до его рождения область процветала. Между Бока-де-лос-Фрайлес и Сан-Хосе было с полдюжины свинцовых и марганцевых шахт, и людям не приходилось эмигрировать в поисках чечевичной похлебки. Но в начале века иностранные компании уволили много народу, и шахты закрылись.

— Спросите стариков, они вам скажут. Сан-Хосе был в два раза больше.

Я вспоминаю Гарручу, ее заброшенные заводи и думаю, что кризис на шахтах — распространенное явление в Альмерии. По всей провинции об этом говорят, как об истинном бедствии. Кажется, вся история делится тут на две эпохи — пору богатства и пору нищеты, разделенных катастрофой тех лет. Я слышал много объяснений: беззаботность правительства, устаревшие методы проходки, конкуренция каталонцев, — но ни одно не удовлетворило меня вполне; и, надеясь, что более сведущий человек когда-нибудь объяснит лучше, я приглашаю любопытных объехать старые шахтерские центры края, посмотреть на развалившиеся дома, пустые площади, заброшенные галереи и колодцы шахт.

— Ну, вот вы и приехали. Пройдете немного направо и через полчаса, даже меньше, будете в Сан-Хосе. А мне налево, к Насарено...

<sup>1</sup> Алькальд — сельский староста.

Мул остановился у поворота, я прощаюсь с Архимиро и прыгаю с повозки. Тут похоже на Альбарикокес; земля темная, растет ячмень, гуайули, смоквицы. Бока-де-лос-Фрайлес слева от дороги. Это крохотная деревня, в ней с дюжину квадратных белых домиков. Я вижу крытые колодцы, пальмы, женщин на осликах. На первом плане, по краю кювета, растут недавно подрезанные агавы.

Около девяти утра, но солнце печет, как в полдень. Тропа полого идет вниз. Горы, словно гигантское животное, легли между равниной и морем и заслоняют горизонт своим высоким загривком, крутыми боками, гладким хребтом. Спустя четверть часа — на этот раз справа — показался еще один поселок, Посо-де-лос-Фрайлес. Тут есть школа, и кажется, он больше, чем те три.

На краю дороги осел с завязанными глазами крутит ворот. Из колодца медленно вылезает бадья, вода выплескивается в большое цементованное корыто. Снова навстречу мне выбегают дети, оповещая матерей криком: «Чужой, чужой!» Женщины выглядывают из дверей, все чего-то ждут.

Мальчишки бегут за мной, следя за каждым жестом. Навстречу идет человек, читающий газету, и дети шепотом сообщают, что это алькальд.

— Сколько еще до Сан-Хосе? — спрашиваю я у них.

— Шесть часов, — говорит один.

Остальные протестуют, толкают его, и в шуме голосов я так ничего и не понял толком.

— До свидания, ребята!

— Уходите?

— Да.

— Больше не вернетесь?

— Может быть, потом.

Ребята смотрят мне вслед. Самые маленькие совсем голые, а на одном — беленьком, очень красивом — старый пиджак, длинный, как пальто.

Дорога все еще идет вниз. По краям — огороды и посевы ячменя. Трое мужчин закладывают листья агавы в специальную машину, и волокно падает на циновку. Когда я прохожу, все желают мне доброго утра. Я иду по ущелью. Еще сто метров — и за темной полосой песка возникает море. Береговой ветерок качает тростники. Справа на холме — Сан-Хосе.

Это печальное селенье, обдуваемое всеми ветрами. Тут много пустых домов. После закрытия шахт Сан-Хосе не оправился от удара и, подобно многим селениям Испании, живет болезненными воспоминаниями о былом своем блеске. Приезжего давят здесь обреченность и запустение. Больше, чем в других местах провинции, люди потеряли вкус к жизни. Мужчины и женщины двигаются почти как автоматы, а повстречавшись с приезжим, недоверчиво смотрят на него и прибавляют шагу.

В Сан-Хосе есть школа, построенная по проекту, общему для всей округи. Прохожу мимо нее, замечая, что она пуста. Церковь бедная, но в ее убранстве есть какая-то прелесть. На площади дремлет автобус, проходящий ежедневно тридцать шесть километров, отделяющих селение от Альмерии. Я иду дальше над свирепым, кудрявым морем и дохожу до казармы гражданских гвардейцев, прочно стоящей на скале.

Я иду не больше двадцати минут и выхожу из селенья. От ходьбы я сильно вспотел и, пройдя посевами кукурузы, направляюсь на берег выкупаться.

Море здесь не такое хорошее, как в бухте Альмерии. Растянувшись на песке, я смотрю в полусне на одну из сигнальных башен, построен-

ных в прошлом веке, незадолго до изобретения телеграфа. Символом наших новшеств, всегда приходящих с опозданием, стоят они по всему средиземноморскому побережью страны.

Потом я поднимаюсь на шоссе, которым пришел, и у Посо-де-лос-Фрайлес сворачиваю направо. Через несколько минут я вижу машину. Поднимаю руку, и шофер резко тормозит.

## 8

— Куда вы?

В заднем окошечке машины появилось худощавое, резкое лицо пожилого мужчины. Темно-зеленый костюм, полосатая рубашка, черный галстук.

— Туда, куда вы.

— Это дорога в Эскуйос. Знаете это место?

— Нет, сеньор.

— Тогда садитесь. О цене договоримся.

Водитель открывает дверцу и приглашает меня сесть сзади. Машина трогается.

— Вы нездешний?

— Да.

— Очень живописная область. Увидите. В прошлом году показывал одним французам, они были в восторге. Познакомились в Венте Эри-танье.

Водитель внимательно разглядывает меня в зеркальце. Он рыжий, конопатый, с густыми бровями и темными глазами навывкате. За всю поездку он не произносит ни слова.

— Была бы дорога получше, туристы налетели бы сюда, как мухи. Это побережье куда красивей, чем в Малаге, а жизнь значительно дешевле, чем там. За три тысячи песет можно приобрести рыбацкий домик. Люди уезжают, можно купить почти даром.

Цикады трещат как оглашенные. Грунт каменистый, и машина непрерывно подпрыгивает.

— Я меньше, чем за десять лет, приобрел здесь целую деревню. Покажу я вам ее. Она после Эскуйоса.

Дорогу пересекает стадо овец. Пастушок похож на щенка, только что отнятого от матери. В нем нет и метра роста. И уже зарабатывает на жизнь...

— Здесь ребята с семи лет начинают работать,— комментирует мой сосед.

— Они не ходят в школу?

— Родители не пускают, и правильно делают. Голод скорей научит.

Машина удаляется от стада и печальной фигурки маленького пастуха, а мой сосед изливает душу, жалуясь на бескультурье андалузцев.

— В Кастилии и на севере люди культурней, знают цену вещам. Здесь не то. Появятся деньги — сразу тратят. Чем беднее, тем щедрее.

Потом он спрашивает, откуда я. Называю Барселону, он сладко улыбается и становится фамильярно доверчив. Он был там с покойной женой в двадцать девятом году на Международной выставке.

— Какой город! Я всегда мечтал еще раз там побывать. Ах, если бы не проклятые дела!

Пот заливает ему лицо, он оттирает его платком. В окошко дует горячий ветер.

— Здесь говорят, что каталонцы жадные. Это от зависти. Каталонцы умеют работать и знают цену деньгам. А вот местные... Как встречу щедрого человека, сразу понимаю, что бедный...

Он смотрит на меня и улыбается, и я тоже смотрю на него и тоже улыбаюсь.

— В тридцать шестом году я хотел поехать в Барселону, но беспорядки помешали. Подумайте, у меня уже был билет на руках!

Жара ест пшеничные поля, как голодный грызун, а сосед рассказывает мне о зверствах красных и о гонениях, которые он претерпел во время войны.

— Вы, молодые, не можете себе представить, что тогда творилось. Тюрьмы были полны — помещики, священники, политические деятели. Самого епископа Альмерии заставили разгружать уголь!

Шофер убавляет скорость, чтобы перевалить через канаву. Машина приближается к поселку, окруженному садами. Половина домов покинута. Из окошка одного дома выглядывает девушка в платке, повязанном по-мавритански. Мы сигналим, распугивая домашнюю птицу. Петухи бегут, распушив хвост, и мы чуть не передавили цыплят.

Через несколько минут показалось море. Дорога идет через пустыри, и справа от нее внезапно вырастает Эскуйос — нищий поселок, иссеченный бурями. Дома разбросаны беспорядочно, как грибы. Улиц нет; нет даже проулков, которые можно было бы назвать улицами. Наша машина завязла в грязи у ручья, и мы вылезаем перед школой.

— Идемте, я покажу вам замок,— говорит мой сосед.

От ветра мы почти теряем равновесие и карабкаемся вверх по скалам на четвереньках. Внизу глухо шумят волны. Море кудрявое, как грядки салата. Сильно пахнет гнилью и смолой.

Замок поднимается над береговыми утесами. Он кажется близнецом замка в Гарруче, но никто не занимается им, и он почти разрушен. Башни вот-вот обвалятся, от парапета осталось одно воспоминание.

— Я всегда приходил сюда играть в детстве,— говорит мой спутник.— Тогда была еще цела главная башня и все зубцы на стенах.

Он говорит, что лет тридцать назад хозяева замка еще устраивали в башне роскошные приемы, когда приезжали сюда на лето.

— Как вчера помню свадьбу доньи Хулии. Вся площадка перед замком была забита машинами, а часовня не могла вместить всех гостей.

Теперь посредине двора растет трава, и ящерицы греются на камнях. Часовня превращена в сарай; дверь заперта, и за нею кудахчут куры. Уцелевшие комнаты тонут в полумраке. Когда я хотел войти в одну из них, спутник удержал меня за руку:

— Не входите.

— Почему?

— Блохи. В прошлом году зашел на минуту, потом целый день чесался.

Когда мы вышли, нас уже ждал капрал гражданской гвардии. Видно, он очень спешил: по загорелому рябому лицу спруился пот.

— Как ваши дела, дон Амбросио?

Мой спутник отвечает, что его дела идут хорошо.

— Я увидел машину у школы, и Пако мне сказал, что вы здесь...

— Мы немного прошлись, идем обратно.

— Быстро, быстро утомились, дон Амбросио.

— Что там долго смотреть?

— Это верно.

— Я рассказывал сеньору, что знаю тут все с детства. И башни, и стены, и часовню, где венчалась донья Хулия.

— Да, да, это вы верно.

— Я всегда думал, что здесь можно бы устроить для вас прекрасную казарму. Чем грабить деньги на новую, лучше оборудовать это помещение, как в Гарруче.

— Верно, сеньор.

— Там обошлось очень дешево.

— Да, сеньор.

— В конце концов лучше об этом не говорить. Как заговорю, расстраиваюсь.

Стены замка защищают от ветра, и я достаю сигареты.

— Курите?

— Спасибо,— сказал капрал.

Дон Амбросио решил не сразу.

— А, черт!.. Один раз, пожалуй, можно...

Мы возвращаемся к машине. Дон Амбросио жалуется на времена, а капрал как-то мнет. Я заметил, что несколько раз он раскрывал рот, но в последний момент все же не решался.

— Ладно, Эльпидио,— говорит дон Амбросио, готовясь сесть в машину.

Капрал расстегивает под подбородком ремешок треуголки и просительно улыбается.

— Вы не забыли мою просьбу, дон Амбросио? — Он говорит хрипло, с трудом.

— Да, да, помню. Я на прошлой неделе звонил секретарю, он обещал на днях позвонить.

— Большое спасибо, дон Амбросио.

— Что-нибудь узнаю — скажу.

— Хорошо, дон Амбросио.

— До свидания!

— До свидания! Счастливо вам...

Мы трогаемся, машина едет обратно по той же дороге, пересекает овраг. Мы оставляем позади серые домики, развалины замка, и перевалив через горку, дорога идет в сторону. Кое-где, как ошипанные птицы, размахивают редкими веерами пальмы. Солнце стоит по-прежнему высоко.

В отличие от Сан-Хосе горы здесь не подходят к самому берегу, а спускаются к нему мягко, словно растворяясь. Климат суров, и зелени очень мало. Колючие кусты, небольшие пальмы, иногда — дикая смоковница, обшипанная козами. Сухие, голые склоны. Изредка, ненадолго, с дороги видна вода, и вдруг я вижу кораблик, уходящий в открытое море.

Я снова предлагаю дону Амбросио закурить, и он, поколебавшись, соглашается. Он говорит, что уже справился с этим пороком, а теперь я снова ввожу его в искушение. Вижу в окошечко заброшенные домики. По склону уступами идут грядки. Местами стенки осыпались, и огороды, кажется, заброшены. Дорога вьется еще немного и резко сворачивает к берегу. У подножья горы — рыбацкий поселок домиков в двадцать. На юге собираются тучи, и небо грозно хмурится.

Мы въезжаем в поселок. У оросительной канавы женщины стирают белье и набирают в кувшины воду. По грязи шлепают полуголые ребятишки. Машина огибает несколько хижин и тормозит перед скотным двором. Нас немедленно окружают дети. Их человек пятнадцать — двадцать, они озорные, грязные, словно шумное стадо ягнят. Из домов выходят люди — женщины, мужчины, а больше всего стариков. Прежде чем последовать примеру детей, они смотрят на меня и гадают, кто бы это мог быть.

— Добрый день, дон Амбросио.— Старик снимает шляпу и мнет ее в руках.— Как ваша матушка?

Дон Амбросио отвечает, что температура упала и мать уже ходит.

— А ваши братья? Здоровы?

Дон Амбросио отвечает, что братья, слава богу, здоровы.

— А как твои дела?



— Так себе, дон Амбросио...

— Жена здорова?

— Слава богу...

— Это главное, Хоакин. Было бы здоровье...

— Мы ведь уже не молодые, дон Амбросио... И ей и мне за шестьдесят.

— Ничего не поделаешь, такова жизнь!

— Вот и я говорю, дон Амбросио.

— Как Филомена?

— Очень плоха, дон Амбросио, — вмешалась одна из женщин. — У нее началось заражение крови..

— А что врач говорит?

— Уколы прописал, только ничего не помогает. Ей все хуже и хуже.

— Где Мигель?

— Дома, с ней сидит. Прямо не отходит, бедный.

— Я зайду к ним позже.

Дон Амбросио пожимает мозолистые руки мужчин и женщин и каждого спрашивает о здоровье, и каждый отвечает, что семья здорова, и в свою очередь интересуется, как его близкие. Это длится минут пятнадцать. Наконец он обошел всех и, улыбаясь, берет меня под руку.

— Пойдемте, покажу вам холм. Замечательный вид.

Люди расступаются, и мы идем молча. Дома поселка стоят у самого берега. Эта бухта защищена выступающим в море мысом, и здесь не так ветрено, как в Эскуйосе.

У скал покачиваются на волнах штук пять рыбацких лодок. Старики, сидя на земле, чинят сети и, завидя нас, здороваются. В хлевах хрюкают свиньи; на дверях, словно талисманы, сушатся связки сардин.

— Нравится? — спросил дон Амбросио, когда мы поднялись на вершину холма.

Громко, чтобы перекричать шум ветра, я отвечаю, что нравится. Поселок красив какой-то невеселой красотой, которую не всякий поймет: несомненно, он разочаровал бы любителей сентиментальных пейзажей. Дон Амбросио, заложив большие пальцы за подтяжки, с удовольствием обозревает свои владения.

— Когда сюда проведут дорогу поприличней, эти дома будут стоять вчетверо дороже. Тем летом смогу сдавать их туристам.

Ветер уносит слова. Мы начали спускаться. Дон Амбросио кричит, что Хоакин пошел готовить обед и через полчаса придет за нами.

— Я проголодался, а вы?

— Тоже.

Мы вернулись в поселок. Навстречу идет молодой мужчина, небритый, точнее — с трехдневной щетиной. Его рубаха пестрит заплатами. Он мигает от света и улыбается, показывая ровные зубы.

— Добрый день, дон Амбросио.

— Добрый день, Хуан.

Молчание. Человек засовывает руки в карманы.

— Как раз хотел вас повидать насчет того домика, который вы у Паскуаля купили. Тесно у нас. Пять человек, а комната одна. Вот мать и говорит, может, пустите месяца на два, пока шурина все сделает. Вам ничего не стоит, а нам большую бы услугу оказали.

— Если б на два месяца! Сам же прекрасно знаешь, что это неправда. Пустишь вас, а потом не выгонишь!

— Мы уйдем, когда прикажете, дон Амбросио. Даю вам слово. Как шурина крышу поставит — сразу уйдем.

— То же самое Мартин говорил, чтоб я его пустил в тот дом, наверху. Сам видел, сколько он там жил. Четыре года с лишним, да еще на

меня легли судебные расходы. Нет, нет, я уже обжегся. Я люблю жить с людьми мирно, и лишние хлопоты мне не нужны.

Дон Амбросио призывает меня в свидетели:

— Знаете, это ведь не в первый и не во второй раз. Сделаешь доброе дело, и никакой тебе благодарности. Одни неприятности.

Хуан слушает, опустив голову. Дон Амбросио отряхивает брюки.

— И вообще, даже если бы я хотел, я не могу их сам пустить. Дом принадлежит всей нашей семье, я обязан посоветоваться с матерью и с сестрой.

Мы входим в поселок, дети идут за нами на некотором расстоянии. Дон Амбросио достает из кармана кулечек конфет.

— Эй, хочешь конфету?

— Да, сеньор.

— Ну, бери, какая тебе нравится.

Девочка подходит и запускает в кулек грязную ручонку.

— Подходите,— приглашает остальных дон Амбросио.— На всех хватит...

Начинается толчея.

— Да не толкайтесь вы! По одному.

Стоя в стороне, за этой сценой молча наблюдает Хуан. Стоя в дверях домов, смотрят жители поселка. Я замечаю полную пожилую женщину, очень похожую на Хуана. Она идет, прижимая к коленям раздуваемую ветром юбку, расталкивает ребятишек и, обменявшись взглядом с Хуаном, обращается к дону Амбросио:

— Привет, Амбросио.

— Привет, Мария.

— Хуан говорил с тобой?

— Тихо, дети, тихо! Каждый берет только одну.

— Тесно нам, Амбросио. Нас пятеро, и Мартина ждет еще ребенка...

— А ну, отдай ему конфету!.. Что ты сказала, Мария?

— Только три месяца, Амбросио. На лето...

— Твой сын просил на два, ты говоришь на три... а потом сколько будет? Наверное, год или пятнадцать веков! Ясно?

Женщина пристально смотрит на него, прижимая юбку к коленям.

— Фелипе кончит свой дом к сентябрю. Только до тех пор, Амбросио. Тебе ж ничего не стоит...

— Сам знаю, что ничего не стоит. Тут дело в принципе. Чтобы решить такой вопрос, я обязан посоветоваться с матерью и сестрой.

— Поговори с ними...

— Я один ничего не решаю. Дом принадлежит нашей семье.

— Приехать к тебе в субботу или ты сам сюда приедешь?

— Отдай эту конфету братику, девочка!

— Я говорю, ты сам приедешь или мне съездить к тебе в Альмерию?

— Такие дела не делают в один день. Даже в две недели. Потерпи. Я сообщу вам письмом, если будут новости.

Дон Амбросио надул пустой кулек, ударил по нему ладонью, и тот лопнул, как хлопучка. Дети начинают расходиться.

— Представление окончено!

В небе над мысом Гата собираются грозные тучи. Лодки качаются, как ореховые скорлупки, и я вспоминаю прогноз Архимиро.

— Идемте,— говорит дон Амбросио.— Надо закусить.

Мы прощаемся с матерью Хуана и входим в самый большой дом. Он беленый, у входа скамейка. Хоакин и его жена чистят рыбу. Нам подадут бутылку вина. На стене висит пожелтевшая открытка с испанским, португальским, итальянским и немецким флагами и цветные портреты Фран-

ко, Салазара, Муссолини и Гитлера. Я кладу на стол пачку «Идеалес». Улыбаясь, дон Амбросио берет сигарету.

— Ладно. Все равно мы отравлены...

Я подношу ему зажигалку, он показывает мне стеклянную трубочку с пилюлями, которую носит в верхнем кармане пиджака.

— Я бросил курить, а вы меня совратили... Врач прописал мне эти пилюли. Хотите одну?

— Нет, спасибо...

— Ладно, оставим на потом...

Пока трактирщик Хоакин раскладывает в тарелки еду, дон Амбросио объясняет мне, что этот поселок — идеальное место для людей с нормальными запросами. Сто с лишним жителей живут здесь счастливо и в полном согласии.

— Если я замечу недовольного, я отвожу его в сторону и говорю: твое место не здесь. Хочешь роскоши, езжай в Валенсию или Барселону, живи там. А мои дома тебе не подходят... Верно, Хоакин?

— Да, дон Амбросио.

— В прошлом году я отправил отсюда двоих в Барселону... Рыбака и одного с шахты. Почти две тысячи песет!

— Эредиа, кажется, нашел себе там девушку, дон Амбросио. Анхелита получила от него письмо. Пишет, что женится осенью.

— Очень рад. Я всегда считал, что он ничего. Грубиян, конечно, и много о себе воображает, а вообще парень неплохой...

Когда мы поели, с улицы вошли старики, чтобы поболтать с нами. Не желая показаться бедным дону Амбросио, я спросил Хоакина, сколько мы должны, и рассчитался.

Мой спутник ждет, пока я получаю сдачу, и встает.

— Надо повидать жену одного из моих поселенцев. Хотите пойти со мной?

— Да.

— Аборт сделала, бедняга. В прошлом месяце. Теперь заражение крови. Вы не врач?

— Нет.

— У ее мужа неприятности с полицией. Бросил землю, стал рыбачить, а бумаги выправить не потрудился. Сколько раз я ему говорил... Послушался бы меня, не был бы теперь в таком положении.

Пока мы обедали, солнце скрылось, и небо теперь серое. Птицы летают низко, почти касаясь воды. В воздухе чувствуется приближение бури.

— Вот сюда.

Эскортируемые ребятами, мы поднимаемся по склону. Дон Амбросио ковыряет зубочисткой в редких зубах. Шофер в машине ест бутерброд. Я замечаю на сидении корзину с овощами и мешок картошки.

— Подъезжай к дому Филомены, Пако. Мы скоро поедем.

Переходим канаву и сворачиваем налево. В конце крутой тропинки — домики пять. Дон Амбросио подходит к последнему и стучит.

— Можно?

— Входите.

Я вхожу за ним.

Комната полна народу. Никто не обернулся, когда мы вошли. Плачущие женщины сидят вокруг больной.

— Как она себя чувствует?

— Плохо.

Это ответил темноволосый нервный мужчина лет тридцати с лишним. Он сидит у кровати и, не переставая, гладит больную по голове.

— Что сказал врач?

— Очень сильный укол сделал, а ей не лучше. Вся черная. Жар не падает.

Женщина безучастно глядит на нас. Она еще молодая. Черты лица заострились от боли.

— Мы ему такси оплатили, и визит, и уколы — и вот, сами видите...

— Когда он еще приедет?

— Вечером. Вчера говорил, если не будет лучше, приедется оперировать.

Люди молчат. Одна из женщин молится, перебирая четки. В комнате только кровать и стулья. Свеча освещает фигуру святой девы.

Кажется, что время остановилось, и пока дон Амбросио роняет слова утешения, женщина причитает, остальные плачут, а мужчина быстро, механически, гладит лоб жены.

— Всю ночь глаз не сомкнула.

— Не слышит нас...

— Надо бы позвать священника.

Я прихожу в себя только в машине. Селение скрылось за холмами, темно от туч.

— Вы что-то сказали? — спрашиваю я дона Амбросио.

— Ничего. Дождь будет.

## 9

На обратном пути дон Амбросио рассказывает, какой своеобразный характер у альмерийцев.

— Они не такие, как мы, поверьте. Во всяком случае у нас, в Вальядолиде, когда кто на тебя сердится, он так прямо и скажет. А здесь не так. Улыбаются, то да се, а уйдешь — места живого не оставят. Бездельники — вот они кто. Чуть что заработают — и в таверну. Пьют, в ладоши хлопают. На одних сардинах живут, а гонору — как будто цыпленка съели!

Дон Амбросио гордится своим кастильским происхождением, и пока машина мчит мимо Эскуйоса и Посо-де-лос-Фрайлес, он говорит о художниках и королях, о святых и воинах своей земли.

В первый раз с тех пор, как я езжу по этим краям, мне приходит в голову, что жители Альмерии никогда не были главными действующими лицами истории — они были скорее статистами, немymi, покорными судьбе. Альмерию занимали финикийцы, карфагеняне, римляне, вестготы, и только в начале мусульманского владычества она пережила короткий период расцвета. Старики до сих пор печально повторяют старинную поговорку: «Когда Альмерия была Альмерией, Гренада была ее фермой». С тех пор как ее завоевали католические короли, для края наступил непрерывный мучительный период упадка. Испанская монархия послала сюда губернаторов и алькальдов, но Альмерия так и не стала, в сущности, частью Испании. Кровью альмерийцев политы земли Европы, Африки, Америки и Океании. Но эти жертвы ничего не дали их маленькой родине. Вырубки лесов, эмиграция превратили ее в пустыню. Под централизованной властью Бурбонов — а позже под властью иностранных и каталонских промышленных компаний — Альмерия жила, забытая королями, министрами, реформаторами, писателями. Легенда о ее темноте и заброшенности держала ее в стороне от всех прогрессивных движений Испании. В XVIII веке она уже была Золушкой среди наших провинций, и когда писатели «поколения 1898 года» пошли бродить по дорогам и землям страны, они остановились у ее границ, сочли недостойной своего таланта защиту ее прав. Она по-прежнему отдавала сынов родине —

низкорослых смуглых людей с землистыми лицами и блестящими глазами, одетых, без сомнения, так же, как нынешние их потомки. Они никогда не были ни славными завоевателями, как уроженцы Кастилии и Эстремадуры; ни бесстрашными мореплавателями, как баски и галисийцы; ни удачливыми торговцами, как севильцы и каталонцы. Они так и остались безмянными рядовыми многострадальной пехоты, безвестными гребцами галер. О них мало сказано в учебниках истории, но там, где ступали испанцы, лежит в общих могилах много костей, место которым здесь.

Дон Амбросио говорит о Кастилии и о благородном и честном кастильском характере, а машина уже едет за домиками Насарено. Шофер молча курит, время от времени поглядывая на меня в зеркальце. Земля темно-желтая; поля пшеницы и заросли дрока сменяют друг друга. Вскоре показался Лос-Ньетос. Здесь дон Амбросио должен к кому-то зайти, и я пользуюсь случаем — еду в Лас-Неграс и Карбонерас. Несколько минут мы движемся по извилистой дороге, по которой двумя днями раньше я проезжал в грузовике с шахтерами Родалькилара. У Лос-Пипасес шофер сворачивает на равнину, и мы едем по незнакомой земле среди белых домиков, огородов, крытых колодцев, смоковниц. Встречаем цыгана верхом на осле. Шофер сигналил, осел пугается. Мы едем дальше, и через заднее окошечко я вижу, как он семенит сзади в облаке пыли.

Через несколько минут машина останавливается. Двойной ряд эвкалиптов ведет к деревушке метрах в трехстах у дороги. Ветер шевелит листья деревьев. Дорога, кажется, в хорошем состоянии. На пашне трудится трактор. Тут развилка дорог на Нихар и Лас-Неграс.

— Вот так,— сказал дон Амбросио.— Мы приехали.

Я хочу достать бумажник, он протестует:

— Ни в коем случае! Я обедал за ваш счет..

— Тогда спасибо.

— Не за что. Я с удовольствием подвез бы вас и дальше, но должен навестить друга. Он из Саламанки, был делегатом от провинции после крестового похода<sup>1</sup>. Несколько лет назад он бросил политику, занялся делами. Нажил крупное состояние. Теперь скупает земли.

Он пожимает мне руку, и вскоре автомобиль скрывается за густой завесой деревьев. Здесь, на нихарских землях, электрические столбы стоят рядами, постепенно уменьшаясь. Они похожи на зубья гребенки. В шахматном порядке лежат на равнине отдельные хозяйства — неизменной колодец, агавы, смоковницы, поле ячменя, поле дрока и поле пшеницы, поросшие сорняками. Дорога понемногу поднимается к утесам побережья. У обрывов, на склонах гор, идут по тропинкам ослики. Весь склон в обрывах, а вершины гор окутаны грязным, серым тюрбаном туч.

Через полчаса я подхожу к селу Фернан Перес. Оно справа от дороги, на ступенчатом склоне; пальмы и зеленые колпачки крыш придают ему совсем африканский вид. На холме на фоне неба — ветряная мельница. Такие же мельницы машут крыльями на полях Картахены между Ла-Уньон и Лос-Алькасарес. Раньше их было много в этих местах, но сейчас почти все заброшены. Эта еще работает с глухим скрипом и напоминает издали цветок с огромными изогнутыми лепестками.

Жители занимаются земледелием или работают на золотых приисках в Родалькиларе. На краю деревни у ручья, обсаженного тополями, стоят ослики и женщины с кувшинами: они пришли по воду.

Дорога вьется по неровной пустынной местности, поросшей дикими смоковницами и хилыми оливами. Потом, выше, деревья исчезают. Все

<sup>1</sup> Крестовым походом фашисты Испании называют мятеж против Испанской республики.

желтое, одинаковое, и сквозь облака сочится резкий желтоватый свет. Впереди едет повозка, погонщик растянулся в ней. Конь знает дорогу на память и спокойно идет вперед. Мы входим в узкую долину. Снова спускаемся, дорога извилистая. Я замечаю людей в куртках и сомбреро и думаю, что, наверное, где-нибудь поблизости ярмарка. Я иду, прыгаю по склону и за одним из поворотов вижу деревню. Нахожу на плане ее название — Ортичуэлас. В ней штук двадцать квадратных белых домиков, среди которых выделяется современное здание школы. На возделанных полях растут пальмы, а за старыми мельницами и покинутыми, разрушенными колодцами, как предчувствие — море.

Склон кончается, передо мной развилка. Налево дорога на Лас-Неграс, направо — на Ла-Эрмиту и Родалькилар. Я иду налево за принаряженными людьми, и понемногу возникает море в белых прожилках. Мы пересекаем овраг у группы разрушенных домиков. Люди идут быстро, словно боятся опоздать, и один рядом со мной придерживает шляпу, чтобы не улетела. Не успел я опомниться, как уже вхожу в деревню. Лас-Неграс — в центре бухты; своей заброшенностью она напомнила мне Эскуйос или Сан-Хосе. На единственной улице — бар и табачная лавка; хрюкают свиньи; море бьется о берег. В двери одного из домов входят люди, и я тоже иду туда.

— Добрый день.

Это парень лет двадцати с небольшим, блондин, с землистым лицом. На лоб надвинута старая фуражка, рваная рубашка навыпуск.

— Вы тот парень из Каталонии, который ехал на грузовике с шахтерами?

— Да.

— Вы меня не помните? Я тоже ехал в машине, только дальше. Меня зовут Хуан Гомес. Не выпьете со мной?

— С большим удовольствием. Здесь?

— Нет. В этом доме умер парень, похороны сегодня. Мы пойдем тут напротив.

Он берет меня за руку и ведет в бар. За стойкой хлопотала женщина, и когда она обернулась к нам, меня потрясла ее красота. Как у многих здешних женщин, у нее черные волосы, очень белая кожа, правильно очерченный рот и большие голубые глаза, очень печальные. Она еще молодая, но что-то в самой ее прелести предупреждает меня, что она скоро увянет. Каждодневный труд и материнство превратят ее через несколько лет в одну из многих уроженок Альмерии, немых, покорных судьбе, которые, сидя на крыльце, украдкой смотрят на прохожих разочарованным взглядом. Судьба жестока к ним. Их красота исчезает, когда они выходят замуж, и, не успеешь оглянуться, они уже старухи, такие же, как их матери, сморщенные, иссохшие, которым нечего ждать от жизни.

— Что вы хотите? — говорит она.

— Полбутылки вина, пожалуйста.

Мы с Хуаном пьем, облокотившись на стойку, под подозрительными взглядами какого-то лысого человечка и капрала гражданской гвардии. Женщина, не обращая на нас внимания, уходит в заднюю комнатку.

— Вы богатый? Я хочу сказать: вы учились?

Хуан смотрит мне в лицо и лихорадочно облизывает губы.

— Нам тут темнота мешает. Я не умею ни писать, ни читать, а ведь я такой же человек, как вы, верно? Я думал, в Каталонии...

Лысый человечек и капрал подходят к нам и, поколебавшись, спрашивают, приезжий ли я.

— Да, сеньоры.

— Вы выбрали плохое время. Если ветер не изменится, будут ливни.

— Здесь будет весело в августе, — говорит капрал, поглаживая белой

рукой засаленную гимнастерку.— В этом году национальный чемпионат подводной охоты, даже из-за границы приедут.

— У нас чудесные места,— подхватывает лысый человек.— Рекламы — вот чего тут не хватает! Люди здесь живут прекрасно! Будет хорошая дорога — французы так и повалят. Губернатор очень обо всем заботится, скоро к нам проведут электричество.

Я предлагаю им закурить, Хуан пьет молча, не принимая участия в разговоре. Я плачу за вино и, хотя вопреки поговорке у меня нет свечи, решаю идти на похороны.

Дом покойного, кажется, больше и богаче остальных. Переступая порог, слышу причитания женщин. Мужчины — очень важные и сосредоточенные — сидят на скамейках, какие-то парни пристроились на полу. Семья умершего — в соседней комнате.

Один из гостей рассказывает мне, что умерший был пять лет легионером в Африке, уехал туда из-за несчастной любви, а когда вернулся — меньше чем за пять дней болезнь уложила его.

— Да, глупо он помер. Вы его знали?

— Нет, я приезжий.

— Вон, в углу, его отец.

Я вижу немолодого мужчину, который ест, макая хлеб в тарелку с вином. Рядом с ним девушка выбирает мелкие камешки из фасоли. Комната хорошо освещена, но старушки готовят свечи на ночь.

Пришел священник, все встают. Семья быстро шепчется, и парни выносят гроб на плечах. С улицы доносится плач женщин. Толпа тронулась к кладбищу по той же дороге, по которой я приехал. Мужчины в трауре — старики, друзья покойного, мальчишки. Небо черное, как копоть, дует соленый сырой ветер.

Мой собеседник — дальний родственник покойного, и пока мы идем, он кратко излагает мне его биографию.

— Все ему было не так. Старики его живут хорошо. Чего его понесло на военную службу?

Я говорю, что человек не всегда отвечает за свои действия, но он смотрит на меня и не понимает:

— Он-то отвечал. Пошел, потому что приспичило. Непутевый был человек.

Когда мы сворачиваем к пальмам, к поселку и к развалинам замка, сверкает первая молния. Над нами нависла гроза, и, не сговариваясь, мы прибавляем шаг. Кладбище в двухстах метрах, среди пашен — четыре белые стены и железная решетка. Оно некрасивое, не то что в Альмуньекаре, где склепы украшены пивными бутылками и надписи на плитах составлены по законам андалузской фонетики. И не трагическое, как в Хергале, где черные кресты прячутся под крохотными белеными арками, словно в экспрессионистском фильме. Это кладбище такое же голое, как пейзаж вокруг, — без цветов, без крестов, без плит, могилы тут копают все на том же месте и узнают по кучке камней. В Лас-Неграс и смерть безымянна. Единственный склеп — без надписи, а плита, которую я в конце концов нашел, помечена годом войны и раскола надвое.

Церемония проходит под вспышки молний. Как только могилу засыпали, люди бегут от дождя. Священник и семья отстают, и никто не вспоминает о них. Когда я перешел ложбину, какой-то мужчина предложил подвезти меня на мотоцикле. Я соглашаюсь, потому что хочу успеть на автобус, который идет на Карбонерас. Мы входим в селение; из бара вываливается Хуан и загораживает мне дорогу.

— Куда идешь? — Он сильно пьян.

— Уезжаю. Вот приятель предложил подвезти...

— Увези меня отсюда.

Мой возница заводит мотор, но Хуан не двигается с места.  
— Я приеду потом,— говорю я.  
Это отчаянная ложь, ложь во спасение.  
— Нет, увези меня сейчас. Я такой же человек, как ты... В Барселону...— Он хочет еще что-то сказать, но язык его не слушается.  
— Иди, мы торопимся,— говорит хозяин мотоцикла.  
Не слушая его, Хуан смотрит мне в лицо.  
— У меня ничего нет, только руки,— говорит он.— Смотри...  
Из бара выходит мужчина и тянет его за рукав.  
— Брось. Не задерживай человека!  
— Это мой друг.  
— Какой же он друг, если он уезжает? — говорит тот.— Ты даже не знаешь, как его зовут.  
— Только руки...  
Мотоцикл рванул вперед. Я уезжаю от Хуана и больше не смотрю на его руки.

## 10

Автобус на Карбонерас выходит из Альмерии в половине шестого. Мотоциклист посадил меня у развилки дорог на Нихар и на Сан-Хосе, и вот уже около часу я жду автобуса у придорожной канавы. Буря гудит над вершинами Гаты, и я чувствую, как до предела напряглись нервы, словно слишком сильно натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Небо похоже на разгневанный океан, тишина предвещает бурю, стаи птиц летают у самой земли, воздух пронизан лучами. Да, будет гроза; и мне все больше хочется дать выход скопившейся в моей душе гневной горечи.

Виденное оживает в памяти, и невыносимо думать, что я мог что-то упустить, не заметить за три дня путешествия. Оно началось, как начинается беззаботный, веселый бег вниз по склону. Теперь я знаю, что этот спуск бесконечен. Дон Амбросио, старик со смоквой, Санлукар, Архимиро — нет конца списку. Я встретил бы таких же людей в любом селении. Одни заговорят со мной громко, другие тихо, а пьеса будет та же, их отчаяние то же, и моя ярость.

Когда автобус появился, на горизонте начался дождь. Я вылез из кювета, размахивая руками, шофер затормозил и открыл дверцу.

— В Карбонерас?

— Да, сеньор.

— Влезайте.

Я пристроился на заднем сидении, и машина тронулась. Пассажиры смотрели на меня с любопытством. Их было человек десять — двенадцать. Лица казались мне смутно знакомыми, словно я уже видел их в других автобусах по дороге в другие селенья.

— Вы чудом убереглись...

— Что?

— Видите, какой ливень?

Буря бушевала, а я смотрел на нее сквозь залепленное грязью стекло. Небо было желтое, птицы исчезли, дождь действительно превратил равнину в огромную мутную лужу.

— Смотрите, какого он цвета!

— Не дай бог, застанет такая гроза в пути...

— Это от пыли, понимаете?

Я прижался носом к стеклу: я боялся, что заплачу и грязные слезы потекут по щекам. Машина остановилась на окраине Нихара. Два дня назад я вместе с Хосе и его друзьями пешком шел по этой дороге, а сей-



час мне казалось, что с тех пор прошло два века. Я смотрел на пост гражданской гвардии, на бензоколонку, на прибитые дождем хлеба — и мне казалось, что я очнулся от сна.

— Видите яму? — спросил мой сосед. — Года два назад туда свалился автобус. Много погибло. Говорят, шофер был пьяный.

Автобус подвигался осторожно, и мимо скользила печальная земля, время от времени озаряемая блеском молний. Между Нихаром и Карбонерас — несколько километров красной земли, здесь добывают красный камень. Его промывают, просеивают и отправляют на склады, которые издали по цвету похожи на те поля Мурсии и Леванта, где летом сушат красный перец. Шофер затормозил, чтобы подвезти надсмотрщика с шахты. Мы поехали дальше среди лунных серых гор и скал, и путешествие наше было особенно, удивительно нереальным.

— Арехос!

Никто не выходил. Автобус казался кораблем-призраком, плывущим среди горных вершин, сквозь тучи, по размокшей глине. Радио ревели на полную мощность, треск заглушал итальянскую арию. Прошло несколько минут.

— Ну, вот и приехали.

Когда в Альмерии кто-нибудь скажет: «Карбонерас» — люди хватаются за деревянные вени и крестятся. Многие боятся произносить это слово, говорят: «Знаете, между Гарручей и Агуас Амаргас» или «То место, которое нельзя назвать».

Словно в подтверждение этих страхов, городишко после ливня выглядел именно так, каким видело его народное воображение. Большая часть домов была заперта, прохожие скользили по улицам, как тени, о песок яростно бились черные волны.

Автобус обогнул кладбище и памятник «Павшим за бога и за Испанию». Двое гражданских гвардейцев с карабинами на ремнях расхаживали по площади. Я увидел женщину с пузатым ребенком — у нее был зоб — и тощего мальчика, который вел слепого. Дождь перестал, и у дверей домиков появились старики.

Шофер затормозил на площади перед противотрахомным диспансером. Я обошел стены замка и увидел море. Пляж был пустой, ветер сек скорлупки лодок. Берег уходил в перспективу, к скалам маяка Месарольдана и Плайя-де-лос-Муэртос. В стороне Гарручи вставали покрытые пеной утесы. Казалось, что селение свернулось, как улитка в своем домике. Я вернулся на площадь, отыскал таверну и спросил литр вина.

— Хумилью?

— Да, хумилью.

В таверне сидели двое мужчин. Оба средних лет, маленькие, сморщенные. Услышав, как я заговорил с хозяином, они подошли к моему столику и представились мне. Один оказался водовозом, другой — тележником. Они осведомились, кто я, откуда, есть ли у меня семья и сколько я намерен пробыть здесь.

— Наши края бедные, зато красивые, — сказал тележник.

— Может, Испания не так процветает, как другие страны, зато здесь жить лучше, — вторил ему другой.

— Иностранцы так и едут..

— В Андалузии, конечно. солнце, то да се..

Они бубнили монотонно, словно читали литанию, и мне приходилось делать усилие, чтобы их слушать. Я хотел сказать им, что раз уж мы нищие, то лучше бы нам быть уродами, что красота служит нам отговоркой, позволяет бездельничать, и чтобы измениться, надо преодолеть искушение, отказаться от роли открытки или музейного экспоната.

Вот почему мне нравится Альмерия. Потому что тут нет ни Хиральды, ни Альгамбры<sup>1</sup>. Потому что она не пытается принарядить и украсить себя. Потому что это голая честная земля.

Но они говорили о песнях, о бое быков, о солнце и прекрасных девушках... Я пил хумилью. Буря уже излила свой гнев, а мой гнев распирал грудь, колотилось сердце, жажда жгла горло. Я пил рюмку за рюмкой. Хозяин таверны издали наблюдал, и когда он подошел с новой бутылкой, я вытер лицо и сказал ему:

— Это капли дождя...

Весь вечер я бродил по селению, куда несли ноги. Небо было серое, улицы пустынные. Помню, несколько часов, не двигаясь, я пролежал на берегу.

Мальчишки вертелись на порядочном расстоянии от меня, и я услышал, поднимаясь с песка, как один из них говорил приятелям:

— У него кто-то умер. Моя мать видела, как он плакал.

## 11

Спустя тридцать шесть часов я был вымыт и побрит, как полагается. Я взял багаж из камеры хранения и сел в автобус, следовавший в Мурсию. В киоске купил на дорогу «Эль Юго» и воскресный номер «АБЦ». Солнце сверкало над городом и предвещало жаркий день.

Пока мы удалялись от альмерийских окраин, я листал газеты. «Сборная Испании по баскетболу седьмой раз подряд победила сборную Португалии!» «Распродажа дешевой обуви». «Первая областная ярмарка леонских изделий».

Накануне я выспался, пришел в себя и был готов снова жить по-старому. Благоразумный мир газет успокаивал и убаюкивал меня. Фотографии «королевы Бургосской ярмарки» и «девушки-скульптуры» — рекламы купальных костюмов Янсена — напоминали мне о том, что тоска плохой спутник, что мир подчиняется своему тайному распорядку и всегда будет принадлежать оптимистам.

Мы оставили позади Тавернас, и Сорбас, и Пуэрто-Лумбрерас. Автобус несся вперед к Тотане между двойными рядами деревьев. Сосед попросил у меня «Эль Юго» и стал комментировать.

— Видели?

— Нет.

— Кажется, в этом году будет больше маслин...

*Перевели с испанского*

**А. Макаров и Н. Трауберг.**

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Хуану Гойтисоло было всего лишь пять лет, когда жители Барселоны, в которой он родился и где протекало его детство, подавили фашистский мятеж, и не исполнилось еще восьми, когда двигавшийся в авангарде войск генерала Франко моторизованный корпус Муссолини вступил в полуразрушенный бомбардировщиками город. И теперь при чтении романов известного, несмотря на молодость, испанского прозаика мне невольно думается, что весной 1938 года, проездом с фронта неоднократно попадая в Барселону, я среди других ребяташек, игравших в войну на обсаженных пальмами бульварах, мог видеть и маленького Хуанито. Думаю я об этом потому, что на многих

<sup>1</sup> Хиральда — башня в Севилье; Альгамбра — дворец в Гранаде.

страницах, написанных Хуаном Гойтисоло, явственно отсвечивает зарево тех грозных дней.

Но еще больше, чем его романы, отголосками исторической трагедии проникнуты путевые очерки «Земли Нихара», недавно выпущенные барселонским издателем. Пройдя по одному из самых глухих и обездоленных углов современной Испании, молодой писатель сумел увидеть многое. Сдержанными словами, за которыми прячется внутренняя взволнованность, говорит он об однообразных пейзажах, о безжалостном солнце, о выжженной, безводной земле, о жалких крестьянских лачугах, о нищете рабочих поселков, о скудной и горькой жизни заброшенного края.

Однако именно этот сдержанный тон, эта глубокая серьезность, эта хроникальная точность при скрытом эмоциональном напряжении повествования придают путевым заметкам Гойтисоло особенно убедительное звучание, неотразимую силу.

Автор «Земель Нихара» пишет только о том, что видит: он показывает жизнь захудалой испанской провинции такой, какова она есть, и людей такими, какими они предстают перед ним. Единственное, что писатель подчеркивает,— свою симпатию к обыкновенным труженикам, к народу. «Какие хорошие лица у этих людей! — восклицает он.— Несмотря на двухдневную щетину, на рваную, бедную одежду, в них есть настоящее человеческое достоинство». Тем не менее он не вступает в ненужную полемику с теми, чьи лица вместо сознания собственного достоинства выражают надменность, и когда один из таких вспоминает о гонениях, испытанных им при народном фронте, и о «зверствах красных», объективный автор невозмутимо записывает его жалобы, но даже в изложении фашиста зверства эти сводятся к тому, что «тюрьмы были полны — помещики, священники, политические деятели. Самого епископа Альмернии заставили разгружать уголь!» Так и кажется, что здесь по строгому лицу писателя проскальзывает лукавая усмешка...

К концу книги Хуан Гойтисоло не выдерживает. Зрелище угнетения народа заставляет его на некоторое время потерять самообладание, у него вырываются гневные слова, пусть и не те самые, какие он произносил в упомянутых мимоходом разговорах с новыми знакомыми, когда «хозяину приходится закрыть дверь», однако достаточно гневные.

Заканчивает книгу он внешне спокойно, даже с сарказмом. И как бы повторяя про себя провозглашаемый в церкви призыв: «Имеющий уши слышати да слышит»,— ставит точку. Он знает, что испанский читатель обладает тонким слухом и поймет его. Поймут его и советские читатели. Тем более, что эта книга так хорошо объясняет события, происходящие сейчас в Испании.

Алексей Эйсер.



---

---

А. ЯШИН

★

## ЛЕСНЫЕ ДУГИ

О эти дуги над дорогой  
В краю синиц,  
В краю клестов,  
В краю снегов!  
Их очень много,  
Как над Москвой-рекой мостов.

Нет, не медведи дуги гнули,  
Не леший, не лесовики.  
Мороз стоял на карауле,  
Лес обряжая в башлыки,

И ветер дул,  
И по неделе,  
Ворвавшись в строй молодняка,  
Свистя, матерые метели  
С землей месили облака.

И как под тяжестью Вселенной,  
От напряжения белы,  
То постепенно,  
То мгновенно  
Сгибались тонкие стволы.

Когда ж стихали шум и вьюга,  
Лес был неистово красив,  
Все дива Севера и Юга  
В себе одном соединив.

Казалось, под давлением света  
Свисали ветви сосен вниз.  
Вершины елей, как ракеты  
Под небом праздничным, рвались.

И всюду дуги, дуги, дуги —  
Снегами стянуты концы:  
Чуть тронь —  
И вскинутся упруго  
И запоют колокольцы.

И всюду ходы, переходы,  
Валы и рвы зимы самой...

И я — сам бог и царь природы —  
 Вхожу под эти чудо-своды  
 Почти испуганный,  
 Немой.

### *Домбай*

То ли горы, то ли облака,  
 То ли овцы, то ли валуны,  
 Огненная лава  
 Иль река,  
 Кратеры по краю ледника  
 Иль воронки бомб —  
следы войны?

Твердь земли крутая, как стена,  
 Разрисованная вкривь и вкось,  
 До бездонных недр расслоена  
 И просматривается насквозь.

Ни тропинок козьих, ни дорог,  
 Только пересохшие ручьи,  
 Терн ползет и лезет промеж ног,  
 Молнией сверкнул язык змеи.

Каменные грани, как ножи,  
 Листья трав колючи, как ежи.  
 Даль раскалена,  
 Запылена...  
 Где ты, заповедная страна?  
 Но владеют миром миражи.  
 И в глазах людей —  
 Голубизна.

### *Мы уже боялись...*

Как ты не приехал в эту осень —  
 Родина ведь, что ни говори?  
 Пишем, пишем,  
 Просим, просим...  
 Может, прячут в стол секретари?

А уж столько было красных ягод,  
 Не соврем — лопатами гребли!  
 Наварили бы варенья на год,  
 Всякой прочей снеди б запасли.

Наросло грибов на удивленье:  
 Вот не сей и землю не паши,

А одно — иши, соли, суши...  
Как у вас там нынче со снабженьем,  
Не скудаешься ли? Сообщи.

Не послать ли мелких, из отбора,  
Рыжичков,  
Чтоб вспомнил о родне?

Упустил ты золотую пору.  
Белых тоже набирали горы —  
Даже на лугах, на косогорах...  
Мы уже боялись:  
Вдруг к войне?



---

---

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

★

## ДВА РАССКАЗА

### *На полпути к луне*

— **М**ожет, вам кофе принести?

— Можно.

— По-восточному?

— А?

— Кофе по-восточному,— торжествующе пропела официантка и поплыла по проходу.

«Ерунда, баба как баба»,— успокаивал себя Кирпиченко, глядя ей вслед.

«Ерунда,— думал он, морщась от головной боли,— осталось пятьдесят минут. Сейчас объявят посадку — и знать тебя не знали в этом городе. Город, тоже мне. Город-городок. Не Москва. Может, кому он и нравится, мне лично не то, чтобы очень. Ну его! Может, в другой раз он мне понравится».

Вчера было сильно выпито. Не то, чтобы уж прямо «в лоскуты», но крепко. Вчера, позавчера и третьего дня. Все из-за этого гада Банина и его дражайшей сеструхи. Ну и раскололи они тебя на твои трудовые рубли!

Банина Кирпиченко встретил третьего дня на аэродроме в Южном. Он даже не знал, что у них отпуска совпадают. Вообще ему мало было дела до Банина. В леспромхозе все время носились с ним, все время кричали: «Банин, Банин! Равняйтесь на Банина!» — но Валерий Кирпиченко не обращал на него особого внимания. Понятно, фамилию эту знал и личность была знакомая — электрик Банин, но в общем и целом человек это был незаметный, несмотря на весь шум, который вокруг него поднимали по праздникам.

«Вот так Банин! Ну и ну, вот тебе и Банин».

В леспромхозе были ребята, которые работали не хуже Банина, а может быть, и давали ему фору по всем статьям, но ведь у начальства всегда так: как нацелятся на одного человека, так и пляшут вокруг него, таким ребятам завидовать нечего, жалеть надо их. В Баюклах был такой Синицын, тоже на мотовозе работал, как и Кирпиченко. Облюбовали его корреспонденты, шум подняли страшный. Парень сначала вырезки из газет собирал, а потом не выдержал и в Оху смотался. Но Банин ничего, выдерживал. Чистенький такой ходил, шустрый. В порядке такой мужичок, не видно его и не слышно. В прошлом году весной привезли на рыбокомбинат двести невест с материка — сезонниц по рыбаобразделке. Собрались ребята к ним в гости, лезут в машину, орут, шумят... Смотрят: в кузове в углу Банин сидит, тихий такой, не видно его и не слышно.

«Ну, Банин...»

На аэродроме в Южном Банин бросился к Кирпиченко, как к лучшему другу. Прямо захлебываясь от радости, он вопил, что страшно рад, что в Хабаровске у него сеструха, а у нее подружки — мировые девочки. Он стал расписывать все это дело подробно, и у Кирпиченко потемнело в глазах. После отъезда невест из рыбокомбината за всю зиму Валерий видел только двух женщин, точнее двух пожилых крокодилов — табельщицу и повариху.

«Ах ты, Банин, Банин...»

В самолете он все кричал летчикам:

— Эй, пилоты, подбросьте уголька!

Прямо узнать его было нельзя, такой сатирик...

«Мало я тебе подкинул, Банин!»

Дом, в котором жила банинская сеструха, чуть высовывался из-за сугроба. Горбатую эту улицу, видно, чистили специальные машины, а отвалы снега не были вывезены и почти скрывали от глаз маленькие домики. Домики лежали словно в траншее. В скрипучем морозном воздухе стояли над трубами голубые дымки, косо торчали антенны и шесты со скворечниками. Это была совершенно деревенская улица. Трудно было даже поверить, что на холме по проспекту ходит троллейбус.

Кирпиченко немного ошалел еще в аэропорту, когда увидел длинный ряд машин с зелеными огоньками и стеклянную стену ресторана, сквозь морозные узоры которой просвечивал чинный джаз. В гастрономе на главной улице он совсем распоясался. Он вытаскивал зеленые полусотенные бумажки, хохоча, запихивал в карманы бутылки, сгребал в охапку банки консервов. Развеселый человек Банин смеялся еще пуще Кирпиченко и только подхватывал сыры и консервы, а потом вступил в переговоры с заведомом и добыл вязанку колбасы. Банин и Кирпиченко подкатили к домику на такси, заваленном разной снедью и бутылками чечено-ингушского коньяка. В общем к сеструхе они прибыли не с пустыми руками.

Кирпиченко вошел в комнату — мохнатой шапкой под потолок, — опустил продукты на кровать, покрытую белым пикейным одеялом, выпрямился и сразу увидел в зеркале свое красное худое и недоброе лицо.

Лариска, банинская сеструха, по виду такая пухленькая медсестричка, уже расстегивала ему пальто, приговаривая:

— Друзья моего брата — это мои друзья.

Потом она надела пальто, боты и куда-то учापала.

Банин работал штопором и ножом, а Кирпиченко пока оглядывался. Обстановка в комнате была культурная: шифоньер с зеркалом, комод, приемник с радиолой. Над комодом висел портрет Ворошилова, еще довоенный, без погон, с маршальскими звездами в петлицах, а рядом грамота в рамке: «Отличному стрелку ВОХР за успехи в боевой и политической подготовке. УСВИТЛ».

— Это батина грамота, — пояснил Банин.

— А что, он у тебя вохровцем был?

— Был да сплыл, — вздохнул Банин. — Помер.

Однако грустил он недолго — стал крутить пластинки. Пластинки были знакомые: «Рио-Рита», «Черноморская чайка», а одна какая-то французская — три мужика пели на разные голоса и так здорово, как будто прошли они весь белый свет и видели такое, что ты и не увидишь никогда.

Пришла Лариска с подругой, которую звали Томой. Лариска стала наводить на столе порядок, бегала на кухню и назад, таскала какие-то огурчики и грибы, а Тома как села в угол, так и окаменела, положила



руки на колени. Как с ней получится, Кирпиченко не знал и старался не глядеть на нее, а как только взглядывал, у него темнело в глазах.

— Руки мерзнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть? — с нервной веселостью воскликнул Банин. — Прошу к столу, леди и джентльмены.

Кирпиченко курил длинные папиросы «Сорок лет Советской Украины», курил и пускал колечки. Лариска хохотала и нанизывала их на мизинец. В низкой комнате было душно. Кирпиченкины ноги отсырели в валенках, наверное от них шел пар. Банин танцевал с Томой. Та за весь вечер не сказала ни слова. Банин что-то ей шептал, а она криво усмехалась сомкнутым ртом. Девушка была статная, под капроновой кофточкой у нее просвечивало розовое белье. В темных оранжевых кругах перед Кирпиченко расплывались стены, портрет Ворошилова, слоники на комодке и прыгали выпущенные им дымные колечки, и палец Ларисы выписывал какие-то непонятные знаки.

Банин и Тома ушли в другую комнату. Тихо шелкнул за ними английский замок.

— Ха-ха-ха, — хохотала Лариска, — что же вы не танцевали, Валерий? Надо было танцевать.

Кончилась пластинка, и наступила тишина. Лариска смотрела на него, щуря косые коричневые глаза. Из соседней комнаты доносились сдержанное повизгивание.

— От вас, Валерий, одно продовольствие и никакого удовольствия, — хихикнула Лариска, и Кирпиченко вдруг увидел, что ей под тридцать, что она видала виды.

Она подошла к нему и прошептала:

— Пойдем танцевать.

— Да я в валенках, — сказал он.

— Ничего, пойдем.

Он поднялся. Она поставила пластинку, и три французских парня запели на разные голоса в комнате, пропахшей томатами и чечено-ингушским коньяком, о том, что они прошли весь белый свет и видели такое, что тебе и не увидеть никогда.

— Только не эту, — хрипло сказал Кирпиченко.

— А чего? — закричала Лариска. — Пластиночка что надо! Стиль!

Она закутилась по комнате. Юбочка ее плескалась вокруг ног. Кирпиченко снял пластинку и поставил «Рио-Риту». Потом он шагнул к Лариске и схватил ее за плечи.

Вот так всегда, когда пальцы скользят по твоей шее в темноте, кажется, что это пальцы луны, какая бы дешевка ни лежала рядом, -- все равно после этого, когда пальцы трогают твою шею — надо бы дать ей по рукам, — кажется... чего только тебе ни кажется, а луна высоко и сквозь замерзшее стекло похожа на расплывшийся желток, но этого не бывает никогда, и не обманывай себя, будет ли это, — тебе уже двадцать девять, и вся твоя неладная и ладная, вся твоя распрекрасная, жаркая, холодная жизнь, какая она ни на есть, когда пальчики на шее в темноте, кажется, что это...

— Ты с какого года? — спросила женщина.

— С тридцать второго.

— Ты шофер, что ли?

— Ну.

— Много зарабатываешь?

Валерий зажег спичку и увидел ее круглое лицо с косыми коричневыми глазами.

— А тебе-то что? — Он прикурил.

Утром Банин шлепал по комнате в теплом китайском белье. Он выжимал в стакан огурцы и бросал в блюдо сморщенные огуречные тельца. Тома сидела в углу, аккуратная и молчаливая, как и вчера. После завтрака они с Лариской ушли на работу.

— Законно повеселились, а, Валерий? — заискивающе засмеялся Банин. — Ну ладно, пошли в кино.

Они посмотрели подряд три картины, а потом завернули в гастроном, где Кирпиченко опять распоясался вовсю: вытаскивал красные бумажки и сваливал в руки Банина сыры и консервы.

Так было три дня и три ночи, а сегодня утром, когда девицы ушли, Банин вдруг сказал:

— Породнились мы, значит, с тобой, Валерий?

Кирпиченко поперхнулся огуречным рассолом.

— Чего-о?

— Чего-чего! — вдруг заорал Банин. — С сеструхой моей спишь или нет? Давай говори, когда свадьбу играть будем, а то начальству сообщу. Аморалка, понял?

Кирпиченко через весь стол ударил его по скуле. Банин отлетел в угол, тут же вскочил и схватился за стул.

— Ты, пóтрох! — с рычаньем наступал на него Кирпиченко. — Да на каждой дешевке жениться...

— Шкура лагерная! — завизжал Банин. — Зека! — И бросил в него стул.

И тут Кирпиченко ему показал. Когда Банин, схватив тулуп, выскочил на улицу, Кирпиченко, стуча зубами от злобы, возбуждения и дикой тоски, вытащил чемодан, побросал в него свои шмотки, надел пальто и сверху тулуп, вытащил из кармана свою фотокарточку (при галстуке и в самой лучшей ковбойке), — быстро написал на ней: «Ларисе на добрую и долгую память», положил ее в Ларискиной комнате на подушку и вышел вон. Во дворе Банин, плюясь и матерясь, отвязывал озверевшего пса. Кирпиченко отшвырнул пса ногой и вышел за калитку...

— Ну как вам кофе? — спросила официантка.

— Ничего, влияет, — вздохнул Кирпиченко и погладил ее по руке.

— Но-но, — улыбнулась официантка.

В это время объявили посадку.

С легкой душой сильными, большими шагами шел Кирпиченко к летному полю. Дальше поехали, дальше, дальше! Не для того в кои-то веки берешь отпуск, чтобы торчать в душной халупе на грибах да на голландском сыре. Есть ребята, которые весь отпуск торчат в таких вот домиках, но он не дурак. Он приедет в Москву, купит в ГУМе три костюма и чехословацкие ботинки, потом дальше-дальше, к Черному морю — «чайка, черноморская чайка, моя мечта», — будет есть чебуреки и гулять в одном пиджаке.

Он видел себя в этот момент как бы со стороны — большой и сильный, в пальто и тулупе, в ондатровой шапке, в валенках, ишь ты вышагивает. Одна баба, с которой у него позапрошлым летом было дело, говорила, что у него лицо индейского вождя. Баба эта была начальником геологической партии, надо же. Хорошая такая Анна Петровна, вроде бы доцент. Письма писала, и он ей отвечал: «Здравствуйте, уважаемая Анна Петровна! Пишет вам вами известный Валерий Кирпиченко...» — и прочие печки-лавочки.

Большая толпа пассажиров уже собралась у турникетов. Неподалеку попрыгивала в своих ботиках Лариска. Лицо у нее было белое и с синевой, ярко-красные губы, и ужасно глупо выглядела брошка с бегущим оленем на воротнике.

— Зачем пришла? — спросил Кирпиченко.

— П-проводить, — еле выговорила Лариска.

— Ты, знаешь, кончай, — ладонью обрубил он. — Раскалывали меня три дня со своим братцем — ладно, а любовь тут нечего крутить...

Лариска заплакала, и Валерий испугался.

— Ну, чё ты, чё ты...

— Да, раскалывали, — лепетала Лариска, — так уж и раскалывали... Ну, ладно... знаю, что ты обо мне думаешь... я такая и есть... а что мне тебя нельзя любить, что ли?

— Кончай.

— А я вот буду, буду! — почти закричала Лариска. — Ты, Валя, — она приблизилась к нему, — ты ни на кого не похож...

— Такой же я, как все, только может... — И Кирпиченко медленно растянул в улыбке губы.

Лариска отвернулась и заплакала еще пуще. Вся ее жалкая фигурка сотрясалась.

— Ну, чё ты, чё ты... — растерялся Кирпиченко и погладил ее по плечу.

В это время толпа потянулась на летное поле. И Кирпиченко пошел, не оглядываясь, думая о том, что ему жалко Лариску, что она ему стала не чужой, но, впрочем, каждая становится не чужой, такой уж у него дурацкий характер, а потом забываешь, и все нормально, нормально. Нормально — и точка.

Он шагал в толпе пассажиров, глядя на ожидавший его огромный сверкающий на солнце самолет, и быстро-быстро все забывал — всю гадость своего трехдневного пребывания здесь и эти пальчики на своей шее. Его на это не купишь. Так было всегда. Его не купишь и не сломаешь. Попадались и не дешевки. Были у него и прекрасные женщины. Доцент, к примеру, — душа-человек. Все они влюблялись в него, и Валерий понимал, что происходит это не из-за его жестокости, а совсем из-за другого: может быть, из-за его молчания, может быть, из-за того, что каждой хочется стать для него находкой, потому что они, видимо, чувствуют в эти минуты, что он ходит, как слепой, вытянув руки. Но он всегда так себе говорил: не купите на эти штучки, не ломаете, было дело — и каюк. И все нормально. Нормально.

Самолет был устрашающе огромен. Он был огромен и тяжел, как крейсер. Кирпиченко еще не летал на таких самолетах, и сейчас у него просто захватило дух от восхищения. Что он любил — это техника. Он поднялся по высоченному трапу. Девушка-бортпроводница в синем костюмчике и пилотке посмотрела его билет и сказала, где его место. Место было в первом салоне, но на нем уже сидел какой-то тип, какой-то очкарик в шапке пирожком.

— А ну-ка вались отсюда, — сказал Кирпиченко мирно и показал очкарику билет.

— Не можете ли вы сесть на мое место? — спросил очкарик. — Меня укачивает в хвосте.

— Вались, говорю, отсюда, — гаркнул на него Кирпиченко.

— Могли бы быть повежливей, — обиделся очкарик. Почему-то он не вставал.

Кирпиченко сорвал с него шапку и бросил ее в глубь самолета, но направлению к его месту, законному. Показал в общем ему направление — туда и вались, занимая согласно купленным билетам.

— Гражданин, почему вы хулиганите? — сказала бортпроводница.

— Спокойно, — сказал Кирпиченко.

Очкарик в крайнем изумлении пошел разыскивать шапку, а Кирпиченко занял свое законное место.

Он снял тулуп и положил его в ноги, утвердился, так сказать, на своей плацкарте.

Пассажиры входили в самолет один за другим, казалось, им не будет конца. В самолете играла легкая музыка. В люк валил солнечный морозный пар. Бортпроводницы хлопотливо пробегали по проходу, все, как одна, в синих костюмчиках, длинноногие, в туфельках на острых каблучках. Кирпиченко читал газету. Про разоружение и про Берлин, про подготовку к чемпионату в Чили и про снегозадержание.

К окну села какая-то бабка, перепоясанная шалью, а рядом с Кирпиченко занял место румяный морячок. Он все шутил:

— Бабка, завещание написала?.. — И кричал бортпроводнице: — Девушка, кому сдавать завещания?

Везет Кирпиченко на таких сатириков!

Наконец захлопнули люк, и зажглась красная надпись: «Не курить, пристегнуть ремни» — и что-то по-английски, может, то же самое, а может, и другое. Может, наоборот: «Пожалуйста, курите. Ремни можно не пристегивать». Кирпиченко не знал английского.

Женский голос сказал по радио:

— Прошу внимания! Командир корабля приветствует пассажиров на борту советского лайнера ТУ-114. Наш самолет-гигант выполняет рейс Хабаровск — Москва. Полет будет проходить на высоте девять тысяч метров со скоростью семьсот километров в час. Время в пути восемь часов тридцать минут. Благодарю за внимание. — И по-английски: — Курли-шурли, лопс-дропс... Сенкью.

— Вот как, — удовлетворенно сказал Кирпиченко и подмигнул морячку. — Чин-чинарем.

— А ты думал, — сказал морячок так, как будто самолет — это его собственность, как будто это он сам все устроил: объявления на двух языках и прочий комфорт.

Самолет повезли на взлетную дорожку. Бабка сидела очень сосредоточенная. За иллюминатором проплывали аэродромные постройки.

— Разрешите взять ваше пальто? — спросила бортпроводница.

Это была та самая, которая прикрикнула на Кирпиченко. Он посмотрел на нее и обомлел. Она улыбалась. Над ним склонилось ее улыбающееся лицо и волосы — темные, нет, не черные, темные и, должно быть, мягкие, плотной и точной прической похожие на мех, на мутон, на нейлон, на все сокровища мира. Пальцы ее прикоснулись к овчине его тулупа, таких не бывает пальцев. Нет, все это бывает в журнальчиках, а значит, и не только в них, но не бывает так, чтоб было и все это, и такая улыбка, и голос самой первой женщины на земле, — такого не бывает.

— Понял, тулуп мой понесла, — глупо улыбаясь, сказал Кирпиченко морячку, а тот подмигнул ему и сказал горделиво:

— В порядке кадр? То-то.

Она вернулась и забрала бабкин полушубок, моряковский кожан и Кирпиченкино пальто. Все сразу охапкой прижала к своему божьему телу и сказала:

— Пристегните ремни, товарищи.

Заревели моторы. Бабка обмирала и втихомолку крестилась. Морячок усиленно ей подражал и косил глазом: смеется ли Кирпиченко? А тот выворачивал шею, глядя, как девушка, девушка, д е в у ш к а носит куда-то пальто и шинели. А потом она появилась с подносом и угостила всех конфетами, а может, и не конфетами, а золотом, самородками, пилюлями для сердца. А потом, уже в воздухе, она обнесла всех водой, сладкой водой и минеральной, той самой водой, которая стекает с самых высоких и чистых водопадов. А потом она исчезла.

— В префер играешь? — спросил морячок. — Можно собрать пулечку.

Красная надпись погасла, и Кирпиченко понял, что можно курить. Он встал и пошел в нос, в закуток за шторкой, откуда уже валили клубы дыма.

— Сообщаем сведения о полете, — сказали по радио. — Высота девять тысяч метров, скорость семьсот пятьдесят километров в час. Температура воздуха за бортом минус пятьдесят восемь градусов. Благодарю за внимание.

Внизу, очень далеко, проплывала каменная, безжизненная страна. Кирпиченко даже вздрогнул, представив себе, как в этом ледяном пространстве над жестокой и пустынной землей плывет металлическая сигара, полная человеческого тепла, вежливости, папиросного дыма, глухого говора и смеха, шуточек — таких, что оторви да брось, минеральной воды, капель водопада из плодородных краев, и он сидит здесь и курит, а где-то в хвосте, а может быть и в середине, разгуливает женщина, каких на самом деле не бывает, до каких тебе далеко, как до луны.

Он стал думать о своей жизни и вспоминать. Он никогда раньше не вспоминал. Разве, если к слову придется, расскажет какую-нибудь байку. А сейчас вдруг подумал: «В четвертый раз через всю страну качу и впервые за свой счет. Потеха!»

Раньше все были казенные перевозки. В тридцать девятом, когда Валерий был еще очень маленьким пацанчиком, весь их колхоз из Ставрополя вдруг изъявил желание переселиться в дальневосточное Приморье. Ехали долго. Он немного помнит эту дорогу: кислое молоко и кислые щи, мать стирала в углу теплушки и вывешивала белье наружу, оно трепалось за окошком, как флаги, а потом начинало греметь, одубев от мороза, а он пел: «Летят самолеты, сидят в них пилоты и сверху на землю глядят...» Мать умерла в войну, а отец в сорок пятом на Курилах пал смертью храбрых. В детдоме Валерий кончил семилетку, потом ФЗО, работал в шахте. «Давал стране угля, мелкого, но много»... В пятидесятом году пошел на действительную, опять его повезли через всю страну — на этот раз в Прибалтику. В армии он освоил шоферскую специальность и после демобилизации подался с дружкой в Новороссийск. Через год его забрали. Какая-то сволочь сперла запчасти из гаража, но там долго не разбирались — посадили его как «лицо, материально ответственное». Дали три года и повезли на Сахалин. В лагере он был полтора года, освободили по зачетам, а потом и судимость сняли. С этого времени он работал в леспромхозе. Работа ему нравилась, денег платили много. Что он делал: тянул прицепы на перевал, а потом вниз на всех тормозах, пил спирт, смотрел кино, летом ездил на танцы в рыбокомбинат. Жил он в общежитии. Всегда он жил в общежитиях, казармах, бараках. Койки, койки, простые и двухэтажные, нары, рундуки... У него не было друзей, а «корешков» полно. Его побаивались, с ним шутки были плохи. Он недолго думал перед тем, как засветить тебе фонарь. А на работе он был передовиком. Он любил технику. Он вспоминал машины, на которых ему приходилось работать, как вспоминают друзья: «Иван-виллис» в армии, а потом тягач, потом полуторный «газик», «Татра» и его теперешний дизель... В городах, в Южно-Сахалинске, в Поронайске, в Корсакове, он иногда останавливался на углу и смотрел на окна новых домов, на стильные торшеры и гардины, и это наполняло его тревогой. Он не считал своих лет и только недавно понял, что через несколько месяцев ему минет тридцать. Тихо! В Москве он купит три костюма, зеленую шляпу и поедет на Юг, как какой-нибудь ИТР. В кальсонах у него защиты аккредитивы, денег — вагон. То-то будет весело на Юге. Все нормально. Нормально — и точка!

Он встал и пошел ее искать. Куда она подевалась? В самом деле,

у пассажиров горло пересохло, а она стоит и треплется по-английски с каким-то капиталистом.

Она болтала, шурила свои глаза, улыбалась своим ртом, ей, видно, было приятно болтать по-английски. Капиталист стоял рядом с ней, высоченный и худой, с седым ежиком на голове, а сам молодой. Пиджак у него был расстегнут, от пояса в карман шла тонкая золотая цепочка. Он говорил раскатисто, слова гремели у него во рту, словно стучаясь о зубы. Знаем мы эти разговорчики.

О н: Поедем, дорогая, в Сан-Франциско и будем там пить виски.

О н а: Вы много себе позволяете.

О н: В бананово-лимонном Сингапуре... Понятно?

О н а: Неужели в самом деле? Когда под ветром клонится банан?

О н: Забрались мы на сто второй этаж, там буги-вуги лабают джаз. Кирпиченко подошел и оттер капиталиста плечом. Тот удивился и сказал: «Ай эм сори», что, конечно, означало: «Смотри, нарвешься, паренек».

— Спокойно,— сказал Кирпиченко.— Мир — дружба.

Он знал политику.

Капиталист что-то сказал ей через его голову, должно быть: «Выбирай, я или он, Сан-Франциско или Баюкль».

А она ему с улыбочкой: «Этого товарища я знаю, и оставьте меня, я советский человек».

— В чем дело, товарищ?— спросила она у Кирпиченко.

— Это,— сказал он,— горло пересохло. Можно чем-нибудь промочить?

— Пойдемте,— сказала она и пошла впереди, как какая-то козочка, как в кино, как во сне, ах, как он соскучился по ней, пока курил там, в носу.

Она шла впереди, как не знаю кто, и привела его в какой-то вроде бы буфет, а может быть, к себе домой, где никого не было и где высотное солнце с мирной яростью светило сквозь иллюминатор, а может быть, через окно в новом доме на девятом этаже. Она взяла бутылку и налила в стеклянную чашечку пузырящуюся воду. Она подняла эту чашечку, и та вся загорелась под высотным солнцем. А он смотрел на девушку, и ему хотелось иметь от нее детей, но он даже не представлял себе, что с ней можно делать то, что делают, когда хотят иметь детей, и это было впервые, и его вдруг обожгло неожиданное первое чувство счастья.

— Как вас звать?— спросил он с тем чувством, которое бывало у него каждый раз после перевала — и страшно и все позади.

— Татьяна Викторовна,— ответила она.— Таня.

— А меня, значит, Кирпиченко Валерий,— сказал он и протянул руку.

Она подала ему свои пальцы и улыбнулась.

— Вы не очень-то сдержанный товарищ.

— Малость есть,— сокрушенно сказал он.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Ее разбирал смех. Она боролась с собой, и он тоже боролся, но вдруг не выдержал и улыбнулся так, как, наверное, никогда в жизни не улыбался.

В это время ее позвали, и она побежала по трапу вниз, в первый этаж самолета.

Кирпиченко повернулся и увидел в каком-то зеркале свое улыбающееся лицо. «Ну и будка у тебя, Валера,— подумал он.— Страшное дело. На громилу похож. Но девочка вроде тебя не боится. Уверен, что не боится ни капли».

Он пошел по проходу назад и увидел очкарика, который пытался тогда захватить его законное место. Очкарик лежал в кресле, закрыв глаза. У него было красивое лицо, чистый мрамор.

— Слышь, друг,— Кирпиченко толкнул его в плечо,— хочешь, занимай мою плацкарту.

Тот открыл глаза и слабо улыбнулся:

— Благодарю вас, мне хорошо..

Может, он не первый раз летал на таких самолетах, этот очкарик, и занял место в первом салоне для того, чтобы смотреть, как открывается дверь в рубку, и видеть там летчиков, как они почесываются, покуривают, посмеиваются, читают газеты и изредка взглядывают на приборы.

Таня начала разносить обед. Она и Валерию подала поднос и взглянула на него. как на знакомого.

— А где вы проживаете, Таня?— спросил он.

«Таня, Та-ня, Т-а-н-я».

— В Москве,— ответила она и ушла.

Кирпиченко ел, и все ему казалось, что у него и бифштекс потолще, чем у других, и яблоко покрупнее, и хлеба она ему дала больше. Потом она принесла чай.

— Значит, москвичка?— опять спросил он.

— Ага,— шустренько так ответила она и ушла.

— Зря стараешься, земляк,— ухмыльнулся морячок.— Ее небось в Москве стильный малый дожидается.

— Спокойно,— сказал Кирпиченко с ровным и широким ощущением своего благополучия и счастья.

Но, ей-богу же, не вечно длятся такие полеты, и сверху, с таких высот, самолет имеет свойство снижаться. И кончаются смены, кончаются служебные обязанности, и вам возвращают пальто, и тоненькие пальчики несут ваш тулуп, и глаза блуждают уже где-то не здесь, и все медленно пропадает, как пропадает завод в игрушках, и все становится плоским, как журнальная страница, «Аэрофлот — ваш агент во время воздушных путешествий» — эко диво — все эти маникюры, и туфельки, и прически.

Нет, нет, нет, ничего не пропадает, ничто не становится плоским, хотя мы уже и катим по земле..

Вот так-так, какая началась суета, а синяя пилотка где-то далеко...

— Не задерживайте, гражданин..

— Пошли, земляк..

— Ребята, вот она, и Москва..

— Москва, она и бьет с носка..

— Ну, проходите же, в самом деле..

Все еще не понимая, что же это происходит с ним, Кирпиченко вместе с морячком вышел из самолета, спустился по трапу и влез в автобус. Автобус покатился к зданию аэропорта, и быстро исчез из глаз «советский лайнер ТУ-114, самолет-гигант», летающая крепость его непонятных надежд.

Такси летело по широченному шоссе. Здесь было двухрядное движение. Грузовики, фургоны, самосвалы жались к обочине, а легковушки шли на большой скорости и обгоняли их, как стоячих. И вот кончился лес, и Кирпиченко с морячком увидели розоватые тысячеглазые кварталы Юго-Запада. Морячок заерзал и положил Валерию руку на плечо.

— Столица! Ну, Валерий!

— Слушай, наш самолет обратно теперь полетит?— спросил Кирпиченко.

— Само собой. Завтра и полетят.

— С тем же экипажем, а?

Морячок насмешливо присвистнул.

— Кончай. Эка невидаль — модерная девчонка. В Москве таких миллион. Не психуй.

— Да я просто так,— промямлил Кирпиченко.

— Куда вам, ребятишки?— спросил шофер.

— Давай в ГУМ!— гаркнул Кирпиченко и сразу все забыл про самолет.

Машина уже катила по московским улицам.

В ГУМе он с ходу купил три костюма — синий, серый и коричневый. Он остался в коричневом костюме, а свой старый, шитый четыре года назад в корсаковском ателье, свернул в узелок и оставил в туалете, в кабинке. Морячок набрал себе габардина на макинтош и сказал, что будет шить в Одессе. Потом в гастрономе они выпили по бутылочке шампанского и пошли на экскурсию в Кремль. Потом они пошли обедать в «Националь» и ели черт те что — жульен — и пили «КС». Здесь было много девушек, похожих на Таню, а может, и Таня сюда заходила, может быть, она сидела с ними за столиком и подливала ему нарзана, бегала на кухню и смотрела, как ему жарят бифштекс. Во всяком случае капиталист был здесь. Кирпиченко помахал ему рукой, и тот привстал и поклонился. Потом они вышли на улицу и выпили еще по бутылке шампанского. Таня развивала бешеную деятельность на улице Горького. Она выпрыгивала из троллейбусов и забегала в магазины, прогуливалась с пижонами по той стороне, а то и улыбалась с витрин. Кирпиченко с морячком, крепко взявшись под руки, шли по улице Горького и улыбались. Морячок напевал:

— Ма-да-гаскар, моя страна...

Это был час, когда сумерки уже сгустились, но еще не зажглись фонари. Да в конце улицы, на краю земли горела весна. Да, там была страна сбывшихся надежд. Они удивлялись, почему девушки шаркают от них.

Позже везде были закрытые двери, очереди, и никуда нельзя было попасть. Они задумались о ночлеге, взяли такси и поехали во Внуково. Они сняли двухкочную комнату в аэропортовской гостинице, и только увидев белые простыни, Кирпиченко понял, как он устал. Он содрал с себя новый костюм и повалился на постель.

Через час его разбудил морячок. Он бегал по комнате, надраивая свои щеки механической бритвой «спутник», и верещал, кудахтал, захлабывался:

— Подъем, Валера! Я тут с такими девочками познакомился, ах, ах... Вставай, пошли в гости! Они здесь в общежитии живут. Дело верное, браток, динами не будет... У меня на это нюх... Вставай, подымайся! Ма-да-гаскар...

— Чего ты раскудахтался, как будто яйцо снес! — сказал Кирпиченко, взял с тумбочки сигарету и закурил.

— Идешь ты или нет?— спросил морячок уже в дверях.

— Выруби свет,— попросил его Кирпиченко.

Свет погас, и сразу лунный четырехугольник окна отпечатался на стене, пересеченный переплетением рамы и качающимися тенями голых ветвей. Было тихо, где-то далеко играла радиола, за стеной спросили: «У кого шестерка есть?» — и послышался удар по столу. Потом с грохотом прошел на посадку самолет. Кирпиченко курил и представлял себе, как рядом с ним лежит она, как они лежат вдвоем уже после всего, и ее пальцы гладят его шею. Нет, это и есть этот свет не как будто, а на самом деле, потому что все непонятное, что с ним было в детстве, когда по всему телу проходят мураши, и его юность, и сопки, отпечатанные розовым огнем зари, и море в темноте, и талый снег, и усталость после работы, суббота и воскресное утро — это и есть она.

«Ну и дела»,— подумал он, и его снова охватило ровное и широкое ощущение благополучия и счастья. Он был счастлив, что это с ним случи-



лось. Одного только боялся: что пройдет сто лет и он забудет ее лицо и голос.

В комнату тихо вошел морячок. Он разделся и лег, взял с тумбочки сигарету, закурил, печально пропел:

— Ма-да-гаскар, моя страна, здесь, как и всюду, цветет весна... Эх, черт возьми,— с сердцем сказал он,— ну и жизнь! Вечный транзит...

— Ты с какого года плаваешь? — спросил Кирпиченко.

— С полста седьмого,— ответил морячок и снова запел:

Мадагаскар, моя страна,  
Здесь, как и всюду, цветет весна.  
Мы тоже люди,  
Мы тоже любим,  
Хоть кожа черная, но кровь красна...

— Спиши слова,— попросил Кирпиченко.

Они зажгли свет, и морячок продиктовал Валерию слова этой восхитительной песни. Кирпиченко очень любил такие песни.

На следующий день они закомпостирировали свои билеты: Кирпиченко на Адлер, морячок на Одессу. Позавтракали. Кирпиченко купил в киоске книгу Чехова и журнал «Огонек».

— Слушай,— сказал морячок,— у нее в самом деле подружка хорошая. Может, съездим с ними в Москву?

Кирпиченко уселся в кресло и раскрыл книгу.

— Да нет,— сказал он,— ты езжай вдвоем, а я уж тут посижу, почитаю эту политику.

Морячок отмахал морской сигнал: «Понял, желаю успеха, ложусь на курс».

Весь день Кирпиченко слонялся по аэропорту, но Тани не увидел. Вечером он проводил морячка в Одессу, ну выпили они по бутылке шампанского, потом проводил его девушку в общежитие, вернулся в аэропорт, пошел в кассу и взял билет на самолет-гигант ТУ-114, вылетающий рейсом 901 Москва — Хабаровск.

В самолете все было по-прежнему: объявления на двух языках и прочий комфорт, но Тани не оказалось. Там был другой экипаж. Там были девушки, такие же юные, такие же красивые, похожие на Таню, но все они не были первыми — Таня была первой, это после нее пошла вся эта порода.

Утром Кирпиченко оказался в Хабаровске и через час снова вылетел в Москву, уже на другом самолете. Но и там Тани не было.

Так он летал на самолетах марки ТУ-114, на высоте девять тысяч метров, на скорости семьсот пятьдесят километров в час. Температура воздуха за бортом колебалась от минус 50 до 60° по Цельсию. Вся аппаратура работала нормально.

Он знал в лицо уже почти всех проводниц на этой линии и кое-кого из пилотов. Он боялся, как бы его не приняли за шпиона.

Он боялся, как бы его не приняли за шпиона.

Он менял костюмы. Рейс делал в синем, другой в коричневом, третий в сером.

Он распорол кальсоны и переложил аккредитивы в карман пиджака. Аккредитивов становилось все меньше.

Тани все не было.

Было яростное высотное солнце, восходы и закаты над снежной облачной пустыней. Была луна, она казалась близкой. Она и в самом деле была недалеко.

Одно время он сбился во времени и пространстве, перестал переводить часы. Хабаровск казался ему пригородом Москвы, а Москва новым районом Хабаровска.

Он очень много читал. Никогда в жизни он не читал столько.

Никогда в жизни он столько не думал.

Никогда в жизни он не плакал.

Никогда в жизни он так первоклассно не отдыхал.

В Москве начиналась весна. За шиворот ему падали капли с тех самых высоких и чистых водопадов. Он купил серый шарф в крупную черную клетку.

На случай встречи он приготовил для Тани подарок — парфюмерный набор «1 Мая» и отрез на платье.

Я встретил его в здании Хабаровского аэропорта. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и читал Станюковича. На ручке кресла висела авоська, полная апельсинов. На обложке книги под штормовыми парусами летел клипер.

— Вы не моряк? — спросил он меня, оглядев мое кожаное пальто.

— Нет.

Я уставился на его удивительное, внушающее опасение лицо, а он прочел еще несколько строк и снова спросил:

— Не жалеете, что не моряк?

— Конечно, досадно, — сказал я.

— Я тоже жалею, — усмехнулся он. — Друг у меня моряк. Вот прислал мне радиogramму с моря.

Он показал мне радиogramму.

— Ага, — сказал я.

А он спросил, с ходу перейдя на «ты»:

— Сам-то с какого года?

— С тридцать второго, — ответил я.

Он весь просиял:

— Слушай, мы же с тобой с одного года!

Совпадение действительно было феноменальное, и я пожал его руку.

— Небось в Москве живешь, а? — спросил он.

— Угадал, — ответил я. — В Москве.

— Небось квартира, да? Жена, пацан, да? Прочие печки-лавочки?

— Угадал. Все так и есть.

— Пойдем позавтракаем, а?

Я уж было пошел с ним, но тут объявили посадку на мой самолет. Я летел в Петропавловск. Мы обменялись адресами, и я пошел к самолету. Я шел по аэродромному полю, сгибался под ветром и думал: «Какой странный парень».

А он в это время взглянул на часы, взял свою авоську и вышел. Он взял такси и поехал в город. Вместе с шофером они еле нашли эту горбатую деревенскую улицу, потому что он не помнил ее названия. Домики на этой улице были похожи один на другой, во всех дворах брехали здоровенные псы, и он немного растерялся. Наконец он вспомнил тот домик. Он вышел из машины, повесил на штaketник авоську с апельсинами, замаскировал ее газетой, чтобы соседи или прохожие не сперли это сокровище, и вернулся к машине.

— Давай, шеф, гони! На самолет как бы не опоздать.

— Куда летишь-то? — спросил шофер.

— В Москву, в столицу.

Таню он увидел через два дня на аэродроме в Хабаровске, когда уже возвращался домой на Сахалин, когда уже кончились аккредитивы и в кармане было только несколько красных бумажек. Она была в белой шубке, подпоясанной ремешком. Она смеялась и ела конфеты, доставая

их из кулька, и угощала других девушек, которые тоже смеялись. Он обессилел сразу и присел на свой чемодан. Он смотрел, как Таня достает конфеты, снимает обертку и все девушки делают то же самое, и не понимал, отчего они все стоят на месте, смеются и никуда не идут. Потом он сообразил, что пришла весна, что сейчас весенняя ночь, а луна над аэродромом похожа на апельсин, что сейчас не холодно и можно вот так стоять и просто смотреть на огни, и смеяться, и на мгновение задумываться с конфетой во рту...

— Ты чего, Кирпиченко? — тронул его за плечо сахалинский знакомый Маневич, который тоже возвращался из отпуска. — Пошли! Посадка ведь уже объявлена.

— Маневич, не знаешь ты, сколько до луны километров? — спросил Кирпиченко.

— Перебрал ты, видно, в отпуске, — сердито сказал Маневич и пошел. Кирпиченко поймал его за полу.

— Ты же молодой специалист, Маневич, — умоляюще сказал он, глядя на Таню, — ты ведь должен знать...

— Да тысяч триста, что ли, — сказал Маневич, освобождаясь.

«Недалеко, — подумал Кирпиченко. — Плевое дело». Он смотрел на Таню и представлял себе, как будет он вспоминать ее по дороге на перевал, а на перевале вдруг забудет, там не до этого, а после, в конце спуска, вспомнит опять и будет уже помнить весь вечер и ночью и утром проснет-ся с мыслью о ней.

Потом он встал со своего чемодана.

---

## *Папа, сложи!*

Высокий мужчина в яркой рубашке навывпуск стоял на солнцепеке и смотрел в небо, туда, где за зданием гостиницы «Украина» накапливалась густая, мрачноватая синева.

«В Филях, наверное, уже льет», — думал он.

В Филях, должно быть, все развезло. Люди бегут по изрытой бульдозерами земле, прячутся во времянках, под деревьями, под навесами киосков. Оттуда на Белорусский вокзал приходят мокрые электрички, а сухие с Белорусского уходят туда и попадают под ливень и сквозь ливень летят дальше — в Жаворонки, в Голицыно, в Звенигород, где по оврагам текут ручьи, пахнет мокрыми соснами и белые церкви стоят на холмах. Ему вдруг захотелось быть где-нибудь там, закутаться Ольку в пиджак, взять ее на руки и бежать под дождем к станции.

«Только бы до Лужников не докатилась», — думал он.

Сам он любил играть под дождем, когда мокрый мяч летит на тебя, словно тяжелое пушечное ядро, и тут уже не до шуток, тут уже не поводишь, стараешься играть в пас, стараешься играть точно, а ребята дышат вокруг, тяжелые и мокрые, идет тяжелая и спешная работа, как на корабле во время аврала... Но на трибунах лучше сидеть под солнышком и смастерить себе из газеты шляпу.

Он оглянулся и позвал:

— Ольга!

Девочка лет шести прыгала в разножку по «классикам» в тени большого дома. Услышав голос отца, она подбежала к нему и взяла за руку.

Она была послушной. Они вошли под тент летней закуской, которая так и называлась: «Лето». Мужчина еще раз оглянулся на тучу.

«Может быть, и пройдет мимо стадиона», — прикинул он.

— Пэ,— сказала девочка,— рэ, и, нэ, о, сэ, и, тэ, мягкий знак...

Она читала объявление.

Под тентом было, пожалуй, еще жарче, чем на улице. Розовые лица посетителей, сидящих у наружного барьера, отсвечивали на солнце. Отчетливо блестели капельки пота на лицах. Страшно было смотреть, как люди едят горячие супы, а им еще подносили трескучие шашлыки.

— Сэ,— продолжала девочка,— и опять сэ, о... Папа, сложи!

Отец взглянул на объявление: «Приносить с собой и распивать спиртные напитки строго воспрещается».

— Что там написано? — спросила девочка.

— Чепуха,— усмехнулся он.

— Разве чепуху пишут печатными буквами? — усомнилась она.

— Бывает.

Он пошел в дальний тенистый угол, где сидели его приятели. Там пили холодное пиво. Девочка шла рядом с ним, белобрысенькая девочка в синей матроске и аккуратной плиссированной юбочке, с капроновыми бантиками в косичках, а на ногах белые носочки. Вся она была очень востроносой и чистенькой, такой примерно-показательный ребенок вроде тех, которые нарисованы на стенках микроавтобусов: «Знают наши малыши, консервы эти хороши». Ее не приходилось тянуть, она не гладела по сторонам, а спокойно шла за своим папой.

Ее папа был когда-то спортсменом и кумиром трех близлежащих улиц. Когда он весенним вечером возвращался с тренировки, на всех трех близлежащих улицах ребята выходили из подворотен и приветствовали его, а девочки бросали на него взволнованные взгляды. Даже самые заядлые «ханурики» почтительно поднимали кепки, а подполковник в отставке Коломейцев, который без футбола не представлял себе жизни, останавливал его и говорил:

— Слышал, что растешь. Расти!

А он шел в серой кепочке «букле», в каких ходила вся их команда — дубль мастеров, шел особой, развинченной футбольной походкой, которая вырабатывается не от чего-нибудь, а просто от усталости (только пилжоны нарочно вырабатывают себе такую походку), и улыбался мягкой улыбкой, и все в нем мело от молодости и от спортивной усталости.

Это было еще до рождения Ольги, и она, понятно, этого еще не знает, но для него-то эти шесть лет прошли, словно шесть дней. К тому времени, к ее рождению, он уже перестал «расти», но все еще играл. Летом футбол, зимой хоккей — вот и все. С поля на скамью запасных, а потом и на трибуны, но все равно — летом футбол, зимой хоккей... Шесть летних сезонов и шесть зимних...

Он рассуждал сам с собой: «Ну и что? Чем плохо? Межсезонье, осень, весна — периоды тренировок... А что у тебя есть еще?.. Приветик, у меня есть жена... Жена? Ты говоришь, что у тебя в постели есть женщина?.. Я говорю, что у меня есть жена. Семья, понял? Жена и дочка... О, даже дочка! Даже о дочке ты вспомнил... Футбол, хоккей, хоккей, футбол... Тебе не надоело?.. Господи, разве спорт может надоест? И потом еще у меня есть завод... А он тебе не надоел?.. Стоп, на завод посторонним вход воспрещен... Ну ладно... Итак, завод и футбол, да? И еще жена, дочка?.. А что? Семью обеспечиваю, полторы бумаги в месяц и премиальные... Я, между прочим, рационализатор. И друзей у меня, между прочим, полно. Вон они сидят: Петька Струков и Ильдар, Владик, Женечка, Игорь, Зямка, Петька-второй тоже — все здесь. Сдвинули два столика. Насорили рачьими клешнями, и лужи уже на столе. Гоп-компа-

ния. Все одnogодки. А сколько вам лет? Э-э, мы все с двадцать девятого. Всем тридцать два, стало быть».

— Это что, Серега, твоя пацанка? — спросил Петька-второй.

Все с любопытством уставились на девочку.

— Ага.

Он сел на подставленный ему стул и посадил девочку на колено. Ей было неудобно, но она сидела смирно.

— Сиди тихо, Олюсь, сейчас получишь конфетку.

Ему подвинули кружку пива и тарелку раков, а девочке он заказал лимонаду и двести граммов конфет «Ну-ка, отними». Друзья смотрели на него с огромным любопытством. Они впервые видели его с дочкой.

— Понимаешь, у Алки сегодня конференция, — объяснил он Петьке Струкову.

— В воскресенье? — удивился Игорь.

— Вечно у них конференции, у помощников смерти, — усмехнулся Сергей и добавил чуть ли не виновато: — А теща в гости уехала, вот и приходится...

Он показал глазами на голову девочки. Волосики у нее были разделены посередине ниточкой пробора.

—пей пиво, — сказал Ильдар, — холодное...

Сергей поднял кружку, обвел глазами друзей и усмехнулся, наклонив голову, скрывая теплогу. Он любил свою гоп-компанию и каждого в отдельности и знал, что они его тоже любят. Его любили как-то по-особенному, наверное, потому, что когда-то он был среди всех самым «растущим», он рос на глазах, он играл за дублеров. У него были хорошие физические данные и сильный удар, и он поле видел. И женился он по праву на самой красивой из их девочек.

Сергей держался своих друзей. Только среди них он чувствовал себя таким, как шесть лет назад. Все они прочно держались друг друга, и посторонние не допускались. словно связанные тайной поручкой, они несли в тесном кругу свои юношеские вкусы и привычки, тащили все вместе в неведомое будущее кусочек времени, которое уже прошло... Нападающие и защитники женились, переходили в запас, становились болевщиками, у них рождались дети, но дети, жены и весь быт были где-то за невидимой чертой той мужской московской жизни, в которой опоздавшие бегут от метро к стадиону, словно в атаку, а на трибунах волнение и всех опьяняет огромное весеннее чувство солидарности. Они не понимали, почему это их девочки (те самые болевщицы и партнерши по танцам) стали такими занудами. Теперь они играли в цеховых командах и за пивом вспоминали о том времени, когда они играли в заводских командах и как кого-то из них приглашали в дубль мастеров, а Серега уже играл за дубль и мог бы выйти в основной состав, если бы не Алка. Это все они — Алки, Нинки, Тamarки, зануды...

— Папа, не надо отламывать ему голову, — сказала девочка.

Сергей вздрогнул и заглянул в ее внимательные и строгие голубые глаза, Алкины глаза. Он опустил руку с красным красавцем раком. Этот голубой взгляд, внимательный и строгий. Восемь лет назад он остановил его: «Убери руки и приходи ко мне трезвый». Такой взгляд. Можно, конечно, трепаться с ребятами о том, как надоела «старуха», а может быть, она и действительно надоела, потому что нет-нет, а вдруг тебе хочется познакомиться с какой-нибудь девочкой с сорокового года, пловчихой или гимнасткой, и ты знакомишься, бывает, но этот взгляд...

— И ноги ему не выдергивай.

— Почему? — пробормотал он растерянно, как тогда.

— Потому что он, как живой.

Он положил рака на стол.

— А что же мне с ним делать?

— Дай его мне.

Оля взяла рака и завернула его в носовой платок.

Вокруг грохотали приятели.

— Ну и пацанка у тебя, Сергей! Вот это да!

— Ты любишь рака, Оленька? — спросил Зямка, у которого не было детей.

— Да, — сказала девочка. — Он задом ходит.

— О-хо-хо! О-хо-хо! — изнемогали соседние столики. — Вот ведь умница! Умница!

— А ну-ка, замолчали! — прикрикнул Петька Струков, и соседние столики замолчали.

Ильдар вынул таблицу чемпионата и расстелил ее на столе, и все склонились над таблицей и стали говорить о команде, о той команде, которая, по их расчетам, должна была выиграть чемпионат, но почему-то плелась в середине таблицы. Они болели за эту команду, но болели не так, как обычно болеют несведущие фанатики, выбирающие своего фаворита по каким-то непонятным соображениям. Нет, просто их команда — это была Команда с большой буквы, это было то, что, по их мнению, больше всего соответствовало высокому понятию «футбольная команда». На трибунах они не топали ногами, не свистели и не кричали при неудачах: «Меньше водки надо пить!» — потому что они знали, как все это бывает, ведь «пшенку» может выдать любой самый классный вратарь: мяч круглый, а команда — это не механизм, а одиннадцать разных парней.

Вдруг с улицы из раскаленного добела дня вошел в закусочную человек в светлом пиджаке и темном галстуке — Вячеслав Сорокин. Его шумно приветствовали:

— Привет, Слава!

— С приездом, Слава!

— Ну как Ленинград, Слава?

— Город-музей, — коротко ответил Сорокин и стал всем пожимать руки, никого не обошел.

— Здравствуй, Олюсь! — сказал он дочке Сергея и ей пожал руку.

— Здравствуйте, дядя Вяча! — сказала она.

«Откуда она его знает? — подумал Сергей. — Да еще зовет его Вячей».

Сорокину подвинули пиво. Он пил и рассказывал о Ленинграде, куда он ездил на родственное предприятие с делегацией по обмену опытом.

— Удивительные архитектурные ансамбли, творения Растрелли, Росси, Казакова, Кваренги... — торопливо выкладывал он.

«Успел уже и там культуры нахвататься», — подумал Сергей.

Он тоже был в Ленинграде, когда играл за дублеров, но он был тогда режимным парнем и мало что себе позволял, даже не успел тогда познакомиться ни с кем.

— ...колонны дорические, конические, готические, калифорнийские... — выкладывал Сорокин.

— Молчу, молчу... — сказал Сергей, и все засмеялись.

Сорокин сделал вид, что не обиделся. Щелчками он сбил со стола на асфальт останки рака и придвинулся к таблице. Он прикурил у Женечки и сказал, что, по его мнению, команда сегодня проиграет.

— Выиграет, — сказал Сергей.

— Да нет же, Сережа, — мягко сказал Сорокин и посмотрел ему в глаза, — сегодня им не выиграть. Есть законы игры, теория, расчет...

— Ни черта ты в игре не понимаешь, Вяча, — холодно усмехнулся Сергей.

— Я не понимаю? — сразу завелся Сорокин. — Я книги читаю!

— Книги! Ребята, слышите, Вяча наш книги читает! Вот он какой, наш Вяча!

Сорокин сразу взял себя в руки и пригладил свои нежные редкие волосы. Он улыбнулся Сергею так, словно жалел его.

«Да, я не люблю, когда меня зовут Вячей, — казалось, говорила его улыбка, — но так называешь меня ты, Сергей, и у тебя ничего не получится, не будут ребята называть меня Вячей, а будут звать Славой, Славиком, как и раньше. Да, Сергей, ты играл за дублеров, но ведь сейчас ты уже не играешь. Да, ты женился на самой красивой из наших девочек, но...»

Сергей тоже сдержался.

«Спокойно, — думал он. — Как-никак друзья».

Сергей поднял голову. Брезентовый тент колыхался, словно сверху лежал кто-то пухлый и ворочался там с боку на бок. Помещение уже было набито битком. Сидевший за соседним столиком сумрачный человек в кепке-восьмиклинке тяжело поставил кружку на стол, сдвинул кепку на затылок и заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Сам я приезжий, понял? Нездешний... женщина у меня здесь в Москве, баба... Короче — живу с ней. Все!

Он стукнул кулаком по столу, надвинул кепку и замолчал, видимо, надолго.

Сергей вытер пот со лба — здесь становилось невыносимо жарко. Сорокин перегнулся через стол и шепнул ему:

— Сережа, выведи отсюда девочку, пусть поиграет в сквере.

— Не твое дело, — шепнул ему Сергей в ответ.

Сорокин откинулся и опять улыбнулся так, словно жалел его. Потом он встал и одернул пиджак.

— Извините, ребята, я пошел.

— На стадион приедешь? — спросил Петька.

— К сожалению, не смогу. Надо заниматься.

— В воскресенье? — опять удивился Игорь.

— Что подделаешь, экзамены на носу.

— За какой ты курс сейчас сдаешь, Славка? — спросил Женечка.

— За третий, — ответил Сорокин. — Ну, пока, — сказал он. — Общий привет!.. — Помахал он сжатыми ладонями. — Олюсь, держи! — улыбнулся он и протянул девочке шоколадку.

— Э, подожди, — окликнул его Зямка, — мы все идем. Здесь становится жарко.

Все встали и гурьбой вышли на раскаленную добела улицу. Асфальт пружинил под ногами, как пенопластиковый коврик. Туча не сдвинулась с места. Она по-прежнему темнела за высотным зданием.

— А ты на стадион поедешь? — примирительно обратился к Сергею Сорокин.

— А что, ты думаешь, я пропущу такой футбол?

— Ничего я не думаю, — устало сказал Сорокин.

— Ну не думаешь, так и молчи.

Сорокин перебежал улицу и сел в автобус, а все остальные медленно пошли по теневой стороне, тихо разговаривая и посмеиваясь. Обычно они выходили с шумом-гамом, Зямка рассказывал анекдоты, Ильдари играл на гитаре, но сейчас среди них была маленькая девочка, и они не знали, как себя вести.

— Куда мы идем? — спросил Сергей.

— Потянемся потихоньку на стадион, — сказал Игорь. — Посмотрим пока баскет на малой арене, там женский полуфинал.

— Папа, можно тебя на минуточку? — сказала Оля.

Сергей остановился, удивленный тем, что она говорит, совсем как взрослая. Друзья прошли вперед.

— Я думала, мы пойдем в парк,— сказала девочка.

— Мы пойдем на стадион. Там тоже парк, знаешь, деревья, киоски...

— А карусель?

— Нет, этого там нет, но зато...

— Я хочу в парк.

— Ты не права, Ольга,— сдерживаясь, сказал он.

— Не хочу я идти с этими дядями,— совсем раскапризничалась она.

— Ты не права,— тупо повторил он.

— Мама обещала покатать меня на карусели.

— Ну пусть мама тебя и катает,— с раздражением сказал Сергей и оглянулся.

Ребята остановились на углу.

У Оли сморщилось личико.

— Она же не виновата, что у нее конференция.

— Мальчики! — крикнул Сергей.— Идите без меня! Я приеду к матчу!..— Он взял Олю за руку и дернул: — Пойдем быстрей.

«Конференции, конференции,— думал он на ходу,— вечные эти конференции. Веселое воскресенье! Чего доброго, Алка станет кандидатом наук. Тогда держись. Она и сейчас тебя в грош не ставит».

Он шел быстрыми шагами, а девочка, не поспевая, бежала рядом. В правой руке она держала завернутого в платочек рака. Из ее кулачка, словно антенны маленького приемника, торчали рачьи усы. Она бежала веселая и читала вслух буквы, которые видела:

— Тэ, кэ, а, нэ, и... Пап!

— Ткани! — сквозь зубы бросал Сергей.— Мясо! Галантерея!

«Кандидат наук и бывший футболист-неудачник, имя которого помнят только самые старые пройдохи на трибунах. Человек сто из ста тысяч. «Да-да, был такой, ага, помню, быстро сошел...» А кто виноват, что он не стал таким, как Нетто, что он тогда не поехал в Сирию, что он... Уважаемый кандидат, ученая женщина, красавица... Ах ты, красавица... Ей уже не о чем с ним говорить. Но ночью-то находится общий язык, а днем пусть она говорит с кем-нибудь другим, с Вячей например, он ей расскажет про Кваренги и про всех остальных и про колонны там разные — все выложит в два счета. Ты разменял четвертую десятку. А, ты опять заговорил? Ты сейчас тратишь четвертую. На что? Отстань! Кончился спорт, кончается любовь... О, любовь! Что мне стоит найти девочку с сорокового года, пловчиху какую-нибудь... Я не об этом. Отстань! Слушай, отстань!»

В парке они катались на карусели, сидели рядом верхом на двух серых конях в синих яблоках. Сергей держал дочку. Она хохотала, заливалась смехом, положила рака коню между ушей.

— И рак катается! — кричала она, закидывая голову.

Сергей хмуро улыбался. Вдруг он заметил главного технолога со своего завода. Тот стоял в очереди на карусель и держал за руку мальчика. Он поклонился Сергею и приподнял шляпу. Сергея покорила эта общность с главным технологом, ожиревшим и скучным человеком.

— Дочка? — крикнул главный технолог.

«Располным-полна коробочка, есть и ситец и парча...»

— Сын? — крикнул Сергей на следующем круге.

«Пожалей, душа-заснобушка, молодецкого...»

Главный технолог кивнул несколько раз.

«...пле... еча!»

— Да-да, сын! — крикнул главный технолог.



«Ну и пластиночки крутят на карусели! Нет, он все-таки симпатичный, главный технолог».

Оля долго не могла забыть блистательного кружения на карусели.

— Папа-папа, расскажем маме, как рак катался?

— Слушай, Ольга, откуда ты знаешь дядю Вячу? — неожиданно для себя спросил Сергей.

— Мы его часто встречаем с мамой, когда идем на работу. Он очень веселый.

«Ах, вот как, он, оказывается, еще и веселый,— подумал Сергей.— Вяча — весельчак. Значит, он снова начал крутить свои финты. Ох, напросится он у меня».

Он оставил Ольгу на скамейке, а сам вошел в телефонную будку и стал звонить в этот институт, где шла эта мудрая конференция. Он надеялся, что конференция кончилась, и тогда он отвезет дочку домой, сдаст ее Алке, а сам поедет на стадион, а потом проведет весь вечер с ребятами.

В трубке долго стонали длинные гудки, наконец они оборвались, и старческий голос сказал:

— Алё!

— Кончилась там ваша хитрая конференция? — спросил Сергей.

— Какая-токая конференция? — прошамкала трубка.— Сегодня воскресенье...

— Это институт? — крикнул Сергей.

— Ну, институт.

Сергей вышел из будки. Воздух струился, будто плавился от жары. По аллее шел толстый распаренный человек в шелковой «бобочке» с широкими рукавами. Он устало отмахивался от мух. Мухи упорно летели за ним, кружили над его головой, он им, видимо, нравился.

«Та-ак»,— подумал Сергей, и у него вдруг чуть не подогнулись ноги от неожиданного, как толчок в спину, страха. Он побежал было из парка, но вспомнил об Ольге. Она сидела в тени на скамеечке и водила рака.

— Даже раки, даже раки, уж такие забияки, тоже пятятся назад и усами шевелят,— приговаривала она.

«Способная девочка,— подумал Сергей.— В мамочку».

Он схватил ее за руку и потащил. Она верещала и показывала ему рака.

— Папа, он такой умный, он почти стал как живой!

Сергей остановился, вырвал у нее рака, переломил его пополам и выбросил в кусты.

— Раками не играют,— сказал он,— их едят. Они идут под пиво.

Девочка сразу заплакала в три ручья и отказалась идти. Он подхватил ее на руки и побежал.

Выскочил из парка. Сразу подвернулось такси. В горячей безвоздушной тишине промелькнула внизу Москва-река, похожая на широкую полосу серебряной фольги, открылась впереди другая река, асфальтовая, река под названием Садовое кольцо, по которому ему лететь, торопиться, догонять свое несчастье. Девочка сидела у него на руках. Она перестала плакать и улыбалась. Ее захватила скорость. В лицо ей летели буквы с афиш, вывесок, плакатов, реклам. Все буквы, которые она выучила, и десять тысяч других — красных, синих, зеленых — летели ей навстречу, все буквы одиннадцати планет солнечной системы.

— Пэ, жэ, о, рэ, мягкий знак, жэ, лэ, рэ, жэ, у, е, жэ... Папа, сложи!

«Пжорьжлржуеж,— пронеслось в голове у Сергея.— Почему так много «ж»? Жажда, жестокость, жара, женщина, жираф, желоб, жуть, жир, жизнь, желток... «Папа, сложи!» Попробуй-ка тут сложи на такой скорости».

— У тебя задний мост стучит,— сказал он шоферу и оставил ему сверх счетчика тридцать копеек.

Он вбежал в свой дом, через три ступеньки запрыгал по лестнице, открыл дверь и ворвался в свою квартиру. Пусто. Жарко. Чисто. Сергей огляделся, закурил, и эта его собственная двухкомнатная квартира показалась ему чужой, настолько чужой, что вот сейчас из другой комнаты может вдруг выйти совершенно незнакомый человек, не имеющий отношения ни к кому на свете. Ему стало не по себе, и он тряхнул головой.

«Может, путаница какая-нибудь?» — подумал он с облегчением и включил телевизор, чтобы узнать, начался ли матч.

Телевизор тихо загудел, потом послышалось гудение трибун, и по характеру этого гудения он сразу понял, что идет разминка.

«Она может быть у Тamarки или у Галины», — подумал он.

Спускаясь по лестнице, он убеждал себя, что у Тamarки или у Галины, и уговаривал себя не звонить. Все же он подошел к автомату и позвонил. Ни у Тamarки, ни у Галины ее не было. Он вышел из автомата. Солнце жгло плечи. Ольга прямо на солнцепеке прыгала в разножку по «классикам».

Она подошла и взяла его за руку.

— Папа, куда мы пойдём теперь?

— Куда хочешь, — ответил он. — Пошли куда-нибудь.

Они медленно пошли по солнечной стороне, потом он догадался перейти на другую сторону.

— Почему ты растерзал рака? — строго спросила Оля.

— Хочешь мороженого? — спросил он.

— А ты?

— Я хочу.

Переулками они вышли на Арбат прямо к кафе.

В кафе было прохладно и полутемно. Над столиками во всю стену тянулось зеркало. Сергей смотрел в зеркале, как он идет по кафе, и какое у него красное лицо, и какие уже большие залысины. Ольги в зеркале видно не было, не доросла еще.

— А вам, гражданин, уже хватит, — сказала официантка, проходя мимо их столика.

— Мороженого дайте! — крикнул он ей вслед.

Она подошла и увидела, что мужчина вовсе не пьян, просто у него лицо красное, а глаза блуждают не от водки, а от каких-то других причин.

Оля ела мороженое и болтала ножками. Сергей тоже ел, не замечая вкуса, чувствуя только холод во рту.

Рядом сидела парочка. Молодой человек с шевелюрой, похожей на папаху, в чем-то убеждал девушку, уговаривал ее. Девушка смотрела на него круглыми глазами.

— Хочешь черепаху, дочка? — спросил Сергей.

Оля вздрогнула и даже вытянула шейку.

— Как это черепаху? — осторожно спросила она.

— Элементарную живую черепаху. Здесь недалеко зоомагазин. Сейчас пойдём и выберем тебе первоклассную черепаху.

— Пойдем быстрее, а?

Они встали и пошли к выходу. В гардеробе приглушенно верещал радиокomentатор и слышался далекий, как море, рев стадиона. Сергей хотел было пройти мимо, но не удержался и спросил у гардеробщика, как дела.

Заканчивался первый тайм. Команда проигрывала.

Они вышли на Арбат. Прохожих было мало, и машин тоже немного. Все в такие дни за городом. Через улицу шел удивительно высокий

школьник. В расстегнутом сером кителе, узкоплечий и весь очень тонкий, красивый и веселый, он обещал вырасти в атлета, в центра сборной баскетбольной команды страны. Сергей долго провожал его глазами, ему было приятно смотреть, как вышагивает эта верста, как плывет высоко над толпой красивая, модно постриженная голова.

В зоомагазине Оля поначалу растерялась. Здесь были птицы, голуби и зеленые попугаи, чижи, канарейки. Здесь были аквариумы, в которых, словно металлическая пыль, серебрились мельчайшие рыбки. И наконец здесь был застекленный грот, в котором находились черепахи. Грот был ноздреватый, сделанный из гипса и покрашенный серой краской. На дне его, устланном травой, лежало множество маленьких черепах. Они лежали вплотную друг к другу и не шевелились даже, они были похожи на булыжную мостовую. Они хранили молчание и терпеливо ждали своей участи. Может быть, они лежали, скованные страхом, утратив веру в свои панцири, не ведая того, что их здесь не едят, что они не идут под пиво, что здесь их постепенно всех разберут веселые маленькие дети и у них начнется довольно сносная, хотя и одинокая жизнь. Наконец одна из них высунула из-под панциря головку, забралась на свою соседку и ползлась прямо по спинам своих неподвижных сестер. Куда она ползла и зачем, она, наверное, и сама этого не знала, но она все ползала и ползала и этим понравилась Оле больше других.

Папа действительно купил эту черепаху, и ее вытащили из грота, положили в картонную коробку с дырочками, напихали туда травы.

— Что она ест? — спросил папа у продавщицы.

— Траву, — сказала продавщица.

— А зимой чем ее кормить? — поинтересовался папа.

— Сеном, — ответила продавщица.

— Значит, на сенокос надо ехать, — пошутил папа.

— Что? — спросила продавщица.

— Значит, надо, говорю, ехать на сенокос, — повторил свою шутку папа.

Продавщица почему-то обиделась и отвернулась. Когда они вышли на улицу, начался второй тайм. Почти из всех окон были слышны крики — это шел репортаж. Оля несла коробку с черепахой и заглядывала в дырочки. Там было темно, слышалось слабое шуршание.

— Она долго будет живой? — спросила Оля.

— Говорят, они живут триста лет, — сказал Сергей.

— А нашей сколько лет, папа?

Сергей заглянул в коробку.

— Наша еще молодая. Ей восемьдесят лет. Совсем девчонка.

Рев из ближайшего окна возвестил о том, что команда сравняла счет.

— А мы сколько живем? — спросила девочка.

— Кто мы?

— Ну мы — люди...

— Мы меньше, — усмехнулся Сергей, — семьдесят лет или сто.

Ох, какая там, видно, шла драка! Комментатор кричал так, словно разваливался на сто кусков.

— А что потом? — спросила Оля.

Сергей остановился и посмотрел на нее. Она своими синими глазами смотрела на него пытливо, как Алка. Он купил в киоске сигареты и ответил ей:

— Потом суп с котом.

Оля засмеялась.

— С котом! Суп с котом! Папа, а сейчас мы куда поедем?

— Давай поедем на Ленинские горы, — предложил он.

— Идет!

Солнце спряталось за университет и кое-где пробивало его своими лучами насквозь. Сергей поднял дочку и посадил ее на парашют.

— Ой, как красиво! — воскликнула девочка.

Внизу по реке шел прогулочный теплоход. Тень Ленинских гор разделила реку пополам. Одна половина ее еще блестела на солнце. На другом берегу реки лежала чаша Большой спортивной арены. Поля не было видно. Видны были верхние ряды восточной стороны, до отказа заполненные людьми. Доносились голоса дикторов, но слов разобрать было нельзя. Дальше был парк, аллеи и Москва, Москва, необозримая, горящая на солнце миллионом окон. Там, в Москве, его дом, тридцать пять квадратных метров, там, в Москве, на всех углах расставлены телефонные будки, в каждой из которых можно узнать об опасности, в каждой из которых может заколотиться сердце и подогнуться ноги, в каждой из которых можно наконец успокоиться. Там, в Москве, все его тридцать два года тихонько разгуливают по улицам, аукаясь и не находя друг друга. Там, в Москве, красавиц полно, сотчи тысяч красавиц. Там мудрые институты ведут исследовательскую работу, там люди идут на повышение. Там его спокойствие возле станка, там его завод. Там его спокойствие и тревоги, его весенняя любовь, которая кончилась. Там его молодость, которая прошла, как веселый, **неимоверно высокий** школьник, по тренировочным залам и стадионам, по партам и пивным, танцплощадкам, по подъездам, по поцелуям, по музыке в парке... Там все, что с ним еще будет. А что потом? Суп с котом.

Сергей держал девочку за руку и **чувствовал**, как бьется ее пульс. Он посмотрел сбоку на ее лицо, на задранный носик, на открытый рот, в котором, как бусинки, блестели зубы, и будто что-то вдруг случилось с ним, стало легче, потому что он подумал о том, как **его** дочка будет расти, как ей будет восемь лет и **четырнадцать**, потом **шестнадцать**, **восемнадцать**, **двадцать**, как она поедет в пионерлагерь и вернется оттуда, как он научит ее плавать, какая она будет модница и как будет целоваться в подъезде с каким-нибудь **стилягой**, как **он** будет кричать на нее и как они вместе когда-нибудь **куда-нибудь** поедут, может быть к морю.

Оля водила пальцем в воздухе, писала в воздухе какие-то буквы.

— Папа, угадай, что я пишу.

Он смотрел, как над стадионом и над всей Москвой двигался палец девочки.

— Не знаю, — сказал он. — Не могу понять.

— Да ну тебя, папка! Вот смотри! — И она стала писать на его руке: — О-л-я, п-а-п-а...

Мощный рев, похожий на взрыв, долетел со стадиона. Сергей понял, что команда забила гол.



---

М. КВЛИВИДЗЕ

★

## ТИЙЮ

*С грузинского*

Чужой страны познал я речь,  
и было в ней одно лишь слово,  
одно — для проводов и встреч,  
одно — для птиц и птицелова.

О, Тийю! <sup>1</sup> Этих двух слогов  
достанет для «прощай» и «здравствуй».  
в них — знак немилости, и зов,  
и «нё за что», и «благодарствуй»...

О, Тийю! В слове том слегка  
будто посвистывает что-то,  
в нем явственны акцент стекла  
разбитого  
и птичья нота.

Чтоб «Тийю» молвить, по утрам  
мы все протягивали губы.  
Как в балагане — тарарам,  
в том имени — звонки и трубы.

О, слово «Тийю»! Им одним,  
единственно знакомым словом,  
прощался я с лицом твоим  
и с берегом твоим сосновым.

Тийю! (Как голова седа!)  
Тийю! (Не плачь, какая польза!)  
Тийю! (Прощай!)  
Тийю! (Всегда!)  
Как скоро все это... как поздно...

*Перевела Б. Ахмадулина.*

---

<sup>1</sup> Тийю — имя эстонской девушки.

## Воспоминанье

Был жаркий полдень ленью настоен  
И ароматом полевых цветов.  
Река лизала берег, как теленок  
Наполненное сытой влагой вымя.  
Стрекозы от былинки до былинки  
На крохотных катались мотоциклах,  
Сливалось в звонкий гул их стрекотанье.  
Под тенью ивы сгорбленной на камне  
Сидел я, взглядом к поплавку прикован,  
Что на волнах отплясывал вприсядку.  
И вдруг во мне, как молния сверкнула,—  
Возникло Слово!.. И за ним второе!  
С глубинностью, неведомой доселе,  
Я ощутил их смысл и лад особый...  
Беспомощно смотрел по сторонам я,  
Как человек, который ждет подмоги.  
Но над безлюдным берегом и рощей,  
Над всей округой тишина царила.  
Внезапно замолчало все живое.  
Слова, что родились во мне, мальчишке,  
Огромный мир заполнили собою.  
Я те слова твердил не уставая,  
Боясь забыть их смысл и лад особый.  
Я чувствовал, что где-то рядом с ними  
Стоят слова весомее и ярче.  
Я ощущал их мощное дыханье.  
Они рвались ко мне неудержимо,  
Рвались, как с кручи снежная лавина.  
Я огляделся. Я искал подмоги.  
Я судорожно вывернул карманы.  
Я карандаш искал и лист бумаги,  
Но из карманов выпали на землю  
Надкусанное яблоко да ножик...  
Тогда набрал камней я серых, плоских,  
Валявшихся повсюду в изобилии,  
И выцарапал ножиком на камнях  
Слова, чья красота сжигала душу.  
Побрел домой я, позабыв у речки  
И удочку и баночку с червями.  
И вместе с ними розовое детство  
Навеки там, под ивою, осталось...  
Нагруженный тяжелыми камнями,  
Я шел, едва передвигая ноги.  
Когда вошел измученный во двор я,  
Мать на меня взглянула изумленно.  
И выгрузил я камни из карманов,  
И камни из-за пазухи достал я,  
И положил я маме на ладони  
Стихи, что родились во мне впервые.

*Перевел С. Поликарпов.*



---

---

И. ГРЕКОВА

★

## ЗА ПРОХОДНОЙ

*Рассказ*

**Б**ольшой пустырь на окраине большого города. Конечная остановка трамвая. Дальше ехать некуда — кольцо. Глубокая осень. Глубокое уныние размокшей, неприбранной окраины. Какие-то доски, черные под дождем, рельсы, шалаши, груды ржавого лома. Вдоль трамвайных путей — тоненькие, в палец, деревья, высаженные в порядке озеленения, мокрые, в печальных каплях. На каждом — один-два уцелевших черно-коричневых листа.

От трамвайного круга к пустырю сворачивает глинистая, скользкая дорога, вдребезги разбитая грузовиками. В глубоких колеях — желтая, мутная вода. Дорога идет к большому кирпичному зданию за высокой, тоже кирпичной, стеной. Поверху стены — в два ряда колючая проволока. Большие железные ворота; у ворот — часовой в мокром брезентовом плаще. Время от времени ворота открываются, и во двор, рыча и переваливаясь, вползают грузовики с грузом, выползают без груза. Рядом с воротами — неказистое зданье вроде кирпичного сарая. Это «проходная».

Изнутри проходная так же неприглядна, как снаружи. Стены выкрашены казенной, мрачно-голубой краской. Такой цвет часто бывает на кастрюлях, ведрах, почтовых и мусорных ящиках. Ремонта в проходной давно не было: краска местами облупилась, местами вздулась, отстала от стены и вот-вот облупится. С потолка свисает голая лампочка на перекрученном проводе. Сейчас день, но лампочка горит — желтым, худосочным светом, который болезненно отделяется от серого света морозящего дня.

В стене — два окошка, за ними — девушки, выдающие пропуска. Медленная, равнодушная очередь. Люди ждут скучно, молча и только иной раз, просовывая в окошко документы, обмениваются с девушкой двумя-тремя фразами вроде: «В лабораторию Холодных», «Ваше предписание», «Пропуск заказан позавчера». Время тянется. Слышно, как девушка кричит по телефону: «Вызываю сопровождающего из десятой лаборатории, прибыл Житков по вашей заявке». Житков стоит и ждет сопровождающего.

Через четверть часа приходит сопровождающий. Это молодой парень в куртке с молниями. Он осведомляется, кто здесь Житков, и ведет его через турникет пропускного пункта во двор. Тут обнаруживается, что в руках у Житкова книга, с которой его никак нельзя пропустить на территорию. Об этом сообщает серьезная, непреклонная надпись: «Пронос портфелей, чемоданов, дамских сумок, книг и прочего категорически воспрещен». Книгу придется сдать в камеру хранения. В камере на полках

навалом лежит всякое «и прочее»: сумки с продуктами, рулоны бумаги, детский велосипед. Принимает этот крамольный реквизит тетя Маша, немолодая женщина в застиранном синем халате, спящая на ходу. Она выдает Житкову пластмассовый номерок, садится на табурет за мощным прилавком и снова дремлет — до следующей вещи... С Житковым мы больше не встретимся. Он понадобился только для того, чтобы показать вам проходную и «сопровождающего» — молодого парня в изрезанной молниями куртке, с такими острыми белыми зубами, что кажется, будто во рту у него тысяча зубов, а на куртке — тысяча молний. Он научный сотрудник десятой лаборатории. Функции «сопровождающего» несут все инженеры и научные сотрудники по очереди. Сегодня от десятой лаборатории дежурит на сопровождении Володя Климов — молодой ученый, один из ведущих в лаборатории, по прозвищу «Вовка Критик». Кроме него, в лаборатории есть еще два Владимира: «Вовка Умный» и «Просто Вовка». То, что в одной лаборатории три Владимира, не удивительно, если учесть общий процент Владимиров. На этот счет Вовка Критик не поленился провести специальное исследование (методом выборочного анализа) и установил, что в составе мужского населения Советского Союза около тринадцати процентов Владимиров и что в десятой лаборатории этот процент не слишком выходит за пределы нормы.

Так вот, эта лаборатория № 10 с почти нормальным процентом Владимиров и есть герой нашего рассказа. Она может быть героем рассказа — это личность. Мне во всяком случае она кажется человеком.

Здесь в институте — за проходной — много лабораторий. Еще больше их в других институтах. Они разные, как люди. Эта, десятая, ничем, пожалуй, не примечательна. Впрочем, посмотрим.

В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию № 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в девятнадцатом веке — пойдёте со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим.

### Лаборатория

Десятая лаборатория — на втором этаже главного корпуса. Она занимает несколько комнат. Среди них: собственно лаборатория, препаратная, мастерская. Есть еще фотолaborатория, вернее фоточулан. Две комнаты отведены для научной работы: одна большая, другая маленькая. В большой комнате довольно тесно, впритык и под углами расставлены канцелярские столы — желтые, плохо фанерованные, занозистые по краям. На некоторых столах — счетные машины-полуавтоматы. Для обеззвучивания они поставлены на пухлые резиновые коврики. Это мало помогает: когда работают сразу две-три машины, разговаривать можно только криком. Впрочем, здесь привыкли к шуму. Шумят машины, шумят люди, надывается телефон.

На стене — черная доска светло-коричневого цвета. На доске — какие-то формулы (под одной крупными буквами: «Кретинизм!»), наброски схем, кривые. Информация: «Желающие пойти на Рихтера, записывайтесь в первом отделе». В правом верхнем углу — загадочная надпись: «Каюку каюк».

Стены тусклые, желтовато-серые, плохо крашенные. Кнопками приколоты диаграмма. На противоположной стене — плакат: «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбающаяся семья: муж, жена, ребенок, сберкнижка. У всех совершенно одинаковые лица: русые, здоровые, розовые. Умеренно вздернутые носы, синие глаза, белые зубы. Похо-



жи друг на друга, как двойники, и не только друг на друга — на тысячи персонажей с картин, реклам, открыток, календарей. Потому глаз и не задерживается на плакате. Спросите каждого из тех, кто работает в комнате: что нарисовано на плакате? Наверняка не помнит. Не смотрел.

Странная все-таки вещь — искусство. Мы замечаем его, когда оно большое. Но ведь изо дня в день мы живем в окружении мелких, забываемых, проходных вещей, которые в каком-то смысле тоже искусство. Взять, например, спичечные коробки. Ведь на каждой из них что-нибудь нарисовано. Кто-то делал этикетку, старался, чтобы было хорошо. Красиво. А спроси своего соседа: что нарисовано на спичечной коробке, которую ты сегодня десять раз вынимал из кармана? Не скажет.

И так повсюду. Если посмотреть внимательно, можно заметить вокруг себя в полном небрежении множество предметов искусства. Вот, например, ящик письменного стола. Вокруг замочной скважины — жестяная, погнутая, отставшая бляха. Замочная скважина никому не нужна: ключ потерян, да и не запирает никогда. А всмотришься в бляху — и поди ж ты: вокруг рваного, режущего края выбит нехитрый узорчик — веночек из мелких цветочков. Для красоты. Где-то на фабрике по неизвестно кем утвержденному образцу штампуют жестянки с красотой, а они через три дня отваливаются.

На столе — табель-календарь. На нем, разумеется, картинка: семья на пляже, счастье. Напечатано в две краски, плохо, неаккуратно. Красные трусики счастливой матери сместились на полбедра вбок. Не все ли равно? Никто ведь не замечает, есть там картинка или нет. Пожалуй, большинство (кроме, может быть, маленьких детей) предпочло бы календарь без картинки. Конверт без картинки. Чашку без картинки. Нет, нельзя почему-то. Так уж повелось: есть свободное место — валяй. Картинку туда, красоту! Вали, дави, штампуй! Вот и течет мимо нас красота: жестяная, бумажная, картонная, румяная, русая, счастливая, никакая. Течет, заливает все кругом, а ее никто, решительно никто не замечает. Больно подумать о тех, кто ее делал. Какая судьба: плодить красоту, чтобы ее не замечали.

Страшная судьба! Такой ли судьбы я хочу?

Это не мои мысли. Это так думает, глядя на плакат со сберкассой, научный сотрудник десятой лаборатории Женя Стрельцов, по прозвищу «Женька Лирик». «Лириком» его прозвали за то, что он писал стихи. Пробовал показывать их товарищам; но его высмеяли. И правда, стихи были неважные. Но что он мог поделаться с собой, если они жужжали у него в душе, как пчелиный рой, — жужжали и жалили? По специальности Женька физик и работает наравне с другими. Но чего-то в нем слишком много. «Душевные излишества», — как сказал однажды Вовка Критик. Женька высокий, черномазый, с острым, кривым на конце носом. На низком лбу — косая, черная с сединой прядь, а под ней — глаза, угольные, дикие. Когда Женька работает, он все время издает звуки — не то пыхтит, не то стонет. Он сидит за столом, исступленно кусая ногти, по двадцать раз принимая и отбрасывая каждую гипотезу, сомневаясь, ликуя, отчаиваясь. И тут же, рядом с мыслями, в нем толкуются образы, яркие до боли. Он не просто смотрит — он видит. Желтая стена с трещиной, косые капли на грязном стекле, мокрые голуби на крыше, дым из трубы. Ему страшно интересно смотреть на все это. Просто смотреть, как расставлены в пространстве вещи: какая ближе, какая дальше. Ему горячо внутри, когда он все это видит. Когда-нибудь потом, когда кончится вечный аврал, он обо всем этом напишет такими словами, чтобы другим тоже стало горячо внутри. А пока что дела идут густо, как сельдь в косяке.

На товарищей своих он просто молится. Как ему повезло, что он попал в эту — нашу, мою любимую десятую, где такие ребята, такая работа! От

нее ошалевает, падают с ног и все-таки не могут оторваться. Почему до сих пор никто не писал об этом? С такой же силой, как у Горького, когда люди скопом грузили (или разгружали) баржу? Вот так бы описать азарт коллективной умственной работы! Умственный аврал. Когда голоса сипнут от споров, давно потеряно чувство времени — день или ночь? — когда голубой, прокуренный воздух так плотен, что, кажется, можно его резать ножом. Когда один не может, другой не может, а вот вместе — ухватились, навалились: «Раз, два, взяли!» — и сдвинули с места задачу, сначала тихонько, а там, смотришь, «сама пойдет, сама пойдет»... и эх, валяй, братцы, до чего ж хорошо! А кто об этом напишет? Женька Стрельцов пишет. Больше некому.

### Каюк

За соседним столом сидит Кирилл, по прозвищу «Каюк», и творит.

Здесь, в десятой лаборатории, вообще в ходу прозвища. Какое-то застарелое детство. Серьезные люди, научные работники, почти все кандидаты, а по разговору школьники: все шуточки да клички.

Почему Кирилла прозвали Каюк — этого уже никто не помнит, но имя идет к нему. Он маленький, круглый, жесткий, как жук, и рукава черного рабочего халата топорщатся, как надкрылья. Он пишет отчет и глух ко всему на свете. Как тетерев на току. Женька Лирик — поэт, Каюк — прозаик. Он готов писать отчеты с утра до ночи, по четырнадцати часов в сутки, и все ему мало. Товарищи знают его страсть и пользуются ею: «Писать будет Каюк». И он пишет. Кругом спорят, шутят, ругаются. Каюк пишет. В отчеты он вкладывает чувство, поэзию, драматизм. Он выходит за всякие рамки. Товарищи потешаются над ним. Каждый раз, когда Каюк заканчивает отчет, начинается «номер»: коллективное художественное чтение.

— Братцы, вы только послушайте, что он пишет: «Бесподобный метод интегрирования...»

— Нет, дальше лучше: «Решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера...»

— «Испытания носили двусмысленный характер...»

— «Интеграл ведет себя вполне прилично...»

И так далее. Каждая фраза встречается хохотом. Как пятиклассники на перемене, читающие любовное письмо. Каюк ежится и топорщит надкрылья. Занкаясь, он пытается отвоевать свое право писать красиво. Но ему в этом праве неизменно отказывают: «Друг Аркадий, не говори красиво». Чаще всего за красный карандаш берется Вовка Критик. Он садится за отчет, вымарывает все цветистые фразы и вместо них ставит другие — скупые и скудные: «эффективный метод интегрирования», «мы были близки к решению этой задачи», «в процессе испытаний были выявлены противоречия друг другу факты», «интеграл сходится в смысле главного значения». «Дурак Каюк, — думает он, — какая безвкусица. Не понимает, в чем настоящая поэзия». Для самого Критика стихами звучат такие, например, строки:

«Пересечение последовательности внутренне регулярных множеств конечной меры внутренне регулярно; пересечение убывающей последовательности внешне регулярных множеств конечной меры внешне регулярно».

Четкость, лаконизм, ритм. Фраза, собранная из слов, как умный механизм — из деталей. Именно к такой поэзии стремится сам Критик в своих писаниях и ненавидит, как он выражается, «литературные сопли Каюка».

После правки Критика отчет становится относительно пристойным. Разумеется, в нем не хватает высшей поэзии, но приличия соблюдены. И только иногда, читая отчет уже переплетенным, Критик морщится, натываясь на свои огрехи. Они торчат в гладком тексте, как занозы. Какие-то шершавые кусочки фраз: «а это как сказать», «может быть, и не так», «главное не в этом».

Не далее как сегодня любимый толстый отчет — последнее детище Каюка, которое товарищи называли «пестунчиком», — подвергся жестокой правке Критика, о чем и свидетельствовала странная фраза на доске: «Каюку каюк». Не обошлось без споров. Женька Лирик заступился за Каюка и заявил, что править его отчеты — все равно что стирать пыльцу с крыльев бабочки. Вовка Критик сурово изрек: «А вот мы ее, эту пыльцу» — и жирно перечеркнул красным карандашом целых полстраницы. А впрочем, Вовка Критик совершенно живой человек, с этим не мог бы спорить даже сам пострадавший Каюк. В лаборатории о нем говорят: «Новый литературный тип — положительный стилиста». Вовка вылощен, сух, подтянут, весь на шарнирчиках. Красивый, стройный, причесанный — волосы одним куском, как лакированное черное дерево. К его бледно-смуглому лицу очень идет светло-кремовая, до блеска отглаженная рубашка. За ней так и видится безупречный, идеально налаженный быт, чьи-то руки, которые в свое время стирают, гладят рубашку и бесшумно, услужливо подают ее утром хозяину дома. Но Критик не женат и свои рубашки стирает и гладит сам — ночью, после работы. Щеголь, чистюля, брезгун — весь в иронии, как в отглаженной рубашке. Любое проявление чувств он считает неряшеством. Сегодня он дежурит сопровождающим и злится. Во-первых, ему предстоит провожать в лабораторию какого-то корреспондента. Шляются, бездельники. Во-вторых, Критику только сегодня стало ясно, что он любит Зинку. Неоригинально!

### Зинка и Клара

Влюбляться в Зинку действительно было неоригинально. В разное время и по-разному в нее, кажется, перевлюблялись все. А ведь она и не красива в обычном смысле слова. Вот уж кто не годится на плакат про сберкассу — Зинка. Небольшого роста, худенькая, со смуглым матово-пепельным лицом, вся какая-то одноцветная: глаза, волосы, брови.словно портрет сепией на оберточной бумаге. И одевается Зинка всегда скромно и бесцветно: какой-нибудь старенький свитер под самое горло, сукопная юбочка по колено, на тонких пряменьких ногах — подростковые туфли. Голос глухой и сипловатый, тоже пепельный. Ничего особенного. Разве что волосы: густые, полудлинные, не вьющиеся, а кривые. Каждая прядь, по шею длиной, падает, падает совершенно прямо, а под конец словно вздыхает и чуть-чуть загибается кверху. Вот и все.

В каждом коллективе, если он человек, бывает совесть. Зинка — совесть десятой лаборатории. При ней нельзя сказать пошлость, сделать мелкость. Она видит все и осуждает жестоко.

В науке Зинка — из самых способных. Самая, пожалуй, способная после Вовки Умного и Мегатонны. Никто лучше нее не может придумать опыт, поставить, отладить. На испытаниях ей нет равных. В ватнике, в стеганых брюках, в больших резиновых сапогах, по колено заляпанных грязью, в крохотных рукавичках — дующая в кулачок, озябшая Зинка выносливее всех мужчин. Главное — постоянная напряженность мысли. Зинке даже ночью нет покоя, она не спит и во сне. Соñ весь клубится мыслями: формулы, приборы, решения. Что, если попробовать сделать вот так? Иногда она среди ночи вставала с постели и, стоя у стола на одной

смуглой босой ногое, по-птичьи поджав другую, торопилась записать идею, пришедшую во сне.

В лабораторию Зинка пришла уже кандидатом. Да, не такая уж молоденькая — лет тридцати, может быть. А все-таки все в нее влюблялись. К влюбленным она относилась без всякого кокетства, серьезно и сочувственно, но сама никого полюбить не могла. «Наверное, у нее что-то в прошлом», — говорила Клара. Но Зинку никто о ее прошлом не спрашивал. Здесь вообще никого ни о чем не спрашивают: скажет сам — хорошо, промолчит — тоже неплохо.

А Клара работает за соседним столом, как нарочно, чтобы оттенить Зинку. Клара пышная, яркая, золотая, с голубыми глазами, с четко выведенными губами, с такой чистой и гладкой розово-белой кожей, что смотреть на нее просто неловко. Клара кажется неправдоподобной: словно она не живет, а нарисована. Слишком белая. Слишком розовая. Слишком красивая. Так не бывает. Между собой товарищи называют ее не очень лестным прозвищем: «Три пирожных сразу». Как-то не вяжется она, в своем изобилии, с обмызганными стенами, канцелярскими столами. А вот Зинка — скромная, пепельная Зинка, — та словно приросла к этим стенам и столам, Зинка со своими поношенными туфельками и смуглыми пальцами без маникюра.

### Рабочий шум

В десятой лаборатории идет работа. И вместе с ней, параллельно ей, внутри нее все время звучат разговоры. Рабочий шум, как говорят здесь. Послушаем, что это за шум.

В углу за столом — двое. В руках у одного — бумажная лента с отпечатанными столбиками цифр. Другой заполняет ведомость и сверяет данные. Между ними идет диалог.

— Два. Альфа меньше.

— Четыре.

— Двадцать семь.

— Не может быть.

— Говорю тебе, двадцать семь. Возможен эксцесс.

— Иди ты к черту со своим эксцессом. Эксцесс! Любишь умные слова. Просто наврала при дешифрировании.

Этот диалог — словно фон, на котором идут все другие разговоры.

— Я же говорил вам, товарищи, что мы приняли неверную тактику. Мы уходили и приходили, а надо было просто не уходить. Раздразнили старца, он и развоевался.

— Нет, я просто не могу понять, какое право они имеют нас гнать? Это же посягательство на нашу свободу.

— Свобода есть осознанная необходимость. Учили-учили, а ты все свое.

— Учили. Конституцию тоже учили. Там так и написано: право на труд.

— Бедный. Труда ему не хватает.

— Труда хватает, но нужно создать условия. Может, я целый день думал, ничего не придумал, а к шести часам прорезалось. И вдруг звонок. На самой середине мысли.

— Воображаю, какая это была золотая мысль.

Этот разговор следует пояснить. Дело в том, что мы застали лабораторию в тревожное для нее время: в разгар борьбы за десятичасовой рабочий день. Институтское начальство узнало, что во многих лабораториях засиживаются до поздней ночи, расходуют энергию, и издало приказ. Работающих стали выгонять вон по звонку. «На самой середине мысли». Они пробовали, потоптавшись на пустыре, вернуться обратно. Не тут-то было. Старик вахтер оборонял служебное помещение, как личную собственность. Однажды проходную взяли приступом. Начальство (так называемый «старец») обещало кары. Парламентером был послан Критик, известный способностью говорить гладко и убедительно на любую тему. Начальство настаивало на семичасовом рабочем дне, в крайнем случае соглашалось на восьмичасовой. Критик сначала заломил двенадцатичасовой, но потом сбавил и сполз до десятичасового. Начальство не шло на уступки, Критик тоже, оба вошли в азарт. Кончилось ничем: Критик вернулся в лабораторию и с юмором изображал, как шел торг («Совсем как на ярмарке, только не хватало шапки, чтобы кидать на пол»).

Сегодня все были в волнении и решили после звонка не уходить, и все тут. «Пусть выведут с милиционером». (Это — Зинка.)

...Гудит фон:

— Восемь.

— Два.

— Семнадцать.

— Одиннадцать.

А на фоне — разговоры, отдельные фразы.

— Опять запероли целую серию. Смотрите: не пленка, а порнография.

— А может, так и было?

— Не может быть. Чудес не бывает. Если так было, придется признать существование бога.

— Ну что же. Идея сама по себе не так уж абсурдна. Не хуже многих твоих.

— Смотрите, снова статья на тему: «Сможет ли машина когда-нибудь полностью заменить человека?»

— Вопрос риторический и принадлежит к числу неправильно поставленных. Пользы от него немного. Примерно столько же, сколько от вопроса: может ли господь бог создать такой камень, который сам поднять не может?

— А я думаю, перед тем как ставить такой вопрос, нужно сначала дать определение: что такое «человек» и что такое «машина»? Разумеется, если определить машину как устройство, которое ни при каких условиях не может заменить человека, вопрос автоматически снимается.

— Слушай, ты совсем очумел! Сто часов машинного времени! Кто это тебе даст? На твою паскудную задачку?

— Сам брал на свою паскудную! Двести часов слопал.

— Я брал в интересах науки.

— А я в чьих же? Личного обогащения?

— Интегрировал, аж вспотел.

— А знаете что, друзья, ведь на нашем примере можно убедиться в правильности тезиса о стирании противоположности между умствен-

ным трудом и физическим. Только с другой стороны. Наш умственный труд приобрел все черты физического.

— Ну, пошел разводить демагогию.

А вот большой разговор, целой группой:

— И все-таки в чем-то Полетаев прав.

— Прав он в том, что работает и знает, почему фунт лиха. А статья его — верх идиотизма.

— А почему же все-таки на диспуте молодежь его так поддерживала?

— Очевидно, он задел какие-то струны. Молодежь чувствует, что сегодня нужно какое-то другое искусство, что культура не в том, чтобы перечитывать, даже переводить Ронсара и Вийона. (Это — Женька.)

— Давно пора перейти в искусстве на самообслуживание. (Это, кажется, Вовка Критик.)

— Товарищи, я лично за Полетаева. Конечно, он выступил неудачно. (Заикается — значит, Каюк.) Но в основном он прав. Почему культурным нужно считать того, кто любит Баха и Блока? А мне, может быть, некрасиво читать Баха и Блока. Не грохочите, это из Чернышевского: «Рахметову было вкусно».

— Послушайте: Каюк-то, Каюк! Валаамова ослица заговорила!

— Не ржите. Я серьезно говорю. Я предлагаю пойти к Эренбургу и спросить: что такое вторая космическая скорость? Наверняка не знает. Я к нему претензий не имею, пусть себе пишет. Но на нас пусть не фыркает. Культура!

— Сам-то ты больно культурен.

— А я и не хвастаюсь. Я не очень культурен. Разве только чуточку покультурней Эренбурга.

— Тоже загнул. Эренбург языки знает.

Смех. Постепенно он замирает, и вдруг становится слышен один голос — негромкий, сипловатый. Что это он читает? Как будто стихи. Голос говорит невыразительно, почти на одной ноте, запинаясь, останавливаясь, словно собирающая:

— Ведь он не нов... ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ... мы разгребаем... да, кажется, разгребаем... мы разгребаем груды слов — ведь мир другой... он не таков... слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно...

— Что это? Постой, что это?

— Не что, а кто, дурья голова.

— Ну, кто это?

— Это он. Эренбург.

Молчание. Тут действительно ничего не скажешь. Молчит даже Каюк.

### Романтики и статистики

За столом, что подальше от окна, стиснутый грудями справочников, сидит Яша Статистик. Он никогда ни с кем не спорит, только молчит и слушает. Уши у него оттопырены, каждый волос стоит и вьется отдельно, как черная пружинка.

Прозвище Яша получил за фанатическую, самозабвенную любовь к математической статистике.

В любой науке, связанной с экспериментом, приходится обрабатывать опытные данные. А математическая статистика — это наука о том, как их обрабатывать.

Экспериментаторы делятся, грубо говоря, на два класса. Одни —

экспериментаторы-романтики (или халтурщики, как называют их другие). Этим лишь бы поставить эксперимент, получить результаты. Обращаются они свои данные грубо: нахально проводят от руки среднюю кривую через группу разбредавшихся опытных точек и не ахти как задумываются: что означает этот разброд и как его оценить.

Другие — статистики. Факты заботят их не так, как методы. Методы обработки. Эти не сделают шага без того, чтобы не оценить возможную погрешность. Каждое утверждение у них обрастает оговорками. Они, например, не говорят: «Полученное из опыта значение величины  $x$  равно тому-то». Нет, они выражают свои мысли иначе. Они говорят: «С вероятностью 0,95 можно утверждать, что истинное, неизвестное нам значение величины  $x$  заключено между границами  $x_1$  и  $x_2$ ». Вот как. Любое высказывание ставится в рамки «от» и «до». Не дальше, не шире. Смотри под ноги.

Между экспериментаторами двух классов — слегка ироническая вражда.

Статистики считают романтиков недоучками, а про их работы говорят, что они сделаны топором. Они говорят: то, что вы пишете, просто ничего не значит. Вы утверждаете: скорость равна 5498 метрам в секунду. Это утверждение ничего не означает, пока вы не оцените его точность. Какова возможная ошибка вашего утверждения? Какова вероятность этой ошибки? Романтики отмахиваются. Они тоже грамотные и знают статистику, но им некогда оценивать точность. Им нужно скорей вперед, вперед.

Романтики считают статистиков скучными педантами. Им кажется, что тонкие статистические методы — просто переливание из пустого в порожнее. Нет, хуже: перенос ответственности из одной инстанции в другую. Все равно на том или ином этапе придется взять на себя ответственность. Все равно последнее, окончательное решение будет принято великолепным волевым актом. И расчетом нужно пользоваться творчески, а не рабски. Работы статистиков кажутся им сделанными золотошвейной иглой.

Так и идет все время спор — то явный, то неявный. Топор или игла?

Я думаю, ясно, на чьей стороне автор. Он — за топор.

Яша Статистик — страстный золотошвей. Когда-то, еще в ранней юности, он увлекся трезвой, иронической поэзией статистики. И теперь утверждения без оценок казались ему неприличными, какими-то голыми. Но в десятой лаборатории Яша Статистик одинок. Остальные, все как на подбор, халтурщики. Яша выбивался из сил: он работал за всех. Он пришивал ко всем отчетам фиговые листки оценок. Самое грустное было то, что другие над ним подтрунивали.

Яша сидит за своим столом, работает и одновременно слушает. Здесь вообще умеют работать в шуме, слушая споры, даже споря: «Куда до нас Юлию Цезарю!» Яша никогда не спорит, он молчит, но про себя он все время говорит. Вот и сегодня он мысленно наговорил целую кучу. Ему было что сказать и про Полетаева и про культуру. Слова барахтались у него внутри, теплые и живые, но не могли пробиться наружу. Яша — бессловесный поэт.

### Мегатонна

Самые способные в лаборатории после Вовки Умного — Зинка и Мегатонна.

Ух, какая сила этот Мегатонна! По-настоящему его зовут Саша, но все про это забыли. Прозвище очень уж к нему приросло. Его даже уборщица называет «товарищ Мегатонный», и он отзывается.

Мегатонна феноменален. Огромного роста детина, с пудовыми плечами, он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упирався в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке, для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен и дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что Вьетнам в Америке. Даже книг по специальности не любит. Иногда, посплюнвив палец, листает и с отвращением откладывает. «Еще читать,— думает он,— сам сделаю». И действительно делает. Способности у него необыкновенные. «От земли»,— как сказал Вовка Критик.

Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшливо речи. Он не удостаивает слова того, чтобы их согласовывать: он просто роняет их, и они сами слипаются в фразы. «Это без когда ничему вовсе»,— говорит он. Понимай как знаешь. И все-таки он сильнее всех. Когда никто не может, идут к Мегатонне: последнее средство, научный гаран. Глядя на формулу, он мычит, берет карандаш — пером писать он, в сущности, так и не научился — и начинает орудовать. Греческие буквы он знает плохо, никак не может запомнить, которая кси, которая пси. Дельту и бету называет одинаково: бельта. Зато альфу твердо знает в лицо: она у него нежно называется «козьявка». «Вот эту козьявку мы туда» — и бережно, словно берет бабочку толстыми пальцами, выносит альфу за скобку. Кончив преобразовывать, он обычно произносит одну и ту же загадочную фразу: «Сокращая и собственно здесь чем».

### Вовка Умный и Клара

Вовка Умный потерял глаза на испытаниях. Это случилось два года назад. Вся лаборатория была как неживая. Вовка долго лежал в больнице, а потом вернулся, бледный, в темных очках, с лиловым шрамом поперек щеки и с синими точками на лбу. Как встретить его? Что сказать? Еще накануне в лаборатории знали, что он придет, и горячо обсуждали этот вопрос.

Клара, которая пришла в лабораторию недавно и еще не знала Вовки Умного, заявила, что нужно проявить максимальную чуткость и окружить слепого вниманием.

— Как слепого музыканта,— почему-то сказала она.

— Брехня,— заявил Вовка Критик.— Именно никакой чуткости — вот что ему теперь нужно. Мы не должны его жалеть. Мы должны требовать с него, как с самих себя. Только тогда он будет чувствовать себя человеком.

Нельзя сказать, чтобы все сразу с ним согласились. Решающее слово произнесла, как всегда, Зинка. Она сказала, что Критик прав — ничего нет страшнее жалости.

И вот в лабораторию вошел Вовка Умный, а Зинка, та самая Зинка, смотрела на него желтая, как мертвец, и по щекам у нее текли слезы. Но она первая подала ему руку и сказала, как будто видела его вчера: «Здравствуй, Вовка». Даже голосом не моргнула.

И правда, Вовка Умный чувствовал себя человеком в лаборатории № 10. Экспериментатором он быть не мог — только теоретиком, но здесь уж он был на месте. Свои работы он печатал на специальной машинке, которую Просто Вовка оборудовал математическим шрифтом. Такие прелестные получались формулы. В лаборатории скоро привыкли, что Вовка Умный работает вместе со всеми, так, как все. Даже до того привыкли, что, когда Вовка Умный иной раз ошибался — с кем этого не бывает? — могли попрекнуть его: «Ты что, совсем одуре.!? Не видишь, что ли, что тут



наврано?» И Вовка смущался так, как будто и вправду видел. Конечно, ему иногда помогали, но ведь и он помогал. В теории он был сильнее всех, даже Мегатонны. Впрочем, нет: каждый в своем роде. Мегатонна — по преобразованиям, а Вовка Умный — по физическому смыслу.

А потом как-то получилось, что чаще других стала ему помогать Клара. Клара, пышная, розовая Клара («Три пирожных сразу») постоянно сидела у Вовкиного плеча, делала ему чертежи, исправляла опечатки, читала вслух статьи. Сначала в лаборатории боялись, как бы Клара не надурила со своей чуткостью. Нет, ничего — они с Вовкой, кажется, отлично ладили. Глядя на них, ребята посмеивались, а про себя думали: а чем черт не шутит?

И в самом деле, чем только не шутит черт...

### Чиф

Маленькая комната сегодня пустовала. Обычно там сидел Чиф. «Чифом» здесь называли шефа лаборатории, ее научного руководителя — профессора, члена-корреспондента Академии наук Лагинова Викентия Вячеславовича. Прозвище «Чиф» первоначально произошло от слова «chief» — «шеф» по-английски, — но скоро утеряло английский акцент и стало произноситься по-русски — коротко и ясно: «Чиф».

Чиф был главной достопримечательностью лаборатории. Им гордились. Его любили. Над ним подсмеивались, но тоже любя, с гордостью.

Чиф был, в сущности, еще не стар. Вряд ли ему было шестьдесят лет. Но рядом с ним все сотрудники, даже сорокалетние, чувствовали себя дошкольниками: такова была дремучая эрудиция Чифа. Чего только он не знал! Рядом с нормальными, прозаическими знаниями у него в голове лежали вороха посторонних, даже каких-то неуместных сведений. Он, например, знал наизусть дни, на которые приходится пасха, на целое столетие вперед. По поводу газетной статьи о президентских выборах в Америке мог перечислить всех подряд президентов — от Джорджа Вашингтона до наших дней. Знал назубок все марки шампанских вин и коньяков с подробной историей каждого сорта, хотя сам ни вина, ни коньяка никогда не пил. Утверждал, что может видеть в четырехмерном пространстве, и даже брался научить желающих.

Знания по специальности у него тоже были блестящие и обширные, но какие-то нереальные, словно огромный, напряженный радужный мыльный пузырь. Часто, особенно раньше, сотрудники обращались к нему со своими сомнениями, ошибками, спорами. Он почти никогда не отвечал «да» или «нет» на прямой вопрос. Он отвечал обобщениями. С ловкостью фокусника он совершал какой-то волшебный поворот — и вопрос раскрывался в совершенно иной постановке, смыкался с другими в причудливых, неожиданных связях. А тот первоначальный вопрос, из-за которого, собственно, и пришел вопрошатель, тускнел, начинал казаться плоским, прозаичным. Пришедший замолкал, ошеломленный такими далекими перспективами, таким крылатым «завтра», что просто совестно было за свою сегодняшнюю мелкую болячку. Но стоило вернуться на рабочее место — и ясность пропадала, и снова вставал вопрос, скромный, прозаический и нерешенный.

И все-таки сотрудники любили ходить к Чифу, смотреть на него и слушать. Одна речь Чифа чего стоила. В ней буйствовали скрипучие выкрики. Чиф ставил ударения криком, и на самых неожиданных местах, например на предлогах. Ему даже не нужно было гласной, чтобы поставить ударение. «В! — кричал он. — К!» — и все становилось ясно. Это было зрелище великолепное, яркое и немного эксцентрическое. В поведе-

нии Чифа всегда был чуточный оттенок клоунады. Никогда нельзя было до конца понять: серьезен он или издевается? Что он сам внутри себя думает? Что такое в конце концов Чиф?

### Проблема черного ящика

Никто не понимал, что такое Чиф, но больше всех бесился Вовка Критик. Для Вовки Критика — шеголя, скептика, остроумца — люди были ясны, по крайней мере казались ясными, а Чиф — нет.

Совершенно непонятны были, например, экскурсии Чифа в область искусства. Какие он писал картины, ну и ну... Некоторые восхищались ими, другие обиженно фыркали, третьи просто смеялись. Это была даже не абстрактная живопись: там все-таки есть какие-то свои правила. Чифу не были писаны никакие законы. Он творил разнузданно, пышно, безвкусно и загадочно. Он мог, к примеру, написать голую ярко-розовую нимфу верхом на пушке или бабу-ягу в реактивной ступе с пламенем, вырывающимся из дюз. Или нарисовать картину, издали похожую на гравюру, а вблизи, если всмотреться, всю из мелких-мелких точек-тире азбуки Морзе. Вовка Критик был как-то у Чифа в гостях — специально напросился — и просто ошалел от картин. За ними не было видно обоев. Картины и рамы. У Чифа была теория, что художники губят свои картины, предоставляя рамки ремесленнику. Он сам делал рамки, расписывал их, как картины, иногда даже с сюжетом, и смотреть на это было жутковато, словно бы пиджак вдруг стал человеком. Вообще все в этом доме было странно и немного жутко: и ободранная фанерка, прибитая к стене специально для того, чтобы голубой кот мог точить об нее свои когти; и детская железная дорога на рояле (хотя в доме детей не было); и домоправительница, не то сестра, не то тетка Чифа, — тощая крашенная дама с одним интеллигентным глазом, согнутая в спине, как кочерга, и называвшая Чифа детским именем Вишенка.

А поэзия? Чиф не чуждался и поэзии. В лаборатории об этом узнали случайно, когда он внезапно предложил выступить со своими стихами на институтском вечере самодеятельности. После парня с десятью гармошками мал-мала меньше, после толстой девицы в розовом (художественный свист) вышел конференсье и торжественно заявил: «Слово для зачтения стихов собственного сочинения имеет академик Лагинов». Боже, что это было! Свалил набок огромную красную голову, закрыв глаза и покачиваясь с ноги на ногу, Чиф не то зарыдал, не то завыл. Нараспев, как было принято в начале века, он читал какие-то оскорбительно-скверные вирши. О чем — понять было нельзя. Упоминались там спутник, Иисус Христос и самообслуживание. Когда он кончил — внезапно, словно испортился, — никто не решался сразу хлопнуть. Чиф открыл глаза, поднял руку, сделал, как циркачи говорят, «комплимент» публике, игриво дрыгнул ножкой и ушел с эстрады. Только тогда раздались аплодисменты — вразной, нерешительно — и прекратились. Нет, черт побери, этот Чиф был загадкой! В присутствии Чифа Критик чувствовал свой надежный, испытанный скептицизм как бы несуществующим. В чем был секрет Чифа? Иной раз Критик выходил от него и просто скрипел зубами от досады.

В кибернетике есть понятие «черного ящика». Чтобы объяснить, что это такое (термин вряд ли понятен за пределами узкого круга), пожалуй, лучше всего будет процитировать специальную книгу, одну из тех, что высокими стопками громоздятся у Критика на столе. Там написано:

«Проблема черного ящика возникает в электротехнике. Инженеру дается опечатанный ящик с входными зажимами, к которым он может

подводить любые напряжения, и с выходными зажимами, на которых ему предоставляется наблюдать все, что он может. Он должен вывести относительно содержания ящика все, что окажется возможным.

Хотя проблема первоначально возникла в электротехнике, область ее применения значительно шире. Например, врач, исследующий больного с повреждением мозга, может предложить ему несколько вопросов (тестов) и, наблюдая ответную реакцию, вывести некоторые заключения о механизме заболевания.

Вообще проблема черного ящика возникает везде, где ставится вопрос о внутреннем устройстве системы или организма, познакомиться с которым нельзя без нарушения его функций. Единственный выход, остающийся наблюдателю, — это производить ряд наблюдений и проб, регистрируя их в специальном протоколе, например:

Время	Состояние
11 ч. 18 м.	Я ничего не делал — ящик испустил ровное жужжание частотой 240 герц.
11 ч. 19 м.	Я нажал на переключатель, помеченный буквой К, — звук поднялся до 480 герц и остался на этом уровне.
11 ч. 20 м.	Я случайно нажал кнопку, помеченную знаком «!», — температура ящика поднялась на 20°C.

и так далее».

Пожалуй, этой цитаты достаточно для того, чтобы понять, почему у Чифа было второе прозвище: «Черный Ящик». Критик терпеливо вел протокол. Этот протокол хранился у него на столе под табель-календарем. Иногда записи вносили и другие сотрудники.

Последняя запись была такая:

Время	Состояние
10 ч. 08 м. — — 10 ч. 18 м.	Я ничего не делал — ящик испустил несколько телефонных звонков: а) в институт судебной психиатрии по вопросу о диагностической аппаратуре; б) на кошачью выставку — предлагал принять у него кота при условии, что кот (редкой голубой масти) не будет помещен в комнату с розовыми или оранжевыми стенами; в) в редакцию газеты — условился о встрече с корреспондентом сегодня в 14.00.
10 ч. 20 м.	Ящик отбыл в неизвестном направлении.

...Сегодня в 14.00 должен был явиться корреспондент; было уже четверть пятнадцатого, а он все не шел. Чифа не было. Вовка Критик по многу раз со свистом расстегивал и застегивал свои молнии. Ведь это ему нужно было сопровождать корреспондента, черт бы его побрал. Только работать мешают. А все-таки и ему интересно: какой-такой корреспондент? И вдруг звонок: «Сопровождающего».

В проходной стоял высокий кудрявый серовато-бледный человек с большим кадыком и блестящими голодными глазами.

— Рязанцев, — сказал он, сунув Вовке руку.

— Климов, — сказал Вовка. — Я за вами.

### Корреспондент

Корреспонденту было все интересно. Он первый раз попал в такое место, и все на него произвело впечатление: колючая проволока, часовой, тетка за широким прилавком, бдительно охраняющая недозволенные вещи, вахтер, который, надев очки, долго читал его пропуск, тщательно сверяя его с паспортом. Ему казалось, что сейчас он попадет в страну чудес. Однако за проходной, по крайней мере сразу, чудес не было. Все очень обыкновенно: мокрый асфальт, тощие деревца. Вестибюль с деревянными, под мрамор, урнами. Рогатые вешалки. Объявления на стене: «Шахматный турнир...», «Желающие отправить детей в зимний лагерь...», а вот в траурной рамке портрет молодого парня: «...октября 19... года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей Володя Савицкий. Светлая память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах». (Корреспондент автоматически поправил: «Вечно будет жить в наших сердцах».) От этого портрета — совсем молодой парень, толстогубый, смешливый, наивный — ему стало немножко не по себе, и вместе с тем сердце выжидающе ёкнуло. Может быть, вот они, чудеса, начинаются. Однако лабораторией, куда провел его Климов, была простая комната, без чудес, с желтыми канцелярскими столами. Все очень обыкновенно, кроме загадочной надписи: «Каюку стоаку»; может быть, это шифр. Корреспондент обратился к Вовке:

— Смогу я увидеть академика Лагинова?

— К сожалению, в настоящий момент это невозможно, — ответил Вовка магнитофонным голосом. — Член-корреспондент Академии наук профессор Лагинов, вероятно, прибудет несколько позже. Вам придется подождать. Тем временем, если вам угодно будет задать вопросы, я постараюсь ответить на те из них, которые окажутся в моей компетенции.

Сотрудники, сидя, поглядывали на стоящих. На Вовку даже с восхищением. Ловко кроет, собака. Как по написанному. И не улыбнется. Только по голосу — уж они-то знают Вовку — можно ожидать, что сейчас будет спектакль.

— Мне бы хотелось, — сказал корреспондент, — узнать подробности о применении в вашей работе вычислительной техники. Кибернетических машин.

— О, нет ничего легче. Кибернетические устройства, в частности электронные вычислительные цифровые машины, являются мощным средством повышения производительности умственного труда. Расчеты, на которые раньше потребовались бы недели и даже месяцы, выполняются современными быстродействующими вычислительными машинами буквально за несколько минут. Мощные средства современной вычислительной техники, освобождая научных работников от «черного» умственного труда (кавычки были аккуратно поставлены голосом), помогают советским ученым еще глубже постигать закономерности окружающего мира. Перед советской наукой развертываются широчайшие перспективы...

Корреспондент слушал, несколько сбитый с толку. Каждая из фраз сама по себе как будто и правильная. Любая из них могла бы быть написана в его будущей статье. Но в устной речи они выглядели иначе, противнее. Кроме того, все эти фразы он либо читал, либо слышал, либо сам писал. Из них ничего нельзя было узнать. Ему казалось, что он жуует бумагу. Это было не по правилам. По правилам люди должны были рассказывать обычными, человеческими словами, а он должен был сам потом делать из этого бумагу. Он перебил Критика:

— Прошу вас, поконкретнее. Я бы хотел узнать подробности о применении кибернетических машин именно здесь, в вашей лаборатории.

— Охотно. Истина всегда конкретна. Работы нашей лаборатории были бы просто невозможны без современной электронной вычислительной техники. В ряде случаев, правда, мы умеем обходиться средствами малой механизации...

Тут Вовка ткнул пальцем в клавишу счетной машины, стоявшей на столе. Машина с коротким рыданием вздрогнула, рванулась, застучала, что-то прокрутила и затихла. Кто-то прыснул.

«Что он, смеется надо мной, что ли?» — подумал корреспондент. Но Вовка был невозмутим, застегнут на все молнии.

— О, это очень интересно, — сказал корреспондент, записывая что-то в блокнот. — Нельзя ли посмотреть, как действует эта машина?

— Пожалуйста. Вы даже можете сами ее испытать. Надавите на этом пульте кнопку «два».

Корреспондент осторожно поднял длинный бледный палец. Он очень боялся короткого замыкания, но нажал кнопку.

— Не так, сильнее. Не бойтесь. Теперь на другом пульте — вот на этом, маленьком — надавите кнопку тоже с цифрой «два».

— И что будет? — опасливо спросил корреспондент.

— Пока ничего. Надавили? Так. Теперь нажмите эту клавишу со знаком умножения. Готово.

Машина коротко взрычала, словно выругалась, мелькнули какие-то цифры, и на верхнем регистре что-то выскочило.

— Четыре, — сказал Вовка, указывая пальцем. — Дважды два — четыре.

— Интересно, — сказал корреспондент. — А вы можете выполнять и более сложные действия?

— Любые. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. И даже извлечение корня. Хотя последнее — не так просто. Требуется знать алгоритм.

«Алгоритм» — записал корреспондент. Впрочем, он сомневался, правильно ли. В школе, помнится, говорили «логарифм». Вслух он сказал:

— Неужели?

— Назовите любое действие, и машина его вам выполнит.

— Две тысячи семьсот восемьдесят девять, — сказал корреспондент, ужасаясь собственной смелости, — умножить на четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь. Или, может быть, это слишком сложно?

— Ничего нет проще. Набирайте. Вот здесь.

Корреспондент долго копался. Вовка взял его за палец, как маленького, и набрал. Клавишу со знаком умножения корреспондент нажал сам. Дальше было как смерч: машина взревела, замелькала, защелкала, выбросила результат и торжествующе остановилась.

— Удивительно, — сказал корреспондент и вдруг, осмелев, протянул палец и сам нажал какую-то клавишу.

Произошло нечто непонятное. Машина застучала каким-то другим, пустым стуком, запрыгали цифры, но страшно было, что это не прекращалось: машина не останавливалась. Вовка с озабоченным лицом бросился к ней и быстро нажал какие-то кнопки. Машина защелкала уже другим, человеческим голосом, прокрутилась немного и встала.

— Что это было? — с ужасом спросил корреспондент.

— Ничего особенного. Просто вы вогнали ее в бесконечность. На пульте ничего не было, стоял нуль. Вы нажали рычажок деления. А знаете, на нуль делить нельзя. Получается бесконечность. Вот она и начала считать. До бесконечности.

— А если бы вы ее не остановили?

— Так и считала бы. Вечно. Если бы, разумеется, раньше не испортилась.

— Как это неприятно, — сказал корреспондент.

— Пустяки, — сказал Критик. — Это у нас на дню по десять раз бывает.

«Вогнал в бесконечность...» — записал корреспондент и спросил:

— А где же здесь электронные лампы?

Опять кто-то прыснул. Но Вовка был невозмутимо серьезен.

— Видите ли, в подобных машинах нет электронных ламп. Это обыкновенный арифмометр с электрическим приводом и автоматическим сдвигом каретки. Но если вас интересует настоящая электронная вычислительная машина, это можно устроить. Машина — в другом корпусе, туда нужен специальный пропуск, но я это сейчас сделаю. Подождите меня в кабинете профессора.

Вовка ушел. Корреспондент ждал в кабинете профессора. На стене висела картина. Лиловое, дымное небо, расколотое, как молнией, следом ракеты. Пустой берег моря с тяжелыми, пологими, серыми волнами. На камне сидит обезьяна, подперев лицо руками, и смотрит на светлый штрих — отражение следа ракеты в воде. В углу подпись: В. Лагинов. Вот так картина!

Корреспондент поехал. «Странные какие-то здесь люди. Все делают как будто не всерьез. Вот и этот острозубый, с молниями. Смеялся он надо мной, что ли? И другие».

На столе лежала рукопись. Из профессиональной деликатности корреспондент старался не смотреть в ту сторону. Но любопытство превозмогло, и он все-таки заглянул. Он увидел нечто необыкновенное — чистый лист бумаги, и на нем далеко друг от друга отдельные слова:

«...отсюда

но если

то

и, следовательно...»

Корреспонденту показалось, что он сошел с ума. Он приподнял страницу и заглянул дальше. Следующая страница была совсем пустая. И только в самом низу — неожиданно понятно — было написано:

«Итак, неравенство (9. 1) доказано».

Тут только он сообразил, в чем дело. Это математический текст, отпечатанный на машинке, но в который еще не вписаны формулы.

А в соседней комнате шли разговоры. Через дверь он улавливал только обрывки. Странные тоже обрывки. Вроде того сумасшедшего листа. Казалось, они говорили на каком-то совершенно чужом языке. По большей части он не понимал даже слов, а когда улавливал и понимал отдельные слова — они были претенциозные, вычурные, как эта обезьяна.

— Ветви гиперболы... — сказал кто-то.

«Слишком цветисто», — подумал корреспондент.

Он ожидал увидеть машину — большую, правда, но машину — с какими-то шестеренками или как они там называются, ну, словом, вроде той машины, которую он «вогнал в бесконечность», только, конечно, побольше и с лампами. Может быть, даже в форме человека, робота. С лампами вместо глаз. Он ведь читал фантастические романы и знал, что такое робот, — бездушное, стальное неумолимое существо с электронным мозгом. Но он твердо был убежден, что никогда машина не сможет полностью заменить человека. Не сможет, что бы ни говорили буржуазные ученые-идеалисты. Он даже по этому поводу однажды выступал на семинаре.

То, что он увидел, не было похоже ни на машину, ни на робота. У него вообще не было фигуры. Это был просто большой высокий зал с какими-то не то шкафами, не то стойками. Нет, пожалуй, больше всего это напоминало орган в Большом зале Консерватории. Сразу много органов.

Машина работала: от нее веяло грозным теплом, как от живого организма. Живо, зловеще, бесшумно переливались, мигая, желтоватые огоньки множества маленьких ламп. Каждая из них зажигалась и гасла, зажигалась и гасла, и по всей поверхности огромных стоек ходуном ходила неслышная мерцающая жизнь. Глаз у машины не было: она мигала всем лицом, всем телом. От пульта к пульта тихо двигались люди в синих халатах, изредка перебрасываясь беззвучными короткими фразами. Машина не шелкала, не грохотала, но весь воздух вокруг нее был насыщен почти неслышным, тонким, как пыль, гудением.

Критик что-то объяснял, но корреспондент снова улавливал только сбывки фраз: «оперативная память», «долговременная память», «память на магнитном барабане» — и едва успевал записывать. Он уже устал.

«У этого — память, — думал он, — да еще на барабане. Дожили!».

— Электронный мозг, — сказал он, стараясь быть вежливым. — Удивительно интересно.

— Устарелый образец, — небрежно сказал Критик.

Когда они вернулись в лабораторию, Чиф уже приехал. Он встретил корреспондента с изысканной любезностью, которая пахла даже не двенадцатым, а восемнадцатым веком, и пропустил его в маленький кабинет.

— Чем могу быть полезен? — спросил он, раздвинув на столе локти и составив концами короткие красные пальцы.

...Корреспондент был в своем роде тоже поэт. Он многое видел и чувствовал. И вот сейчас, сидя напротив Лагинова, он жадно поглощал все, что видел. Еще не старый человек, с малиново-красным лицом, с алюминиево-седыми короткими и густыми волосами, сидел в кресле, глядя на свои пальцы и чуть-чуть улыбаясь. Это он нарисовал обезьяну. Он был непонятен, как те самые... «ветви гиперболы».

Сейчас надо задать какой-то вопрос, но корреспондент почему-то забыл все приготовленные с утра вопросы. Кажется, он хотел спросить о машинах? Могут ли они заменить человека? Нет, не то. Ясно, что не могут. О перспективах развития науки? О звездоплавании?

И вдруг неожиданно и совсем тихо Лагинов заговорил сам:

— Да. Многое меняется. Мир становится неизвестным. Но не более ли удивительно другое? Не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями... Человечность... Любовь.

И замолчал. Несколько секунд они оба молчали. Зазвонил телефон.

— Да, да, да, — говорил Лагинов. — Этого как раз я и ожидал. Видимо, при этих скоростях мы сталкиваемся с совершенно новыми явлениями. Материя перестает быть собой, дезинтегрируется. Любопытно, крайне любопытно. Приеду, непременно приеду.

Он положил трубку и, забыв о посетителе, некоторое время смотрел перед собой остановившимися глазами. И вот такой, притихший, он почему-то был понятен. Сейчас за столом сидел усталый, очень немолодой, очень несчастливый человек. Но это продолжалось одно мгновение. Чиф встряхнулся, помолодел и снова стал непонятен.

— Итак, я вас слушаю, — сказал он громким, скрипнувшим на «итак» голосом.

Вечером корреспондент сидел дома и работал над статьей о лаборатории Лагинова. Все виденное стояло у него перед глазами: тяжелая

голова Чифа, глубокие малиновые морщины и свежие голубые глаза; машина, дышащая теплом; воздух вокруг нее, дрожащий паутинным гулом; и тот острозубый, в молниях парень; и мимолетная, трогательная, чуть ассиметричная улыбка девушки, которая проводила его глазами. Сначала ему больше понравилась другая, блондинка. Но эта — лучше: как она улыбнулась, нагнувшись и чуть повернув голову над столом, а волосы лежали концами на книге. Все это он видел, но это не имело никакого отношения к тому, что он собирался писать. Писать нужно было по правилам. Уж он-то знал эти правила назубок. Когда он читал свои статьи, он даже сам зажмурился от удовольствия и дочитывал каждую фразу наизусть. Его словно качало на плавных волнах. Все так гладко и правильно, как будто давно и не раз читано. Именно эта гладкость, привычность и была его особым щегольством. Ведь танцующая салонные танцы, вовсе не нужно проявлять оригинальности: надо уметь выполнять установленные па. Писать иначе было бы просто неприлично, все равно как если бы на гладком паркете среди танцующих пар какой-нибудь обормот стал прохаживаться вразвалку, даже почесываясь.

Корреспондент писал статью со сноровкой, быстро, технично, почти без помарок.

«...Хмурый октябрьский денек. Деревья уже растеряли свои листья, на улице пасмурно. Но в десятой лаборатории предприятия, где начальником тов. Н., — светло. Светло тем особым светом, который...»

Слова скользят по теме, как перо по бумаге:

«— Отныне, — горячо сказал молодой талантливый ученый, кандидат технических наук В. А. Климов, — нет невыполнимых задач, непосильных проблем. Наша электронная вычислительная машина, выполняющая 8000 операций в секунду, одна может заменить целую армию вычислителей.

Климов говорит искренне, увлеченно. В его глазах...»

(...Гм, его глаза... А все-таки: смеялся он или не смеялся?)

«...Гудит машина (напрягая электронный мозг — вставил было корреспондент, но вычеркнул). Вспыхивают и гаснут лампочки умных приборов. У приборов — люди в синих халатах. Ритмично, слаженно работает весь коллектив, начиная с директора и кончая вахтером.

— Нам, советским ученым, предоставлены все творческие возможности, — сказал в дружеской беседе заведующий лабораторией, член-корреспондент Академии наук, заслуженный деятель науки и техники профессор В. В. Лагинов. — Только твори, только дерзай.

Профессор уже не молод, но его глаза светятся юношеским задором, неумной энергией...»

На секунду перед корреспондентом снова мелькнуло живое, малиновое, с яркими младенческими глазами, усталое лицо человека за письменным столом под странной обезьяной. Над этим стоило подумать потом. К тому, что он делал сейчас, это не имело отношения. Он танцевал.

## Разное

Проводив корреспондента, молодой талантливый ученый В. А. Климов вернулся в лабораторию. Ему было почему-то немного стыдно. И действительно, его осудили.

— И очень глупо, — сказала Зинка. — Зачем нужно было его разыгрывать? Ведь он тоже человек, и не виноват, что никогда не видел машину. А ты: алгоритм. Хорош бы ты был, если бы он и правда попросил



тебя извлечь корень. И не знаю, кто из вас хихикал, но только это было хулиганство.

— Хихикал я,— заявил Каюк,— и не раскаиваюсь. В самом деле, что он за специалист? Смешно даже. Мы сами не хуже его могли бы написать про себя в газете. Да что я — не хуже. Лучше. В миллион раз.

— А кто тебе мешает? Возьми, да и напиши.

— Некогда мне.

— Все так говорят: некогда. А ты ночью попробуй напиши. Пари держу, что ничего не выйдет.

Женя Стрельцов молчал и думал. «А я могу,— думал он.— Я о вас напишу, товарищи вы мои, чудесные вы мои люди. И все вас увидят, как я вас вижу, и все вас любят, как я вас люблю».

Все еще чувствуя себя не совсем ловко, Критик свистнул молниями и пошел в фоточулан за пленками. За столом кто-то сидел. Это оказался Вовка Умный.

— Чего ты? — спросил Критик.

Вовка Умный сидел, подперев лицо руками. В оранжевом свете лицо было особенно бледное, серьезное, даже трагическое, и совсем черными казались темные очки. Как черная полумаска на мертвом лице.

— Чего ты? — еще раз спросил Критик.

— Слушай, Володя,— нарочито небрежно, даже как-то разухабисто сказал Вовка Умный.— У меня к тебе есть вопрос.

— Ну? Оформляй.

— Как бы это его оформить... Ну, в общем я хотел спросить тебя про Клара. Какая она?

— Какая? Станный вопрос. Клара есть Клара.

— Тривиально. А есть А. Первый закон формальной логики. Нет, я не об этом. Я бы хотел получить информацию насчет... ну, наружности, что ли,— сказал Вовка Умный, отвернувшись и барабаня пальцами по лабораторному столу.— Расскажи мне, какая она.

У Критика что-то дрогнуло внутри. Даже в носу защипало. Фу ты, ерунда какая. Хорошо еще, что темно. Странно, ему сейчас не пришло в голову, что Вовка все равно не мог его видеть.

— Какая она? Вполне кондиционная. Красивая, светлая. Большая.

— Клара — это и значит «светлая»,— глухо сказал Вовка.— Нет, все-таки ты подробнее. Опиши мне ее так, чтобы я ее увидел.

— Ну, как тебе ее описать? Она похожа на три... на три розы сразу.

Темный, черный, исхлестанный дождем вечер. Сотрудники лаборатории № 10 расходятся по домам. На пустыре большие лужи, огни редких фонарей дрожат в них и качаются. Последними уходят Зинка и Вовка Критик. На Зинке дождевик с капюшончиком, под дождем она — как маленькая девочка. С капюшончика на короткий нос падают капли.

Вовка идет рядом, засунув руки в карманы кожаной куртки. Темная гладкая голова не покрыта, под дождем он не ежится, не сутулится — идет прямо, будто и нет дождя.

— Слушай, Зинка,— говорит Вовка,— я хочу сказать тебе нечто неоригинальное.

— Я знаю, Вова,— серьезно и спокойно отвечает Зинка.— Не надо говорить.

— Ну, ладно. Не буду говорить. Ты сама скажи мне одно слово.

— Одно слово? Ну, нет.

Тут они помолчали. Снова заговорил Вовка:

— Я понимаю, Зинка. Мы все догадывались, что у тебя что-то в прошлом. Но, может быть, когда-нибудь?..

— Дело не в прошлом, а в настоящем.

— Зинка, ты любишь кого-нибудь?

— Ну, да.

— Зина, я знаю, что не имею права спрашивать — кто и что. Я сам назову имя. А ты только скажешь — да или нет. Просто Вовка?

— Ну, да.

«Просто Вовка, Просто Вовка», — думал Критик по пути домой, по привычке обходя лужи, по привычке не сутулясь под дождем. А сейчас ему хотелось именно сутулиться. Он шел и все спрашивал себя: почему именно Просто Вовка? Губы шевелились и шептали: «Почему именно Просто Вовка?» Но, в сущности, он знал. Именно потому, что «просто». Не щеголь, не скептик, не критик. Просто Вовка.

Просто Вовка не кандидат, даже не инженер, а техник. Из себя невидный, худой паренек с якорьком на руке. Золотые руки. Когда его что-нибудь просили сделать, он улыбался и говорил: «Это можно». И улыбка у него открытая-открытая, как открытая дверь. Входите, это можно.

Зинка и Просто Вовка. Он их часто видел вместе — и не догадывался. Никто не догадывался. Просто Вовка всегда собирал и налаживал Зинкины схемы, а она стояла рядом, объясняла, покусывая от нетерпения смуглые пальцы. Серьезная-серьезная.

Сегодня, идя домой под дождем, Вовка Критик, пожалуй, впервые почувствовал, что он не совсем настоящий. Зинка и Просто Вовка. Это больно, но справедливо. Ничего, он еще будет настоящим.

### Большой день

В жизни каждого человека бывают большие дни. Дни с большой буквы. И в жизни каждого коллектива (если он человек). Настал такой день и для десятой лаборатории. Большой день. Даже не будет преувеличением сказать «великий», хотя здесь и не любят таких слов.

В этот день никто по-настоящему не работал. Только ходили из угла в угол, собирались кучками и говорили — почему-то полусшепотом. Сегодня им официально было разрешено оставаться на работе сколько угодно. Хоть всю ночь.

Все были на местах, кроме Чифа. Чиф уехал куда-то засветло, кажется на кошачью выставку — выставлать кота. Никто не удивлялся: Чиф всегда особняком.

Женька Лирик весь этот день писал стихи: марал, перечеркивал, переписывал, а когда к нему подходили, судорожно переворачивал листок. То, что ему нужно было сказать, он видел отчетливо, чеканно, словно написанное черным по белому, но не мог прочитать, не мог записать на бумаге. Он бился, как жук об оконное стекло, — стучался и падал.

Никто — и все. Вас было слишком много... —

писал он и вычеркивал. Не то.

Никто — и все. Имен не знают ваших... —

И снова не то. Снова вычеркивал.

В углу возился с приемником Просто Вовка, налаживал, проверял. Приемник уже был давно налажен, а он все крутил рукоятки, переезжая через свист с одной волны на другую, время от времени ловя резкое чирканье морзянки, и тогда все почему-то вздрагивали.

Вовка Критик, более задумчивый, чем обычно, стоя тыкал наугад в кнопки счетной машины и уже несколько раз вогнал ее в бесконечность... Ужасно медленно тянулся день. А Женька все писал:

Вы, физики. Вы, лирики, поэты...

Плевался и зачеркивал.

Наконец, отчаявшись, испробовав десятки вариантов, решился и переписал, к черту, один. Может быть, даже наверное, не самый лучший. Но он больше не мог.

Он сам не знал, что у него получилось. Хорошо это или плохо. Скорее всего плохо. Но все равно. Сегодня ночью после «того» он прочтет стихи товарищам. Пусть смеются.

И вот — ночь.

Еще рано. По радио передают музыку. Странно, что в такой день передают музыку, как всегда. А впрочем, отчего же. Ведь никто не знает. Почти никто. Завтра узнают все. Если только...

Теперь уже скоро. Полчаса до срока.

Просто Вовка смотрит на часы и крутит рукоятку. И вот в тишину врезались сигналы. Словно птица попискивает: «пи-пи-пи-пи» — тонко и мерно. Четверть часа до срока.

Все встали с мест и стеснились у приемника. Четверть часа. Как их пережить, как переждать? А может быть, ничего не будет? Нет, невозможно.

Пять минут до срока.

Идут минуты, ползут, окаянные, каждая — как целая жизнь, и сердце сжато тисками, а сигналы все те же, птица попискивает себе. А ждать уже невозможно. Все стоят бледные, даже розовая Клара. У Зинки губы светлее лица, а Просто Вовка обнял Зинку, так и стоит, и рука с часами дрожит. В плечо ему вцепился Вовка Критик. А Вовка Умный закрыл глаза руками. Что он там видит? Может быть, ту самую последнюю вспышку — последнее, что он видел вообще?

Две минуты... одна...

И тишина. Полная тишина.

. . . . .

Свершилось. Нет, сделано.

. . . . .

Женька стоял, держась за спинку стула, и вдруг ему нестерпимо захотелось стать на колени, тут же, рядом с приемником. Но нет, нельзя — стыдно. Он стал одним коленом на стул, а голову опустил на руки. Все молчали.

Вдруг Женька издал горлом какой-то дурацкий звук, выпрямился и вышел большими шагами. На стуле осталась сложенная бумажка.

Первым заговорил, конечно, Вовка Критик. Голос показался всем до боли обыкновенным. Чего они ждали?

— Нервы,— хмыкнул Критик.— Ну-ка, посмотрим, что это за бумажку потерял Стрельцов.

Бумажка была со стихами, а стихи такие:

Никто — и все. Ваш подвиг безымянен.  
Вас слишком много. Вас нельзя назвать.  
Нельзя. Вас не покажут на экране.  
Не будут вас поэты воспевать.

Да знают ли о вас они, поэты,  
 Какие вы и кто из вас какой —  
 Философы, насмешники, аскеты,  
 Укрытые от мира проходной?  
 Да знают ли поэты эти, кто вы  
 И как бывает горек, груб и круг  
 Ваш умственный, тяжелый и суровый —  
 Суровее физического — труд?  
 Что чувствуют они, поэты эти,  
 Когда приходит ваш великий час?  
 Они галдят и прыгают в газете,  
 А я, читая, думаю о вас —  
 Вы, пахари, идущие за плугом  
 По каторжной научной полосе,  
 Немыслимые друг без друга,  
 Вы, безымянные. Никто — и все.

Никто не смеялся. Напротив. Все как-то обидно молчали. Потом было краткое обсуждение.

— Высокопарно, — сказал один.

— Неточно, — сказал другой.

— Нет, товарищи, мне все-таки кажется, в этом что-то есть.

— Твое замечание, Зинка, не несет информации. Если вещь существует, то в ней всегда что-нибудь есть.

Зазвонил телефон. Подошел Критик. Это говорил Чиф.

— Рад вас приветствовать, — сказал Чиф. — Как и полагается молодежи, вы празднуете. Это естественно. Это человечно. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что праздники существуют только у людей? Когда-нибудь я стану Энгельсом и напишу «Роль праздника в процессе очеловечивания обезьяны». Однако чем выше развит человек, тем меньше он связывает праздники с определенными днями. Он начинает видеть праздники в буднях.

— А как кот? — глупо спросил Вовка.

— Какой кот? Ах да, вы о выставке. Благодарю. Получил серебряную медаль. Итак, приветствую вас. Не забудьте — завтра у нас будни. Поздравляю с буднями!



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВИКТОР ПАНОВ

★

## У МАСТЕРОВ УРАЛА

### Земляки

**В** городе Первоуральске на новотрубном заводе среди вальцовщиков встретил я знакомое лицо. Человек в сравнении со мной был молод, и я призадумался: где же видел эти широко расставленные глаза и острые скулы, эти приподнятые плечи? Прошел по цеху мимо вальцовщика раз, два — что за чертовщина! Даже родное что-то, из детства, из своего села.

Гревели на столах остывающие трубы, и я закричал в ухо вальцовщику:

— Как фамилия?

— Тягунов!

Я мысленно старался припомнить Тягуновых — пролетело лет тридцать слишком после того, как был в своем селе. Тягуновы?.. Тягуновы?..

— Давно катаешь?

— Да уж вот шестнадцатый год!

— А отец где работал?

— А здесь же катал лет пятнадцать, а то и побольше. У нас по всем станам практика.

— А из деревни-то когда выехали?

— Зачем вам такие подробности? — Он следил за раскаленной трубой, пробегавшей на роликах мимо нас.

Аккуратненький технолог, очень молодой, сопровождавший меня, объяснил Тягунову, кто я и с какими намерениями пришел в цех.

— Из деревни давно, на пятом годочке вывезли.

Он отвернулся от нас, занявшись делом. Неужели это скулы Михаила Онисимовича Тягунова?

Тягунов покрикивал на собраниях, по-всякому исхитрялся, лишь бы не вступить сперва в коммуну, а затем и в колхоз. Мы внесли его в список на раскулачивание: хотя и жил он без особого достатка, но упорно ходил слушок, будто у Тягунова золотишко припрятано. Вот мы и пришли к нему искать золото. Он кричал: «Золота нет! Я сам золото!» А мы тыкали в землю пешней, ломом — не звякнет ли где, лазили в подполье. Отлично помнится! Испуганные мальчишки жались к отцу, а зубастая Фекла, мать Тягунова, называла нас иродами и разбойниками. В избе около печи на лавке стояла пузатая корчага с суслом — мужик, видно, к празднику готовился. Теперь уж, поди, мало осталось людей, которые знают, что такое сусло. А я его попил. Сперва — хоть летом, хоть зимой — готовили из ржи солод: мочили зерно в кадках

с водой, затем подсушивали, зерно прело от внутренней своей теплоты и давало ростки. В зерне сахар появлялся. И вот в корчагу насыпали солод вместе с ржаной мукой, кипятком заливали и ставили в печь. Свали еще зачем-то ржаной соломы в эту смесь. И солома разпреет. Выставим, бывало, корчагу из печи на лавку, всей семьей соберемся, а у пузатой посуды, как у самовара, была дырка, гвоздем заткнутая, откроем дырку — и польется густое, темно-коричневое сладковатое сусло, полупиво, а если настоять его на дрожжах или на хмелю, то будет такое пиво, такая брага, какую прежде пивали купцы и бояре, пивал и мужик, но лишь в престольные, храмовые праздники. Поговорка помнится: «Было бы суслицо, доживем и до бражки».

И вот, значит, Михаил Онисимович Тягунов готовил сусло перед престольным праздником, а мы, значит, явились искать золото. Обшарили дом — нету золота, а золотишко, слышать, у человека водилось. Не в корчагу ли спрятано? Выщедили сусло и полезли было в горшок рукой. Михайло Онисимович взял корчагу, пузатую, пудовую, приподнял да как трахнет о пол — черепки во все стороны! Солод с мукой, солома... «Все равно, говорит, моя жизнь вдребезги, как эта посуда»... Парнишки заревели. Не пришлось Тягуновым сусла попить, а суслице было со смородиной. Сколько времени пролетело, а Онисимович с поднятой корчагой так и стоит передо мной. Стужа была чувствительная, и ладно — пешком не отправили Тягунова с малыми детьми до станции, а отвезли на салагах да еще с кое-каким барахлишком...

И вот в громадном цеху новотрубного, заглядевшись на прокатку стали, я вспомнил о Тягуновых. Да, это мог быть сын Михайлы Онисимовича, сыну этому теперь... да, верно, лет тридцать восемь, и у него должно быть два старших брата, первенец был моим дружкой в детстве.

...Из сильно раскаленного железа, как из горячего воска, можно тянуть и лепить все, что тебе вздумается. Скатился на роликовый транспортер красный искрящийся обрубок металла, похожий на двухметровое круглое полено, и в самую сердцевину его с торца впивается копьё, впиивается и легко проходит, оставляя за собой дыру.

— Разрешите узнать ваше имя и отчество?

— Федор Михайлович.— И указал мне на слитки, подаваемые в приемный желоб прошивного стана.— Прошьют, раскатают, вытянут как надо... На тесто похоже у жены под руками, если про накал забыть. Она его и так и этак на столешнице, и скрутит, и совет, и дыр понаделает.

Я зажал руками уши, давая понять Тягунову, что разговаривать здесь трудно.

Бежали длинные красные трубы по многим желобам, пахло банным угаром, копоть набивалась в нос.

Утомил меня и цех и пятиэтажный домище, в котором работают служащие завода,— и на этом заводе я долго искал всякое начальство, чтобы получить пропуск. Один уехал, другой заседает, третьего вызвали куда-то; пропуск-то дать можно бы все-таки, но у меня просрочено главное удостоверение... Сколько же их шелестит бумагами! Даже на самом заводе служащие занимали два или три этажа. Коридоры, вывески на дверях (это и в Свердловске и в Тагиле): ПРБ, БОТ, БИП, ТНБ, БТЗ, ПЭКОМ, ТБ, начальник цеха, его заместитель, начальники участков, пролетов, механик, его заместитель, снова КБ, БЭ, ОТ, ОТК, ВОИР, ЦЗЛ, ОКБ, ЛЭОП — конца нет вывескам, и за каждой из них, за каждой дверью пишут, чертят, считают, строчат на машинках. А спустился в цех громадных размеров — людей не видно, бегут по роликам рельсы или балки, если это рельсобалочный, или трубы, или колеса, или просто огнедышащие куски металла. Где же люди-то? Двое около печи, один или двое на прокатке, на вальцах, один у пилы, режу-

шей материал на нужный размер, один около тележки отходов да двое на выпрямлении остывших рельсов или на обрезке труб.

Трубы, бегущие по роликам, словно по дорожкам, трубы здесь, пышущие жаром, там, вспыхивающие бесцветным почти огнем, трубы холодные, тонкие, с музыкальным звоном...

— До чего же их тут много! — сказал я.

— Их мало, — строго ответил молодой технолог, сопровождавший меня. — Из-за недостатка бурильных труб мы тормозим развитие нефтяной и газовой промышленности. И вообще трубы сильно лимитируют нас.

Подумать только! Человек этот родился в 1940 году и успел уже побыть разнорабочим, потом подручным на вальцах, а теперь он — в технологической группе конторы, студент последнего курса института. Чуть опережая меня, он с хозяйской уверенностью ходил по всем цехам, без предварительного стука и без спроса отворяя любые двери, с начальниками вступал в разговоры, как с равными себе.

— Уфан меня интересует, — сказал он, сбавляя шаг, потому что я не мог поспеть за его резвыми ногами.

— Уфан, — с удовольствием повторил я слово, показавшееся мне пуховым. — Что такое уфан?

Он приподнял очки, съезжавшие на вздернутый кончик носа, и, не отвечая, спросил:

— Вы собираетесь что-то написать о нашем цехе, если я вас правильно понял? — Он улыбнулся и добавил: — Вам бы надо хоть ненадолго стать подручным к вальцовщику или пекло почувствовать у нагревательной печи... Уральский филиал Академии наук — вот что такое УФАН.

Ишь ты! Сам на двадцать втором году метит в академию, а меня на шестом десятке — к нагревательной печи!

Остановились около штабелька слитков. Они похожи на коротко нарезанные трубы, но трубу такой длины я легко бы поднял, а слиток не могу с места сдвинуть. Их загрузят в кольцевую печь. Они сделают в печи круговое путешествие и, раскаленные, возвратятся почти к тому же месту, с которого начинали, — окно загрузки и окно выдачи расположены рядом.

— Как же основание печи двигается? — спросил я. — Под?

— Очень просто. Под на опорных роликах, а сила — от мотора.

Загрузочная машина, вытянувшая длинный хобот с клещами на конце, брала этими клещами слитки и совала в печь, затем на рельсах откатывалась от печи, снова брала в клещи ношу и снова несла в печь.

Технолог познакомил меня со сварщиком, дважды повторив его фамилию с явным уважением.

Это был старший сварщик К. И. Горюнов. Как я потом выяснил, он предложил короткие слитки «садить» в кольцевую печь не в два ряда, как это делалось, а в три. Увеличились нагрев слитков и производительность печи.

— Ничего в этом нет удивительного, — сказал Горюнов, — и если бы я не сделал полезное предложение, другие бы сделали. У нас народ башковитый.

Они заговорили о равномерном нагреве заготовки по сечению и по длине, о планах своих.

Горюнова-то я послал бы в Уральский филиал Академии наук.

Технолог спешил по своим делам, а я вернулся к Федору Михайловичу Тягунову и сказал, что хочется мне побеседовать с ним в нерабочее время.

Он задумался. Да, конечно же, это глаза и скулы Михаила Онисимовича. И складка между бровями тягуновская...

— А почему со мной именно? Есть вальцовщики и получше. Мы с вами уговоримся так.— Он рассек воздух ладонью.— Если в парткоме,— он подчеркнул это слово,— или в завкоме посоветуют вам встретиться с Тягуновым, то приходите ко мне вечером. Там вам и адрес дадут.

За воротами завода я вдохнул ветерок, прилетевший с гор, одетых лесами. Где побывать еще до встречи с Тягуновым? Что посмотреть? Через три автобусных остановки я был на старотрубном заводе, до такой степени уже перестроенном, что самая малость осталась в нем от прошлого. Здесь более современным способом «шьют» трубы, сгибая холодную металлическую ленту. От ворот завода во все стороны по взгорьям виднелся Первоуральск: то новые многоэтажные домищи, то поселки, густо заполненные мелкими домиками с палисадниками и огородами. Как и всюду на Урале, при старинном заводе сверкал большой пруд; солнце уже садилось за ним, бросая последние лучи на водную рябь. Мне без причины стало тоскливо. Где-то уже давно, не раз и в точности такой же, видел я закат над водой. Вспомнилось озеро вблизи нашего села, наклонившиеся камыши, позолоченные закатом. Рыбачили мы с Тягуновыми, а Федор Михайлович Тягунов (так звали вальцовщика с завода) был годовалым карапузом, и я не однажды таскал его на руках. Сказать ему сегодня об этом или не говорить? Знает ли он меня по рассказам отца?

Вечером он, гладко причесанный, в полосатой пижаме и мягких туфлях, вышел в переднюю своей квартиры на главной улице города и гостеприимным жестом пригласил меня в столовую с большим диваном и двумя шкафами книг.

— Богат книгами и ребятишками,— сказал Федор Михайлович.— Книги у нас дешевые. Сто лет тому назад они в России стоили в сто раз дороже.— Он открыл шкаф и с уважением стал перебирать корешки книг по технологии прокатного производства, исторические.— Если купишь одну в получку — и то двадцать четыре в год, а сэкономил на пол-литре — четыре книги на выбор!

И дома около книг он такой же медленный, важный, как и в цеху у горячих труб, скоро бегущих по роликам. Мы поговорили немного об истории Урала, о заселении зауральских земель. Тут я мимоходом спросил хозяина, бывал ли он хоть разок в родном селе после отъезда из него.

— Не приходилось,— сухо ответил Федор Михайлович.— В отпуск торопишься в Крым, в дом отдыха куда-нибудь, был в Чехословакии, прокатился вокруг Европы, а о деревне и воспоминаний никаких не осталось. Другое дело Первоуральск. На восьмом году прибыл сюда.

— На восьмом? — притворно удивился я.— А из деревни на пятом, где же еще три года?

Мне пришлось убрать записную книжку и снова заговорить о прошлом Урала, потому что Федор Михайлович насторожился, с неприязнью глянул на меня (а может быть, мне показалось это). Но мы все-таки вернулись к его детству, после того как я рассказал кое-что о своем, не назвав, понятно, село...

— А нас отец не стегал! — живо отозвался он на мои воспоминания.— Мать тоже бросалась и с опояской, и с ухватом, и за волосы таскала, а отец — дело прошлое — только посулится уши надрать или тесленно начнет расстегиваться, позванивать пряжкой ремня... Жили мы где-то в леспромхозе, в сосновом бору. Переехали в Первоуральск, и тут лыжи, коньки, грибы, ягоды, сосновые леса. Рядом с городом, возле Сибирского тракта, — пограничный столб, самая хребетинка, гребешок: на запад — Европа, на восток — Азия. Детвора, бывало, с утра до ве-



чера бегала из Европы в Азию. В Европе русского духу набрался и сломя голову бежишь в Азию, а там на тебя бросается какой-нибудь царь Кучум. Подрос — походы, пионерские ночевки в лесу, на берегах. А чего стоят одни названия рек! Утка. Шайтанка. Большой Ишим... — И снова повторил: — Забыл, где и родился.

— А в Первоуральск вы приехали на какую-нибудь стройку? — Я достал записную книжку, шутливо сказав, что журналисту нельзя без нее и минуты жить.

— А как же? Строительство новотрубного было объявлено ударным — и пионеры и домохозяйки старались на стройплощадке. Жили, конечно, в бараке, дуло из-под пола, от клопов спасу нет. Отец получал в столовой талоны ударника, на производстве, помню, он был передовым — грамоты, портреты, премии. Субботник за субботником: лес готовили, глину месили, батя каменщиком, а я, малец, ему кирпичи подавал. Крикнет, бывало, шутя: «Не посылайте с кирпичами моего Кузьму, я и сам возьму!» Один раз он сорвался со стропил, подхватили за миг до смерти, а он смеется: смерть да жена богом суждена! Перед школой меня считать учил: трое пошли, пять грибов нашли, пятеро пойдут — много ли найдут? Я подсчитывал, а он смеется: гриб, мол, не всякому дается, надо пониже гнущся, не жалеть поясницу да почаще разгрести руками прелый лист...

Были первоочередным объектом — наравне с Магнитостроем и Кузнецкстроем. Помнится, на красную доску стали заносить только ударника-трехмесячника. А начальник был, например, Вторыгин. Его не забыть. Он сказал на собрании: «С голодным и грязным рабочим мы социализма не построим». Надо создать нормальные бытовые условия. Строили сразу десять барачков. Тысяча двести ударников было, когда закладывали фундаменты под станы и печи. Половина малограмотных да столько же неграмотных. Давно это было. Волочильный цех пустили к Октябрю тридцать третьего года. И вот уж тридцать лет лозунг — трубы давай! Давай, давай! Только через мои руки их прошло — хватит земной шар опоясать. Что же вам еще? — Он спокойнее уже относился к моим записям, соглашаясь, что мне это делать необходимо, что не из праздного любопытства я задаю много вопросов. — Вот бы знать, что вам пригодится, а что нет... Воевали с летунами, с прогульщиками... Привычка была на каждом шагу страшить прокурором. Снимали с человека стружку. Выуживали кулацких сынков. — Он слегка усмехнулся, не глядя на меня, и разорвал в руках веревочку, перед этим свитую в петельку. — Сидим как-то за столом всей семьей, и отец читает вслух заводскую газетку... Да что вам-то рассказывать, вы, поди, получше помните, как съедали и виноватых и невиноватых. Советуют в газетке комитету комсомола немедленно изгнать из своих рядов кулацкого отпрыска Кривошеина и надеть на него уздечку, чтобы не пролез в ряды Красной Армии. А Кривошеин тут же и заходит к нам — товарищ старшего брата, удалый в работе. Потемнел парень лицом: «Ну, говорит, ладно, останемся на трудовом фронте, какая разница, нигде хуже других не будем...»

Чуть-чуть прихмурил Федор Михайлович темные, слегка опаленные брови и безо всякой надобности стал разглядывать ночную темень за окном. Разбередил семейную рану и не мог этого скрыть. Посторонний человек на моем месте ничего бы не понял, а мне еще раз вспомнился осенний день, когда мы в доме Тягуновых искали золото. Я-то, собственно, не запускал своих рук в корчагу из-под сула, не выламывал половиц и не тыкал пешней в мягкую землю подполья, а ходил в качестве понятого, что ли, или члена комиссии...

— И где он теперь — Кривошеин? — спросил я.

— Убит в Отечественную. Перед самой войной жениться задумал... Убили в первый месяц. А она ждала долго. С горя поехала скитаться по заводам и рудникам, чуть не сковырнулась, ладно вовремя его же родственники пригласили.

— А брат ваш старший где?

— Брат? Брат в Челябинске, на тракторном. Тоже был на фронте. Сверлил небо снарядами. А второй в Магнитогорске. Отец у второго, восьмидесятый отцу.

Вон что! Я чуть не воскликнул от удивления. Михаил Онисимович-то жив, оказывается, а ведь он и во времена сплошной коллективизации был немолод.

— Крепкий, видно, старик,— сказал я как можно спокойнее.

— Скрипит еще...— В голосе прозвучало уважение к отцу.— Не могут оттащить от дела, с утра до вечера хлопочет по домашности. Старший брат кузнец, а Павел — в прокате. Мы все по железному делу. Еще и бабушка изловчается жить, добралась до сто первого. Недавно привезли от родственников, из деревни.— Он кивнул на стену, и я понял, что старуха рядом в комнате или в кухне.

Я отлично помнил бабушку Феклу и засобирался уходить, чтобы не встретиться с ней.

— Куда вы собрались? — удивилась хозяйка, ставя на стол чайник и домашние бублики.— У нас варенье свое четырех сортов...

Федор Михайлович пододвинул ко мне стакан крепкого чая и снова принялся рассказывать о заводе или, вернее сказать, об отце и о себе. Отец кончал курсы за курсами уже на шестом десятке жизни, поражая народ своими способностями. Вместе с другими старик собирал заграничный стан «Штосбан» — пустили без иностранной технической помощи.

— Началась война, и началась моя рабочая жизнь. Шагнул в цех, замер на месте: шипят и свистят форсунки нагревательной печи, лязгают и грохочут узлы стана.— Федор Михайлович взялся руками за голову, крепко зажмурил глаза.— Бегут красные трубы... Царь небесный, куда я попал! А делать нечего: пришло время вступать в рабочее сословие. В войну завод освоил сто двадцать девять новых размеров труб. Это сказать легко. За помощь фронту завод наградили орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени...— Он обратился к жене: — Зови бабушку за стол.

— А она задремала. Позовем, не останется без чаю...

— Меня донимали бугры на трубах,— продолжал Федор Михайлович,— утолщенная стенка. Торопились, плохо выглаживали обжатую часть труб. Хоть лопни, а подай столько-то. Чем больше диаметр, тем чаще бывала разностенность их. Я места себе не находил из-за брака. Слиток нагрели неравномерно, а я на вальцовке всю вину беру на себя. Измотался весь. Фронтовые бригады, военная дисциплина. Отец другой раз возьмет, да и скажет: «Ты хоть бы посмеялся, Федька, тебе же семнадцать, а не семьдесят». Просился добровольцем на фронт, а начальник цеха: «Гони трубы и не рассуждай!» Самое главное — настройка стана, настроил — песни пой, а не удалась настройка — беда за беду цепляется. Двенадцать пар валков обжимают трубу — какой валок ерундит? Сменами, сутками настраивали станы. Мы с отцом до того довели эту самую настройку — бывали смены совсем без брака. А теперь что? Поставили шарикоподшипники — за час настроишься.

Жена Тягунова, милостивая, белесая, угощала третьим вареньем.

— А в мирное время без горячки, между делом, добрался до института и в будущем году предполагаю получить диплом инженера. Инженером останусь на прокатке у вальцов. Дело-то к чему идет? В рабочие руки передаются счетно-решающие устройства, промышленное телевидение,

разные приборы для автоматического контроля качества продукции.— Выслушав мое замечание о том, что в цеху много служащих и мало рабочих, воскликнул:— Еще меньше будет! Двое-трое на весь автоматический стан: следить за циклом процессов, которые систематически повторяются. Один человек на большой комплекс операций.

В комнату вошла девушка лет пятнадцати, с отцовской скуповатой улыбкой. Она не спеша поклонилась мне, и щеки ее заалели.

— Садись,— приветливо сказал отец, указывая на стул, и я понял, что в этой семье по старинному обычаю дети без разрешения родителей не смеют садиться за один стол с гостем.

Хозяйка, сходявшая на кухню, спросила Тягунова:

— Чо с гусем-то, Федор, будем делать?

— Да, а чо с ним делать-то? Жарить надо. А почему бабушку не зовешь?

За стеной раздалось шарканье — старуха медленно приближалась к нам, в дверях комнаты она постояла, держась за косяк. Согнутая, костлявая, нас как бы и не замечая, уселась на тяжелый стул и начала брать блюдце с чаем дрожащими, в морщинах и узлах пальцами. Правнучка пододвинула к ней блюдце и положила в него сахар.

Ничего не осталось за тридцать три года от бравой Феклы Онуфриевны, когда-то запрягавшейся в любой воз. Припала к блюдцу трясутимися губами, невнятно говоря правнучке:

— Спасибо, милушка, а печенье-то я сама помакаю... Ставили, ставили снопики в овин... Брагу варили для молотильщиков.

— Сама с собой толкует,— сказал Федор Михайлович.— Вчера вспоминала какие-то прокосы в зеленой пшенице и тупой серп.— Он грустно покачал головой и в самое ухо спросил бабуку:— А брагу из чего варили?

— Стужа,— ответила старуха, потянув чай из блюдца.— Стужа, говорю, крови мало. Двадцать четвертого сентября в день Феклы-заревницы свозили хлеб в гумно и в овин. Как не помнить... Ко дню Феклы и сусло у меня, и кулагу варила. Кулаги у меня хороши бывали — теперь бы помакала. Добро я ее упаривала на вольном духу, калачиком помакала бы, как мед...

Слушаю я ее, а перед глазами: Фекла в огороде, Фекла ток расчищает на гумне, Фекла снопы возит с поля, Фекла в избе и в ограде, занятая с утра до ночи...

Федор Михайлович не унимался:

— У нас рабочего не только по одежде, а часто и по образованию не отличишь от инженера. Но главное-то не в этом, главное в том, что народ стал на редкость дружным в цеху, в особенности заметно после двадцать второго съезда. Начали смену — полная поддержка друг другу. Не позволят отягощать одного. Допустим, на раскатном стане оправка не пошла в гильзу — сейчас же находятся помощники с прошивного стана. Жизнь этого требует. Если ты где-то замешкался, зевнул — у других простой от самой печи до калибровочного стана. Огнем связаны! В бригаде прокатчиков Дерябина все коммунисты, за неполный год дали шестьсот тонн труб сверх плана. И наша бригада — сверх плана...

Старуха, проглотив размоченное печенье, сказала:

— Золовка выходила замуж — пять возов приданого да воз посуды. А ныне голенькие выскакивают, и пристыдить некому.— Она обращалась к правнучке, смущенно опустившей глаза.— Ныне деревня-то на что похожа?

Федор Михайлович закричал ей в ухо:

— Ты вчера говорила: ожил народ!

— Да ожил-то ожил,— согласилась Фекла Онуфриевна — Шадрино-

городишко поправляться стал, а то эть вовсе не на чо не походил... В магазинах — товаров... Бабешки наряжаются, как купчихи...

Я повернулся к девушке; спросил, что надумала делать после окончания школы, и с удивлением услышал, что собирается она стать историком местного края. Пунцовая от смущения, добавила еще:

— Мало изучаем Урал... Его промышленность и сельскую жизнь...

— Кто же вас надоумил готовиться к такому интересному делу?

Вместо дочери ответил довольный отец:

— В исторической части пропаганда крепко поставлена! Старший-то братец у нас ударился в историю своих мест и племянницу завербовал. Потянуло мужика узнать, как заселялся край русскими. В Шадринском архиве во время отпуска раскопал бумагу старинную. Были тут ясашные татары и калмыцкие воинские люди. А русские понемногу сживали их с насиженных мест — где спюются и добром землю поделят, а где и драка...

— Папа, — вмешалась девушка, — прочитай письмо дяди о библиотеке.

Федор Михайлович принес на стол шкатулку с письмами.

Фекла Онуфриевна, закончившая чаепитие, говорила себе под нос:

— Шпиртом заливали спелые ягоды. Шадринская наливка — отымутся перво-наперво ноги...

Федор Михайлович вслух читал письмо брата. В 1859 году крестьянин Александр Никифорович Зырянов задумал основать школу и библиотеку в нашем селе (я и не знал об этом), а священник Поляков взялся бесплатно учить детей. Ворошинин дал бесплатно комнату под училище.

Что-то знакомое прозвучало в этой фамилии. Да у меня дружок-приятель был Гавриил Ворошинин! С ним-то как раз мы и ходили искать золото у Тягуновых. Позднее Гавриила послали работать на Кубань.

Федор Михайлович оторвался от письма и, словно угадывая мои мысли, сказал:

— А со мной на заводе землячок Ворошинин Сергей Гавриилович. Один из лучших вальцовщиков — теперь в новом цеху непрерывной прокатки труб.

— Как вы с ним живете? Дружно? Ссор не бывало? — Я как бы между прочим задал вопрос, но с нетерпением ждал ответа.

— А чего нам दिलить? — Федор Михайлович развел руками. — Когда-то что-то между отцами... и бабушки долго ругались... А ведь мы-то уже на заводе по двадцать лет с лишним, да еще в одном цеху, да сверстники.

— Не собирается ли брат книгу написать? — спросил я.

Федор Михайлович, кивнув на дочь, сказал:

— Толковал он об этом с племянницей. Думают. Поступил в какой-то заочный университет рабкоров. Заводская смена — семь часов, а в остальное время что человеку делать? Водку Тягуновы не пьют, в домино не режутся. Мне вот что удивительно: на Урале росли заводы, а деревня оставалась темным-темная. Урал гремел железом, и Урал был неграмотным. — Он покосился на мою записную книжку, а потом, посмотрев на дочь, шутливо сказал: — Свой растет историк. Разберутся с дядей.

Хозяйка зевнула, и я понял, что здесь, как и во всех рабочих семьях, рано ложатся спать. Фекла Онуфриевна вместе со мной поднялась от стола и положила свои столетние пальцы на руку правнучки, на золотые часы, подаренные девушке дядей-историком.

— Ишь куда оно тратится, — старуха, видно, говорила о золоте, — а мы, дураки, тряслись от жадности, в контры попали... Грехов-то сколько было... У Пылаевых золотишко ссыпали в ведро да в мутной

воде заморозили... А к нам уж в ограду нагрянули, идут дом зорить, а я заметалась по избе — золотишко в тряпице таскаю.

— Бабушка, шли бы вы спать.— Хозяйка потянула старуху за ко- стлявый локоть.

— Башковитая была, а ослепла с золотом.— Старухе оставалось еще шага два до выхода из комнаты.— Они через порог, а я бух его в печь, в чугунок с водой, а вода ключом кипит в чугуне, пламя на все село,— и то- ненько засмеялась в дверях,— ключом вода-то... В печь-то уж не полез- ли, печь огня полна...

Ай да старуха! Ай да Фекла Онуфриевна! И, стало быть, не напрасно держался слухок в народе — золотишко-то хранили Тягуновы. А Михай- ло Онисимович кричал перед всеми: «Золота нет! Я сам золото!» И трах- нул о пол корчагу с суслом...

— Сколько же у вас его было?— спросил я.

— Чего?— Старуха оглянулась с порога.— Олово завязали в тряпи- цу, дробь катали из олова — уток стрелять...— Мы засмеялись, а она про- должала:— Золотишко вскоре после революции в Шадрине на пшенич- ную муку променяли. Онисимович шутник известный: в то же место и в ту же тряпицу — олово, а я сдуру и сослепу спала...

Распросавшись с Тягуновыми, я медленно шел по широкой улице Первоуральска, думая о прошлой и настоящей жизни. Было начало деся- того, недавно закончился дождь, и по мокрому асфальту шумно возвра- щались молодые рабочие из школ, техникумов, с различных курсов, я ви- дел их лица, улыбки, когда встречался с ними в полосах яркого света из витрин магазинов.

## Большие узлы

В ограде Уралмаша прежде всего увидел я танк-памятник, водру- женный на пьедестал. От могучего танка тянулась улица почти одина- ковых корпусов, называемых здесь коробками.

На втором этаже, приоткрыв мягкую высокую дверь, я просунул свою лысую голову в обширный кабинет. Люди заседали за большим столом, который дальним концом примыкал к меньшему, а за меньшим сидел начальник. Это и был, вероятно, Миценгендлер, упомянутый в моем про- пуске в цех механической обработки крупных деталей. Я спросил, можно ли войти, и стучевался, потому что на меня все оглянулись, а очкастый Миценгендлер еще и разглядывал непрошеного гостя.

— В нашей четыре цеха, шесть гектаров,— сказал мне у входа в корпус рослый молодой человек со светлыми глазами.— А всего на заводе коробок двадцать пять — вот вам и Уралмаш! — Он так госте- приимно улыбнулся, что шевельнулись его заметные русые брови.— Да плюс электростанция, гараж, депо, по заводу поезда ходят...— И повел меня по железной лестнице к начальнику.

Надо бы сказать «писатель», а не «газетный работник» — слишком буднично прозвучало, и люди сразу потеряли ко мне интерес. Я уселся за длинный стол, раскрыл тетрадь, приготовился записывать.

Миценгендлер, не обращая ни к кому в особенности, сказал:

— Восемьсот тридцать четыре пятьсот тридцать один.

Я на всякий случай записал эти цифры, с удивлением заметив, что все молча склонились над толстыми листами и красным карандашом заштриховали по квадратику. Квадратик заштриховал и Миценгендлер. Потом обратился к моему соседу с ветвистыми морщинками на бритой шее и с большими впадинами под ушами:

— Федор Ильич, твое слово?

Федор Ильич, не отрывая взгляда от красных квадратов, ответил:

— Он на девяносто втором участке.

Миценгендлер повернулся к другому:

— Тридцать семь сорок восемь? Константин Георгиевич?

— Стоит на обкатке,— ответил Константин Георгиевич и принялся старательно рисовать новый красный квадрат, чему последовали и все остальные.

— А пятьдесят сорок четыре? — спросил Миценгендлер, тоже занятый закраской квадрата.

— Пятьдесят сорок четыре пришел на сборку, Иосиф Соломонович, еще горячий...

Сказано это было так, что я не сразу понял, кто горячий — пятьдесят сорок четыре или начальник цеха Иосиф Соломонович. Я бы, пожалуй, рассмеялся, но все были чересчур серьезны. Иосиф Соломонович спросил о какой-то станине, и квадраты никто не стал закрашивать, спросил о барабанах — не закрасили.

— Ну, а как Геннадий Павлович?

— Завтра отдадим крышки и корпуса.

— А восемнадцать восемнадцать? — Миценгендлер терял спокойствие.— Я спрашиваю, где втулка?

— Офиналена. Уехала.

Я пошептался с пожилым соседом и понял, что перед каждым лежит карта движения деталей по пролетам, законченная операция в цеху отмечается красными квадратами на этих картах, похожих на шахматные доски. Я также узнал, что собрались здесь начальники пролетов. Миценгендлер спросил их о какой-то шестерне, ему сказали, что вчера она была там-то и там-то, ночью стояла на таком-то участке, а утром продвинута туда-то. Миценгендлер был явно недоволен.

Я шепнул соседу:

— Столько разговоров о какой-то шестеренке...

И он шепотом ответил:

— Шестереночка — на тройке с бричкой можно заехать и развернуться.

Вот как! А затем говорили о втулке высотой в два человеческих роста: цех ведь готовит оборудование для гигантских электростанций, прокатных станов, шагающих экскаваторов.

Иосиф Соломонович назвал еще несколько цифр и, не дожидаясь ответа, нервно задергал плечом.

— Ну, что ты говоришь? — высоким голосом сказал он начальнику пролета, скороговоркой пустившемуся в оправдания.— Ну, спасибо тебе, открыл Америку. Бросай весь народ туда, и чтобы не уходить, пока не будет закончена операция...

И снова назывались цифры, каждый закрашивал в своей бумаге клетку, обозначающую, к примеру, изготовленный цилиндр, станину, какую-то подушку. Из-за подушки заспорили, а я, не понимая сути спора, принялся разглядывать комнату: окно громадное, два знамени в углу и летняя шляпа на вешалке рядом с шубой. Из окна заглянули в кабинет теплые бронзово-пыльные лучи, и в них засверкали знамена, шляпа, лысины, чернильные приборы...

Приглядываюсь к людям. Большинство — немолодые, с уральским говорком: короткое, тяжелое слово, глагол почти всегда усеченный («вместо дела гулям», «напрасно не засекам время»). За час не пошутили, не рассмеялись по-настоящему, правда, повышали голоса, спорили из-за вала ротора паровой турбины, особенно когда зашла речь об установке его в барабане станка глубокого сверления, о припусках и допусках при чистовом растачивании. Сосед мой сказал Миценгендлеру:

— Не попевам, Иосиф Соломонович, никак не попевам.

— Надо поспевать,— ответил тот,— не первый день, слава богу...

Миценгендлер — большие очки и большой нос, лет пятьдесят ему, лицо худое, да и весь он невидный. На стуле сидел спокойно, спокойно поднимал и телефонную трубку.

После оперативки мы на короткое время остались вдвоем, и я торопливо начал, по-газетному, задавать свои обычные вопросы. В институт поступил он в двадцать восьмом, в двадцать девятом с дневного отделения перешел на вечернее — с утра работал на стройке Уралмашзавода. Этот человек тридцать три года на одном заводе! Рабочий, бригадир, сменный мастер, начальник пролета, цеха.

— А война застала вас на каком участке?— спросил я.

— Война...— Маленький, подвижный, он прошелся по кабинету.— Война — с Урала эшелоны танков и самоходных орудий.— Переложил на столе бумаги, бережно подравняв их края, и быстро глянул на меня.— Тут дело такое: последние три месяца сорок первого я сидел в тюрьме...

Ему позвонили, и он долго разговаривал с кем-то о высокой точности выверки больших деталей в горизонтальной плоскости, не раз напомнив, что контрольная линейка под действием собственного веса получает значительный прогиб и не годится при больших расстояниях между точками.

— На чем же я остановился?— Он положил трубку.— Из пятидесяти свидетелей сорок девять высказались в мою защиту. С которыми много ругался у станков, когда начали танки готовить, те как раз первыми и пришли выручать.

— И куда же вас потом?

— Как куда?— слегка удивился он.— На старое место. В начальники цеха.

— Но за что же все-таки?

— Видите ли... Война началась внезапно, и нам трудно было перестраиваться... завод наш для изготовления отдельных сложных машин, даже принципиально новых, и вдруг — давай боевое оружие, толстую броню. Начались не только горячие, но, можно сказать, раскаленные денечки. Поспорил я с одним высоким начальником из-за станка...

Зазвенел телефон. Миценгендлер, выслушав кого-то, сказал:

— Пятьсот девяносто четвертый надо тащить на лопатку. Жалоб не принимаю.— И повысил голос: — А где болты? У тебя должны быть!

По телефону он дружески говорил с начальниками других цехов о пятьсот девяносто четвертом, упомянул вал ротора с искривленной осью. Вероятно, кто-то сказал ему грубость, потому что вдруг он потемнел лицом, а потом зарделись его скулы, но вежливый тон остался. Он останавливался на полуслове и, наверное, с полуслова понимал своих собеседников. Вал ротора часто упоминался в разговоре, и мне захотелось поскорее увидеть эту важную часть турбины.

Девушка-секретарь подала Миценгендлеру бумаги, а он спросил ее, какое место по заводу заняли шахматисты цеха.

— Первое, Иосиф Соломонович.

Для меня он добавил:

— У нас два кандидата в мастера: электрик Шмагин и расточник Винокур. И по штанге первое, по плаванию опередили все цеха.

Семен Лаврентьевич Звягин, секретарь партийной организации, ведет меня к станкам.

Цех громаден, с высоченным потолком, обширным, как небо; под ним разгуливают краны, они набегают с легким стуком, напоминающим приближение пседа, зацепляют своим крюком с пола какую-нибудь

раму или вал, похожий на гигантскую сигару весом в пять—семь тысяч пудов, и либо следуют дальше, либо откатываются назад. Если бы в старину столько железа повезли с уральского завода — потребовалось бы двести пятьдесят, а то и триста подвод, обоз растянулся бы версты на три. А тут одна крановщица разъезжает под потолком, покручивая баранку, как шофер. Конечно, крановщице зевать нельзя, с нее многое спрашивают.

Едва поспеваю за Семеном Лаврентьевичем, хотя и он немолод: в войну был комиссаром части на Волге, в самых жарких боях, тогда же, после ранений, выехал на Урал и с тех пор вот лет, поди, двадцать с увлечением занимается партийной работой. Высок, статен, помолодецки взбегает на лестницы, легко скользит по железным ступенькам, не переставая указывать на разные диковинные станки.

— Красавец! А? Карусель. Круглехонек. Диаметр планшайбы шесть тысяч миллиметров! А?

Планшайба? Планшайба — это кулачковый патрон. А что такое кулачковый патрон? Приспособление для зажима изделия, обрабатываемого на станке. Семен Лаврентьевич расписывает и расписывает, увлекаясь еще и воспоминаниями. Когда-то такие станки на Уралмаше были только иностранного происхождения, а теперь и свои стали в цех рядом с немецкими, да и немецкие руками наших умельцев так обновлены, столько замен произведено в них в соответствии с требованиями сегодняшней техники, что станки эти можно считать обрусевшими.

— Русские немцы,— сказал Звягин.— А тот вон красавец в Новосибирске сделан, а левее — из Коломны.

Мне поскорее хочется увидеть вал ротора, о котором я слышал от Миценгендлера, да и вообще-то всю жизнь я читаю в газетах об этих роторах и генераторах, не имея о них настоящего представления.

Мы пришли к стальному бревну. Да, да, такие бывают еловые бревна — ровное, гладкое, длиной метров восемнадцать — двадцать. Конечно, какая бы ни выросла ель или сосна длиной метров в двадцать, в комле она всегда будет заметно толще, чем в вершинном отрезе, а здесь передо мной лежало блестящее стальное бревно строго одинаковой толщины с обоих концов. Ротор! Вращающаяся часть турбины с насаженными на нее дисками. И чудо было не в том, что этот знаменитый ротор отливают на свердловском заводе и крепят для обдирки на токарном станке с расстоянием двадцать два метра между центрами, и не в том даже, что на станке крепится деталь весом до ста восьмидесяти тонн, а чудо было в том, что точнехонько в середине этого длиннющего вала из крепчайшей стали просверливали сквозное отверстие с конца до конца, как в стволе винтовки.

Семен Лаврентьевич, присаживаясь на стальное бревно, сказал:

— Недавно месяц требовался, а теперь за семь часов просверливают сквозь весь вал эту знаменитую дыру. Раньше только вал вращался, когда сверлили, а теперь вращается и штанга с режущим инструментом. Вал вправо, к примеру, а сверло влево. Сразу две работы. Наши придумали.

К Семену Лаврентьевичу подсел тот молодой человек, с которым я встретился у входа в корпус. Не надеясь на память, я немедленно достал свою походную тетрадку, чтобы закрепить в ней знакомство с русобровым товарищем. Николаю Старцеву двадцать шесть лет, родился, как и многие уралмашевцы, на вятской земле и с малых лет, подобно сородичам, затосковал об отхожих промыслах.

— Да вот, понимаете, десять-то классов окончил, а осенью сунулся в институт и завалил экзамен по математике...— сказал он.— Ну этъ я летом-то уезжал домой к матери — баню поставил, амбарушку перека-



тал... Надо бы жать на математику, а меня потянуло домой... Биография? А какая может быть у меня особенная биография? В войну мальцом без отца остался, в пятьдесят третьем окончил ремесленное, в пятьдесят пятом из этого цеха ушел в армию. Старший сержант. Вернулся — ставят подручным, уходил основным, а вернулся — свободного станка нет. Начал подменять основных на разных станках — практика богатая. Часто пришлось обрабатывать валы блюмингов для прокатных станков и роторы турбин. — Николай постучал пальцем по стальному бревну.

Семен Лаврентьевич с отеческой нежностью взглянул на Николая, сказал:

— Башковитый. Перед любым делом голову не повесит. Недавно выбрали секретарем комсомольской организации.

Николай, смущенный похвалами, начал все-таки после моей просьбы рассказывать о секретарской работе, но скоро сбился на технику, припомнив несколько своих предложений, уже примененных на станках, увлекся рассуждениями о механической обработке крупных деталей и признался под конец, что сучает по станку.

— Я жил весело и спал крепко, а выбрали — сна и веселья лишился и заработок на одну треть потерял. Комсомольская организация большая, цех коммунистический — солнце всем угодить не может, а что уж говорить про секретаря...

Семен Лаврентьевич с нескрываемой обидой спросил:

— А как же я-то всю жизнь?

— Вы — дело другое, вечный партийный работник, а мне покоя не дает жилка... К токарным станкам дал предложение: быстрее снимать и ставить люнеты. Сразу принято. Внедрили.

— Люнет, — сказал я, — красивое слово. Что же оно обозначает?

Речь шла о приспособлении, применяемом на различных станках при обработке резанием валов и других длинных деталей, о создании препятствий изгибам и колебаниям обрабатываемых деталей. Недавно принято еще одно важное предложение Николая Старцева: облегченная переноска управления станков.

— Вот я и говорю, — продолжал он, — заработок на одну треть потерял, а дел в три раза больше... За все спрашивают. По-моему, комсомольский секретарь в таком цехе, как наш, на двести пятьдесят молодых с высшим и средним — тоже специальность и плюс общественная жилка, а у меня техническая...

Семен Лаврентьевич, недовольный рассуждениями Старцева, заметил:

— Жилка у тебя для комсомольского дела найдется! Выбрали — не брыкайся. Доверили! Гордись этим. Да ты среди комсомолии лучше других сможешь внедрять передовые методы труда, поскольку сам передовик. Вот и жилка!.. А танцы и всякую самодеятельность поручай другим членам комитета, да не забудь контроль и проверку.

Семен Лаврентьевич, вспоминая свой опыт, начал давать Николаю практические советы; я же, не прислушиваясь к их рассуждениям, следил за гигантскими рамами и станинами: подхваченные кранами, они плавали над пролетами, как железные тучи. Башнями возвышались многие станки. Вот с пузатого вала снимается стружка, толстая, словно щепа из-под топора, а молодой токарь в шапочке, похожей на чулок, не только не приглядывается к съему стружки, но и вообще-то смотрит в сторону, постукивая ногой в такт, вероятно, каким-то мелодиям, не дававшим ему покоя. Семен Лаврентьевич, мельком глянув на парня, сказал мне полушутя, что многие рабочие теперь у станков сидят, как сто рожа высокой квалификации.

— Настроился — закинь ногу на ногу и почитывай приключенческий роман, в особенности ночью, когда в полете начальства нет. Лафа.

Николай, улыбнувшись, не согласился и с шуткой:

— На грубой, на топорной обдирке — может быть, да и то едва ли... Но если взялся за чистовую обработку — сторожем присутствовать не придется.

Мы втроем прошли по одному пролету, длинному, словно городская улица, и свернули во второй, встретили там Василия Макаровича Копайгоренко — технолога цеха и заместителя председателя совета новаторов завода. Семен Лаврентьевич уже рассказывал мне об этом беспокойном человеке, занятом исследованием режущих инструментов.

Он и в конторе и в цеху выделяется среди русских, светлолицых уральцев не только по-южному смуглым лицом, карими глазами, но и мягким говорком; был он в молодости, безусловно, красавцем.

— Только на половине операций у нас применяются резцы твердых сплавов, — сказал Василий Макарович, — на строгальных станках они почти и не пробованы. Строгальщики незнакомы с твердосплавным инструментом. Вот где резервы. — Василий Макарович поднялся на стальную площадку станка и глянул наискосок сверху вниз, как будто мы были виноваты в том, что в цеху мало твердых резцов.

Резцы, сверла, фрезы — этим он занимается всю жизнь, часами не отходит от станков, остается в конторе не только в зимние, но и в летние вечера, когда ему полагалось бы отдыхать в садике около своего домика. Он приходит утром в контору цеха и что-то шепчет себе, спешит записать какую-то находку. Вокруг него люди делятся новостями, вспоминают виденную вчера кинокартину, чью-то свадьбу, интересную книжку, а Василий Макарович давно уже обложил себя чертежами. Ему говорят: в такой-то комнате тихо, шел бы он туда. И Василий Макарович уходит с развернутыми чертежами, словно со знаменами; в другой комнате он усаживается в уголок и снова шепчет и шепчет над чертежами, словно колдун. К нему приходят рабочие, любовно называющие его «Копаем», один показывает Копая сверлильную головку с изъяном, другой предлагает что-то изменить в расточной головке для переходных отверстий и говорит о каких-то осях стоек и осях барабана, между которыми какое-то отклонение должно допускаться не более трех сотых миллиметра. Да ведь это же почти микроскопические расстояния! «Василий Макарович, сходим к станку». Они отправляются в цех, чтобы последить за работой резца для проточки канавки при отрезке вала по наружному диаметру. Резец — основной инструмент цеха механической обработки, и вот уже скоро исполнится тридцать лет с тех пор, как Василий Макарович занимается резцами на Уральском заводе тяжелого машиностроения.

Кто-то из начальства сказал, что Копайгоренко всем хорош, только не умеет отличать маленькое от большого, способен месяцами возиться с мелочью.

— С мелочью? — удивился Василий Макарович. — Клиновой вкладыш в любой карман можно положить, а ведь это и есть, собственно, резец. Во всех смыслах нет мелочи, — убежденно продолжал Василий Макарович. — У нас точности, измеряемые в сотых долях миллиметра, решают дела принципиальной важности. Вот вам обдирка вала, — Копайгоренко остановился у станка, спросив Николая Старцева, сколько металла с этой детали уйдет в стружку.

— Сколько? — Старцев задумался, мысленно что-то подсчитывая. — Я думаю, процентов сорок...

— Да что ты говоришь? — Семен Лаврентьевич недоверчиво покосился на Старцева, а Копайгоренко торопливо ответил:

— Он не соврал. И вот уже тридцать лет мы говорим об этом. Засаедем. Новаторы собираются. Станок еще немцы поставили, и первое

время сами тут работали в халатах и перчатках. Если со стороны помотришь, они, между прочим, не торопятся, лентяи вроде, а — будьте уверены. Поучиться есть чему. Станок окончательно обрусел, производительность его удвоилась, но в стружку гоним столько же...

Станочник Юрий Верховцев, недавно заменивший здесь Старцева, рассказывая о себе, признался:

— Я тоже завалил экзамен по математике в политехнический. Беда на пороге стояла, да приятели ударили во все колокола: беги скорее в лесотехнический! Там выдержал... Факультет механики...

И подручный Верховцева — студент, да еще известный спортсмен по заводу. Он сказал:

— Трудновато нашему брату после смены учиться. А что делать? Никто не хочет оставаться неучем.

Когда отошли от Верховцева, Семен Лаврентьевич сказал мне:

— У каждого станка — студенты, а то и техники или инженеры без пяти минут. Они-то уж придумают, как не гнать в стружку сорок процентов. Честное слово, на старости хоть поступай в академию.— И тронул Николая локтем.— Вот какая у тебя комсомолия, а ты было нос повесил...

Николай остановился.

— Вы поняли, в чем дело-то? — спросил он всех нас.— Они выдержали в институты, а я не только не выдержал, но и не имею свободного времени готовиться к экзаменам.

— Не стони! Только не стони! — Семен Лаврентьевич взял Николая под руку.— Не плачь неутешной вдовой, а то и у меня начинает в горле першить...

Начался обеденный перерыв. Заядлые шахматисты потянулись в красный уголок.

Около шахмат я насчитал человек тридцать, шашками увлекались четверо. Я спросил было, почему же не играют в домино, и получил ответ:

— Домино — пройденный этап.

В красном уголке встретил художника цеха Анатолия Михайловича Черемных.

Двадцать лет художник цеха; в ведомостях числится маляром; занятие — наглядная агитация, маркировка продукции. Двадцать лет стремится на вечернее отделение художественного училища, а его до сих пор не открывают в Свердловске.

— А изостудия при Дворце культуры? — спросил я.

— Там я был... Можно бы на дневное поступить,— вяло говорил Черемных,— а по вечерам в цеху работать. Сам виноват, если строго судить. А с другой стороны, кто-то должен заниматься наглядной агитацией, бороться с пережитками... Водки стали меньше пить, цех коммунистического труда, ругаются меньше. Наша работа — дело великое. И неизвестно еще, что полезнее и нужнее для человечества и потомства в веках — моя ли агитация или такая, к примеру, большущая и знаменитая картина в Свердловской галерее, как «Творческое содружество»...

Я помнил эту картину и с интересом выслушал справедливое мнение о ней. Там изображен конструктор, весь в белой легкой одежде, со звездой Героя. Он, словно ангел с неба, спустился в цех со сладчайшим лицом праведника; и собрались к нему рабочие для творческого содружества: один шестеренки держит на каком-то подносе, как святые дары, другой умильно в глаза заглядывает изящному конструктору, третий так доволен всем происходящим, что лицо его залито благодатью, и счастливейший мальчишка еще в ногах у всех с приподнятым зубчатым колесом...

Быстро вошел Николай Старцев и сказал художнику, что для боевого листка надо бы нарисовать того-то и того-то.

Черемных продолжал мне рассказывать:

— ...и помазано все янтарным светом, похожим на жидкий мед. А у меня рука не поднимается в боевой листок передовика дать с медом.

Николай, садясь за свой столик, вмешался в наш разговор:

— С медом не надо. И совсем будничных тоже... Ребята не будничные.

Видно, не хотелось ему комсомольскую работу делать будничной, обыкновенной.

— Человек не деталь,— сказал он,— а в нашем цеху и деталь запороть нельзя — сотни тысяч рублей убытка. Как с людьми без навыка? Он вчера в армию, а супруга сегодня — в кино с другим. Все трое комсомольцы. Я сказал ей слово резкое, обиделась... Да и в самом-то деле, что я — свекор, что ли?

В заводской гостинице, почти сплошь заселенной инженерами, приезжающими с разных концов страны, мне стремились рассказать что-нибудь интересное, найти в журналисте союзника.

Тучноватый инженер в пижаме и в домашних туфлях, досыта наговорившись со своим новосибирском заводе, вернулся к цеху больших узлов, с которого и начали мы беседу.

— Миценгендлер — это поворотные столы,— сказал он.

— Столы? — удивился я, вообразив обыкновенные столы.

— Как? Вы не знали об этом? Ходили весь день по цеху, знакомились с Миценгендлером... Как же это вам не рассказали? Громаднейшую станину одновременно разными станками с разных сторон обрабатывают. Раньше ее краном таскали над пролетом километра три от станка к станку, а теперь она, милая, с места не трогается, а станки с разных сторон обдирают ее, охорашивают. За пять—семь дней изготовят, а в прежние времена два месяца на такое дельце. Поворотные столы на осях знали, вероятно, еще в глубокой древности. Теперь и в Новосибирске у нас появились столы, но гораздо меньшей грузоподъемности, и в Америке они есть, но тоже, говорят, меньшей подъемности. А Миценгендлер — незаурядный рационализатор. Тут дело не только в столах. Раньше, я повторяю, громадину краном от станка к станку, от площадки к площадке, и всюду, как полагается,— установка, выверка, крепление, а потом уж работа. Двадцать четыре операции!

Полный сосед мой пыхтел, посвистывая носом, и мне даже на мгновение показалось, что эти двадцать четыре операции и утомили его...

— Что же сделал Иосиф Соломонович? Я думаю, помогали инженеры цеха Копайгоренко и Бакулин. Устроили в цеху забетонированный плитный настил, поставили строго по-уровню. На плитном настиле — три стенда, на каждом стенде — определенный комплекс операций. Есть паспорт точности стенда. Сам стенд без дополнительной выверки и регулировки обеспечивает правильное положение громадной детали относительно металлорежущих станков. Да неужели вам это не показали?

Как я ни старался припомнить все виденное, но большой станины, обрабатываемой со всех сторон, не возникало в моей памяти.

Утром я пораньше отправился в цех, чтобы застать в нем депутата Верховного Совета зубореза Александра Ивановича Храмцова, увидеть столы Миценгендлера, да и встретиться с самым началом заводского дня.

Сколько же здесь рабочих! С полчаса народ беспрерывно шел через ряд проходных дверей; большинство — молодые мужчины: быстрые деловые шаги; потише, степеннее приближались к проходным пожилые уралмашевцы, проработавшие здесь лет по двадцать, по двадцать пять,

но и они, конечно, тоже показывали пропуска охранникам, одетым в черные шинели. Пестрели платки, шляпы, шапочки, кепки. От проходных в заводской ограде народ черными цепочками расплетался по улицам и переулочкам, и я в такой же цепочке нырнул в цех крупных деталей.

Знакомый начальник пролета пожилой Федор Ильич перво-наперво повел меня к депутату Храмцову — через полчаса тот должен был уйти домой.

Храмцов с подручным Геннадием Веденевым и сменщики их готовят зубчатые колеса для больших машин. Резцы посвистывали, скрежетали чуть, обдирая зубцы, грубо сработанные в литейном цехе; нарезались зубцы не перпендикулярно, а косо по отношению к оси самого колеса. Мне вспомнились колесики часов, заводных игрушек, а затем и настоящей мельницы из детства — с шумом и треском работали на ней деревянные колеса с большими зубцами.

— Было в старину и такое дело, — согласился со мной Храмцов, очень приветливый, постоянно улыбающийся, — и для больших фабрик зубчатые колеса делались из крепкого дерева, плавно, мягко передавалось движение от колеса к шестерне.

За две минуты депутат Верховного Совета привычно сказал мне все, чем интересуются газетчики, с которыми он давненько уже встречался и отлично запомнил все их вопросы. Он считал беседу законченной и вместе с подручным готовился сдавать смену. Я не уходил, но и вопросов не мог придумать.

— Ну, что вам еще добавить? — Александр Иванович улыбался. — Этот станок фирмы «Сайкс», единственный на заводе и второй, говорят, во всей стране, давно мне доверен... Лет, пожалуй, пятнадцать с хвостиком. Зубчатое колесо до шести метров в диаметре мы принимаем сюда. Вон какая махина. Я минут через двадцать буду в парткоме — заходите туда.

Согласившись встретиться в парткоме, я пошел искать знаменитые поворотные столы. В одном из пролетов я случайно увидел Миценгендлера. Он шагал быстро, сверкая громадными очками. Мы поздоровались, и я заспешил, чтобы не отстать от Иосифа Соломоновича, не сбавлявшего шаг. Он ворчал что-то себе под нос и сердился, когда его задерживали из-за пустяков. Одного отослал к начальнику пролета, с другим в чем-то согласился, пообещав разобраться в запутанной оплате труда, третьему дал совет и, кивнув на карусельный, повернулся ко мне:

— Тут однажды у нас разместился симфонический оркестр — на карусельном, как на сцене...

Я попросил показать поворотные столы.

Миценгендлер легко поднялся на возвышение, назвав его вторым стендом. Перед нами находилась половина станины, ее одновременно обрабатывали четыре станка с разных сторон. Видел я вчера и этот стенд и два остальных, видел весь замкнутый, как теперь мне понятно, высокопроизводительный участок, но, конечно, ничего не понял, раму станины принял за часть цехового скелета.

— Все это хорошо при том условии, если мы постоянно будем готовить прокатные станы, если нам не придется перестраивать стендовые установки, — сказал Миценгендлер. — Изготовить прокатный стан — значит оборудовать большой цех, десятки действующих агрегатов. Пока что мы этим занимаемся непрерывно. Я был еще молодым, когда готовили первый прокатный стан. Заказ для Верх-Исетского. Нахлопотались... А потом настроилось дело.

Он направился коротким путем к своему кабинету, но молодой человек в берете, сдвинутом на ухо, остановил его, с раздражением показывая режущий вкладыш.

Не один год прошел с того времени, как уралмашевский инженер Серебровский научил вместо цельных резцов пользоваться составными — сменные режущие вкладыши закрепляются на постоянную державку. Затупился вкладыш — замени его другим, а не носи на заточку пудовые резцы.

— Взять другой вкладыш — и делу конец, — сухо сказал начальник, бегло глянув на круглое лицо юноши. — К мастеру, к инструментальщику... — А мне уже после добавил: — За его спиной в десяти шагах — Старцев Николай. А Старцев — это один из лучших знатоков вкладышей.

Он спешил в свой кабинет на утреннюю встречу с начальниками пролетов, а мне предстояло побеседовать в парткоме с зуборезом Храмцовым.

В парткоме тоже длинный стол, примыкающий к короткому, за которым сидел Семен Лаврентьевич Звягин, принимавший членские взносы от коммунистов. В окно празднично глядело солнце, озарявшее лица рабочих, утомленных ночной сменой. Одни, заплатив членские взносы, сразу же уходили, а другие задерживались и маленькими группами, не торопясь расставаться, говорили о работе, о постройке дома, и чувствовалось, что рабочим приятно встречаться в парткоме.

Александр Иванович Храмцов, пришедший вскоре, негромко начал рассказывать мне о своей депутатской работе, но так зевнул с хрустом в челюстях, что и меня потянуло ко сну. Мы уговорились о встрече в три часа дня.

— В домашней обстановке, когда отосплюсь, — сказал Храмцов, — а то глаза слипаются. Честное слово...

Зазвонил телефон.

— Какие меры принять? — удивленно спросил Звягин кого-то по телефону. — Плохо? А я тут при чем? По нашему настоянию им дали полную квартиру. Не он, а она. В доме-то грязюка! Ну? Ну и что? — Семен Лаврентьевич поморщился. — Ты вот что, дочка, ты не груби, таким тоном учительницы не должны разговаривать. Мы этой семьей занимаемся около десяти лет. Да чего ты ее хвалишь? Я-то во всяком разе знаю их семью. Он прехал в отпуск, оставил деньги на два пальто детям, а она — два платья себе. Вместе живут, а она долго алименты с него получала на свои прихоти. Я перед самым праздником был — одежда грязная на детях. А ты была? Не была? А ты бы сходила, да и поинтересовалась, почему ребенок не успевает. — Слушая учительницу, Семен Лаврентьевич поглядывал на меня и на коммунистов, стоявших около него с раскрытыми партбилетами и деньгами наготове. — Про хозяйна ты не говори, дочка, хозяйна мы знаем лет пятнадцать, а ее еле-еле на место посадили. Она-то вот как раз беззаботная, растолстела, понимаешь... А что касается детей, то я во всяком разе не репетитор, поговорить поговорим, но не беру я на себя ответственность за успеваемость их детей — это уж по вашей части. Звони попозже.

Он принял от коммуниста взносы и заявление, в котором его удивили первые слова.

— Что это значит «довожу до сведения»? — раздраженно обратился он к подавшему заявление. — С кем ты таким тоном разговариваешь? С партией? Обращаешься к партийному комитету с просьбой, а заявление как начинается? Доводишь до сведения, что намерен сделать то-то и то-то? — И легонько откинул бумагу. — Переписывай.

Часом позже, когда мы с Семеном Лаврентьевичем были вдвоем, вошла невысокая женщина в черном пальто, с лицом очень белым от слоя пудры. Она уселась за длинный стол, по-хозяйски облокотившись на сукно, и спросила, кому и зачем понадобилась.

— Школьница твоя тройки получает, и за поведение не хвалят, и словечки всякие поганые у ребенка...

Набеленное лицо женщины болезненно перекошилось, подбритые брови взъерошились колючими иголками, глаза потемнели. Обеими руками отмахнувшись от Семена Лаврентьевича, она хотела что-то сказать, но тот перебил ее, посоветовав не каждый вечер «прикладываться» к бутылке.

— На свои, Семен Лаврентьевич, не на ваши.

Семен Лаврентьевич вскипел и неумело начал изображать пальцами порхание бабочки.

— Муж не пьет, а ты...

— А что муж? Вольному воля... Он коммунист, ему пить не положено.

— А о детях будешь ты в конце концов заботиться? Заведется в твоей семье порядок или ты намерена остаться,— он снова изобразил пальцами порхание,— беззаботною пташкой?

— Не ты же заботишься о моих детях!

— Еще этого не доставало! Еще бы я заботился о твоих детях. Меня хочешь одуричь? Не выйдет, матушка! И как только тебе не стыдно! Они уже подросли, видят и понимают поведение твое... Отец — уважаемый человек в цеху, а мать...

— А что мать? Мать не работает? Мать ворует? — Она уже спокойно сидела за парткомовским столом, накручивая на палец прядь волос.

— Смешная же ты баба, честное слово! Работать и не воровать — это еще не все. Пойми ты, муж-то у тебя в цехе коммунистического труда, а дети в школе в затрапезном виде, да и сама ты, как нездоровая тыква...

— Чем же это я на тыкву похожа? — Она перестала накручивать на пальцы прядь волос, глаза сверкнули.

Семен Лаврентьевич, предчувствуя грозу, быстро перестроился на шуточный тон, пошел в отступление, да только это было уже запоздалое отступление — разгневанная гражданочка с перекошенным лицом не стеснялась в выражениях. И Семен Лаврентьевич не стал с ней церемониться. Я, как говорится, под шум волны скорехонько выбрался из комнаты.

В цеху давно уже разные станки по-разному снимали с деталей тонкую и толстую стружку, просверливали отверстия, долбили сталь, по-свистывали; в вагонах выезжали из цеха готовые валы, втулки, шестерни, лопасти. Шли группой экскурсанты; неутомимый фотограф прилаживался заснять знаменитого токаря...

Я походил по другим громадным цехам, нагляделся на раскаленный металл, нагревательные печи, прессы и молоты высотой с трехэтажный дом и выбрался из ограды завода, чтобы насладиться тишиной.

На улице встретили меня белые, сверкающие под солнцем полотнища, натянутые в рамках и укрепленные на шестах; из них я узнал, что в заводской библиотеке пятьдесят пять тысяч книг и много читателей, что у завода имеется свой университет культуры и здоровья, двадцать три кружка художественной самодеятельности, ансамбли песни и пляски и многое другое, чем не грех похвастать.

Полотнища, диаграммы настолько увлекательными оказались, что я и не заметил, как сбился с пути в заводской клуб и пришел к отделу кадров завода. Я даже обрадовался неожиданной встрече с отделом кадров Уралмаша. В конце двадцатых годов мы, бывало, толпились по утрам у биржи, к любой работе бежали наперегонки.

Коридоры и комнаты, как в солидном учреждении. Приемная для людей с высшим образованием. Вот как нынче! Две девушки с лакированными сумочками сидели перед обитыми дверьми. Для людей без

высшего образования комната для ожидания побольше; желающих поступить на работу было в ней человек двадцать.

Принимала Анна Васильевна — лет тридцати пяти, светловолосая, румяная, в белой блузке, с золотыми часами на руке; за ее же столом и за соседним сидели пять или шесть представителей тех цехов, которые особенно нуждаются в людях; перед каждым из них — список: по каким профессиям и сколько нужно рабочих.

Вот девушка с восьмиклассным образованием; лицо наполовину спрятано в дорогой серебристый воротник, губы подкрашены.

— В подсобные не пойду — только на станок ученицей. — И неторопливо отдает документы в руки Анны Васильевны, вроде и не очень довольная тем, что поступает на знаменитый завод.

Молодому человеку, откуда-то приехавшему в Свердловск, предложили торф выгружать из вагонов у электростанции. Анна Васильевна торопливо предостерегла: вагоны выгружаются сами, надо только около них дежурить с лопатой. Заработок не меньше ста двадцати рублей — с гарантией, общежитие со всеми удобствами. Молодой человек посматривал на нас, а мы — на него. Сто двадцать в месяц! Не каждый учитель или врач столько получает. И лопатой лишь подбирать груз, неточно опрокинутый из вагонов. Что говорить. Да разве за такие деньги в молодости выгружал я, как и сверстники мои, бревна и доски из барж, носил на спине тяжелые ящики с чаем, с мылом, со спичками, жил в землянке рядом с громадной стройкой, месяцами питался похлебкой из просяной сечки; белье с меня, как и с других, из предбанника уносили «прожаривать» в дезинфекционной камере...

— Лопатой? — спросил молодой человек. И подумал. — А значит, на станок не выходит? — Взял со стола паспорт с бумажками, вложенными в него, и вразвалку пошел от нас.

Представитель электростанции, кивнув ему вслед, сказал:

— Из выжидающих. Тогда возьмется за дело, когда механизуем абсолютно все производственные процессы. Не замочит и не запачкает рук.

Крепыш с загорелым лицом решительно, вплотную подошел к столу Анны Васильевны и подал ей документы, мельком глянув на нас.

— Ну что же... все в порядке... — тянула Анна Васильевна, листая его трудовую книжку. — Благодарности, премии, характеристика. Словом, тракторист неплохой. А почему же все-таки с целины уехали?

— Надоело. — Он легонько ударил рукой о край стола. — Степь кругом. Житель городской и зря залетел в степь.

— А в грузчики пойдете на первых порах?

— Согласен. Да вы не объясняйте — я все узнал заранее.

Небритый гражданин лет сорока долго доставал бумажки из разных карманов, повторяя, что не приезжий он, а сызмала живет в Свердловске и давненько уже на Уралмаше.

Анна Васильевна позвонила в какой-то цех, и я, сидевший близко к ней, услышал ответ из телефонной трубки:

— Пропойца в мировом масштабе! Никак не подходит для коммунистического цеха. Избавился Миценгендлер, как от последнего пятна... А вы напрасно пожалели. Не беру! Не сватайте — не беру.

Небритый «пропойца в мировом масштабе» долго оправдывался, попутно упоминая о своих талантах, и выпросил все-таки место где-то в тихой инструменталке, поклявшись, что не допустит впредь «расхлябанности».

Затем друг за другом приходили из приемной к столу Анны Васильевны свердловские девушки и юноши («по конкурсу не попали в институт») с просьбами принять их учениками на токарные и слесарные



станки. Анна Васильевна охотно брала десятиклассников на завод к станкам, и я не прислушивался к ее разговору с юношами и девушками, да и не смог бы прислушаться, потому что в это время один из представителей цехов, прикрывая рот ладошкой, шептал мне в ухо:

— Народ нам дают ремесленные школы и армия — демобилизованные солдаты; отслужит свердловец и не только возвращается, так еще и дружков с собой прихватит. А эти по конкурсу не прошли и чуть не полгода отлеживались, плановали: где бы полегче приспособиться... Платоническая любовь к заводу.

Пожилая женщина в старой плюшевой куртке с обтрепанными рукавами, ни слова не сказав Анне Васильевне, начала узловатыми пальцами оглаживать край стола, скинула соринку с зеленого сукна.

— Поводился с лежебоками в картешки резаться, а мне два месяца говорил: в ремесленное хожу. Такой хитрый змееныш, ну чисто рассыплется в ласках... А я, ротозейка, отпустила вожжи.

— Приведи его ко мне.— Анна Васильевна сделала пометку в настольном календаре.— Я отдам в надежные руки.

Трое без лишних рассуждений определились в грузчики. А вот машинист крана. Скучающие представители цехов ожили, заговорили: «К нам, пожалуйста! К нам!» Но крановщик отступил от стола, осторожно ставя ноги, словно под ним лед подламывался. Оказывается, он еще не уволился с Химмаша, он пока пришел узнать, нуждается ли Уралмаш в крановщиках. Чистенький молодой человек с поднятым воротником пальто.

Бойкая, нагловатая дамочка вызывающе спросила:

— Дак что же ты в конце концов обещаешь?

— А чего я вам должна обещать? Я вам предлагаю любую подсобную работу.

— Это куда же — подсобную? В уборщицы, что ли?

— А хотя бы и в уборщицы? Пятьдесят два рубля. И доучивайтесь в вечерней школе.

Дамочка разудало трянула головой и, протопав к выходу, уже с порога обернулась к нам.

— Собрались чудачки какие-то... Стану я пыль глотать.

До встречи с Храмцовым оставался час с небольшим. Я вышел из комнаты вслед за прыщеватым парнем в шляпе и зеленых брюках в обтяжку, который поспорил и пошумел у стола Анны Васильевны.

— Ораторша с орбиты,— язвительно сказал парень на крыльце и подтянул брюки.— Шла бы сама в грузчики, если это общественно полезный труд...

Девушка, скорее всего его жена, бледная, в пуховом берете, комкая перчатки в руках, с материнской заботливостью спросила парня:

— Что же нам с тобой делать, Жорж? — И тише, уже отойдя от крыльца, наставительно сказала: — Нельзя жить безо всякого интереса...

Они заспорили, и я, обогнав их, оглянулся — он все еще презрительно шурился и задира л нос, она чуть не плакала.

Ровно в три часа дня, как и условились, я позвонил с лестничной площадки в квартиру депутата Верховного Совета.

Александр Иванович Храмцов открыл дверь и, приветливо улыбаясь, провел меня по чистому половику в светлую комнату, усадил за свой стол; не успел я оглядеться, а хозяин уже раскрыл толстую папку с бумагами.

В первой речь шла о булыжнике для мостовой, вторая — копия с письма — рассказывала о мытарствах инвалида, задумавшего купить

коляску с рычагами; затем пачка бумаг — о прокладке троллейбусной линии от вокзала до Уралмаша, еще пачка — ремонт дороги Свердловск — Березовск, дальше — строительство школы в поселке Монетный, починка какого-то моста, письма о квартирных неурядицах, горячие благодарности депутату...

Хлопнула входная дверь.

— Сын из школы...— сказал Александр Иванович.— Это только с виду бумажки,— кивнул на папку,— а в каждом слове тут людское сердце. Другой раз до слез жалко человека, когда узнаешь, сколько времени ни за что ни про что дергали ему нервы. Заводские прямо к станку приходят, в особенности в ночные смены: ты — депутат, как, по-твоему, верно это или не верно? Тут что-нибудь на станке не ладится, нервничаешь — ведь все-таки машины строить — не шутка, а человек, понимаете ли, не отступает. Десять лет на заводе, работник отличный, и попробуй-ка объяснить, почему он до сих пор не получил квартиру...

В соседней комнате заплакал ребенок. Александр Иванович, извинившись, быстро пошел к нему, а я, прождав немало, заглянул в опрятную кухню, где обедал Геннадий, вернувшийся из школы.

Малыш за стеной капризничал. Я сунулся было к нему с беседой на веселый лад, а он расплакался. Александр Иванович начал рассказывать малышу о коровах и зайцах, о путешествии муравья в лесу, о белках — забрался в лесные дебри, из которых он, кстати сказать, сын лесного объездчика, юношей пришел на завод.

— Вот что, Андрюха,— он пальцем погрозил двухлетнему сыну,— нас три мужика в квартире, и, когда мать уходила на работу, она каждому дала задание: тебе — спать, Генке — уроки учить, а мне заниматься депутатскими делами.

Андрюшка нахмурился, хотел было снова заплакать, но вместо этого начал засыпать.

Александр Иванович, укачивая сына, сказал мне:

— Я тоже родился здесь.— И ногой постучал о пол.— Тут стоял густой лес, в лесу я и жил, отец был объездчиком. Мне два было, как Андрюшке, когда явились к нам строители Уралмаша. Ну, явились, мы и загоревали всей семьей: объездчик в уральских дачах испокон веку плохо не живал. Как, да что, да куда денемся — вопрос нешуточный... Старший брат подрядился в водовозы, первые бочки воды на стройке — наши, храмцовские. И завод закладывают, и начинается ликвидация неграмотности. Брат образину свою утром не перекрестил — скандал в семье.— Александр Иванович указал на Андрюшку.— Спит ведь, сверлил, сверлил глазенками, пока сказки были, а начали разговор по существу, мужик сразу и приземлился...

Зазвонил телефон, и мы вернулись к депутатскому столу. Разговор шел о квартире для многодетной семьи.

— Слушай, а кому интересно знать про твою сердитость? — говорил Александр Иванович.— Думаешь, я не бываю сердит? Серчай не серчай, а с человеком будь вежлив. Ну мало ли что было... Спился, спился, а он уж полгода не пьет, а токарь — дай бог всякому. Нервный? Небось будешь нервный — другим дают квартиры, а он с бородой остается.

На следующий день Храмцов на зуборезном выполнял работу карусельного станка.

Не буду вдаваться в технику, а скажу только, что карусельный в цеху больших узлов всегда перегружен делами, а на зуборезных бывает недогрузка. Храмцов заканчивал резьбу на регулирующих кольцах конусных дробилок, а недавно еще этим делом исключительно занимался карусельщик.

— И кто же придумал такие хитрости? — спросил я Александра Ивановича.

— Миценгендлер и конструктор Шишкин. Вы знакомы с Иосифом Соломоновичем? — Он выслушал меня и с легким упреком сказал: — Надо ближе познакомиться. И с Копайгоренко тоже. Миценгендлера не похажешь. Может сказать веское слово. И умеет потребовать с человека. Вывели цех в коммунистические — два с половиной года боролись за высокое звание.

Молодой рабочий с пролета сказал Храмцову:

— А он уходит.

Александр Иванович, не вникая в смысл сказанного, продолжал рассуждать о делах цеха. Первыми объявили поход за ритмичную сдачу продукции на сборку и добились отличных результатов. А электромеханические шаберы? Механизировали пришабривание направляющих станин — рабочие не нарадуются. Электромеханические шаберы теперь применяются по другим цехам, шагнули на заводы.

Молодой рабочий, подойдя к нам поближе, повторил:

— Уходит от нас, совсем... С завода.

— Кто уходит? О ком ты говоришь?

— Уходит Миценгендлер. От Семена Лаврентьевича слышал. От Звягина.

На лице Александра Ивановича вдруг и следа не осталось обычной веселости и улыбочности.

— Да он же здесь вырос и жизнь прожил! Что ты болтаешь? Вот не люблю трепачей! Большие узлы — большие люди, и как это можно расстаться с таким цехом...

Александр Иванович все-таки пошел в партком, оставив у станка подручного, а я давно мечтал увидеть цех сверху, от потолка, и с этой целью отправился к бригадиру крановщиков — его конторка была порядочно приподнята над пролетами и станками.

Мастер по кранам Юрий Владимирович Беляков за десять лет на Уралмаше выучил более тысячи крановщиков.

— Мйца,— сказал Беляков. Многие не могут выговорить трудную фамилию начальника и называют покороче. Беляков поправил очки, кашлянул и сел поосанистее, как будто ему предстояло выступать перед слушателями.— Все человеческое ему не чуждо. Вроде ни на кого не смотрит — согнулся и пошел по пролету, но, между прочим, всех знает. На открытом на партийном спросили: почему не со всеми здороваяешься? Сослался на зрение. Один раз вызывает меня в кабинет: «Беляков, который раз ты женат?» У меня в голове с десятков ответов, потому что женат-то я третий раз. Говорю ему: «Последний». — «Ну ладно, говорит, чтобы дети были и чтобы жена не плакала»... Идемте, я вам покажу цех с птичьего полета.

Мы стояли на площадке, похожей на маленький балкончик, какие бывают навешаны по многоэтажным домам.

— В том пролете натякано станков,— сказал Беляков,— краны загружены, а в этом детали большие, передвигаются редко, и краны мало загружены. У Елены Михайловны Кондратьевой самая замечательная бригада крановщиц. К Елене рвутся из всех смен.

Слушая Белякова, я наблюдал в одном из пролетов обычную здесь картину: фотограф суетился со знатным человеком. Подручный работал, а знатный с газетой в руках становился в различные позы перед аппаратом, терпеливо делая все, что требовал от него фотограф. Сверху я увидел уже знакомых начальников пролетов, вспомнил оперативку с красными квадратами на листах бумаги и сказал Белякову о предполагаемом уходе Миценгендлера из цеха.

Беляков был так же удивлен, как и Храмцов, он даже онемел на какой-то момент, а затем, как и Храмцов, отправился разузнать подробности, ворча что-то себе под нос.

В полете я отстал от Белякова и задержался возле группы рабочих, громко рассуждавших о начальнике. Я сел на железную приступку и стал заносить разговор в свою тетрадь, положенную на колени. Это уж мной испытано: не смотри на соседей, не заслоняйся от них, а пиши и пиши да тут же деловито еще заглядывай в страницы, уже заполненные, и окружающие никогда не заподозрят тебя в том, что заносишь их речь в тетрадь. Нельзя было, к сожалению, поглядывать на рабочих, следить за их жестами, но по голосам я отлично различал собеседников.

Бас с хрипотцой:

— Ты под стол без штанов лазил, а я уже работал с ним. В войну как поломка уникального станка, так вызов начальника в энкаведе. Тридцать лет в заводе, ненормированный день — сам попросишься. А военные годы считай один за пять — танки готовили. В других цехах по одному дому не успели построить, а мы пятый ставим — триста квартир...

— Не только его заслуга! — крикливо возразил кто-то помоложе. — Пятый дом — заслуга коммунистов цеха. Парторг ездил доставать лес, цемент, кровлю. А за межэтажные перекрытия шестеренками рассчитывались — лично я нарезал между делом. С фундамента до крыш — все сами. Звягин больше старался...

Третий собеседник — свистящий, прокуренный голос:

— Никто Звягина не хаёт. За цементом и Беляков ездил; каждый день откуда-то из-под Куйбышева перезванивался с Мицей, с избытком привез. Николай Михайлович на двух домах все желоба сделал, окна слуховые...

Крикливый сердито заметил:

— Твой Николай Михайлович за это и получил двухкомнатную квартиру.

Бас с хрипотцой:

— Он и без желобов получил бы ее. Заслужена.

Кто-то глуховато, издалека, словно из бочки:

— Заселялись правильно — и партийные и беспартийные. У Храмцова личной заинтересованности не было, а его депутатское слово тоже чего-нибудь да значило, когда случались всякие неурядицы... Интересно, куда Мица уходит?

— Найдется место, — уверенно сказал бас, — он сдал кандидатский минимум, ему бы лекции читать в Политехническом. Ты лучше спроси, кто у нас будет вместо Миценгендлера.

— А что говорит Звягин?

— Да ничего — теряться не надо, сказал... Но тоже призадумался. — Говоривший зашелся кашлем курильщика. — Ход строительства обсуждался на каждом открытом партийном. Четыре вечера в неделю — институты и школы, а два — самстрой. На первые три дома график был — кому когда работать... По всему Уралу ни один цех таким самстроем не может похвастаться.

Опять тот, издалека:

— В пятьдесят начальнику не под силу в таком цеху. Козырям своим самолюбьем, а у начальника за тридцать три года в цеху нервы надерганы. Пора ему садиться на спокойное место.

Кто-то сказал, будто однажды в цеху Миценгендлера прихлопнуло тяжелой деталью.

— Что значит «прихлопнуло»? — Бас рассмеялся. — У нас детали ка-

кие? Мокрого места не осталось бы. Не прихлопнуло, а счастливо попал под раму рольганга, как под косую крышу.

Крикливый возмутился:

— Как только не стыдно людям выдумывать! Чистые враки. Я был очевидцем всей картины. Шел по цеху, а навстречу плыла рама рольганга, застрял трос между щекой и барабаном, и трос перерезало, рама упала на середину пролета — тридцать сантиметров от ног.

— А ты мерял, что ли? Точности — до сантиметров.

— Я — нет, а другие меряли после... Зашумели со всех сторон: убило начальника! В раме-то двадцать тонн. Столпились, а его не видно, маленький... Мало ли еще бывает случаев: подцепили одну деталь, везли, везли и — стоп! А с нее по инерции падает другая деталь. Крановщик — профессия с повышенной опасностью.

— Да ты короче,— сказал кто-то с напором на «р».— Скажи, прихлопнуло или не прихлопнуло, а то развел речугу, мы тут не на семинаре.

— Ну вот я и говорю: «Народ шумит», а он: «Чего собрались? Меня, что ли, не видели?» А сам с лица белый, как бумага. Пошел. Сердце, верно, ёкало, а пошел из цеха в свой кабинет. Ноги все-таки стали подкашиваться, и кто-то взял под руку. А с крановщицей — амба, расписалась, не могла больше...

Свистящий прокуренный голос:

— Опарина Шура, кажется...

— Не помню,— ответил крикливый,— это не имеет значения. Кран и пролет — тут вся наша жизнь.

Почти над нами проплыл в воздухе громадный вал ротора турбины и медленно, с генеральской важностью, опустился к станку глубокого сверления. Люди за моей спиной поднялись с места, еще поговорили и стали расходиться в разные стороны.

Вверху, в красном уголке, я встретил художника Черемных, снова занятого росписью «наглядной агитации».

— Что ж. Поживем — увидим,— сказал он,— расставаться жаль с коммунистическим званием. А может быть, еще и не расстанемся. Снова не пришлось бы рисовать пьяниц для сатирического листка. Копай волнуется: начальник любил честных рационализаторов.

Николай Старцев, который сидел рядом, за своим комсомольским столом, сказал:

— Копайгоренко хуже не будет. Иосиф Соломонович уходит на должность главного конструктора отдела общего машиностроения, в институт...

— А где этот институт? — спросил я.

— Да здесь же! При заводе. Научно-исследовательский. Сам, говорят, согласился. Разработка проектов особого оборудования, создание принципиально новых машин, механизмов, новые схемы механизации и автоматизации... Мечта моя: стать инженером и в таком отделе работать... — И светлыми глазами северянина глянул весело, заулыбался. — Шутки шутками, а в этом году подаю шестое предложение... Да и комсомольцы наши готовят рационализаторские. Разве это не кафедра в цеху? — полушутливо спросил Николай Старцев. — А теперь у нас еще и в научно-исследовательском свой человек. Поможет и советом и делом.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ГЕННАДИЙ ФИШ

★

## НОРД ВЕГР—ПУТЬ НА СЕВЕР

**О**тправляясь на север, в Киркенес, теплоход «Полярное сияние» отвалил от Немецкой набережной в Бергене поздней ночью. Сейчас уже утро, через приоткрытый иллюминатор в каюту врывается морской холодок, и на потолке играют, трепещут, переливаясь, перебегая, солнечные зайчики — вестники моря.

На коврик у койки поблескивают мои дваждычищенные вчера башмаки. Утром их чистили в бергенской гостинице «Виктория». А через несколько часов в Бергене же на набережной, там, где знаменитый рыбный рынок смыкается с цветочным базаром, двое юношей и девушка в красных курточках с нашитыми на них силуэтами ощерившихся кошек, гимназисты, только что сдавшие экзамены на аттестат зрелости и поэтому получившие законное право резвиться (здесь их называют «русы»), подхватили меня чуть ли не под руки и подвели к «чистильщику». В такой же, как и они, куртке и шапочке с красной кисточкой он сидел на парапете на низенькой табуретке. И хотя мои башмаки сверкали, я охотно дал их заново «почистить» — так как ребята тут же объяснили мне, что плата за эту процедуру идет на стипендию для негра из Южно-Африканской Республики, которого здешняя молодежь приглашает учиться в Бергенском университете.

Так своеобразно эти норвежские мальчики и девочки включались в движение против расистских законов ЮАР.

Еще не успел «чистильщик» протереть бархаткой мои башмаки, как его коллеги, веселясь и дурачась, доставили нового клиента и устремились за следующим.

...На соседней койке мирно поживает мой спутник магистр филологии Мартин Наг. В газете норвежских коммунистов «Фрихетен» он ведает литературой и искусством. Это высокий добродушный парень с русой «фиделевской» бородой. Ноги его не помещаются на ложе, но это не мешает ему сладко посапывать во сне.

Представляя норвежских славистов на Международном конгрессе славистики в Москве, Мартин прочел доклад о поэме Маяковского «Про это». Он доказывал, что в русло социалистического реализма вливается и «фантастический реализм». Некоторые участники конгресса набросились на Мартина за этот неожиданный термин, другие встали на его защиту.

Не вступая в спор, применимо ли это определение к поэме Маяковского, сам по себе «фантастический реализм» сейчас меня вполне устраивает. Потому что как же иначе назвать весь этот неделимый чудесный сплав чувств, возникающих от движения корабля, предчувствия радости, которая охватит меня, когда через минуту я увижу море, ощущения так реально осязаемой крутизны невидимых еще отсюда прибрежных гор?

Осторожно, чтобы не вспугнуть сон Мартина, встаю, подставляю руки под прохладную струю, бьющую из умывальника, наскоро завязываю шнурки на сверкающих вчерашним глянцем башмаках и вынырываю на палубу.

Солнце одаривает ласковым июньским теплом людей на палубе, блестит на

медных ручках дверей, а вершины гор, плотной толпой обступившие фиорды, еще зябко кутаются в пуховые платки снега.

С правого борта, выдвигаясь вперед над самым устьем Норд-фиорда, высится гранитная стена, отвесный скалистый обрыв горы Хорнелен. И впрямь она напоминает упрямый взбученный лоб каменного исполинского чудовища с выставленным вперед мощным коротким рогом. Впрочем, это только отсюда, снизу, рог кажется коротким, на самом деле он длинный — не одна сотня метров! А сама каменная громада, у подножья которой наш большой теплоход, внезапно утерев все масштабы, кажется режущим воду малюсеньким жучком-плавунцом, взметнулась вертикально к небу почти на километр.

И снова за кормой плавно делают виражи ширококрылые чайки, и снова вскипает за нами пенный след.

Диву даешься, по каким приметам среди лабиринта заливов, бухт и бухточек, фиордов, проливов, среди беспорядочно разбредшегося стада бесплодных утесов, каменистых островков и островов отыскивает лоцман коридор для «Полярного сияния».

Нет, не случайно народ называет эти островки «кальве» — телята. Они действительно похожи на стадо детенышей, которые плывут за своей матерью — Большой землей. Но и горные хребты на материке, кажется, не стоят на месте в этом лабиринте, а тоже движутся. То они высются справа (ведь мы идем на север), то вдруг подадутся назад, к югу, — и видны уже слева. Вот они снова заняли положенное им по карте место. Но на самом-то деле горная гряда недвижима, а это наш теплоход прокладывает курс среди каменного первозданного хаоса шхер — на зеленом прозрачном нейлоне глубоких тихих вод вышивая свой путь пенистой белой ниткой.

И тишина. Такая неправдоподобная, что ждешь — вот-вот нагрянет вихрь, подымет волну и закрутит, забурлит, закачает. Но его нет и нет, и тишина длится, длится, и кажется уже неправдоподобной не она, а то, что там, за грядой островов, вырастающих защитной стеной слева, даже в самую тихую погоду накатывает океанская волна. Здесь же, в этом сотворенном природой, словно в подарок норвежцам, коридоре между островами и материком, — тихо даже в штормовую погоду.

«Полярное сияние» продолжает свой путь на север, и я вижу белеющую на склоне среди зелени господскую усадьбу с круглыми окнами и круглой башней, над которой развевается флаг. Наверное, и сейчас в «замке» гости. А за усадьбой лес и маленький поселок вдали. Внизу пристань. Мне кажется, я узнаю. Это тот самый «замок», где жила Виктория.

Ну да! А вот и островок при выходе из залива. Сюда на островок мальчишка — сын мельника — Иоханнес перевез на своей лодке молодежь из «замка». Все в высоких сапогах, чтобы перейти на берег вброд. Но Викторию, которая была в тоненьких туфельках и которой только исполнилось десять лет, пришлось нести на руках.

— Я перенесу тебя, — сказал Иоханнес.

— Я это сделаю сам! — вмешался гордской щеголь Отто, юноша конфирмационного возраста, и взял ее на руки...

Вот и сама лодка, у которой смущенный Иоханнес тогда остался один. Нос ее подтянут на облизанную приливом гальку, а корму вот-вот приподнимет волна, бегущая от нашего теплохода.

Но как я мог забыть, что этой усадьбы давно уже нет — она стала погребальным костром старого хозяина «замка»! Он поджег дом, чтобы семья получила страховку и могла расплатиться с долгами. Сколько раз и с каким замиранием сердца перечитывал я страницы тоненькой книжечки. «Виктория. История одной любви» называется она. Иоханнес — сын мельника — поведал людям эту историю своей любви к дочери владельца замка Виктории. любви глубокой, нежной, восторженной и мучительной, — любви, которая начинается с детских игр и длится всю

жизнь. Единственное и последнее письмо Виктории. Разве в юности я не плакал над этим письмом, переданным Иоханнесу старым учителем уже после смерти Виктории? Автор этой книги, сын бедного рыбака-крестьянина с берегов Норвежского Заполярья, — знаменитый писатель Кнут Гамсун.

— Каким счастьем для Гамсуна было бы умереть восьмидесяти лет от роду! Какое несчастье, что он дожил до девяноста двух, — с горечью сказал мне один из моих норвежских друзей.

И в этих, может быть, на первый взгляд, парадоксально жестоких словах — и боль и подлинная любовь к тому Гамсуну, который столько лет был славой Норвегии.

Но островок Иоханнеса уже скрылся, за ним показался другой — с одиноким домиком на скале. Двое крестьян на берегу конопатят разошедшую лодку. Мир и тишина. На снеговых вершинах прибрежных гор — сияние и блеск.

Наш теплоход пенистой ниткой вышивает новую петлю на темно-зеленой зыби вод. А за кормой — разбитая на тысячи осколков радуга и требовательно кричащие чайки.

Открылся новый залив. Он вдруг чем-то напомнил мне бухту и горы перед Новороссийском. Кажется, вот и труба цементного завода. Цементная бухта.

Я был там летом восемнадцатого года, когда в Новороссийск пришел Черноморский флот. Германская армия захватила Украину. Крым, Ростов, Одесса — в руках вильгельмовских войск. Севастополь тоже. Другого порта у Советов, кроме Новороссийска, нет. Но и вокруг Новороссийска сжимается вражеское кольцо.

Вильгельм ультимативно требует возвращения флота на базу в Севастополь.

Совет Народных Комиссаров, Ленин приказывают затопить корабли. Часть экипажей, подстрекаемая эсерами, уводит свои суда в Севастополь. Большинство же команд верны революции.

И Цементная бухта становится кладбищем Черноморского флота. Иного выхода нет!

На мачтах вымпелы: «Погибаю, но не сдаюсь»...

Открываются кингстоны...

Звуки «Варяга» сплетаются с мелодией «Интернационала». Темная вода, пенясь, журча, клопоча, врывается в отсеки, в трюмы боевых кораблей.

Отчаливают от броненосцев последние шлюпки.

Толпы народа на набережных Новороссийска, на эстакаде, на длинных, устремленных друг к другу молах — молча смотрят, как погружаются в морскую пучину корабли.

Матросы с грудью, перекрещенной пулеметными лентами, в бушлатах и кожанках, увешанные ручными гранатами, не скрывают слез, не стесняются их. Я иду по набережной, держа в руках книжку в плотном зеленом переплете. Перед тем как затопить корабли, матросы разрешили населению взять на память все, что захочется. И я взял книгу из судовой библиотеки.

Это «Виктория» Кнута Гамсуна. И мне пятнадцать лет.

В ту ночь я до утра не заснул, радуясь и горюя над историей разделенной и все же несчастной любви сына мельника, ставшего писателем, и фрекен Виктории.

Может быть, этот залив потому и почудился мне похожим на Цементную бухту, что белая усадьба с круглой башней напомнила усадьбу, где жила Виктория?

Когда в переполненном Колонном зале Дома Союзов с трибуны Первого съезда писателей Горький сказал, что «количество народа не влияет на качество талантов, маленькая Норвегия создала огромные фигуры Гамсуна, Ибсена», — я сразу вспомнил восемнадцатый год, набережную Новороссийска и книжку в зеленом плотном переплете.

Недавно, встретившись в Осло с талантливым бергенским актером Уле Греппом, написавшим о своей поездке в Узбекистан лирическую книгу «Положа руку на сердце», я рассказал ему, между прочим, и историю книжки из библиотеки



потопленного броненосца. Никак не думал я, что Уле Грепп напишет об этом в Берген своему другу, одному из видных представителей прогрессивной интеллигенции Норвегии — доктору Сульхейму. И может быть, еще и потому так радушно принимал меня в Бергене Сульхейм, что и он не мог представить своей юности без «Виктории».

Уставшие за день, под вечер мы с Сульхеймом сидели в крошечном садике на поросшей мхом и бессмертником скале у его чудесного дома на окраине Бергена и не могли отвести глаз от невообразимо голубого моря.

— Если архитектор, построивший прекрасное здание, совершит потом преступление, его следует наказать. Но вряд ли нужно при этом наглухо забивать досками окна и двери построенного им дома, — говорил Сульхейм. — Помню, датский писатель Иоханнес В. Йенсен в печати в свое время убеждал Гамсуна, что такие люди, как он, не имеют морального права находиться в стороне от политики, — усмехнулся Сульхейм. — Может быть, это и так, но для Гамсуна было бы лучше никогда к ней и не прикасаться.

И мне были понятны и горечь, прозвучавшая в словах Сульхейма, и негодование писателя Эйвинда Болстеда, когда он говорил о тех, кто хочет зачеркнуть все, что связано было с именем Гамсуна в страшные дни войны с нацистами. Забыть и простить то, чего ни забыть, ни простить нельзя.

— Понимаете, я никогда не забуду этот день и этот голос! — горячась, рассказывал мне Болстед. — Мы, добровольцы, — бергенская рота — лежали в окопах в лесу, охраняя мост у Ставинесса. Самым старым в нашей роте (далеко за шестьдесят) был дирижер Харальд Хейде. Он каждый год возглавлял григговские музыкальные фестивали в Бергене. Рядом со мной в окопе — художник Уле Габриель Даль... А самому молодому еще не стукнуло семнадцати. С минуты на минуту должны были появиться немцы. И вдруг кто-то включил приемник, взятый из дому. Первое, что мы услышали, было обращение Фалькенхорста — германского главнокомандующего. Он приказывал немедля сложить оружие и сдаться в плен. А когда он замолк, раздался другой голос, старческий. Гамсун обращался к молодежи. Он уговаривал прекратить сопротивление, не проливать кровь за проигранное дело... Не множить горе норвежских матерей — довериться обещаниям Гитлера. Голос его был вкрадчив, взволнован и... до омерзения противен. Нам стыдно было глядеть в глаза друг другу. Тот самый молодой парнишка в нашей роте со слезами на глазах выскочил из окопа и в ярости изо всей силы ударил прикладом по стволу сосны... И тогда Харальд Хейде, музыкант, самый старый в нашей роте, сказал ему: «Мальчик, не ломай оружие. Оно нам еще пригодится!..» Через день после этого мы заложили под мост двести килограммов тола и, взорвав его, отошли на север. Потом мы прошли через столько унижений, столько бед — многие из них забываются... Но будь я проклят, если когда-нибудь сотрется из моей памяти этот старческий голос, эта минута, эти слезы на глазах парнишки, сжатые губы Харальда Хейде... Потом правительство объявило Гамсуна слабоумным... Черта с два!

То, что Гамсун в дни оккупации оказался с квислинговцами, для большинства норвежцев было непостижимо. Казалось, это противоречило всей его жизни. Сын бедного крестьянина, подмастерье сапожника, юнга, писарь в волостном управлении, каменщик. «Таскать булыжники и мстить улицы — совсем уж не плохое занятие... По крайней мере честное», — признавался он впоследствии. Потом кочегар на океанском пакетботе уходившем в Америку. Там, на фермах Техаса, — рабочий на паровой молотилке. потом на отмелях Ньюфаундленда ловил треску. Девять месяцев служил в Чикаго: сначала кучером, а затем кондуктором на конке. Работал репортером, корреспондентом одной из газет Христиании.

С первого взгляда могло показаться, что человек с такой биографией, писатель, прославлявший труд земледельца и рыбака, остро ненавидевший рутину мещанства, только по недоразумению мог стать квислинговцем. Когда в ноябре сорок четвертого года в Мурманске при встрече с норвежскими литераторами я спросил, что они думают о поведении Гамсуна, Эрик Сундвор пожал плечами:

— Старик сошел с ума!

После первых же вызвавших возмущение статей Гамсуна ежедневно по почте стали приходить к нему его собственные книги. Бывшие читатели и почитатели сообщали, что отныне в их библиотеке нет места книгам человека, изменившего народу.

Сотни и тысячи книг были переброшены через забор в его сад. Каждую субботу специальный грузовик увозил их с виллы Гамсуна.

Когда же пробил час освобождения, правительство сочло удобным поддержать версию о старческом «слабоумии» восьмидесятишестилетнего Гамсуна. Куда предпочтительнее было поселить его в закрытую больницу-убежище для выживших из ума стариков.

Через несколько лет, взятый на поруки женой, он вышел оттуда и вскоре умер у себя на вилле на девяносто третьем году жизни...

Последняя книга «Потаенные тропы», которую Гамсун написал через несколько лет после войны, — повесть, где воспоминания переплетаются с историями из жизни его соседей по больнице, — еще раз доказывает, что все-таки прав был Болстед, а не те, кто хотел объяснить поведение писателя «старческим слабоумием».

Много раз в Норвегии во время встреч с самыми разными людьми мы возвращались к «теме Гамсуна». И это вполне естественно. Разве не по книгам Гамсуна русский читатель, да и не только русский, познавал Норвегию, сложную простоту, душевную красоту и своеобразие духовной жизни ее людей, рыбаков, крестьян, матросов, интеллигентов?

«Пан». «Чехов один из первых приветствовал его, называя этот роман чудесным и изумительным еще в то время, когда о Гамсуне очень мало знали даже на его родине, в Норвегии», — вспоминал Куприн.

«...«Соки земли», «Последняя глава» и «Женщины у колодца». Это — гениальные книги, Гамсун. И я совершенно серьезно, искренно говорю Вам: сейчас в Европе Вы — величайший художник, равного Вам — нет ни в одной стране», — писал Горький Гамсуну в 1927 году.

А уже после этого письма пошли гулять по свету «Бродяги».

Так что же все-таки случилось?

— Понимаете, есть два Гамсуна, — сказал мне Сульхейм, — в этом все дело!

О «двух Гамсунах» говорил мне и Тур Хейердал. Он рассказывал, что его мать одно время была дружна с женой Гамсуна. Она и Гамсуны часто вместе ходили на лыжах. Было это еще до войны.

— Страстная, как и мы все, поклонница творчества Гамсуна, — вспоминал Хейердал, — она всегда утверждала, что сам Гамсун эгоист, себялюбец, в общем плохой человек. Когда все это с ним случилось, мне не раз приходили на память слова матери. Он обманул нашу любовь к нему, и тем сильнее было наше возмущение. Это чувство разделяли не только мои боевые военные друзья — парашютисты, но и все настоящие норвежцы. С тех пор прошло много лет. Гамсун умер. Время не реабилитировало его как человека и как политика. Но лучшие книги его живут и еще долго будут жить...

Задолго до нашего разговора с Сульхеймом и Хейердалом и за тридцать лет до событий, о которых сейчас идет речь, о «двух Гамсунах» писал и замечательный русский марксист Георгий Плеханов. «Сын доктора Стокмана» — так называлась его статья о гамсуновской пьесе «У врат царства».

«В пьесе Гамсуна, собственно, две драмы: одна — частного, другая — общественного характера... В первой обнаруживается свойственный Гамсуну большой художественный талант; вторая производит комическое впечатление, несмотря на старание автора придать действию трагический характер. Короче, первая драма удалась автору, вторая же должна быть признана до последней степени неудачной».

Удивительно, с какой точностью и тонкостью анализируя драму Гамсуна, русский критик убеждал в том, что «бунт» главного героя пьесы Ивара Карено, которому автор явно сочувствует, его идеализация «сильной личности», противопостав-

ленной рабочей массе, не что иное, как ницшеанство. Мнящие себя антиподами мещанства, ницшеанцы насквозь пропитаны его духом. Философия нацизма некоторыми своими сторонами опиралась на Ницше.

Двойственность, о которой писал Плеханов, свойственна многим произведениям Гамсуна. Там, где он пишет саму жизнь, из-под его пера выходят книги, полные тонких наблюдений, ласкового юмора, галерея великолепных портретов людей, обуреваемых глубокими страстями, с яркими, неповторимыми характерами.

Но там, где Гамсун пытается прописывать политические рецепты для излечения общественного зла, он терпит неудачу и как художник. Годы его позорной проквислинговской деятельности стали и годами его полного творческого бесплодия...

Работа Плеханова об Ибсене была в свое время издана за границей на французском, немецком и болгарском языках. Статья же его о Гамсуне не переводилась, и в Норвегии о ней не знают даже литературоведы. Не знали о ней ни мой друг Мартин Наг, ни писатель-новеллист и искусствовед Арве Муэн, подаривший мне свою статью «Гамсун заново», написанную к столетию со дня рождения писателя.

— В нашем распоряжении, — сказал мне Арве Муэн, — есть сейчас новые интересные материалы о Гамсуне в дни оккупации. Я говорю про стенограмму беседы с Гитлером в горах Баварии в «Орлином гнезде» фюрера — в Бергхофе. Она опубликована в день столетия Гамсуна в «Арбейдерبلادет».

На другое утро в гостинице «Регина» я получил от Арве Муэна конверт с этим номером газеты.

Сейчас этот конверт покоился в моем портфеле в каюте «Полярного сияния». Мартин обещал перевести стенограмму во время нашего плавания. Но это уже после Мольде. А сейчас нам предстояло подчиниться «закону ленча».

Большая стена салона-ресторана занята красочным панно: рыбацкие ёлы-улитки вернулись с уловом. Пастор-поэт Петер Дасс встречает их на берегу и благословляет рыбаков.

Под картиной двестише из его поэмы «Труба Нурланда».

Священник Петер Дасс, пасторат которого был на островке Алстауг («Полярное сияние» пройдет мимо него завтра), — первый крупный поэт Норвегии. Классик семнадцатого века, он с подлинным вдохновением писал стихи о том, как ловят треску, как солят, как сбывают ее в «конторах» Бергена, как распивают магарыч. И народ любил и почитал своего властного, но веселого пастыря. В Осло в музее я видел прекрасную статую Петера Дасса, изваянную Густавом Вигеландом. В Бергенском музее рыболовства вырезанная из дерева неуклюжая раскрашенная фигурка, укрепленная как груз на руле рыбацкой шхуны, тоже изображала Дасса. И вот здесь, в салоне «Полярного сияния», за ленчем мы снова встретили этого пастыря рыбаков Нурланда.

«Полярное сияние» подходит к пристани Мольде... Горы обступили долину с севера, с запада и заслоняют город от холодных ветров. Здесь всегда тепло. И почти круглый год что-нибудь цветет. Не случайно Мольде называют «городом роз». Но с палубы теплохода видны не розы, а высокие кусты сирени на улицах городка, обращенного лицом к фиорду.

Огромные каштаны торжественно поднимают стрельчатые белые свечи. Они плодоносят здесь. И это примерно на широте прионежского города Повенца, о котором в старину была сложена пословица: «Повенец — миру конец». Жаркий Север! Странно, что норвежцы не слагают благодарственные гимны жизнетворящему Гольфстриму.

Но если я издали не могу разглядеть, какие цветы распустились в палисадниках перед невысокими яркими домами, то выведенная огромными буквами вывеска на глухой торцовой стене портового пакгауза — «Ибсен и компания. Основано в 1890 г.» — мне отлично видна.

Возможно, это и родственник великого драматурга. Сам он немало времени провел в этом блаженном месте, курсируя на небольшой яхте вдоль берегов фьорда, и писал стихи.

Гора Мольтегей, у подножия которой рассыпал свои строения городок, не так уж высока, всего с полкилометра, но она фигурирует в пьесе Ибсена «Женщина с моря» — и поэтому как-то пристальнее разглядываешь ее.

...В Мольте стоянка всего лишь полчаса.

Мы поднимаемся вверх по склону Мольтегей, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на веселый городок, домики которого, словно горсть красных, белых, голубых бус, рассыпанные великаном по холмам и дальним Ромсдальским альпам, — на другом берегу фьорда.

До чего же они красивы! Слово одна за другой, выстроены шеренгами гигантские пилы. Заснеженные зубья их искрятся в лучах солнца и, теснясь, выглядывают из-за плеча друг друга... Или нет, это при сотворении мира здесь бушевало первозданное море и волны дохлестывали до луны, срывали с места материки. и вдруг внезапно море, превратившись в камень, замерло, но каменные волны по-прежнему достают до звезд...

За этими горами лежат другие — даже в географических картах их называют «жилищем троллей» — Тролльхейм.

И любясь необычным ландшафтом, я жалею, что нет рядом со мной близкого человека, с которым можно разделить эту буквально впитываемую зрением радость бытия. И дома, вспоминая о Ромсдальских горах, получить подтверждение, что нет, не привиделись они мне в волшебном сне, эти вершины и красные черепичные крыши раскинувшегося у берега, утопающего в зелени и цветах городка. Ведь их вспомнит и другой находившийся в этот час рядом со мной человек, и мои воспоминания он подкрепит своими, соединив в них прозрачность распирающего грудь горно-морского воздуха с развязавшимся на башмаке шнурком, из-за которого я сейчас споткнулся на ровном месте.

Во всяком случае, глядя отсюда на Ромсдальские горы, я полностью верю старому немецкому ученому, который рассчитал, что если бы горы Норвегии равномерно распределить по поверхности Европы, то вся Европа стала бы выше на тридцать три метра. Почему только на тридцать три? Да потому, отвечал немецкий педант, что, если так «разложить» Альпы, они приподняли бы уровень Европы лишь на шесть метров...

...Гудок «Полярного сияния» вызывает к нам. Но когда Мартин делает только шире шаг, мне приходится чуть ли не бежать, чтобы не отстать.

Мы быстро проходим центр городка, застроенный по-современному уютными и удобными невысокими домами.

В начале века по Норвегии путешествовал русский народник Сергей Орловский. «Смотришь на красивый городок Мольте, на голубой залив, на яркую зелень роц, садов и пастбищ, и не можешь поверить, что в этом райском уголке гнездится такая страшная болезнь, как проказа, — ужасался он. — Но это так. Несколько тысяч человек больной здесь ею. По всему побережью вплоть до Бергена люди заблевают проказой. Некоторые семьи вымерли от нее».

С тех пор прошло полвека. Не так уж много. Одна человеческая жизнь — и нет в Мольте, нет в Норвегии прокаженных. Последний, один-единственный, долечивается в Бергене, где доктором Армауэром Хансеном на благо человечества открыта бацилла — возбудитель проказы. Слава доктору Хансену!

Но все же, как сказал поэт, «кто выдумал, что мирные пейзажи не могут быть ареной катастроф?»

Этих домов, мимо которых мы проходим, не видели ни Энгельс, посетивший Мольте в 1890 году, ни через десять лет после него побывавший здесь Орловский. И школы, где учился Бьернсон, нет, и отель «Александра» отстроен заново... Потому что его, как и весь центр Мольте (больше двухсот домов), разрушила германская авиация в апреле сорокового года, когда тут был расквартирован штаб отступавшей норвежской армии, — ставка короля Хокона.

...Медленно отплывает от «Полярного сияния» набережная Мольде с уцелевшим во время бомбежки пакгаузом, на стене которого поблескивает вывеска «Ибсен и компания»...

Я перехожу на корму, смотрю на отступающий Мольде, домики которого издали кажутся совсем игрушечными, думаю: от проказы избавились, а от войны?

А ведь чтобы навсегда уничтожить в стране проказу, истрачено куда меньше средств, чем на то, чтобы разбомбить здания этого городка, превратить его в пепел и руины.

«Полярное сияние», поворачивая на север, входит в пролив между островами и материком.

Слева на острове — домики рыбацкого поселка Бьернсунн, справа на материке, на мысу, живописно раскинулся другой рыбацкий поселок — Буд.

...Устроившись с Мартином поуютнее в шезлонгах на самой корме, где спасательные шлюпки не закрывали окоема, мы занялись переводом беседы Гитлера с Гамсуном. «Арбейдербладет» опубликовала ее под жирным заголовком: «Потрясающий отчет немецкого переводчика».

По мере того, как скрупулезно, строка за строкой, переводил Мартин, картина встречи вырисовывалась яснее и яснее.

Летом 1943 года в Вене состоялся международный пронацистский «конгресс литераторов и журналистов», после которого Гамсун был приглашен в гости к Гитлеру на его виллу Бергхоф.

Гамсун приехал в резиденцию с норвежским переводчиком-квислинговцем. Гитлер же, готовясь к встрече, вызвал из Гейдельбергского университета знатока норвежского языка доктора Эриха Бургера. Когда Гитлеру сказали, что Гамсун хочет беседовать с ним без свидетелей и что у него свой переводчик, он велел Бургеру выйти в соседнюю комнату, отделенную от той, где велась беседа, тяжелым плотным занавесом. Гитлер и Гамсун разговаривали очень громко — старик был туг на ухо. Бургеру было слышно все, о чем шла речь в соседней комнате. Вскоре он заметил, что его норвежский «коллега» переводит очень неточно. Видимо, боясь рассердить фюрера, квислинговец смягчал все, что говорил Гамсун... И также смягчая, он переводил слова Гитлера. Эта манера перевода удивила добросовестного доктора, и он стал для самого себя со стенографической точностью записывать то, что говорил и Гитлер и его собеседник, и то, как их слова, «буфера». излагал переводчик.

Впрочем, встреча, как сообщается в коммюнике, началась сердечно.

Подали чай, и Гитлер выразил свою радость по поводу знакомства с прославленным писателем. Вначале он говорил очень пространно, а Гамсун на его многословные тирады отвечал коротко. Когда же речь зашла о норвежских делах, он оживился.

В Норвегии рассказывают, будто в молодости Бьернстьерне Бьернсон написал римскому папе послание, в котором увещевал его перейти в протестантскую веру, так как он, папа, не мог не убедиться, что католицизм изжил себя и более не соответствует духу времени. И когда Мартин переводил мне обращенные к Гитлеру увещевания Гамсуна, я невольно вспомнил об этом. Разница лишь в том, что рассказ о юноше Бьернсоне — анекдот, тогда как старик Гамсун, видно, всерьез надеялся убедить волка стать вегетарианцем.

Вряд ли следует приводить полностью высокопарные разглагольствования Гитлера о необходимости проливать кровь во имя третьего рейха, о «непобедимости» немецкого оружия, его излияния о «милостивом» отношении к Норвегии, которой он даровал «независимое» квислинговское правительство.

В ответных словах Гамсуна лесть в адрес Гитлера перемежается с негодованием действиями его ставленников. Просто поражает и возмущает слепота Гамсуна, уверенного в том, что сам Гитлер не знает ни о казнях, ни о зверствах своих клевретов, и стоит только открыть ему глаза, как все пойдет иначе.

— Председатель Норвежского союза судовладельцев Стернесен просил рейхс-

комиссара Тербовена о большей свободе для норвежского судоходства. Но рейхс-комиссар считает, что норвежцы должны держаться лишь Балтийского моря и прибрежного плаванья. И это сказано Норвегии — третьей по судоходству нации мира! Тербовен говорит, что в будущем никакой Норвегии не будет! — жалуется Гамсун.

И — странное дело! — то, что Гитлер безоговорочно берет под защиту Тербовена, никак не убеждает Гамсуна в том, что его lamentации напрасны: ворон ворону глаз не выклюет.

Вскоре диалог превращается в два взаимно перебиваемых монолога, когда одна сторона не слушает и, пожалуй, не хочет слышать, что говорит другая.

— Все, что происходит в Норвегии, определяется рейхскомиссаром, — говорит Кнут Гамсун, волнуясь все больше. — Поведение Тербовена нам не подходит. Его пруссачество нестерпимо. А потом казни. Мы больше не можем терпеть.

И хотя эти слова квислинговец не переводит и тут же сам вступает в пререкания с Гамсуном, до Гитлера все же доходит, что гость не так уж очарован потоком его слов. Раздраженный, подавая знак, что аудиенция окончена, он встает. Остальные тоже встают и вслед за ним выходят на террасу.

— Мы верим в вас, — говорит Гамсун, — но вашу волю искажают...

Гитлер холодно прощается с ним.

Автомобиль на аэродром уже ждет. Гамсун садится рядом с водителем, переводчик и доктор Бургер сзади. Он не успел сказать, что понимает по-норвежски. Теперь ему уже неловко в этом признаться. Остается только молча слушать оживленный разговор норвежцев.

Гамсун спрашивает квислинговца, точно ли тот переведил его. Переводчик сначала заверяет: слово в слово! Гамсун почему-то не уверен в этом. И тогда переводчик отвечает:

— Не было необходимости нападать на Тербовена, когда сам фюрер заверял, что после войны его отзовут.

Услышав это, Гамсун, впадая в ярость, кричит:

— Идиот! Что это за безумие! Война будет продолжаться долго, очень долго! Методы рейхскомиссара более терпеть нельзя! Он невежда! Об этом надо говорить без обиняков!

Возможно, только для того, чтобы сказать все это Гитлеру без обиняков, Гамсун и согласился приехать из Норвегии на конгресс в Вену.

«Он явно жил тем, что обратил внимание фюрера на нужды своей родины», — сообщает Бургер, который, вернувшись с аэродрома, по горячим следам записал все, о чем говорилось в машине.

И слушая медленный перевод этой записи, достоверность которой остается на совести доктора Бургера, я думал о том, какая это драматическая сцена, по-новому завершающая пьесу Гамсуна «У врат царства». Ивар Карено остался верен себе, не изменил своих взглядов на «сильную личность». «Я верю в прирожденно-го властелина, в деспота по природе, в повелителя, в того, кто не выбирается, но сам становится вождем кочующих орд этой земли. Я верю и надеюсь только на одно — на возвращение величайшего террориста, квинтэссенцию человека, Цезаря...» — говорит Ивар Карено.

И вот мечта осуществилась...

И что же? При встрече с этой «личностью» Гамсун умоляет прекратить казни, дать свободу Норвегии.

Но перед ним стена. «Зеличайший террорист», которого он сам так призывал, втаптыкает в грязь все лучшее, благородное, что есть в человеке, унижает его самого, его народ, страну, человечество.

Переводчик извиняется, лжет, полагая, что лжет во благо обоих собеседников, а за портьерой, не видимый ими, сидит и записывает все, что делается на сцене, четвертый актер трагикомедии. Мы, зрители этой пьесы, знаем и ее первоначальный текст и видим финальную сцену, поставленную самой жизнью, сцену, подтверждающую правоту Плеханова и поражение «Философии» Карено-Гамсуна.

Нет! Что бы там ни говорил Арве Муэн — может быть, несколько и смягчая вину Гамсуна в глазах сентиментальных судовладельцев, за интересы которых он ратовал, — беседа эта никак не снимает его вины перед Норвегией!

...Предвечерний ветерок колышет флаг за кормой, и море из голубого становится бледно-желтым, шафрановым. Оно уже совсем не то, что было минуту назад, и странно подумать, что, непрерывно изменяясь, оно все такое же, как тысячу, как десять тысяч лет назад...

Мартин тоже призадумался.

Когда вчера в Бергене в книжном магазине я увидел, что принимается подписка на полное юбилейное издание художественных сочинений Гамсуна, вид у меня был, наверное, настолько озадаченный, что Мартин спросил:

— А у вас разве Гамсуна не издают?

— До войны издавали. Почти все, что он писал. После войны нет. Не вышло ни одной его книги...

Некоторое время мы сидим молча.

— Да, конечно, — как бы отвечая на свои мысли, наконец говорит Мартин, — дело не в «старческом слабоумии»... Но все ж таки не надо забывать, что ему уже было за восемьдесят... — И вдруг спрашивает: — А сколько лет было Бунину?..

Я улавливаю ход его мысли.

— Вы же издаете его! И правильно делаете, — продолжает Мартин. — Вы хорошо помните и то, что он был белоэмигрантом. Спор советского народа с русской контрреволюцией давно решен историей. А не издавать Бунина — означало бы обеднять самих себя. И как обеднять! А ведь для нашей литературы Гамсун, пожалуй, еще больше, чем Бунин для вашей.

Мы опять молчим.

Я вспоминаю примерно такой же разговор в редакции «Фрихетен», когда один из видных деятелей норвежской компартии сказал:

— Поведение этого «сверхчеловека» в годы войны — непростительно. Но я считаю, что позорные деяния Гамсуна принадлежат Гамсуну, а творчество его принадлежит народу.

Морской ветер колышет за кормой широкое красное полотнище с синим в белой оторочке крестом.

Заглядевшись на плавные, спокойные виражи ширококрылых чаек, как-то не веришь, что это они так пронзительно и резко кричат.

— Уверен, что и у вас еще будут издавать Гамсуна, — прерывает молчание Мартин.

И я думаю, он прав.

Еще когда Мартин переводил мне записи гейдельбергского доктора, я заметил, что на многих прибрежных скалах, на каменистых островках, немного отступя от влажного, темного, облизанного волнами берега, плотно, одна к другой, разложены какие-то маленькие дощечки. В некоторых местах эти дощечки уже сложены в круглые невысокие, до плеча, поленицы. На других скалах полуобнаженные женщины складывали из плоских дощечек круглые штабеля.

— Что они делают? — спросил я.

— Неужели не помнишь? У Гамсуна почти в каждом романе женщины занимаются этим делом. Шкипер нанимает их потрошить, солить и распластывать треску для сушки на камнях. Правда, времена изменились, но клип-фиск остается.

Столица клип-фиска — Кристиансунн.

Здесь изобретен этот способ консервации трески. отсюда ее стали вывозить в конце семнадцатого века, и по сей день, говорит статистика, шестьдесят процентов вывозимой в виде клип-фиска трески идет из Кристиансунна.

Впрочем, даже известен год — 1691-й, — когда на своем корабле сюда прибыл голландский купец Яппа Иппес и осел в маленькой рыбацкой деревушке. А на следующий год его корабль «Золотая клип-фиш», в трюмах которого была треска, пошел за границу. За ним вскоре потянулись и другие с этим драгоценным грузом в Средиземное море, Италию, Испанию, Францию — католические страны, где

клип-фиск стал любимой и дешевой едой, особенно во время постов, столь частых у католиков. Вскоре деревушка стала городом, в котором на труде норвежских рыбаков богатели поселившиеся здесь голландские, шотландские и английские купцы.

«Полярное сияние» проходит совсем близко от маленького каменистого острова. В середине его невысокий круглый штабель клип-фиска. Две женщины в шортах и бюстгальтерах, повязанные белыми косынками, накладывают в штабель ровными рядками плоские дощечки солено-вяленой трески — клип-фиска. И вдруг пассажирка из Мольде срывает васильковую косынку и, размахивая ею, что-то пронзительно кричит женщинам на островке. Те смотрят на нее и тоже что-то кричат. Их косынки, как две чайки, летящие рядом, взмахивают белым крылом.

Да, наш теплоход имеет право называться «экспрессом» — островок исчезает так же быстро, как и возник, а пассажирка убирает растрепавшиеся короткие русые волосы под васильковую косынку и, видимо, смущаясь оттого, что так громко кричала, объясняет, что те две женщины на островке — ее сестры. Они работают на разделке рыбы. О, и ей хорошо знакома эта работа...

— Наш город куда больше, чем Мольде! Он как Олесунн! Но, по-моему, еще красивее.

Она, оказывается, вовсе не такая молчаливая, какой сначала показалась мне...

— Мои предки похоронены в испанской земле, — с гордостью говорит она.

Нет, она здешняя. Эти слова только доказывают древность ее рода.

Сгрузив клип-фиск в Испании, норвежские шхуны уходили обратно на родину пустыми и, как балласт, брали в трюмы испанскую землю и гравий, а вернувшись, сыпали ее в тогдашней гавани, там, где теперь находится старое кладбище. Вот что означали ее слова «в испанской земле» — и ничего больше.

Меч викингов насилием и кровью «соединял» норвежцев с остальным миром. Ныне это мирно и дружелюбно делают сельдь и треска...

— Уже начали сушить треску электричеством, — вздохнула наша собеседница в васильковой косынке. — Сколько женщин останется без приработка! — И вдруг повернувшись к Мартину, с жаром говорит: — Скажите русскому, чтобы не думал, что в Кристиансунне только и дела, что клип-фиск. У нас есть симфонический оркестр, хороший хор, бывает и опера. А если бы вы увидели наш городской парк с гнездовьем, с птичьим базаром в скалах!..

Возвращаясь со свидания с возлюбленным в Мольде, она, видимо, хочет не нас, а себя убедить сейчас, что даже и без «него» родной город лучше всех городов мира.

Но вот уж пошли домики всех цветов радуги, пестрые домики Кристиансунна, который, как и Олесунн, вырос на трех островах. Впрочем, из ста пятидесяти тысяч прибрежных островов Норвегии не так уж трудно выбрать три уютных островка.

Берген — Тронхейм.





---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. УТЧЕНКО

★

## АКРОПОЛИ ЭЛЛАДЫ

1

**В**ид с Афинского акрополя — не просто великолепный вид на город. «Классической» считается панорама Рима, открывающаяся с Monte Pinicio, хорош Париж с высот Монмартра, не менее прославлены виды Неаполитанского залива и Золотого Рога, но все это, говоря по правде, не может идти ни в какое сравнение с тем, что испытываешь, глядя на Афины с акрополя. И вот я — бывают же такие чудеса в жизни! — стою на его вершине, я — в Греции.

Но что мы знаем о Греции? Я думаю — почти ничего. Не говоря уже о прошлых годах, но и сейчас, когда у нас так развит международный туризм, в Грецию ездят сравнительно редко и мало. Что же нам все-таки известно о Греции?

Известно, что это небольшая и в общем бедная страна, что она в руках американского капитала, что в Греции реакционный режим, что в правительстве сильны антисоветские тенденции, известно вопиющее дело Манолиса Глезоса, которого до сих пор — и после того, как он избран депутатом парламента, — без суда держат в тюрьме на каком-то пустынном острове (мне с теплохода показали по крайней мере с полдюжины этих островов и все разных) — вот, пожалуй, что нам известно о современной Греции.

К этому можно было бы добавить ряд сведений общего характера о населении, экономике, политических партиях Греции. Но оставим сведения подобного рода для справочных изданий, где их вовсе нетрудно отыскать. Интереснее другое, а именно то, что может быть названо некоторыми особенностями современной Греции, и прежде всего тот факт, что Греция принадлежит к числу немногих еще сохранившихся в Европе монархий. После войны, в 1946 году, в стране была восстановлена королевская власть, а совсем недавно она была «закреплена» весьма своеобразным актом: сначала торжественным обручением, а затем и бракосочетанием греческой принцессы Софии с лейтенантом франкистской армии доном Хуаном Карлосом, претендентом на испанский престол. На церемонию помолвки съехались представители тридцати девяти уцелевших (или бывших) королевских фамилий. Греческий парламент принял чрезвычайный закон, согласно которому каждый греческий гражданин был обязан отработать один день на приданое невесте. Свадьба состоялась в мае нынешнего года. Все газеты на протяжении нескольких недель посвящали свои первые полосы этим волнующим событиям. Что и говорить, подобные спектакли происходят в наше время не столь уж часто, а союз между греческим королевским домом и франкистской Испанией, видимо, представляется весьма обнадеживающим альянсом не только для последних могикан отживших и оживающих династий.

В октябре прошлого года в Греции проходили так называемые парламентские выборы. Но с ними получился скандал на весь мир. Эти выборы, в результате которых ультрареакционной правящей партии ЭРЭ (Национально-радикальный союз) удалось пока сохранить власть в своих руках, оказались фальсифицирован-

ными самым беззащитным образом. К голосовавшим за ЭРЭ, как теперь стало известно, присчитывали не только пациентов психиатрических больниц, но и сотни «мертвых душ», а порой и... оливковые деревья, обнаруженные по адресам избирателей. Даже буржуазная оппозиция в парламенте была вынуждена в связи с итогами выборов дважды ставить вопрос о доверии правительству.

Еще один характерный факт. На происходившей зимой этого года в Париже «конференции народов НАТО» этот агрессивный союз объявил себя прямым наследником «красоты классической Греции, политической мудрости античного мира и духовного богатства Возрождения». Кроме того, в одном из пунктов принятой ширококвотельной декларации предлагается «превратить древний акрополь в Афинах в символ и священное место нашего союза». И вот уже НАТО заседает в Афинах, а над стеной акрополя, откуда некогда рукою Манолиса Глезоса был вышвырнут флаг со свастики, теперь водружают пиратское знамя агрессоров.

Таковы некоторые дела и дни современной Греции. Картина, честно говоря, малоутешительная. Но это Греция нынешняя, а мы ведь хорошо знаем, что истинная и немеркнущая слава Греции в ее прошлом. Что же есть в нем, в этом прошлом?

В нем — греческая мифология и поэмы Гомера, законодательство Ликурга и Саламинская битва, Перикл и афинская демократия, Гермес Праксителя и Софокл, Демокрит и Платон и еще многое другое, что признается обычно основами современной европейской цивилизации. Все это известно, вернее должно быть известно, каждому со школьной скамьи. Но многие ли знают и помнят об этом на самом деле? И если помнят, то какое значение имеют ныне все эти имена и события? Что они для нас — живой источник знаний, опыт и мудрость человечества, озаряющие не только прошлое, но и настоящее, или никому уже не нужный каменелый хлам истории, непонятно как и для чего сохраняемые остатки давно ликвидированного «классического образования»? Пожалуй, наиболее непосредственно выразил свое отношение к проблемам подобного рода бармен теплохода «Феликс Дзержинский», который, выяснив из разговора со мною, что я направляюсь в Грецию (теплоход шел дальше — в Каир, Латакию, Бейрут, так что Пирей был всего лишь одним из транзитных портов), с удивлением спросил: «В Грецию? А что там интересного? Одни развалины, да и те, говорят, почти все теперь вывезены в Америку!»

Однако мы, историки, — хотя бы в силу своей профессии — помним и знаем о древней Греции немного больше и находим в ее «развалинах» не только кое-что «интересное», но иной раз и нечто весьма поучительное.

Очевидно, далеко не всем известно, что именно в области греческой истории за последние сто лет сделан ряд выдающихся открытий. Эти открытия в полном смысле слова перевернули многие устоявшиеся представления и «продлили» историю Греции в глубь веков. Более того, выйдя за пределы собственно греческой истории, они тем самым дали нам возможность ощутить дыхание мировых процессов, коснуться живой исторической ткани, облекающей непреложные закономерности развития.

Еще в середине прошлого столетия историю Греции начинали изучать либо с эпохи так называемой «великой колонизации» (VIII век до н. э.), либо с греческой мифологии, относя к ней и то, что было известно из Гомера о Троянской войне. Но когда в семидесятых годах XIX века на территории турецкой деревушки Гиссарлык Шлиман раскопал считавшуюся до тех пор легендарной Троей, впервые встал вопрос о реальности и историчности событий, воспетых Гомером, и греческая история впервые «отодвинулась» вглубь примерно к XII веку до нашей эры. А дальнейшие раскопки в материковой Греции (Микены, Тиринф) могли уже зародить первое — и пока смутное — представление о существовании великой цивилизации, которая предшествовала «классической» эллинской и создание которой сами древние — на основании некоторых ее не погребенных в земле памятников — приписывали полубогам и героям.

На рубеже XX века начались раскопки английского археолога Эванса на Крите. Потрясающие результаты этих открытий еще и сейчас не могут оставить равнодушным ни одного наблюдателя. Грандиозный Кносский дворец с его тронными залами, лабиринтом коридоров, ванными комнатами, с его изысканными фресками и керамикой предстал перед изумленным взором археологов и историков как памятник древнейшей и вместе с тем высокоразвитой цивилизации. И наконец архив Кносского дворца — сотни глиняных табличек, покрытых письменами. Существование в Эгейском бассейне древнейшей письменности! Существование письменности до «гомеровской эпохи», которая (как это ни у кого и никогда не вызывало сомнений) была бесписьменной!

Раскопки на Крите свидетельствовали о связи двух новооткрытых культур, они привели к образованию понятия крито-микенской культуры (или цивилизации), они снова «отодвинули» греческую историю в глубь веков, к середине второго тысячелетия до нашей эры. Возникал могущественный образ древнейшей Эгеиды. Многие еще в нем было туманным и зыбким, многие очертания неясны, но уже бесспорными казались выводы о высоком уровне техники и культуры, о развитом общественном строе. Но наиболее волнующей оставалась загадка новооткрытой письменности.

Потому самым блестящим достижением последних лет можно считать дешифровку этой так называемой минойской (по имени легендарного владыки Крита — Миноса) письменности. История дешифровки заслуживает быть рассказанной хотя бы вкратце.

Еще сам Эванс, который ревниво оберегал найденные им письменные памятники и долгое время противился их опубликованию, предпринял первые попытки дешифровки. Его усилия были продолжены шведом Перссоном, а затем американкой Кюбер. И хотя на этих начальных стадиях исследования загадка минойской письменности была далека от своего решения, удалось достичь некоторых позитивных выводов, которые оказались правильными. Была набросана в общих чертах картина эволюции минойской письменности: из письменности пиктографической (рисунчатой), существовавшей на Крите примерно в 2000—1700 годах до нашей эры, возникает линейное письмо, условно названное линейным письмом *A*. Затем на базе этого письма — как то было доказано тщательным изучением эпиграфического материала — развивается новая система письменности, отличающаяся от письма *A* хотя бы тем, что она оказалась более упрощенной и облегченной. Эта вторая система получила условное название линейного письма *B*.

Однако эти бесспорные достижения мало чем могли помочь при чтении самих памятников минойской письменности. Оставался ряд вопросов, ответ на которые имел решающее значение для успеха дешифровки. Каков язык (или языки) существующих надписей? Возможно ли путем сравнительного лингвистического анализа сопоставление языка надписей с каким-либо из древних языков, уже известных науке? Каковы связь и соотношение систем линейной письменности *A* и *B*, является ли вторая дальнейшим логическим развитием и упрощением первой, или связь между этими системами более сложна и обусловлена какими-то иными причинами?

Усилия лингвистов и филологов оказались направленными главным образом на изучение линейного письма *B*; это и понятно: в то время как в качестве образцов письма *A* найдено до сих пор всего лишь двести двадцать надписей, к тому же чрезвычайно лапидарных, — надписей системы *B* насчитывается к нашим дням более трех тысяч!

В 1943 году широко известный своими работами в области хеттологии чешский ученый Б. Грозный выступил с попыткой дешифровки линейного письма *B*. Но попытка оказалась неудачной, ибо была построена на основе сугубо искусственного языка, в котором сочетались элементы языков финикийского, хеттского, египетского и даже протондийского! Такого насквозь искусственного образования, конечно, не могло существовать в природе. Несколько позже болгарский лингвист В. Георгиев предположил, что письменность *A* и *B* относится к единой

языковой системе; он же впервые высказал мало кем разделявшееся тогда мнение, что язык надписей близок к греческому. Исходя далее из предпосылки, согласно которой финикийская письменность, лежащая, кстати сказать, в основе всех современных алфавитов, развилась из минойской, Георгиев был уверен, что знаки минойского письма должны иметь то же значение, что и близкие к ним финикийские. Георгиеву удалось — как это стало ясно в дальнейшем — правильно разгадать ряд знаков (двенадцать) минойского письма, однако предложенная им система дешифровки не давала возможности связного чтения текстов.

Новым толчком к активной работе по дешифровке послужили раскопки «дворца Нестора» в Пилосе, проводимые американским археологом Влегеном. Во время этих раскопок в 1939 году был обнаружен грандиозный архив более чем из шестисот табличек, написанных линейным письмом *B*, затем в 1952 году найдено еще четыреста пятьдесят табличек. Находка памятников линейного письма *B* на Пелопоннесе, то есть в материковой Греции, делала уже чрезвычайно возможным и правдоподобным предположение о том, что язык этих надписей является греческим. В течение 1951—1952 годов состоялась наконец публикация всех найденных — как на Крите, так и в Пелопоннесе — памятников минойской письменности.

Честь дешифровки линейного письма *B* принадлежит молодому английскому ученому М. Вентрису, который в 1953 году опубликовал (совместно с филологом Чадвиком) статью с кратким изложением своего замечательного открытия. Вентрису удалось убедительно расшифровать шестьдесят три знака из общего количества восьмидесяти восьми знаков линейного письма *B*. Чтение, предлагаемое Вентрисом, дает в целом ряде случаев связный и осмысленный текст.

Работая над дешифровкой минойской письменности, Вентрис исходил из следующих — как выяснилось теперь, правильных — предпосылок. Во-первых, он считал, что линейное письмо *A* и *B* представляет собой одну и ту же, то есть в принципе единую, систему письменности, но языки, используемые письмом *A* и письмом *B*, различны. Во-вторых, он пришел к выводу, что язык письма *A* — это неизвестный нам язык коренного населения Крита; язык же письма *B* есть не что иное, как один из диалектов (в его древнейшем варианте) греческого языка. Греки, по всей вероятности, приспособили созданную населением Крита систему письменности (то есть письмо *A*) к нуждам и особенностям своего языка, и таким образом возникла новая система письменности (то есть письмо *B*). И наконец Вентрис исходил из убеждения, что хорошо известное науке кипрское слоговое письмо является дальнейшим развитием минойского и, следовательно, основные правила этого слогового письма могут быть применены в отношении линейной письменности *B*.

Таковы важнейшие предпосылки, на основе которых Вентрис строил свою систему дешифровки. Но следует отметить, что она и теперь не всеми признается бесспорной. Некоторые лингвисты и филологи ее решительно отвергают. Зато другие крупные знатоки (и в том числе ряд советских ученых) не менее решительно отстаивают правильность дешифровки Вентриса и продолжают работу по ее дальнейшему совершенствованию. К глубокому сожалению, сам Вентрис уже не может принять участия в этой работе, так как в 1956 году в возрасте тридцати четырех лет он трагически погиб во время автомобильной катастрофы.

Но из истории мировой науки давно известно, что ни одно крупное открытие, тем более такое, которое вносит переворот в привычные и устоявшиеся представления, не завоевывает себе признания без боя. А дешифровка минойской письменности принадлежит именно к таким открытиям. Наряду с величественными, но немymi памятниками материальной культуры в распоряжении науки оказались теперь и говорящие источники — текст ряда документов, прочитанных по методу Вентриса. Все это в корне изменило наши прежние представления о древнейшей Греции.

Перед нашим взором открылась почти неизвестная до сих пор великая цивилизация, быть может, не менее великая и своеобразная, чем «классическая»

эллинская. Примерно с XVII века до нашей эры, то есть за пятьсот лет до так называемой «гомеровской эпохи», мы наблюдаем высокое экономическое и культурное развитие древнейших греческих, или, как принято их теперь называть, ахейских государств на территории Пелопоннеса. Крупнейшими из них были Микены и Тиринф в Арголиде и Пилос в Мессении.

Не критяне, как считали раньше, ссылаясь на широко известный миф о Тесее и Минотавре, господствовали над прибрежной Грецией, а, наоборот, ахейские греки завоевали в конце XVI — начале XV века до нашей эры сначала Кносс, а затем, видимо, и весь остров. Именно в ходе этого завоевания Крита произошло приспособление линейной письменности А к нуждам греческого языка (возникновение системы письма В).

Расцвет ахейских государств материковой Греции приходится на XV—XIII века до нашей эры. Ахейские греки простирают в это время свою власть не только на Крит, но и на ряд других островов Эгейского моря. Они колонизируют побережье Малой Азии и поддерживают оживленные торговые сношения с Кипром, Египтом, Финикией. На рубеже XIII—XII веков до нашей эры ряд ахейских государств предпринимает грандиозную по тем временам военную экспедицию, известную под именем Троянской войны.

Микены или Тиринф эпохи расцвета с их неприступными замками-дворцами, с их развитым, находящимся на высоком уровне дворцовым хозяйством, с их великолепной техникой гончарных, металлических и ювелирных изделий, с их получившим уже массовое развитие рабством — невольно наталкивают нас на мысль о классовой и имущественной дифференциации, на представление о высоко организованном обществе и его цветущих городах — центрах экономической, политической и культурной жизни.

Однако этот блестящий расцвет — как нам теперь известно — оказался сравнительно кратким. В судьбе ахейских государств наступает роковой перелом. В конце XIII века до нашей эры на территорию Греции вторгаются с севера дорийские племена. Нашествие дорийцев не было единичным актом, наоборот, это был длительный процесс, в ходе которого не раз вздымались все нарастающие волны вторжения. Центры ахейской культуры разрушаются, население истреблено или порабощено, завоеватели покоряют Фессалию, Пелопоннес, а затем и островные владения ахейцев. Так гибнет великая цивилизация — опустевшие города заносятся песком и землей, выдающиеся достижения науки и искусства стираются в памяти поколений. Наступает самый темный период греческой истории.

Так называемое «гомеровское общество», то есть греческое общество того экономического и социального строя, который наиболее ярко отображен в поэмах Гомера, — это греческое общество уже после дорийского завоевания и гибели ахейской цивилизации. Отсюда его относительная примитивность, низкий уровень развития. Хозяйство приобретает довольно ярко выраженные черты натуральности, зарубежные торговые связи давно прерваны, письменность становится ненужной и забывается. Но в этом видимом упадке, в этом «спуске» к нижней части витка спиралевидного развития заложены основы возрождения. Новая — и не менее высокая в итоге своего развития — цивилизация приходит на смену исчезнувшей. Совершается одно из величайших таинств истории — качественный скачок, момент перехода в иное качество в мучительном, прекрасном и неотвратимом процессе вечного обновления человека — человечества — бытия.

## 2

Поездка из СССР в Грецию уже сама по себе — интересное и приятное путешествие. Особенно весной. Вот маршрут: из Одессы морем через Констанцу, Варну, Истанбул до Пирея. А затем еще путешествие по Греции! Тьма впечатлений.

Хотелось бы сохранить свежесть и непосредственность этих впечатлений (пусть даже в ущерб тому, что обычно называют «стройностью изложения»). Но

как это сделать? Попытаюсь довериться путевому дневнику, который я вел, быть может, не очень умело, зато очень старательно.

28-IV—61 г. Московский поезд приходит в Одессу в 16.05, и сразу же с вокзала нас везут автобусом «Интуриста» к «Лондонской». Это старое название; теперь гостиница, конечно, называется «Одесса». Интересно, кому у нас полагается по должности придумывать названия гостиниц? Не знаю, во всяком случае это счастливые люди — они никак не обременены воображением. Я давно заметил, что во всех городах гостиницы — и, как правило, лучшие! — называются по имени самих городов. В Москве есть «Москва», в Вильнюсе — «Вильнюс» и даже во Владимире — «Владимир»...

В Одессе весною я впервые. На Приморском бульваре цветут каштаны. Порт и море в легкой дымке. Прохладно.

Едем в порт. В таможне — почти никаких формальностей, осмотр багажа проходит доверчиво и быстро. И вот я — на борту «Феликса Дзержинского».

В 20.30 отваливаем от стенки. Все пассажиры на верхней палубе. Вид на самом деле хорош: полнеба еще в закате, но уже встала луна, и уже бежит от нее дорожка; Одесса — в россыпи вечерних огней, она медленно отступает от нас, и чем больше мы удаляемся от берега, тем шире становится этот круг огней. Вот уже по правому борту — циклопический, мигающий глаз маяка. С одесского рейда выходим в открытое море.

29-IV. В 7.30 утра — прибытие в Констанцу (Румыния). Констанцу я знаю, был здесь прошлой осенью во время конференции, организованной румынскими археологами и историками. Иду прогуляться по знакомому городу. На берегу моря претенциозное здание казино, неподалеку от него — аквариум. Вспоминаю: и казино и аквариум — все это есть в Монте-Карло. Совпадение для Румынии (конечно, для бы в ш е й Румынии!) едва ли случайное.

На центральной площади — памятник Овидию. Констанца — это древние Томы, город на дальней окраине Римской империи, куда Овидий был сослан императором Августом, по причинам нам неизвестным, о которых историки и литературоведы гадают вот уже около двух тысяч лет. «Певец любви, певец богов», как его называл наш Пушкин, вовсе не был человеком с твердым характером и непрклонной душой — его «Тристии» и «Послания с Понта» полны униженных просьб, раскаяния, сожалений. Меня же всегда несколько сместило, с каким непритворным ужасом описывал этот изнеженный римлянин суровость здешних мест, которые он называет полярными и где, по его словам, вино зимою замерзает настолько, что его не пьют, но колют и глотают кусками. И это про те места, которые расположены южнее самой южной точки нашего Крыма!

К вечеру приходим в Варну (Болгария). Центральная площадь с фонтанами; по главной улице — гулянье, как и в наших южных городах. Болгары — удивительно милый, приветливый народ. В городе есть еще великолепный парк, который доходит до самого моря. В нем особенно хороши акации, сплошь усыпанные крупными желтыми цветами. Эта порода (или сорт) называется «золотой дождь». После прогулки сидел в парке, на берегу моря, пока не начало смеркаться.

30-IV. В 6.45 утра входим в Босфор. Опять все на верхней палубе. Узкие берега. Две крепости друг против друга, по обеим сторонам пролива — Румелихисар и Анатолихисар. Они сооружены еще в те времена, когда шла борьба за Константинополь между Византией и турками.

Открывается панорама Истанбула. Мечети, минареты, деревья, цветущие розовыми и фиолетовыми цветами. Это, кажется, иудино дерево.

Через полчаса мы в городе. Не стану скрывать, я взволнован. И я не могу — более того, не имею права — оставаться равнодушным. Как историк я ведь слишком хорошо знаю, насколько близко, насколько кровно соприкасались — и не раз! — на протяжении столетий судьбы моего народа с этим городом. С его судьбами, его историей.

Какая трудная и извилистая история, какая хитросплетенная судьба! Сначала рядовая греческая колония на европейском берегу Босфора, то есть Византий,

имя, которое, наверное бы, умерло, превратилось в ничего не значащий звук, если б ему не было суждено возродиться в названии великой восточной империи. Затем Константинополь — столица этой империи, «второй Рим», олицетворение всей ее мощи и слабости, всего ее величия и ничтожества, ее блеска и нищеты, ее жестокости, вероломства, простодушия. И наконец Истанбул — единственный в мире город, который расположен одновременно в двух частях света и по которому, как по живому мосту, Азия впервые в истории победоносно шагнула в Европу.

Я иду по Галатскому мосту, направо — Золотой Рог, налево — Босфор, я перехожу из Европы в Азию, я вступаю в Константинополь — столицу византийских императоров. На этой стороне все, что от нее осталось до нашего времени, — Айя-София, Ипподром с обелиском из Карнака, змеевидная колонна Константина, на этой же стороне — но поодаль от бывшего центра столицы — стена, построенная Феодосием II, Адрианопольские ворота, развалины римского акведука. Здесь же нагромождение мечетей и минаретов, путаница — чуть только в сторону от центральных магистралей! — узких улочек, круто сбегających под гору, улочек со ступеньками и лестницами, улочек-тупиков, здесь же базар неподалеку от университетской арки, а в нижнем пролете Галатского моста ларьки с фруктами и продавцы свежей рыбы, пристань, у которой волнуется и галдит толпа... Так выглядит на деле этот многовековой стык двух континентов, двух культур.

К ужину возвращаюсь на теплоход. Поздно вечером проходим Дарданеллы. Эгейское море встречает не очень сильным, но все же вполне ощутимым штормом.

1-V. С утра идем мимо островов Эгейского моря. Вот тут-то и начинают мне показывать — и пассажиры и команда — остров, на котором заключен Манолис Глезос, причем каждый находит свой собственный остров и уверяет, что только он и есть подлинный. А когда мы приближаемся к Пирею, мне показывают по крайней мере четыре храма Посейдона на мысе Суний и все в разных местах; я же не могу разглядеть ни одного.

В 13.00 теплоход пришвартовывается у стенки Пирейского порта. Затем — на автобусе в Афины. Еще по дороге замечаю, что на дверях домов, на балконах — свежие венки цветов. Здесь, оказывается, существует обычай вывешивать в первый майский день венки, которые потом так и висят чуть ли не до следующего мая. Кроме того, оказывается, что в мае здесь не венчают: недаром и у нас говорят, что венчаться в мае — значит, всю жизнь только маяться. Поэтому вчера был последний день «массовых» венчаний.

Останавливаюсь в отеле «Атлантик». Перед ужином небольшая «предварительная» прогулка по городу. Первое впечатление от Афин неожиданное. Это совершенно новый город, выстроенный в промежутке между двумя мировыми войнами и даже в значительной мере после второй мировой войны. Поэтому Афины мало похожи на остальные европейские города. Здесь почти нет — во всяком случае в центре — старых кварталов или старых домов. Всего несколько пышных построек прошлого века — Академия, Национальная библиотека, музей, — все они выдержаны в классическом духе и все по-эпигонски бездарны. Вообще я не раз убеждался, что архитектурные каноны и «правила» старательнее всего соблюдаются в поздних, эпигонских (и потому внутренне всегда эклектичных) сооружениях, подлинные же памятники, от которых часто берет свое начало тот или иной стиль, тот или иной ордер, вовсе не знают такого стилизового ригоризма.

Но это лишь отступление по поводу архитектурных канонов или зданий прошлого века, которых в Афинах не так уж много. Зато все остальное — стекло и бетон, конструктивистская архитектура, небоскребы в миниатюре. Город скорее — хоть мне об этом трудно судить — американского типа. Вот тебе и Афины!

С балкона моей гостиницы ночью виден подсвеченный акрополь.

2-V. Сегодня в первой половине дня — Национальный музей. Обилие экспонатов подавляет. Запомнились Шлимановские залы (золотые вещи из Микен), кубки из Вафио, женская голова, предположительно Скопаса, и зал архаики (на-

пример, великолепный курор из храма Посейдона на Суний). Большая коллекция ваз уже никак «не дошла».

После обеда — акрополь. Туда принято ходить к вечеру — лучше освещение. И хотя акрополь чуть ли не самое главное, из-за чего я сюда ехал, описывать его я не стану. Да и как это сделать? Описывать акрополь «технично» — не к месту и скучно, описывать же, как поступают некоторые, при помощи пышных эпитетов и восклицательных знаков, по-моему, — просто неприлично. И вообще не следует описывать те вещи, предметы, памятники, которые хоть и не все видели, но все считают, что они им доподлинно известны. Такие попытки даже небезопасны. Поэтому вместо подробного описания акрополя — всего лишь несколько соображений, пришедших мне в голову уже после его осмотра.

Прежде всего я понял, вернее даже ощутил (я, конечно, знал это и раньше, но лишь умозрительно), что для греков архитектура начиналась с выбора места. Окружающая природа, среда — то, что хорошо передается немецким словом «Umgebung», — вот чем был тогда обусловлен строй архитектурного ансамбля. В этом первобытном, младенческом и ныне почти утраченном умении слить воедино искусство и природу и дает разгадать себя природа античного искусства.

Каким великолепным «задником» служат акрополю окрестные горы! И удивительно подумать, что этот «задник», эти декорации никак и ни в чем не изменились за истекшие столетия. А какой обзор — виден не только весь город, но и Пирей и море.

Очарователен на акрополе маленький храм Ники Аптерос, причем, если смотреть на него снизу, он органически вырастает из скалы. Бесспорен Парфенон, его мощные пропорции величественны и просты. Вот «частный вид» — между сквозными колоннами Парфенона на горы и небо. Вот взгляд вниз с обрыва — Тесейон или, вернее, храм Гесты, Стоя Аттала, театр Герода Аттика, где и теперь — обычно в августе-сентябре — дают античную трагедию.

И все же на акрополе мне пришла в голову одна еретическая мысль. Что, если это благородство линий, безукоризненность и чистота пропорций — все, что нас теперь так восхищает и кажется навеки утерянным секретом, почти чудом, — что, если все это — результат работы времени? Время, как известно, многое облагораживает. Иными словами: когда лучше «смотрелся» акрополь — в те годы, когда он еще был цел и невредим, или теперь, когда он лежит перед нами в развалинах? Этот вопрос, кстати сказать, не так уж нелеп, как может показаться с первого взгляда.

Мы смотрим на античные статуи, удивляясь их изысканной простоте, но забываем, что эти статуи раскрашивались и что у них бывали вставные глаза. Мы смотрим сквозь колонны античного храма на горы и небо, но забываем, что колонны не просматривались. Я видел известные макеты реконструкции Афинского акрополя, они не вызывают у меня чувства восторга. Судя по ним, акрополь был забит достопримечательностями, как лавка антикара всякой всячиной. Негде было даже повернуться! Тут тебе и колонны, и портики, и кариатиды, и статуи. И все еще было новеньким, с иголочки, все блесело, все было раскрашено. Страшно и подумать!

3-V. Почти весь день гулял по городу. Первые впечатления начинают отстывать, кристаллизоваться. Город действительно американизированный, вернее, тщится выглядеть таковым. Особенно вечером: огни реклам, ночные клубы, блеск и роскошь витрин. Но все это в таких до смешного малых, в таких мизерных масштабах, что кажется чуть ли не пародией. Много по-настоящему провинциального: лавчонки на улице Агиу Марку, рынок, тележки, запряженные осликами.

Характер толпы трудно уловим, во всяком случае греки как-то мало похожи на южан: слишком спокойны и сдержанны. Даже внешне они выглядят не так, как я себе представлял, — менее смуглы, менее черноволосы (не редкость гречанки-блондинки, но только крашенные!). На улице Венизелоса и Панэпистимиу (Университетской) — большое оживление и толчея даже поздно вечером. Кафе со столиками



на тротуарах, как во всех южных городах. Но странно, что ни из кафе, ни из ресторанов, ни из окон домов — ниоткуда не слышно музыки. На площади Омониа подземный переход, там, под землей, целый город — ларьки, магазины, закусочные, есть даже большой ресторан. Но в общем и это все выглядит довольно провинциально.

4-V. Начало шестидневного путешествия по стране. Рано утром выезжаем из Афин автобусом. Дорога скоро выводит к морю. Вот уже виден Саламин; огибаем гору, с которой, по преданию, Ксеркс наблюдал за ходом сражения, решившего всю дальнейшую судьбу Греции. Первая остановка в Элевсине.

С именем этого небольшого городка связана память о знаменитых мистериях. Считалось, что они были учреждены самой Деметрой — богиней плодородия и земледелия. В здешних местах владыка подземного царства Плутон (Аид) похитил ее дочь Персефону. Деметра, не пожелавшая почему-то оценить всей галантности этого поступка, разгневалась и перестала посылать на землю урожай. Человеческому роду грозила гибель. Тогда Зевс распорядился вернуть Персефону матери. Однако Плутон уговорил ее проглотить несколько гранатовых зерен — символ и гарантия супружеской верности, — и Персефона уже не смогла его окончательно покинуть. Весною она выходит к матери, и природа оживает, осенью же снова возвращается к своему супругу, в подземное царство.

Соответственно этому элевсинские мистерии праздновались и весной и осенью. В них могли участвовать только «посвященные». Желающие принять посвящение должны были пройти через ряд испытаний: они очищались водой Иллиса, вступали ночью в храм Деметры, где темнота внезапно сменялась ослепительным светом, тишина — раскатами грома. Особенно пышно праздновались Великие (осенние) мистерии, когда по Священной дороге, ведущей из Афин в Элевсин, двигалась торжественная процессия, возглавляемая жрецами и должностными лицами. Участники шествия, увенчанные миртовыми венками, несли факелы, плуги и другие земледельческие орудия. Празднества длились девять дней — по ночам на берегу Элевсинского залива устраивались драматизированные представления, темой которых служило похищение Персефоны и поиски ее Деметрой.

Я видел Священную дорогу, более того — видел даже колеи проезжавших здесь когда-то колесниц. Я видел остатки Пропилеев и развалины Плутона — храма, выстроенного над расщелиной в земле, через которую Плутон увлек Персефону в свое царство. Но когда я стоял над этой расщелиной среди обломков мрамора, поросших травой и диким цикорием, над моей головой все время со свистом и ревом проносились реактивные самолеты. Оказалось — неподалеку школа военных летчиков и учебный аэродром. Ну что ж, если для греков когда-то представление о загробном царстве было связано с мирным земледельческим культом, с идеей прорастания зерна, то ныне оно — и, несомненно, с большим основанием! — связывается с идеей реактивных бомбардировщиков.

Едем дальше, проезжаем Мегары. Затем Коринфский канал, соединяющий два моря: Эгейское с Ионическим. Это очень интересное сооружение. Представьте себе огромную, с гладкими и ровно стесанными краями щель в земле, причем длина этой щели — семь километров, ширина двадцать пять метров, а глубина восемьдесят метров. Когда смотришь в эту щель с моста, который перекинут через нее, суда, проходящие внизу, почти на стометровой глубине, кажутся игрушечными. Канал был начат постройкой при Нероне, а закончен всего лишь в прошлом столетии.

Проезжаем сначала новый Коринф, в нескольких километрах от него — древний город. Великолепно поставленный храм Аполлона, сквозной на фоне гор и залива. Под ним остатки агоры, уже римского времени.

Затем, конечно, музеев. Это, кстати сказать, второй музей за нынешний день. Был еще музей в Элевсине, о котором я не упоминал, потому что он не произвел на меня большого впечатления. По этой же причине не собираюсь говорить и о коринфском музее, но о музеях вообще, музеях как таковых, хотелось бы сказать несколько слов.

Я всецело признаю за музеями значение научных институтов. Кстати, у древних греков дело обстояло именно таким образом. Самый первый в мире музей, основанный в Александрии, как говорит об этом его название (музейон — храм муз, храм наук и искусств), был научным учреждением. Но осматривать наши современные музеи — а мы обычно их только осматриваем — почти всегда мучительно. Дело в том, что всякий музей, всякое собрание по самой природе своей стремятся к исчерпывающей полноте. Отсюда слишком много лишнего, ненужного, второсортного во всех знаменитых музеях Европы. Если это, к примеру, античный отдел, то пять-шесть подлинно прекрасных вещей тонут в груды, в десятках и сотнях скверных римских копий (Национальный музей в Неаполе), если это итальянская Возрождение, то многометровые полотна второстепенных художников забивают все остальное, что и стоило бы посмотреть (Лувр).

Местные греческие музеи скромнее, меньше, но все же и они утомительны. Я долго не мог понять — и, кстати сказать, стыдился в этом признаться, — почему мне в музеях, как правило, скучно, почему я быстро устаю и почему античные статуи, расставленные правильными рядами, или фризы и метопы, аккуратно развешанные по стенам, не доставляют мне никакого «эстетического наслаждения». Понял я это, собственно говоря, только в Греции.

Я уже упоминал об особом, почти стихийном чувстве или — если можно так выразиться — инстинкте ансамбля, свойственном грекам. Поэтому для них и круглая скульптура и тем более рельеф никогда не имели самодовлеющего значения, никогда не мыслились вне здания, вне ансамбля. Вырванные из этого окружения, они теряют почти все в своей силе, смысле, значении. Расставленные же бесконечными правильными рядами, как это делается в музеях, они способны внушить лишь чувство скуки, если не отвращения. Я уверен: если бы только «древний» грек мог взглянуть на экспозиции музеев нашего времени, он пришел бы в ужас и обозвал нас — с полным основанием! — грубыми варварами.

5-V. Сегодня одно из самых сильных впечатлений за все время поездки — Микены и Тиринф.

Сначала — Микены. Циклопическая кладка стен, пологий подъем, дорога ведет под Львиные врата. Они известны во всем мире по бесчисленным воспроизведениям, их не стоит описывать. Внизу — круг царских могил. Это так называемые шахтовые погребения первой династии, раскопанные Шлиманом.

Микенский акрополь с одной стороны «подперт» и защищен круто вздымающейся горой. Здесь, на вершине, ветер. В горах бродят стада овец, каждая из них с колокольчиком, у каждого колокольчика свой особый голос, на ветру звучит — то замирая, то разрастаясь — изумительная полифоническая фраза. Огромный обзор — расходящиеся концентрическими кругами горы, перевалы, долины высокое небо, непередаваемое ощущение величия и тишины.

Спускаюсь к знаменитой «сокровищнице Атрея», купольной гробнице, известной еще до Шлимана. Издали это просто холм, поросший травой и кустарником. Внутрь гробницы ведет дромос. Он упирается в массивную дверь, перекрытую огромными каменными плитами. Круглое помещение самой гробницы производит ошеломляющее впечатление — это поставленный прямо на землю купол, который, равномерно сужаясь, уходит ввысь. Свод купола сложен также из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой собственной тяжести. Он был в свое время окрашен в голубой цвет и усеян бронзовыми розетками, напоминая звездное небо. Все, что создано греками в так называемую «классическую эпоху», кажется просто детскими игрушками по сравнению с этим мощным и величественным сооружением.

Из Микен едем дальше через Аргос, где останавливаемся всего на несколько минут. Город буквально утопает в розах, они огромные и мохнатые, как наши пионы. Едем цветущими апельсиновыми рощами — запах, напоминающий наш жасмин. Приезжаем в Тиринф.

Это — родина Геракла. Тиринфский акрополь расположен на крутой (хотя и не очень высокой) известняковой скале. Площадка дворца еще более грандиозна, чем

в Микенах. Остатки крытой галереи — блестящий образец строительной техники того времени. По преданию, один из первых правителей Тиринфа призвал к себе семь циклопов, когорые и выстроили ему этот дворец и стены. Тоже великолепный обзор: видны не только горы, как с Микенского акрополя, но и море.

Микены и Тиринф — бессмертные памятники великой цивилизации. Не повидав их, нельзя понять всего ее величия. Микенская техника, по-моему, в некоторых отношениях превосходит технику «классической» Греции. Микенское искусство — зодчество, фресковая живопись, керамика — совершеннее и утонченнее греческого искусства эпохи Перикла. Я не сомневаюсь также, что ахейские государства (Микены, Тиринф, Пилос) по общему уровню своего экономического и культурного развития не уступали самым передовым эллинским полисам V—IV веков до нашей эры.

Из Тиринфа направляемся в Эпидавр. Там, само собой разумеется, музей (кстати, в Микенах и Тиринфе — никаких музеев!). В здешнем музее, помимо сохранившихся частей зданий — Ротонды, храма Дианы, — большой макет (реконструкция) всего Асклепиона. Но какое жалкое впечатление производит он после микенских памятников! Какое мелкотемье архитектуры, какое дешевое «украшательство»! Единственное извинение — Эпидавр был по существу курортом, причем модным курортом вроде наших Гагр или Сочи.

Пожалуй, в Эпидавре интересен только знаменитый и, кстати сказать, прекрасно сохранившийся театр. В нем пятьдесят шесть рядов, четырнадцать тысяч мест. Подымаюсь в последний ряд; внизу, на сцене, шуршат бумагой, роняют на каменный пол монету, говорят приглушенным голосом — все слышно совершенно отчетливо. Этот театр (как и все античные театры, он, конечно, без крыши) — чудо акустики. Он построен с пониманием, вернее, с гениальной догадкой о законах распространения звуковых волн.

Ночую в городке Навплион. Сугубо провинциальная, даже сельская гостиница, зато называется пышно: «Семирамида». Перед сном иду прогуляться вдоль залива. По-южному темная ночь. Ярко освещенные таверны, запах моря, низкие звезды.

6-V. Утром в «Семирамиде» меня будит пение петуха. Весь день — в пути. Снова проезжаем Тиринф и Аргос. Автобус по серпантинной дороге взбирается на гору, высота — около тысячи метров, один за другим открываются великолепные виды на окрестные холмы и долины, на залив. Подъезжаем к Триполису. На горе огромными буквами выложено короткое слово «OXI». По-гречески «oxi» означает «нет», и это слово, ставшее призывом, напоминает о том дне, когда греки впервые сказали «нет» итало-германским оккупантам, то есть о дне, когда зародилось освободительное движение. День OXI и сейчас — национальный праздник греческого народа.

В Триполисе остановка на четверть часа. Едем через Тегейскую равнину, проезжаем Мантинию. На невысоком холме у дороги — памятник ста восемнадцати спартамцам, расстрелянным гитлеровцами. У подножия памятника свежие полевые цветы.

Едем дальше — открывается вид на Тайгет с его вершинами, слегка тронутыми снегом. Внизу долина Эвроты. Как и большинство рек Греции, это горная река; летом она почти пересыхает. Въезжаем в Спарту.

Та самая Спарта, с которой связаны наши еще детские представления о спартанском воспитании и закалке, о лаконизме — «со щитом или на щите», «приди и возьми» и тому подобное. Та самая Спарта, где были илоты, криптии, железные деньги и где в народном собрании голосовали просто криком.

Однако от древней Спарты, собственно говоря, ничего не осталось; нынешняя же Спарта — небольшой, но вполне современный город. Зато есть памятник никогда не существовавшему Ликургу, есть улица Клеомброта, даже есть отель «Менелай». Наверное, есть и «Елена», просто не попалась мне на глаза. Странно было вечером из окна гостиницы — кстати, весьма роскошной и весьма модернизированной — смотреть на улицы Спарты в разноцветных огнях неоновых реклам.

7-V. Сегодня с утра — колокольный звон. Воскресенье. После завтрака — выезд из Спарты. Опять — через Тегею, Триполис, но за Триполисом сворачиваем на дорогу, ведущую к Олимпии.

Музей Олимпии. Я и на сей раз не собираюсь докучать перечислением его достопримечательностей, но об одной из них, пожалуй, следует сказать. Это Гермес Праксителя. Тот самый Гермес, который одной рукой держит младенца Диониса, а другой (теоретически!) — виноградную гроздь. И у которого, как говорят знатоки-искусствоведы, настоящий праксителей «влажный» взгляд (что достигается — по их же компетентному мнению — «при помощи частичного слияния нижнего века с глазным яблоком»).

Однако те же знатоки-искусствоведы, как я слышал, все еще продолжают спорить, подлинный ли это Пракситель или только римская копия. Я лично очень хотел бы надеяться, что да, именно копия. Слишком уж все подчищено, даже «зализано», слишком явно ощущается стремление к красивости. Во всяком случае это не для меня. Более того, за время своей поездки по Греции я пришел к убеждению, что греческое искусство так называемого «классического периода» — несмотря на все свои канонические совершенства (или как раз благодаря им!) — мало что может сказать уму и сердцу современного человека. Это вовсе не оценка с точки зрения «хорошо» или «плохо». Это, полагаю, и не вопрос личного вкуса. Речь должна идти о другом — о вкусах эпохи, поколения.

Попытаюсь объяснить. Вкусы и духовные запросы поколений на протяжении веков могут повторяться или если не повторяться, то как-то ассоциативно совпадать. Вот пример. Греко-римское «классическое» искусство воскресало дважды: в эпоху Возрождения и в революцию 1789 года. Это, конечно, было явлением не случайным. Видимо, в те эпохи оно — по ряду причин! — в гораздо большей степени отвечало вкусам, запросам, умонастроению поколений, чем, скажем, в наше время. Но значит ли это, что греческое искусство, греческая культура теперь для нас мертвы? Совсем нет! Ибо греческое искусство отнюдь не исчерпывается «классическим периодом», существует еще искусство «доклассическое» — греческая архаика. И вот именно она, греческая архаика, оказывается ныне неожиданно близка нашему современному сознанию, нашему мироощущению. Она перекликается с ним столь же живо и созвучно, как домоцартовская музыка с музыкой наших дней.

И вообще эта так называемая архаика, что она такое — примитив или утонченность, неумение или уже преодоленное умение? Этого я не знаю, но для меня бесспорно одно: греческое архаическое искусство стоит — *mutatis mutandis* — в том же ассоциативном ряду, что и искусство современное.

После музея прогулка по Олимпии. Сначала памятник совершенно нам неизвестному барону де Кубертэ, который, оказывается, в каком-то там году восстановил обычай олимпийских игр. Неподдалеку жертвенник; на нем возжигают олимпийский огонь и факелами несут в ту страну, где в данном году игры происходят. Затем — священная роща Альтис.

Это очень поэтическое место. Высокая трава, старые деревья, более чем живописные развалины. Остатки гимнасия, палестры, мастерской Фидия. Пьедестал Ники Пеония. Храм Зевса Олимпийского, где и находилась знаменитая Фидиева статуя. Наконец стадион (он вмещал двадцать тысяч человек) с распорванным стартом. Говорят, его хотят модернизировать и превратить во вполне современный международный стадион.

8-V. В Афинах, в особенности на центральных улицах, как я уже упоминал, большое оживление, толпы народа: люди скапливаются у светофоров и затем, толкаясь и спеша, устремляются на зеленый свет, а вот когда едешь по стране — как я эти несколько дней, — то людей почти не видно, удивительное безлюдье, селенья тоже редки, и можно ехать часами — не только в горах, но и по равнинным дорогам — и не встретишь ни единого человека. Самый досадный продел всего моего путешествия по Греции — отсутствие общения с людьми. По этой причине я, конечно, не узнал страну по-настоящему. По этой же причине

Греция в моем восприятии, а следовательно, и в моем изображении — как ни обидно в этом признаваться, — не живая страна, а то, против чего я в принципе встаю всеми силами души: страна-музей. Но здесь нет моей вины, и дело, конечно, не только и не столько в безлюдье (хотя это обстоятельство «способствует»), сколько в старании греческих организаций соответствующим образом «обеспечить» наш маршрут. Само собой разумеется, тут я уже ничего не мог поделать!

Сегодня выезд в конечный пункт всего путешествия по стране — в Дельфы. Едем через Пиргос, остановка на несколько минут не то в городке, не то селе Савалия, около лавки, где продают керосин, лимоны, вожжи и иллюстрированные рассказы из священного писания. Сельский универмаг греческого образца.

Обед в Патрах. Это довольно большой город, но я его почти не видел. Из Патр — в Эгий; здесь наш автобус въезжает прямо на так называемый «ферри-бот», то есть паром, на котором мы и переправляемся через Коринфский залив. Переправа длится довольно долго, часа три.

Дорога на Дельфы. Снова серпантинная дорога, снова горы, оливковые леса — самые богатые во всей Греции, — открывается вид на Парнасский хребет. Под вечер приезжаем в Дельфы.

Остановившись в гостинице и, несмотря на усталость после дороги, иду к храму Аполлона. Ну как же не пойти! Это ведь и есть знаменитый дельфийский оракул!

И я вовсе не жалею, что пошел. Идти недалеко, и уже минут через двадцать ходьбы горы (это все Парнасский хребет) расступаются мощным и резко очерченным амфитеатром, и на переднем плане, на плоском и не очень высоком холме, как на столе или на подносе, — весь комплекс дельфийского святилища. Я еще успею все это осмотреть завтра, сейчас важен только общий вид.

Быстро темнеет. Горы сдвигаются ближе. Он великолепен, этот «общий вид». Недаром греки верили, что здесь, в Дельфах, пуп земли. Пожалуй, никогда не видел ничего более величественного. Но и более мрачного. Вспоминаю: Аполлон, которого мы обычно представляем светлым, солнечным богом, «златокудрым Фебом», в представлениях самих греков — во всяком случае первоначально — злой и мстительный бог.

9-V. Проснулся на рассвете. Восхитительное утро. В горах куковала кукушка. Я загадал — она прокуковала мне двенадцать раз. Негусто, но жить можно!

Вышел на балкон. Гостиница, оказывается, «пристроена» к скале. Ее фундамент — на подошве этой скалы; здесь сделана насыпная площадка и разбит цветник. А под скалой — обрыв, пропасть.

Встает солнце, но за горами его еще не видно. Горы расходятся правильными концентрическими кругами. Вид совершенно фантастический: подо мною парят орлы, вдали блестит море, над горами летит самолет. Он летит высоко, звука не слышно, лишь все дальше и дальше прочерчивается в небе прямой белый след; местами он уже начал курчавиться и рассыпаться. Всеобъемлющая, полная и вместе с тем живая тишина. Кукушка то замолкнет, то снова примется куковать.

После завтрака — осмотр храма Аполлона. При ярком дневном свете все выглядит не так уж мрачно, но зато и не так величественно. По-прежнему хорош Парнас — серо-желтые скалы на фоне **н а с т о я щ е г о** синего неба (такого неба у нас, на севере, не бывает). Нынешний храм Аполлона — вернее, то, что от него осталось, — третий по счету храм на этом месте. Первый был деревянным, второй, каменный, выстроен при Алкмеонидах, а нынешний — в IV веке до нашей эры. Он был действующим храмом почти восемьсот лет, то есть до правления Феодосия Великого, когда языческие культы были окончательно и бесповоротно запрещены.

В храме до сих пор показывают то священное место, где, по расчетам греков, находился омфал — пуп земли (этот пуп земли, высеченный из камня, я видел потом в музее!). Тут же неподалеку — расселина, над которой сидела на треножнике пифия и, одуряясь идущими из этой расселины парами, произносила свои прори-

цания, или оракулы. В классическое время оракулы давались ежедневно, в римское — раз в месяц.

Дельфийский оракул славился в древности во всем мире. Чем темнее и двусмысленнее были его прорицания, тем более они оказывались верны. К непоколебимому авторитету святилища прибегали во всех затруднительных случаях. Ни одна греческая колония не выселялась без одобрения оракула. Нередко вопрос о начале войны или заключении мира решался прорицаниями пифии. Дельфийские жрецы — голкователи ее несвязных изречений — занимались (с равным успехом) политикой и ростовщическими операциями. В храм стекались огромные богатства: пожертвования, вклады, военная добыча. До сих пор сохранилось здание сокровищницы афинян, приношения и посвячительные памятники аргосских царей, лакедемонян, а также остатки театра, стадиона и прелестного круглого здания Ротонды.

После осмотра дельфийского святилища идем к Нимфейону и Кастальскому ключу, посвященному Аполлону и музам. В нем в свое время очищались паломники, направлявшиеся в Дельфы. Это тот самый знаменитый источник, про который сказано: «Кастальский ключ волною вдохновенья в степи мирской изгнанников поит». Отнюдь не чувствуя себя изгнанником и не особенно рассчитывая на вдохновение, я все же наполнил из Кастальского ключа.

В 14.00 отъезд из Дельф. Едем «домой» — в Афины. Маршрут: через город Арахова, деревню Бистома, где немцы убили всех мужчин и женщины до сих пор ходят в грауре, через Левадию, затем Беотия, Фивы, затем развилка дорог: направо дорога на Платеи, мы же сворачиваем налево, начинается Аттика, и вот уже знакомым путем — через Элевсин, побережьем, мимо Саламина — въезжаем в Афины, и я возвращаюсь в свой «Атлантик».

10—12-V. Живу еще три дня в Афинах. Эти дни нет смысла подробно описывать. В общем все то же самое, все время что-нибудь да осматриваю. Ничего не поделаешь — за тем сюда приехал!

Был на мысе Суний, где находится знаменитый храм Посейдона, тот самый, который я никак не мог разглядеть, когда мы морем подходили к Пирею. Однако на мысе было слишком ветрено и слишком много туристов, а храм мне вовсе не понравился. Наиболее занятным было, пожалуй, вот что: храм построен из какого-то мягкого, как мне объяснили, аргилезского мрамора, поэтому и фундамент и все сохранившиеся колонны буквально испещрены росписями туристов, посещавших эту достопримечательность на протяжении многих десятков, если не сотен лет. Вроде наших надписей на крымских или кавказских скалах. Только здесь это безобразие, так сказать, в широком международном масштабе. И росписи на всех языках мира. Среди них есть и такая — очень четко и очень глубоко вырезанная на одной из колонн — «Вугоп».

Ездил и на остров Эгину. Больше, чем древности, запомнилось «яростно красивое» море, как выразился один из моих спутников, когда мы смотрели на это море с горы, где храм Афины-Афеи, дерево «могавилла», цветущее крупными фиолетовыми цветами и похожее на огромный букет; кроме того, на Эгине я видел осьминога — мертвый, он был распластан на песке набережной; кто и зачем выставил его тут напоказ, я так и не понял.

В последний вечер снова сходил на акрополь. Поскольку на данную тему я уже высказывался, повторяться не буду.

13-V. Сегодня во второй половине дня уезжаю из Греции. И тем не менее утром мне заботливо и предупредительно «выдают» еще один музей.

На сей раз это музей Пирея. Поначалу в нем все так же однообразно и утомительно, как и в любом другом музее. И вдруг — не прощальный ли то дар богов Эллады? — изумительные пирейские бронзы.

Они на самом деле очень хороши. Это статуи, найденные совершенно случайно во время ремонта водопровода или каких-то других земляных работ в Пирее года два тому назад. Пять бронзовых статуй, из которых я видел три (остальные в реставрационных мастерских). Найдены они были все вместе (хотя они никак

не связаны друг с другом) укрытыми в тайнике. Предполагают, что их там спрятали, когда Сулла грабил Афины.

Искусствоведы уже все определили и датируют их (во всяком случае те, что я видел) IV веком до нашей эры. Не знаю, быть может, и так, но для меня главная прелесть этих бронз в том — к какому бы веку они ни принадлежали, — что на них нет ни малейшего следа лакировки «классицизма». Чистота линий изумительная! Чего стоят, например, складки пеплоса или форма пальцев руки Афины! Я даже не знаю, с чем их можно сравнить, эти пальцы, разве только с формой капли в тот момент, когда она, растягиваясь, отрывается от поверхности. А какой благородный след оставило на бронзе статуй время — зеленая патина, снимающая наружный блеск и сохраняющая самую суть: соотношение частей и фактуру материала.

Из Пирея возвращаюсь в Афины. Прощальный обед в «Атлантике». Затем снова в Пирей. В порту — таможенные формальности, предотъездная суэта. В 17.30 наш теплоход отваливает от стенки. Выходим в море. Сажу на верхней палубе, ветер, я в плаще, и долго, еще очень долго виден храм Посейдона на мысе Суний. Теперь я его узнаю и с моря!

### 3

Итак, путешествие в Грецию окончено. И уже прошел после него целый год. Но странно: чем больше проходит дней и недель, чем дальше отодвигается во времени эта поездка, тем сильнее стирается поверхностность и калейдоскопичность впечатлений — всему этому я уже отдал дань в своем путевом дневнике, — но остается и не уходит ощущение чего-то цельного, значительного, ощущение какого-то внутреннего события. В чем же дело? Что, собственно говоря, могло вызвать у меня такое ощущение?

Памятники искусства, памятники архитектуры? Они — спору нет — в своем роде замечательны и способны привести в восторг любого искусствоведа или археолога, но я не принадлежу к их высокому цеху и не обязан испытывать чувство священного трепета перед каждым мраморным обломком. В силу этого я могу сохранять большую свободу суждений. Однако если бы даже я принимал все слепо и безоговорочно, то и в таком случае отдельные памятники искусства — как бы они ни были сами по себе хороши — едва ли могли вызвать у меня ощущение какого-то внутреннего события.

Тогда, быть может, природа? Природа этой маленькой страны действительно произвела на меня глубокое впечатление. Да она вовсе и не кажется маленькой, эта страна, об этом начисто забываешь, когда перед тобой все время обзоры, горизонты, величие гор, беспредельность моря. В природе Греции есть нечто первозданное и вместе с тем нечто уже облагороженное человеческим гением — трудом Прометея.

Итак, значит, природа? Нет, все же не то! И только постепенно и не сразу я понял: главное, что и оставило во мне память и след внутреннего события, — это зрелище, причем увиденное собственными глазами (и в этом тоже главное!), зрелище смены великих исторических цивилизаций. Нигде это зрелище не предстает с такой силой, так ярко и наглядно, как в Греции.

Вот великая ахейская цивилизация — мир, полный волнующей таинственности, в который мы только-только начинаем проникать. Вот его грандиозные и еще не всегда понятные нам материальные памятники, вот сокровищница его письменности, которая тоже должна еще открыть нам свои страницы — страницы истории более чем трехтысячелетней давности. Вот эпоха блестящего расцвета этой цивилизации — Львиные ворота Микен, тиринфский замок-крепость, дворец Нестора в Пилосе. И вот наконец потрясающее зрелище ее гибели — Микенский акрополь, каким он предстал передо мною теперь: лысый холм, безлюдье, ветер, перезвон овечьих бубенцов в горах.

Ощутимо убеждаешься, даже видишь, как на смену этой погибшей цивилиза-

ции приходит новая, то есть «классическая» эллинская цивилизация. Наблюдаешь почти все этапы ее развития. Ведь она не только была бесспорной основой и источником цивилизации современной, но и оставалась живой, оплодотворяла нашу цивилизацию по крайней мере вплоть до конца прошлого столетия. И вот здесь, в Греции, наблюдаешь и развитие и постепенное вырождение ее «классических» канонів.

И в той же Греции — на сей раз я имею в виду главным образом Афины — скачок в цивилизацию европейскую, причем на ее ультрасовременном этапе. В этом своеобразии нынешней Греции и ее отличие от других стран античной культуры и прежде всего от Италии. В Италии не испытываешь ощущения подобного скачка, подобной резкости перехода, ибо там ясно видны все «промежуточные звенья», там убожество современного этапа буржуазной культуры скрадывается, «спасено» великими памятниками эпохи ее становления. В Афинах же нет ни средневековья, ни Возрождения, ни даже «нового времени» — одна лишь современность! И так как современная буржуазная «цивилизация» представлена здесь эпигонски и провинциально, то невольно именно здесь, в Афинах, встает вопрос: а не зрелище ли это вырождения и современной, то есть так называемой «западной цивилизации»?

Вот на какие размышления навело меня путешествие в Грецию. Однако, говоря — и уже не в первый раз — о великих исторических цивилизациях или, как сейчас, о зрелище их гибели, я, признаюсь откровенно, несколько обеспокоен. Поймут ли меня правильно? Могу ли я пользоваться таким понятием, как «цивилизация», рассуждать о смене и гибели цивилизаций да еще рассматривать в подобном аспекте историю древней Греции? Не обвинят ли меня в страшной ереси, ереси шпенглеризма и тойнбизма?

Дело в том, что концепция всемирной истории как истории сменяющихся друг друга великих культур или цивилизаций, концепция, идущая, как известно, от Шпенглера и Тойнби, является в наше время на Западе весьма распространенной, быть может, даже господствующей точкой зрения. Возникла целая школа последователей этой точки зрения, насчитывающая многочисленных представителей в различных странах «западного мира». Создано — и совсем недавно — «Интернациональное общество сравнительного изучения цивилизаций» («International Society for the comparative study of Civilisations»), которое в октябре истекшего года провело в Зальцбурге широко разрекламированный конгресс. Любопытно отметить, что президентом этого общества является небезызвестный в свое время в нашей стране Питирим Сорокин, белоэмигрант, состоящий ныне профессором Гарвардского университета.

Я имел возможность ознакомиться с некоторыми программными документами общества. Они представляли в одном отношении бесспорный интерес. В этих документах изложены не только общие принципиальные установки, определяющие задачи названного общества, но и отражены — довольно ярко и недвусмысленно — чаяния, запросы, опасения гораздо более широких кругов «западной» интеллигенции. Так что есть смысл остановиться на этих документах несколько подробнее.

В одном из таких программных документов, подписанном генеральным секретарем общества профессором О. Ф. Андерле, говорится, что время, в которое мы живем, ставит задачи, грозящие взорвать существующие рамки наук. Для решения этих задач уже оказываются недостаточными традиционные методы и приемы. Так, например, история, бывшая когда-то преимущественно наукой о прошлом, ныне, включая в себя современность, обращена в значительной мере к будущему. Историк ныне должен дать ответ не только на вопросы сегодняшнего дня, но и на вопросы, относящиеся к завтра и послезавтра.

Это обстоятельство обязывает историков, занимавшихся до сих пор, как правило, исследованием сугубо частных и специальных проблем, обратиться к изучению крупных комплексных явлений истории. Под знаком этих требований эпохи социальные и исторические науки все в большей и большей степени ставят в



центр своего внимания проблематику великих цивилизаций. Понятие цивилизации всеобъемлюще; оно выступает сегодня как важнейшее понятие всемирно-исторической системы координат, а изучение, описание и толкование специфических черт цивилизаций — как важнейшая задача гуманитарных наук.

Мы, как представители западного мира, говорится далее в программном документе, считаем себя творцами и носителями одной из таких великих цивилизаций. Глубочайшим образом обеспокоенные событиями, которые воспринимаются нами как симптомы ее кризиса, мы все же надеемся, что глубокое научное проникновение в сущность феномена цивилизаций поможет получить ответ на один из самых мучительных и фатальных вопросов жизни нашего поколения. Мы хотим знать, что нас ожидает и что мы должны делать, дабы преодолеть кризис и ввести корабль нашей культуры, нашей цивилизации в более безопасные воды.

В свете этих задач необходимо международное сотрудничество, совместные усилия и коллективная работа ученых, как это давно и с успехом практикуется в области естественных наук. Создание «Интернационального общества сравнительного изучения цивилизаций» и должно решить эту задачу.

Таково содержание одного из программных документов общества. Мне представляется, однако, что основная цель общества изложена в данном документе — и, очевидно, не без умысла — недостаточно четко. Если здесь открыто и прямо говорится о тревоге за судьбы «западной цивилизации», то уже гораздо менее определенно ставится вопрос о формах, методах и «инструментах» ее спасения. А сейчас вся «позитивная ценность» проблемы — именно в этом. И вот инициаторы создания общества и созыва зальцбургского конгресса из скромности — а быть может, и из иных соображений — умалчивают о том, что этими своими действиями они пытаются подготовить один из таких «инструментов» спасения гибнущей буржуазной цивилизации.

Я всерьезу на себя смелость высказаться по поводу невысказанной, но истинной цели создания «Общества сравнительного изучения цивилизаций» и организованного им конгресса. Эта цель, на мой взгляд, состоит в утверждении и пропаганде некоей универсальной идеологической системы. Потребность в подобной «системе» давно — и очень настойчиво — подчеркивается многими видными буржуазными философами и социологами, а ее отсутствие расценивается как наиболее уязвимое место, как ахиллесова пята западной цивилизации перед лицом «мирового коммунизма». Таким образом, речь по существу идет об историко-философской (или, как принято теперь иногда говорить, историсофской) концепции, которая могла бы противостоять — причем противостоять активно и даже наступательно — марксистско-ленинскому учению об обществе, марксистско-ленинской теории в целом. Вот она — истинная цель новосозданного международного общества, президентом которого оказался Питирим Сорокин.

Но что же это за идеологическая система, которую так срочно пытается взять на вооружение буржуазная наука? Существует ли она уже в готовом виде и дело только в ее пропаганде и распространении или ее следует создавать заново? Для ответа на этот вопрос нам придется вернуться к проблеме «великих цивилизаций», к именам Шпенглера и Тойнби, а заодно и к вопросу, затронутому выше, — о праве советского историка-марксиста обращаться к такому понятию, как «цивилизация».

Да, подобная «универсальная система» существует. Во всяком случае в своих основных чертах. И история ее создания такова.

Еще после первой мировой войны Шпенглер в своем пресловутом «*eroschenschendes Werk*»<sup>1</sup>, где впервые полным голосом был предвозвещен закат «западного мира», дал экспрессионистскими мазками набросок широкой картины истории человечества, как картины вырастающих над и рядом друг с другом великих цивилизаций. Эти цивилизации рассматривались им в качестве неких одушевленных сущностей, представляющих собой «*die Urphänomene*» («прафено-

<sup>1</sup> «Эпохальным трудом» буржуазные социологи именовали «Закат Европы» О. Шпенглера.

мены») истории. Данная идея, как показал ход дальнейшего развития исторической науки на Западе, была воспринята как чрезвычайно «плодотворная». Но все же пока это была лишь идея, «аспект», отнюдь не «система».

Сам Шпенглер вскоре оказался весьма скомпрометированным благодаря стараниям идеологов немецкого фашизма и расизма поднять его имя на щит. Но и помимо этого «интуитивный метод» Шпенглера, его «априоризм», его профетическая непоследовательность едва ли могли импонировать широким кругам западной интеллигенции и «полуинтеллигенции», то есть так называемым «средним слоям», роль которых в духовной жизни современного буржуазного общества гораздо более велика, чем мы обычно предполагаем: они в значительной мере определяют то, что может быть названо «состоянием умов» на Западе. Вероятно, именно потому за Шпенглером утвердилась сомнительная слава философа-иерофанта, философа-жреца.

Но «средние слои» в наше время — во всяком случае если иметь в виду какую-то равнодействующую их духовных запросов — настроены и меркантилистически и рационалистически. Даже религиозные верования, даже пророческие озарения и предвидения должны в наше время выглядеть по возможности научно-образно, причем по образу и подобию так называемых точных или — на худой конец — естественных наук. Поэтому для превращения «плодотворной» идеи Шпенглера в широкоразработанную и научнообразную систему потребовались определенные условия, потребовался, в частности, «трезвый британский эмпиризм» — задача, выполнение которой взял на себя английский историк и бывший директор (в течение ряда лет) королевского Института международных отношений профессор Арнольд Тойнби.

Пожалуй, ни один представитель той отрасли науки, которую мы именуем историей, с момента ее зарождения (то есть с Геродота) и до наших дней не пользовался такой славой и признанием, не заслуживал таких восторженных оценок, как Тойнби. Если расположить бесчисленные отзывы его почитателей (а иногда и критиков) по какой-то шкале в восходящем порядке, то, вероятно, самым скромным будет тот, который квалифицирует историческое учение Тойнби как «наиболее выдающуюся концепцию нашего времени» (И. Фогт). Известный американский социолог Л. Мэмфорд, вообще говоря, критикующий ряд основных положений Тойнби, тем не менее считает, что им «после долгого перерыва создан философский синтез, который по своему значению может быть сопоставлен лишь с трудами Аристотеля и Фомы Аквинского». Но и этого еще мало! Тойнби сопоставляют также с Коперником, Ньютоном, Дарвином, а «сравнительный метод исследования», введенный им в историческую науку, — с открытием квантовой механики. В особую заслугу ставится Тойнби то, что он якобы покончил с идеей «континуального», то есть непрерывного (и прогрессивного) развития человечества, «доказав», что это развитие осуществляется путем прерывных квантообразных толчков энергии. В этом смысле законы, которые действуют в человеческом обществе, пытаются сблизить — это ведь и модно и научно! — с законами, действующими внутри атома. Вот каков он, переворот в исторической науке, произведенный Тойнби!

Основной труд Арнольда Тойнби «A Study of History» («Исследование истории») состоит из двенадцати внушительных томов, содержащих более семи тысяч страниц текста. Шесть первых томов вышли в свет до второй мировой войны, остальные — после нее. Один из последователей Тойнби — Сомервелл — с согласия и одобрения своего учителя выпустил сокращенное (в двух томах) изложение этого труда. Изложение Сомервелла, к удивлению самих издателей, оказалось одним из самых бойких бестселлеров и разошлось в сотнях тысяч экземпляров как в Европе, так и в Америке. Рядовой читатель на Западе, представитель «средних слоев» населения, вотирует таким образом свое признание Тойнби. Это признание, сочетавшееся, как обычно, с шумной рекламой, и принесло последнему мировую славу.

Так что же это наконец за учение, что за «универсальная система», на которую возлагается столько разнообразных надежд и упований? Как она выглядит хотя бы в самых общих чертах?

В основе исторической концепции Тойнби лежит понятие «общества» или «цивилизации». Общество, которое, с одной стороны, является «сферой взаимодействия отдельных индивидуумов», а с другой — эквивалентом «цивилизации» (между этими понятиями Тойнби решительно ставит знак равенства), есть наименьшая историческая единица, доступная для изучения (*intelligible field of study*). История человечества — история ряда цивилизаций. Тойнби насчитывает всего двадцать одну цивилизацию (у Шпенглера их было только восемь), кроме «неудавшихся» или — как он их называет — абортивных и окаменевших. Итак, нет единой истории человечества, есть плюралистическая история отдельных цивилизаций.

Эти отдельные цивилизации отнюдь не располагаются по единой и последовательно восходящей линии. Данное утверждение Тойнби вызывает, кстати сказать, особый восторг его почитателей. Они считают — как, например, Р. Кайуа, — что таким путем Тойнби «счастливо кладет конец гегелевской наивности, то есть идее линейного развития истории, а следовательно (!), и неотвратимости рока». Далее из учения Тойнби вытекает, что цивилизации — поскольку они не расположены по единой линии — могут лишь «соприкасаться» во времени или в пространстве. Только этим и обусловлена преемственность в развитии мировой культуры. Сущность же каждой цивилизации глубоко специфична и совершенно несхожа со всеми остальными. Подводя итог этим своим рассуждениям, Тойнби говорит: «Вместо схемы истории в виде ствола я решил изобразить ее в виде дерева, на котором цивилизации вырастают подобно ветвям, рядом друг с другом».

Но если отдельные цивилизации по самой своей сущности глубоко различны, то все же есть нечто, что их роднит и придает им общие черты, подобно тому как этими общими чертами обладают виды в естественных науках. Поскольку все человеческие цивилизации существуют в общей сложности всего пять-шесть тысяч лет и поскольку этот исторический срок ничтожно мал (около двух процентов) по сравнению со временем существования человечества на земле (Тойнби считает — около трехсот тысяч лет) и совсем уже является мимолетным мгновением в соотношении с теми двумя миллиардами лет, которые (по вычислениям Джинса) суждено прожить человеческому роду, то нет никакого смысла размещать известные нам цивилизации по какой-то последовательно восходящей линии; гораздо правильнее признать их одновременными и равноценными. «Поэтому мы можем утверждать, — пишет Тойнби, — что наша 21 цивилизация предположительно является в философском смысле современной и эквивалентной».

Подобный подход к проблематике цивилизаций делает возможным использование сравнительного метода изучения. А использование сравнительного метода позволяет в свою очередь установить и вывести эмпирическим путем некие общие законы, обязательные для всех цивилизаций, несмотря на их специфику. Причем знание этих законов помогает не только понять прошлое, но и предвидеть будущее тех цивилизаций, которые еще не завершили своего «жизненного пути».

Тойнби устанавливает следующие непреложные стадии внутреннего развития каждой цивилизации: зарождение, рост, надлом (*breakdown*), разложение и гибель. Понятие прогресса иллюзорно: различные цивилизации в своем круговороте бесконечно повторяют друг друга, причем каждая из них проходит за время своего жизненного пути через все упомянутые стадии. В наше время сохранились и существуют всего лишь пять цивилизаций: дальневосточная, индийская, ислам, восточнохристианская (с ее «русской ветвью») и западнохристианская. Четыре первых уже прошли через свой брейкдаун и, следовательно, находятся на ущербе, и только последняя, то есть западнохристианская, сохранила, по выражению Тойнби, «божественную искру творческой силы».

Каковы же движущие силы внутреннего развития той или иной цивилизации? Этот важнейший для каждого историка вопрос решается довольно своеобразно.

Тойнби считает, что силы, определяющие зарождение, рост и гибель обществ-цивилизаций, отнюдь «не детерминированы имманентными законами развития», но зависят от самой человеческой деятельности. «Человек, — пишет Тойнби, — не может жить вне общества, но историю творит не общество, а индивидуальность». Это положение Тойнби также с особым удовлетворением принимается буржуазными историками и социологами. Таким образом — уверяют они — человек провозглашается «делателем» своей судьбы (*fabrum esse quaeque fortunae*), человек признается одновременно и субъектом и объектом истории!

История обществ-цивилизаций в изображении Тойнби развивается по схеме: вызов — ответ (*challenge — response*). Вызов «бросается» тому или иному обществу внешней средой. внешними условиями, будь то природные условия, или давление соседних народов, или воздействие предшествующей цивилизации. Общество должно найти ответ на брошенный ему вызов. Но этот ответ находит отнюдь не общество в целом, а лишь его отдельные, наиболее выдающиеся представители, «творческое меньшинство», которое обладает «жизненной силой» (*élan vital* — понятие, идущее еще от Бергсона) и которое потому может вести за собой «инертное большинство», находящееся на весьма низком уровне развития. Это «инертное большинство» трактуется Тойнби весьма презрительно; оно способно лишь к *mimesis*, то есть к подражанию, что является «одним из наименее возвышенных свойств человеческой природы».

Пока большинство, массы добровольно следуют за «творческим меньшинством», в обществе царит гармония. Но в какой-то момент происходит трагическая ошибка: «творческое меньшинство» дает неправильный ответ на особо важный вызов. В результате наступает брейкдаун, надлом. Брейкдаун вызывается сугубо внутренними причинами и, вообще говоря, вовсе не обязателен. Это ошибка, которая совершена свободными в своем выборе людьми. Однако все существовавшие до сих пор цивилизации прошли через этот надлом.

При брейкдауне гармония общества нарушается. «творческое меньшинство» вынуждено прибегнуть к силе. Начинается длительный период разложения. Его характеризуют смуты, внешние и внутренние, то есть гражданские войны, революции. Это не означает, что общество на данной ступени развития уже не способно переживать отдельные моменты подъема, даже процветания, но оно обречено, оно, в конечном счете, неуклонно движется к своей гибели. Создается «внутренний пролетариат». Под этим термином Тойнби — весьма своеобразно — rozumeeт те «социальные элементы или группы, которые пребывают в данном обществе и вместе с тем как бы вне его», — другими словами, всех тех, кто лишь «физически» включен в общество, но не является его равноправным членом, кто состоит в оппозиции к «творческому меньшинству». Это последнее вынуждено перейти к политике насилия и вовне, то есть по отношению к странам и народам, находящимся в сфере влияния — или, как говорит Тойнби, радиации — данного общества. В результате возникает «внешний пролетариат», который уже начинает угрожать самому существованию цивилизации.

Весь этот длительный период смут и потрясений приводит в итоге к тому, что появляется некий завоеватель, покоряющий силой оружия все страны и народы, включенные в сферу воздействия данной цивилизации. Он основывает «универсальное государство». Пролетариат же (сначала «внутренний», а затем и «внешний») создает «универсальную церковь», которая приходит на смену «универсальному государству». Эта «универсальная церковь» — и только она! — оказывается преемницей культурного наследия умирающей цивилизации и вместе с тем посредствующим звеном между нею и цивилизацией последующей («дочерней»).

Такова в основных своих чертах концепция всемирной истории Тойнби или та «универсальная» идеологическая система, на долю которой в «западном мире» выпал столь шумный успех и признание. Мне кажется, что советскому историку, да и вообще любому советскому читателю не так легко будет понять истинные причины этого успеха. Чем в самом деле объяснить, что изложенная выше схема могла с такой завидной легкостью завоевать умы «западной» интеллиген-

ции, чем объяснить столь неумеренные и небывало пышные славословия по адресу ее создателя? Попытаемся ответить на этот вопрос.

Историк — даже если он стоит на совсем иных, диаметрально противоположных позициях — не должен отмахиваться от этой концепции похода. Огромный исторический труд Тойнби написан в некоторых своих разделах с подлинным вдохновением. Не случайно один из самых решительных его критиков признает, что Тойнби «написал удивительную поэму-мистерию, в которой выступает огромное число действующих лиц — бог и сатана, Христос и святые, боги и божки всех религий, герои и сверхчеловеки всех времен и народов и еще какие-то странные символические фигуры во вкусе второй части «Фауста» Гёте». Причем эта «удивительная поэма-мистерия» — добавим уже от себя — обильно уснащена примерами «потрясающей» эрудиции, наукообразными выводами и максимами «трезвого британского эмпиризма», что, как уже было отмечено выше, не может не импонировать определенному — и довольно широкому — кругу читателей. Тойнби безусловно выступает против агностицизма в истории, он признает закономерности общественного развития, он ищет и «открывает» их, разумеется, в духе своих общих воззрений. Интересно и то, что Тойнби как будто решительно ополчается против европоцентристских установок. Он называет их «проявлением эгоцентризма и провинциализма» в исторической науке, он восстает против «иллюзии неизменности Востока». И наконец Тойнби — ярый враг расизма, чистота рас, с его точки зрения, «вздорный миф».

Но этим, пожалуй, и исчерпываются привлекательные черты концепции Тойнби. Более того, некоторые из них на поверку оказываются лишь декларативными утверждениями. В целом же всемирно-историческая концепция Тойнби глубоко несостоятельна.

Едва ли есть смысл подробно распространяться на тему о том, что она представляет собой насквозь идеалистическое построение. Недаром Ж. Мадоль, один из критиков Тойнби, подчеркивает, что в его концепции «биологизм сочетается с идеализмом, даже с мистикой», а Л. Мэмфорд основным пороком историко-философских воззрений Тойнби считает дуализм: противопоставление мира физического миру духовному (без сомнения, в пользу последнего!). Все это настолько очевидно, настолько «органично» и закономерно, что это скорее «не порок, а несчастье», и упрекать Тойнби в идеализме почти так же бессмысленно, как упрекать его в том, что он англичанин, а скажем, не француз. Но дело даже не в упреках подобного рода! Если на одно мгновение принять «систему» Тойнби как таковую — с ее «аппаратом», ее фразеологией. — то и в этом случае она оказывается весьма уязвимой, причем в своих основных, опорных пунктах.

Прежде всего это лишь квазиконцепция всемирной истории. Несмотря на то, что Тойнби говорит о двадцать одной мировой цивилизации, что он утверждает их эквивалентность и равноценность, что он на словах ополчается против европоцентризма, его концепция на деле есть не что иное, как концепция или схема истории «западного мира». И если под все его рассуждения о брейкдауне, о внутреннем и внешнем «пролетариате», об универсальном государстве и сменяющей его универсальной церкви как-то можно еще «подогнать» историю Западной Европы, то есть смену «эллинской» (греко-римской) цивилизации цивилизацией «западнохристианской», то уж никак не историю Индии, Китая, Египта и т. п. История этих стран, этих обществ просто-напросто не укладывается в схему Тойнби.

Эта «приспособленность» концепции Тойнби к истории античного мира и зарождению христианской церкви давно уже была отмечена некоторыми из его критиков. Да и сам Тойнби довольно откровенно объявляет «эллинскую» цивилизацию «образцом для сравнения» со всеми остальными. Вот, кстати говоря, почему в результате своей поездки в Грецию я и вспомнил — вовсе не случайно — о «цивилизациях» как таковых и о концепции Тойнби в частности. Но это лишь означает, что Тойнби — хоть он и предал европоцентризм анафеме — по существу оказывается вполне последовательным европоцентристом и (говоря его же слова-

ми) «провинциальным» историком, а его всемирно-историческая концепция — ловко закамуфлированной схемой все той же западноевропейской истории.

И наконец внутренняя несостоятельность концепции Тойнби заключается в том, что она представляет собой учение, в котором почти начисто отсутствуют какие-либо творчески-гносеологические моменты. Это учение можно принимать, скорее в него можно верить, но бесспорно одно: это учение ничего не доказывает и ничего не объясняет. Что является причиной зарождения первоначальных цивилизаций? Почему наступает (или не наступает) брейкдаун? Что такое *élan vital* творческого меньшинства? Чем обусловлен круговорот и смена цивилизаций? Ни на один из этих вопросов Тойнби не дает вразумительного ответа, и в конечном счете зарождение цивилизаций, явление брейкдауна, *élan vital* и пр. — все это рассматривается как некое чудо, как «чудо, путем которого Жизнь (Тойнби любит писать слова с заглавной буквы. — С. У.) входит в свое царство» или как «движение от Бога — своего источника, к Богу — своей цели». Поэтому в смысле научно-познавательного значения концепция Тойнби для меня в лучшем случае равноценна давно известной схеме истории человечества, с которой ее и закономерно сопоставить: каменный век — бронзовый век — железный век. Эта последняя лишь констатирует (и, кстати сказать, более правильно) определенные этапы в развитии человеческого общества, но по существу — как и концепция Тойнби — абсолютно ничего не объясняет.

Мне кажется, что сам Тойнби сознает эту роковую слабость созданной им историософской «системы», ибо ищет выхода и «объяснения» там, где их обычно ищут все те, кто ощущает свою внутреннюю несостоятельность, — в религии, в боге. Но тут уж едва ли есть смысл и спорить! Сошлось лучше на остроумное замечание Мэмфорда по поводу роли религии и церкви в «Исследовании истории»: «Не воздвиг ли Тойнби эту колоссальную историческую пирамиду угрожающих размеров ради того, чтобы лучше спрятать в ее наиболее укромном помещении архаическую мумию, которая, однако, едва ли способна воскреснуть, как этого требует его диагноз?» Некоторые другие критики Тойнби считают, что «колоссальная историческая пирамида» является как бы «библией от Тойнби», причем первые шесть томов «Исследования истории» соответствуют ветхому завету, а последующие — евангелию. Сам же Тойнби — новоявленный мессия, основатель и провозвестник новой религии или, вернее, церкви. И как знать, если для нас, марксистски мыслящих историков, в этом состоит основное и наиболее наглядное доказательство внутренней слабости всей «системы» Тойнби, то быть может, в этом же секрет ее феноменального успеха на Западе! Ибо она, эта «система», представляет собой не что иное, как своеобразную — и к тому же наукообразную — религиозную доктрину.

В заключение еще один вопрос, из-за которого, собственно говоря, и было начато все это не в меру затянувшееся рассуждение. Имеет ли право историк-марксист оперировать понятием «цивилизация»? Приемлемо ли оно для нас? Имел ли право, в частности, я, подводя итоги своей поездки в Грецию, говорить о зрелище смены цивилизаций?

Безусловно, да! Зачем, во имя чего отказываться от столь давно известного и устоявшегося понятия? Кстати, им достаточно широко пользовались классики марксизма-ленинизма. Но, конечно, они вкладывали в это понятие совсем иной смысл и содержание, чем Шпенглер или Тойнби.

Я думаю, что правильное решение вопроса заключается в следующем. Мы не должны чураться понятия «цивилизация», но и не должны его абсолютизировать. Это понятие не должно выходить за рамки представления о том или ином историко-культурном комплексе или, говоря иными словами, о степени развития материальной культуры и духовной жизни данного общества.

«Цивилизация» — отнюдь не генерализующее, не мировоззренческое понятие. Таковым является для нас понятие социально-экономической формации. Оно лежит в основе наших взглядов, наших представлений о закономерностях общественного развития. Кстати сказать, понятие социально-экономической формации

конструируется — этого не отрицают даже те, кто его в принципе не приемлет — как понятие гносеологическое и «объясняющее».

Каково же соотношение между двумя названными понятиями? «Цивилизация» — понятие частное, подчиненное. Соотношение же между «формацией» и «цивилизацией» есть соотношение между аргументом и его функцией. Эта зависимость сохраняется и в том случае, когда мы говорим о смене ряда цивилизаций в пределах одной социально-экономической формации и когда мы имеем в виду «растянутость» той или иной цивилизации (например, «европейской») на несколько формаций. Только при соблюдении этого условия возможна правильная оценка исторической роли «великих цивилизаций». И только в этом смысле я говорил об ахейской, эллинской и европейской цивилизациях, о зрелище их смены и гибели, — зрелище, которое столь ярко открылось передо мной в Греции.

Ну что же, мое путешествие теперь действительно окончено. Оно окончено вторично, ибо я снова пережил его, приводя хоть в какой-то относительный порядок те мысли и впечатления, которые были навеяны поездкой и которыми мне хотелось поделиться с моим читателем.

Каков же итог всех этих наблюдений?

Я уже не раз говорил о том, что наибольшее впечатление произвела на меня картина смены цивилизаций. Я разъяснил свое отношение к понятию цивилизации в отличие от того значения, которое ему придается в «историософской» концепции Тойнби. Но из увиденного мною и поразившего меня зрелища можно сделать один существенный вывод: оно учит нас, вооруженных тысячелетним опытом истории далеких потомков, что путь, пройденный человечеством за эти тысячелетия, как бы он ни был тяжел, прихотлив и извилист, — отнюдь не замкнутый и бесцельный круговорот обреченных на гибель цивилизаций (делающий, как полагает Тойнби, иллюзорным само понятие прогресса), а именно непрерывный путь человеческого развития — от начальных, примитивных форм общественного бытия к самому высокому и справедливому устройству общества. Таков итог мыслей и впечатлений, почерпнутых в поездках по Греции.

Апрель—май 1962 года.



---

---

# ШУБАИЩИСТИКА

В. СМОЛЯНСКИЙ

*Комментатор агентства печати Новости*

★

## МИФЫ АНТИКОММУНИЗМА

**У**тобы увидеть звезды, надо открыть глаза»,— гласит восточная мудрость. Ею долгое время пренебрегали многие идеологи Запада. Они старались не замечать нового мира. Жизнь, однако, не раз заставляла их открывать глаза и— хочешь не хочешь— видеть свет восходящей звезды коммунизма.

«Мы давали неправильную оценку почти каждому значительному событию в СССР со времен большевистской революции,— говорит Фред Уорнер Нил, бывший советник государственного департамента США по советским делам, а ныне лектор по международным отношениям в высшей школе в Клермонте.— Мы не сумели предусмотреть революцию, мы не предполагали, что она может завершиться успехом, нам казалось, что социализм не выживет, а он выжил; нам казалось, что не придется признавать государство Советов. Когда началось немецкое нашествие, нам казалось, что русские смогут продержаться не более шести недель, а они выиграли войну; нам казалось, что у русских нет знаний, чтобы построить летающие снаряды...»

XXII съезд нашей партии, принятая им программа великого созидания вызвали трезвые размышления даже у тех, кто зарекомендовал себя недругами Советского Союза. Даже такой злопыхатель, как английский романист Крэнкшоу, набивший себе руку на антикоммунизме, и тот с горечью признавал, что новая Программа КПСС «может зажечь народное воображение и мобилизовать силу советского общества, в этом нельзя сомневаться. Несомненно и то, что государственные деятели Запада не предлагают своим народам никакой перспективы на будущее, которая могла бы сравниться по своей привлекательности».

Миллионы людей на Западе и на Востоке с интересом восприняли нашу конкретную программу строительства коммунизма. С особой пристальностью вглядываются они в те элементы коммунистического завтра, которые уже сегодня все больше входят в нашу жизнь, в наш советский быт. И это признает буржуазная пресса.

«Есть ряд специальных пунктов,— сообщает «Таймс»,— за которыми внешний мир будет следить с особым вниманием. Это, во-первых, заявление о том, что в один прекрасный день коммунальные услуги станут бесплатными... То, как будет в конце концов действовать бесплатный городской транспорт и как будут оказываться бесплатные коммунальные услуги, будет изучаться повсюду». Таковы типичные разговоры вокруг и по поводу Программы КПСС. И они— это совершенно очевидно— выдают смятение наших идейных противников. Теперь эти господа вынуждены все больше признавать реальные факты социалистического образа жизни, успехи нашего роста. Но при этом они поступают точно так же, как пресловутый иностранный профессор-экономист у Ильфа и Петрова. Тот на двухстах страницах своего «исследования» доказывал, что коммунисты непременно реализуют свои планы и Советский Союз станет одной из самых мощных индустриальных стран, а на двести первой странице заявил, что именно по этой причине Страну Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу.



Логика этого профессора ничем не отличается от логики тех, кто ныне обсуждает проблемы современного коммунизма на многочисленных конференциях, коллоквиумах и симпозиумах, организуемых «специалистами по России» в Нью-Йорке, Париже, Бонне, Риме, Токио. Примерно в том же духе шло в конце прошлого года обсуждение на семинаре «Коммунистическая система сегодня», созданном в Западной Германии объединением «Тенишштейнер крайз» (кстати, эта организация — детище федерального объединения немецкой промышленности и официально призвана «создать мост между экономикой и наукой»).

Ход и исход этого семинара отражают выступления «экспертов» из ФРГ, Англии, Франции и Швейцарии, а также доклад «Государство, партия и общество в Советском Союзе», сделанный профессором Борнсом Мейснером — руководителем семинара по вопросам политики, общественного строя и права при Кильском университете и председателем правления федерального института по исследованию марксизма-ленинизма в Кёльне. Подобно своим заокеанским коллегам, Мейснер призывает к усилению подрывной деятельности против стран социалистического лагеря, требует расширить антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду.

На Западе вновь воскрешаются трупы политических мертвецов, приводятся в боевую готовность все звенья «Содружества Марфы и Марии»<sup>1</sup>. На сцене снова появляется Наум Ясный — бывший комиссар Временного правительства по вопросам продовольствия. Он исчез с арены политической жизни нашей страны в тот самый момент, когда незадачливый Керенский бежал от справедливого гнева революционного народа. Ясный нашел прибежище за океаном. Теперь «Юнайтед стейтс нью энд уорлд рипорт» и другие органы американской прессы подают его как специалиста «мирового значения» по экономике СССР. Он проричает: «Новый двадцатилетний план знаменует поворот к нереалистичности в планировании...» Ему вторят солидные журналы университетов и институтов по «изучению России» и тощие, но богато иллюстрированные антисоветские боевики, рассчитанные на массового потребителя.

### БЕСПЛАТНОСТЬ — БЛАГО ИЛИ «ПОРАБОЩЕНИЕ»

Недавно в Вашингтоне на одном званом обеде известный ультраконсервативный конгрессмен так усердно метал громы и молнии в адрес американских коммунистов и взывал о помощи против «красной опасности», что шокировал даже собравшееся общество. Заметив на лицах некоторых гостей раздражение, присутствовавший там старый дипломат из одной европейской страны, как рассказывает об этом на страницах «Сатэрдей ивнинг пост» сенатор М. Янг, наклонился к нему и сказал: «В вас, американцах, меня всегда поражает одна вещь. Вас душат ночные кошмары при мысли о коммунистических демонах... Однако,— продолжал он,— вот уже много лет американские фашисты растут с угрожающей быстротой, и это, как видно, менее всего беспокоит конгрессменов». Замечание дипломата, заключает Янг, было более чем справедливо.

Разумеется, ни г-н Янг, ни его западноевропейский коллега отнюдь не приверженцы каких-либо «левых», а тем более коммунистических идей. Нет, они вполне добропорядочные буржуа. И разумеется, для сенатора Янга опасность «слева» куда более страшна, чем реальная угроза «справа». Он горячо отстаивает «свободу выбора» между капиталистической золотой серединой — обычным состоянием эксплуатации наемного труда, хронической безработицей, традиционными институтами буржуазной псевдомократии и сверхскоростной, прямо-таки космической гонкой вооружений, еще более резким затягиванием налогового пресса трудящихся. Но только такого выбора.

У либерального буржуа появляется краска стыда, когда «экстраправые» (в Европе их называют «ультра» и фашистами, поясняет он) пытаются начисто уничтожить гражданские свободы, когда они обвиняют в коммунизме всякого, кто не согласен с их

<sup>1</sup> Религиозная белоэмигрантская организация, действующая в Париже и других западноевропейских городах.

меркой американизма, «возбуждают недовольство против участия в Организации Объединенных Наций» и носят инородцев и малые американские народности.

И он торопится, пожуриив экстраправых шалунов, поднять на шит хваленые Добраго Старого Времени традиции (имея в виду отнюдь не революционные) «американского образа жизни», «чтобы противостоять коммунистическим демонам». Ибо — слушайте, слушайте! — огромная опасность, — сообщает г-н Янг, — возникает сегодня из того факта, что миллионы честных американцев считают своим долгом разбираться в сложных проблемах, которые стоят перед нацией в наш век быстрых перемен и социальных преобразований».

Вот она, угроза: миллионы людей хотят разобраться в причинах пороков сходящей с исторической арены социальной системы. Поэтому, ради бога, не допускайте крайностей, не отталкивайте массы, просит трезвый мистер Янг, желающий во что бы то ни стало продлить время, отведенное капитализму.

Мы рассказываем о г-не Янге и его взглядах потому, что это тот социальный тип западного мира, с позиций которого наступают на Программу КПСС силы антикоммунизма.

Что же за «ночные кошмары» мучают господ конгрессменов и иже с ними? Ответ ясен: успехи социализма — политические, хозяйственные, культурные, его поступь, реальность того близкого будущего, которое начертано в новой Программе КПСС. И чтобы как-то спасти своих душеприказчиков и самих себя от «кошмаров», люди типа г-на Янга призывают всячески отстаивать «свободу выбора» в ее капиталистическом варианте.

Западного обывателя обычно запугивают тем, что коммунизм, мол, лишает человека «свободы потребительского выбора», что в СССР неизбежно уничтожение такой свободы в результате роста общественных фондов и введения бесплатного распределения ряда благ к концу второго десятилетия. Этому посвящены бесчисленные статьи и научные труды. Много написал на эту тему г-н Альфред Сови, профессор Сорбонны. А во французском журнале «Сервис дирексьон» он опубликовал статью «На Востоке есть перемены» специально для руководящих деятелей экономики западных стран.

Какова же логика антикоммунистических критиков? Вначале они признают — правда, сквозь зубы, — что цели новой программы русских коммунистов, «может быть, несколько оптимистичны, но они отнюдь не являются невыполнимыми». Затем начинается скепсис: «Допустим, что эти предсказания правильны, тогда возникает другой интересный вопрос: ознакомились ли с мнением граждан. Конечно, нет, и следовательно, мы уже наталкиваемся на первый неприглядный аспект — то есть выбор делается в верхах, а отдельным лицам предоставляется лишь следовать ему».

Но уже эта первая посылка не выдерживает столкновения с фактами. В нашей стране состоялось более пятисот тысяч собраний трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях, в воинских частях, профсоюзных и комсомольских организациях, на которых обсуждался проект Программы. В них участвовало около семидесяти трех миллионов человек. Выступило на партийных собраниях, конференциях, съездах компартий союзных республик и на собраниях трудящихся более четырех с половиной миллионов человек. Кроме того, в ЦК КПСС, в местные партийные органы, в редакции газет, журналов, радио и телевидения поступило более трехсот тысяч писем и статей, многие из которых были опубликованы, в чем честные критики без труда могли убедиться, перелистав нашу прессу за месяцы обсуждения.

«...Никакая статистика, — сказал Н. С. Хрушев, — не в состоянии дать точного числа участников обсуждения. Ведь обсуждение составляло содержание идейной жизни страны и велось в самых разнообразных формах: на собраниях коллективов заводов, фабрик, совхозов и колхозов, учреждений, институтов, школ и в задумчивых беседах на работе и дома. Можно без преувеличения сказать: проект Программы обсужден всем народом, воспринят народом как его собственная программа, как дело его жизни».

Пойдем, однако, дальше. В Программе говорится, что через двадцать лет будет обеспечена бесплатность не только в области образования и здравоохранения, но также коммунальных услуг, транспорта и частично питания. Что же говорят буржуазные критики по этому поводу?

Вот их вторая посылка: если каждый склонен ответить утвердительно на вопрос: «Является ли бесплатность благом?», то это потому, что положительная сторона вопроса — явная, а отрицательная — не явная. Лучше ли иметь бесплатные продукты и услуги или же получать деньги, чтобы покупать то, что хочешь? В этом, по словам профессора Сови и других, и заключается суть вопроса. Они утверждают, что, за исключением некоторых коммунальных услуг, бесплатность неизбежно уничтожает возможность выбора и предусматривает нормирование в той или иной форме. «Бесплатность — это порабощение, конечно, приличное, комфортабельное, но тем не менее отмеченное отсутствием свободы, то, что называется «с квартирой, столом и услугами» и не представляется как идеальная цель».

Но и этот аргумент совершенно несостоятелен. Ведь идеалом коммунизма никогда не было одно лишь простое удовлетворение материальных потребностей человека. Главное — создать такие условия, которые обеспечили бы всем членам общества возможность всестороннего развития физических и духовных способностей.

Принцип бесплатности отнюдь не исключает свободы выбора при богатом, постоянно расширяющемся ассортименте продуктов и предметов первой необходимости. И удовлетворение разумных человеческих потребностей, не связанных с какой-либо аномалией, естественно, поддается научному предвидению и планированию, но это не имеет ничего общего с ограничительным нормированием.

Как писал Ленин, коммунизм «предполагает и не теперешнюю производительность труда и не теперешнего обывателя, способного «зря» — вроде как бурсаки у Помяловского — портить склады общественного богатства и требовать невозможного». Людям с непомерными аппетитами, говорил Энгельс, общество сможет выдать двойную порцию. Но они только поставят себя в смешное положение перед общественным мнением, после чего едва ли появятся охотники следовать их примеру.

Речь идет о рациональном, отвечающем разным условиям труда и состоянию здоровья режиме потребления, режиме питания. При этом нелепо изображать коммунизм как казарму, в которой все одинаково острижены и где нивелированы вкусы и потребности. В конце концов гораздо удобнее получать «то, что хочешь», без всяких денег, по своим запросам.

Третье возражение против бесплатности выдвинул американский экономист Питер Уайлз. Будет ли практическое введение «полного коммунизма» способствовать ускорению процесса создания общества изобилия или же, наоборот, его замедлению? — вопрошает он в журнале «Ост-Ойропа» и отвечает тут же: — По всей видимости, будет способствовать замедлению, ибо там, где нет денег и цен, потребители имеют склонность к расточительности. Это не особенно отразится, например, на городском транспорте, но, бесспорно, довольно сильно скажется в использовании газа и отопления с их высокой потребительской эластичностью. Только по отношению к жилищи и народному образованию, где вообще возможно, и в Советском Союзе уже осуществлено, строгое рациональное, может быть, не останется расточительности. Кроме того, существует опасность неразумного с экономической точки зрения потребления: потребители будут жечь газ всю ночь не только из-за небрежности, но, к примеру, смогут пользоваться газовыми печами вместо дровяных там, где последние были бы более экономичны. Теоретически, мол, такого рода погрешности могут быть устранены плановыми органами (если, например, газовыми печами будут снабжаться не все), но практически это трудно предотвратить, ибо какой же потребитель согласится отдать за дровяную печь большие деньги и идти сам в лес заготавливать дрова, если он может иметь бесплатно газовое отопление? Отсюда-де, мол, неизбежно сильное давление населения на плановые органы с требованием снабжения газом там, где это неэкономично.

Что ж, разберемся в этой аргументации. Прежде всего о расточительности. Известно, что в Москве в новых домах нет газовых счетчиков и жители могут пользоваться газом в неограниченных количествах за довольно скромную плату. По логике Уайлза, это должно было бы привести к ужасающему расточительству, хищническому потреблению. Но ничего подобного не происходит. Напротив, практика говорит о разумности такого способа обслуживания. Так почему же завтра — через два десятка лет, когда еще боль-

ше вырастет уровень благосостояния и сознательности, появится стремление обязательно нанести ущерб обществу, злоупотребляя бесплатными услугами? Разве бесплатно служит причиной расточительного использования производительных сил? Отнюдь нет. Причины в системе хозяйства. Разве не капиталистический экономический порядок, при котором на каждом долларе — кровь и грязь, расточает производственные мощности, заставляет миллионы людей месяцами колесить по стране в тщетных поисках работы?

«Идеальной» экономикой Уайлз считает «народный капитализм». По его словам, «народный капитализм» воплощает в себе отсутствие расточительности, гармонию классов и бескризисное развитие. Именно он, мол, служит той самой живой мечтой, к которой коммунисты лишь стремятся. Но как в таком случае г-н Уайлз объяснит «гармонию классов» на примере, скажем, западногерманского текстильного магната Герта П. Шпиндлера, который в течение длительного времени был главным пропагандистом «участия во владении», а затем без зазрения совести выставил на улицу несколько сотен своих «совладельцев»? А не является ли расточительством самого ценного элемента производительных сил такое использование людей, при котором, как говорят данные официальной статистики США, численность безработных в стране возросла с 2,1 миллиона в 1951 году до 5,5 миллиона в марте 1961 года? По данным исполкома Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов, «высокий уровень безработицы продолжает быть характерным для положения в стране и в нынешнем году. Число полностью безработных в феврале 1962 года составляло 4700 тысяч человек, а число рабочих, занятых неполную рабочую неделю, 2100 тысяч человек. В дополнение к этому из контингента рабочей силы выбыло 750 тысяч человек, судьба которых профсоюзам неизвестна».

Цель «национальной экономики без расточительства» довольно откровенно выразил депутат боннского бундестага от христианско-демократического союза Бургбахер. Выступая в бундестаге, он сформулировал эту цель так: необходимо добиться, чтобы рабочие перешли от «мышления категориями классовой борьбы к мышлению категориями партнерства». Западногерманские рабочие обязаны, следовательно, «покончить с классовой борьбой», с борьбой против атомной смерти, они должны поддерживать гонку вооружений. Ведь в конце концов это ясно выраженное желание их «партнеров» — Абса, Флика, Тиссена и Пфердменгеса, к которому они должны присоединиться, руководствуясь «мышлением категориями партнерства». Рабочие должны приносить жертвы, больше производить и позволить еще больше эксплуатировать себя. Стимулом же послужит так называемое участие во владении.

Все эти построения основаны на песке. В условиях нового мира не может быть хищнического расточительства. И не удивительно поэтому, что Питер Уайлз не привел, да и не мог привести ни одного примера для подтверждения своей умозрительной концепции. Хотя и в нашей экономике в результате отдельных ошибок в планировании, возможных как и в любой субъективной деятельности, возникают иногда частичные несоответствия, диспропорции, носящие локальный характер. Но такого рода диспропорции устраняются всей системой управления хозяйством страны.

Для обоснования своей критики Уайлз выдвигает «дровяную» аргументацию, исходя только из факторов экономического давления и игнорируя реального человека коммунистического общества. Уайлз доходит до абсурда, заставляя потребителей во имя все той же традиционной «лености» отказываться от дровяной печи (а она в конечном счете будет тоже бесплатной, если ее к тому времени не заменят новые средства отопления). Ему невдомек, что просто не будет нужды каждому создавать свое «замкнутое дровяное домашнее хозяйство», что в обществе на основе рационального разделения труда будет четко налажено во всех, казалось бы, частных деталях производства, распределение, обмен и потребление. Может быть, и не стоило бы принимать всерьез г-на Уайлза, который наломал немало дров для объявления неразумным коммунистического принципа распределения. Но очень уж характерна его критика для атак антикоммунизма на Программу КПСС.

Четвертый тезис противников бесплатности звучит примерно так: быть лишенным покупательной способности — это быть лишенным свободы. Но как понимается в этом случае «свобода»? «Великий выбор, который рано или поздно предстоит сделать, — это

выбор не столько между капитализмом и социализмом (под каким угодно названием), сколько между социализмом и коммунизмом. Вот подлинный камень преткновения. Должны ли строиться дома государством или частными предпринимателями — об этом можно спорить, но это проблема второстепенного значения. Вопрос фундаментального значения — осознание того, в какой степени индивидум имеет право распоряжаться своим доходом после того, как он выполнит различные социальные обязанности».

Вот где собака зарыта! И социализм и коммунизм здесь трактуется более чем своеобразно. Главное же — в другом. Во что бы то ни стало сохранить свои доходы — такова мораль собственника! Он, конечно, прав: в условиях капитализма быть лишенным покупательной способности — действительно значит лишиться свободы, и это ощущают на своем собственном горьком опыте многие миллионы людей в капиталистических странах, чей покупательной способности хватает лишь на то, чтобы едва свести концы с концами. Перед ними на протяжении всей их жизни по сути дела не стоит проблема выбора в широком смысле этого слова, ибо они крайне ограничены в своих возможностях.

И «вопрос фундаментального значения» заключается в том, что коммунизм вовсе не отнимает у потребителя «право распоряжаться своим доходом после того, как он выполнит различные социальные обязанности». Напротив, только теперь он и получает возможность использовать этот «доход» без грабительского урезывания его частным владельцем предприятия. Возможности же удовлетворения потребности человека, которые открывает коммунизм, делают ненужной саму категорию своего собственного «дохода», ибо свобода выбора и ее реализация станут со временем настолько широкими, что отпадет надобность в его индивидуальном существовании. И слившись воедино с другими личными доходами в одно общественное достояние, он породит такую силу, которая приумножит национальное богатство и национальный доход в десятки и сотни раз.

Пожалуй, ярче всего целенаправленность антикоммунистической критики видна в программе западногерманской социал-демократической партии. Эта партия давно уже порвала с марксизмом и мало чем отличается в своих идейных установках даже от правого крыла буржуазных теоретиков. Ее девиз: «Свободный выбор потребителей и свободный выбор рабочего места — решающая основа, а свободная конкуренция и свободная предпринимательская инициатива — важный элемент социал-демократической экономической политики. Поэтому СДПГ выступает за свободный рынок, где всегда господствует подлинная конкуренция. Там же, где рынки попадают под власть отдельных лиц или групп, необходимы многосторонние мероприятия для того, чтобы сохранить свободу в экономике. Конкуренция — насколько возможно, планирование — насколько необходимо».

Дымовая завеса слов о «свободном выборе» потребителя (каков выбор у безработного или рабочего — общезвестно) нужна здесь лишь для утверждения «свободной конкуренции» и «свободной предпринимательской инициативы».

Свобода, конечно, великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойничьи войны, а под знаменем свободы труда грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается и в современном употреблении идеологами Запада слов «свобода выбора». Люди, действительно пекущиеся о такой свободе, не связывали бы ее непременно с частным капиталистическим присвоением. Но нет, они кричат о «свободе выбора», чтобы сохранить весьма одностороннюю свободу капиталистической эксплуатации наемного труда, свободу конкурентного удушения слабого сильным, свободу использования государственных мероприятий по регулированию экономики (под названием «планирование») в интересах монополий.

Нам же они бросают упрек: вы, коммунисты, пытаетесь создать стандартного человека, но капитализм выделяет вирусы потребностей, которые «проникают сквозь кольчугу железного занавеса», и тем самым якобы объективно пропагандирует в пользу капиталистической «свободы выбора». Так подходит к анализу коммунизма «с социологической точки зрения» в западногерманской газете «Ди вельт» Гюнтер Цеем. Он начинает свое выступление с разбора «дела Рокотова» (дело валютчиков.— В. С.), который, как говорится в статье, за свою привязанность, в сущности, к мелким вещам,

ради которых и стоит жить, был приговорен к смертной казни. И вместе с тем, продолжает автор, Ян Рокотов был молод, он принадлежал к тому поколению, которое «согласно официальным заявлениям штурмует вершины коммунизма».

— В чем же дело? Какой социологический закон действует в данном случае?— риторически вопрошает он.

Цеем силится доказать, что, будучи исторической категорией, человеческое счастье в Советском Союзе — лишь продукт стремления достичь капиталистического уровня, что наше представление о счастье — не что иное, как представление эпохи первоначального накопления, и таким образом «коммунистическое счастье — это позавчерашнее счастье».

Цеем не может не порадовать «родному человечку». Родному — по своей частнособственнической психологии, по своей «привязанности к мелким вещам, ради которых и стоит жить». Но ведь счастье нельзя представлять лишь как стремление к наслаждению (физическому или духовному), к легкой выгоде или пользе. Цеем воспевает обывателя — человека, лишённого общественных интересов, общественного кругозора, пробавающегося лишь мелкими личными интересами.

«Ди вельт» ухватилась за «косого Яна» как за пропагандистскую находку. Но «находка» эта оказалась фальшивой. Не ясно ли, что Рокотов — всего лишь социальный урод, без которого, к сожалению, порой не обходится и наша советская семья. А так как такие уроды к тому же вредают общему делу, наносят ущерб общегосударственным интересам, то на них и обрушивается карающая рука правосудия.

В том-то и сила поколения строителей коммунизма, что капиталистические представления о счастье и «свободе выбора» для него — позавчерашний день истории. Разумеется, это поколение и за комфорт, и за изобилие, и за культурный и веселый досуг, но оно испытывает полноту жизни не в спекулятивных комбинациях, а в творческом, созидательном труде, в полезной обществу и ему самому деятельности. Личное счастье неотделимо от интересов общества, коллектива, семьи, оно не может противопоставляться им или достигаться за их счет.

### МИРАЖ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Стоит только сопоставить реальные факты с проричаниями антикоммунистических пифий, как от заявлений о «коммунистической утопии», «мираже», «фантастической картине» состязания СССР и США остается лишь словесная шелуха.

Боевые порядки антикоммунизма, его экономическая аргументация против Программы КПСС строятся в трех направлениях: темпы, рабочая сила, сельское хозяйство.

**Темпы.** В ближайшие десять лет объем промышленного производства в СССР увеличится примерно в два с половиной раза, что позволит превзойти нынешний выпуск промышленной продукции в США. Президент Кеннеди пытается, однако, доказать обратное. Он говорит: даже в том случае, если Советскому Союзу удастся повысить свой теперешний ежегодный прирост промышленной продукции на 6 процентов, то только в 1973 году он достигнет того уровня, на котором США находились в 1961 году. Кеннеди заявил, что ежегодный прирост в Соединенных Штатах повысится с 3,5 до 4,5 процента. И если эта цель будет достигнута, то промышленность США и в 2000 году будет давать продукции значительно больше, чем к этому же времени СССР. Заявление Кеннеди было подхвачено всей западной прессой. Его перепевала и английская «Таймс» и западногерманская «Форвертс». Последняя даже выпустила по этому поводу целую полосу с крикливым заголовком «О чем умалчивает новая Программа КПСС».

Как же обстоит дело в действительности? По подсчетам Центрального Статистического Управления СССР, еще в 1953 году промышленное производство в нашей стране составляло лишь немногим более 30 процентов американского, а в 1961 году оно уже превысило 60 процентов. А если взять среднегодовые темпы прироста промышленной продукции за 1954—1961 годы, то в Советском Союзе они равны 10,9 процента, а в Соединенных Штатах 2,3 процента, а сельскохозяйственной продукции соответственно 6 и 2 процента, то есть темп нашего движения вперед превосходил американский в промышленности в 4,7 раза, а в сельском хозяйстве в три раза.

Кеннеди же называет совершенно нереальные для Соединенных Штатов показатели. Так, в 1945—1961 годах среднегодовой темп роста промышленности в США был равен 1,8 процента, в 1954—1961 годах — 2,3, а в 1957—1961 годах — 2,2 процента. Добавим к этому, что в 1961 году прирост промышленного производства в СССР составил 9,2 процента, а в США только один процент. Соединенные Штаты уже сдали лидирующие позиции в экономическом соревновании по объему производства тракторов, комбайнов, тепловозов, металлорежущих станков, пшеницы, сахара, добычи железной руды, угля, рыбы, выпуску шерстяных тканей, по технической оснащенности ряда отраслей промышленности и так далее. Даже если и предположить, что в ближайшие годы американская экономика будет развиваться несколько более высокими темпами, чем в прошлом году, то и тогда у президента США не будет оснований для оптимистических предсказаний о результатах соревнования к 1973, а тем более к 2000 году.

Не случайно даже такой ярый антикоммунист, как английский профессор Исаак Дейчер, в интервью итальянскому еженедельнику «Экспрессо» заявил в связи с новой Программой партии: «Наиболее важна часть, касающаяся экономических и социальных успехов, которых Россия намерена добиться в течение ближайших десяти или двадцати лет. СССР выполнит и даже перевыполнит намеченные задачи, догонит и даже перегонит Соединенные Штаты Америки в области промышленности и, возможно, по уровню жизни».

Рабочая сила. «Эксперты по России» берут под сомнение возможности Советского Союза добиться намеченного Программой КПСС экономического роста, ибо, по их утверждениям, в прошлом индустриализации в Советском Союзе способствовали огромные резервы рабочей силы в деревне. Эти резервы сейчас сократились в результате массового перемещения населения в города. Еще важнее тот факт, говорят они, что естественный прирост рабочей силы уменьшился из-за снижения рождаемости в период войны, и хотя в ближайшие годы пополнение трудоспособных возрастов будет происходить в меньших размерах, чем в предыдущие семь лет, все же план предусматривает большее повышение несельскохозяйственной армии труда, нежели в прошлом. Отсюда, мол, его нереальность. Об этом же твердит на страницах «Нью-Йорк геральд трибюн» Дэвид Лоуренс. Он заимствует аргументы из доклада «СССР и Восточная Европа», подготовленного Русским институтом при Колумбийском университете для комиссии по иностранным делам сената США.

О чем же говорят факты? Напомним, что грандиозное увеличение нашего промышленного производства обусловлено не только и не столько ростом числа рабочих и служащих, сколько повышением производительности труда. Именно оно даст девять десятых всего прироста производства.

Сейчас уровень производительности труда в нашей промышленности достигает примерно половины американского. Расчеты советских экономистов показывают, что по годовой производительности труда СССР догонит Соединенные Штаты примерно в 1976—1977 годах, а через двадцать лет превысит нынешний американский уровень в два раза. Критикам небесполезно вспомнить, что в нашей стране с 1913 по 1961 год производительность труда в промышленности выросла в 11,9 раза, тогда как в США — в 3,1, в Англии — в 1,6, во Франции — в 2,7 раза.

Не надо забывать и о том, что в годы семилетки благодаря двукратному повышению производительности труда, росту его технической вооруженности, автоматизации производства высвободится около четырех миллионов человек. Фактический рост численности рабочих и служащих в народном хозяйстве оставляет позади плановые наметки. Так, в 1959 году рабочих и служащих было в стране 57,9 миллиона человек, или на 2 миллиона больше, чем намечалось контрольными цифрами; в 1960 году — 62 миллиона, или на 4,4 миллиона больше, а в 1961 году — 66 миллионов человек, то есть на 6,8 миллиона больше, чем планировалось контрольными цифрами на этот год, или столько же, сколько намечалось на 1965 год.

Сельское хозяйство. Идеологи Запада любят особенно пространно рассуждать на эту тему. Они пытаются уверить широкую публику, что социализм в деревне не смог найти замены «чуду частной собственности, превращающей песок в золото»; они убеждают, как это делает, например, Уолтер Липпман, что система коллективного

хозяйства неэффективна, что «сельскохозяйственная база советской экономики слаба, ибо она — коммунистическая». А «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» идет еще дальше, объявляя цели новой Программы КПСС в области сельского хозяйства невыполнимыми, потому что СССР отстал от США на сто лет...

Но факты объективно свидетельствуют о другом: только благодаря советской власти и социалистической коллективизации Россия, которую до Октябрьской революции не без основания считали «лапотной», «сермяжной», страной сохи, совершила гигантский прыжок от отсталости к прогрессу и все увереннее настигает своего главного соперника в экономическом соревновании двух систем. Темпы нашего сельскохозяйственного роста выше американских. Общий объем сельскохозяйственного производства нашей страны оценивается статистиками в 75—80 процентов американского, а в расчете на душу населения — около 70 процентов. И, конечно, не сто лет, а менее одной десятой века потребуется нам для преодоления этого отставания.

Верно, наша страна пока еще отстает от Соединенных Штатов. Оно и понятно. Мы получили в наследство от царского режима вековую отсталость России. По территории нашей страны за последние четыре десятка лет огненным смерчем прошли три кровопролитные разрушительные войны. И если мы ставим перед собой задачу в ближайший период превзойти Америку, то это потому, что мы уже сумели продвинуться далеко вперед. Мы продвинулись бы гораздо дальше, если бы не ошибки, связанные с культом личности Сталина.

Мы ставим задачу превзойти именно Соединенные Штаты, потому что их сельское хозяйство занимает первое место в мире по механизации полеводства и животноводства, по производительности труда. По своим масштабам, по многообразию возделываемых культур, по разнообразию почвенно-климатических и географических условий американское сельское хозяйство наиболее сопоставимо с нашим (правда, климат там гораздо более благоприятен для земледелия и животноводства, чем в Советском Союзе).

Разумеется, мы при этом вовсе не считаем для себя образцом американскую капиталистическую систему сельского хозяйства. Мы не хотим иметь ничего общего с таким хозяйственным строем, при котором крупные капиталистические фермы поглощают мелкие. Ведь только за последние восемь лет, по сообщениям американской печати, в Соединенных Штатах был разорен миллион мелких фермеров.

Но для того, чтобы добиться минимальных затрат труда и преодолеть трудности роста, мы стремимся изучать технику и, если можно так сказать, технологию американского сельскохозяйственного производства, а также других стран, имеющих высокий уровень организации хозяйства, и переносить в колхозы и совхозы достижения зарубежной науки и практики.

При этом мы не скрываем своих трудностей роста. Эти трудности не вытекают из существа социалистического строя, из его экономических основ. Даже в годы фашистской оккупации гитлеровским захватчиком не удалось поколебать у советских крестьян дух коллективизма и восстановить дух частного предпринимательства. А это значит, что советские крестьяне на своем многолетнем опыте убедились в неоспоримых преимуществах социалистического, коллективного ведения хозяйства.

И что бы ни говорили противники коммунизма, сила нашей партии в том, что она открыто и смело вскрывает недостатки и причины трудностей, глубоко анализирует их.

Небезынтересно в связи с этим признание английской буржуазной газеты «Санди таймс». Она писала, что меры, предложенные мартовским Пленумом ЦК КПСС для исправления недостатков в сельском хозяйстве СССР, — реорганизация управления, увеличение капитальных вложений и так далее — резко «повысят производство сельскохозяйственной продукции и, несомненно, улучшат положение».

### **СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ИДЕЙ? НЕТ, БОРЬБА!**

На кого же работает время?

Этот сакраментальный вопрос, как его назвал когда-то Уинстон Черчилль, давно уже не сходит со столбцов западной прессы. Но тем не менее вопрос этот с каждым днем звучит все более актуально и настойчиво.



В прошлом году в Соединенных Штатах вышла книга экономического советника международных организаций, руководителя исследовательской работы национальной планирующей ассоциации по изучению экономических вопросов мирного сосуществования Генри Обрея под названием «Сосуществование, экономический вызов и ответ на него». Автор ее утверждает, что империалистическая политика «с позиции силы» потерпела поражение. В новых условиях, когда вызов, брошенный социалистическими странами миру капитализма, носит экономический характер, главная опасность для Запада, по его убеждению, в экономических успехах социализма, воздействующего силой примера.

Тут нельзя не вспомнить высказывание американского публициста Гилберта Грина, который в своей книге «Забывтый враг» писал: «До возникновения Советского Союза можно было еще заставить немалое число людей поверить, что экономические кризисы неизбежны и необъяснимы. Тяжелые времена следовало-де принимать просто, как личное несчастье. Кризисы объяснялись влиянием солнечных пятен, волей божьей и чем только не заблагорассудится. Но все это не могло уже выдерживать никакой критики с тех пор, как Советский Союз избавился от безработицы и доказал свой иммунитет в отношении экономического кризиса в тридцатых годах, когда во всем капиталистическом мире свирепствовал самый жестокий в истории экономический кризис... Впервые в американской истории большинство американского народа начало возлагать ответственность за безработицу и кризис на социальную систему и правительство».

Итак, сила примера вызывает к жизни новые критерии оценки социального строя. Вот почему Генри Обрей заклинает теперь: чтобы противостоять советскому вызову, Запад должен найти духовное оружие. Он призывает буржуазных идеологов не защищать капитализм, не воспевать рыночные порядки «свободной конкуренции», а убеждать народы в том, что теперь в Америке произошла «трансформация» капитализма в «новый», «просвещенный» строй «всеобщего благоденствия».

Буржуазные идеологи всячески пытаются дискредитировать в массах ленинский принцип мирного сосуществования и ослабить революционную силу примера социалистического общества. Конечно, говорят они, мирное сосуществование — хорошее дело. Но возможно ли оно и достаточно ли прочно на нашей беспокойной планете в современных условиях? Не лучше ли уповать на ту блаженную пору, когда произойдет путем эдакой внутренней эволюции «слияние» двух социально-экономических систем в «третью»? Такую систему, которая вберет в себя «лучшие стороны» капитализма и социализма — частную собственность, конкуренцию, планирование и так далее.

Этот абсурд с серьезным видом пропагандируют американский экономист Уолтер Бакингам, профессор Корнельского университета Джордж Адамс, французский публицист Раймон Арон и многие другие. «Научное обоснование» этой с позволения сказать «идеологической находке» пытается придать и эмигрантский социолог Питирим Сорокин. (О нем на заре советской власти писал В. И. Ленин, давая анализ политического краха мелкобуржуазных партий России во время социалистической революции.) Недавно Питирим Сорокин опубликовал свой новый труд «Социологическое и культурное сближение между Соединенными Штатами и Советским Союзом». По мнению Сорокина, системы как восточного, так и западного блока «постоянно теряли за последние три десятилетия свои характерные черты, получили и включили в себя определенные и типичные признаки от другой стороны. В этом смысле обе государственные формы все более сближаются по своей культуре, по своим социальным институтам, признакам и по своему образу жизни». В своей теории синтеза он предсказывает, что человечество только тогда сможет избежать мировой войны, когда «не будет доминировать ни капитализм, ни коммунизм... Такая форма жизни будет представлять середину между капиталистическим и коммунистическим строем».

О каком «сближении» систем вещает Питирим Сорокин? Разве изменился характер экономической основы советского строя и общественной собственности, социалистический характер наших экономических институтов? Все дело в том, что критики коммунизма подменяют содержание формой, а одному и тому же содержанию может соот-

ветствовать ряд форм в зависимости от конкретных условий. Новые формы руководства экономикой, планирования не имеют ничего общего с капиталистическими. Не случайно французский экономист Шарль Беттльхейм заявил в своей книге «Советская экономика», что социализм «входит в историю в качестве новой, существенно отличной от капитализма, экономики». Не правы те, продолжает он, кто считает, что экономика СССР является «негибкой». Не правы также те, кто считает, что советская экономика сближается с капиталистической. С нашей точки зрения, писал Беттльхейм, подобные мнения покоятся на поверхностных суждениях. Наоборот, если рассмотреть эволюцию, которая привела советскую экономику периода нэпа к тому, что она представляет сегодня, можно сказать, что мы являемся свидетелями развития, которое значительно удалило советскую систему от системы капиталистической.

С этим нельзя не согласиться.

Социологическая маниловщина выдается критиками коммунизма за единственное радикальное средство обеспечения мирного сосуществования различных народов и стран! Стоит только на минутку представить себе «слияние» частной собственности, конкуренции и планирования народного хозяйства в масштабе всей капиталистической страны, как сразу же становится очевидной нелепость такого «синтеза». Разумеется, гармония, слаженность, максимальная «подгонка» друг к другу всех частей общественно-производственного механизма страны — первейшее требование экономики. Но оно может быть реализовано без кризисов и иных поворотов вспять, без болезненных колебаний и диспропорций только тогда, когда основные средства производства превращены в общественное достояние.

Эта концепция игнорирует существующую ныне расстановку сил на мировой арене. Дело, естественно, не в «равновесии атомных ужасов», хотя угроза применения ракетно-ядерного оружия сама по себе вызывает у миллионов людей все более глубокую неприязнь к войне, милитаризму и агрессивной внешней политике, способствует невиданному расширению фронта борьбы за мир. Главная основа сохранения и упрочения мира сегодня — это могущество социалистического лагеря: экономическое, морально-политическое, военное. Немаловажную роль в борьбе за мир играют и молодые независимые государства. Они кровно заинтересованы в прочном мире и противостоят силам войны. Да и в самих империалистических странах несравненно выросла политическая сознательность и организованность народных масс, активно отстаивающих дело мира. Таковы живые, реально действующие факторы для мирного сосуществования сегодня, а не высосанная из пальца идея противоестественного альянса капитализма и социализма.

Другая группа критиков Программы КПСС заявляет, что полное осуществление идеи мирного сосуществования невозможно без отказа от руководящей роли Коммунистической партии в советском обществе, без отказа от коммунистического мировоззрения. Западногерманский публицист Вальдемар фон Кнёринген в статье «Утопия и действительность. Кризис коммунизма» выражает беспокойство по поводу того, что «осталось выдвинутое Лениным неперменное руководство партии», что оно было «совершенно ясно продемонстрировано перед всем миром приветствием первого советского космического пилота Гагарина: его первое приветствие после возвращения из космоса было направлено... Коммунистической партии и вождю Хрущеву». И дальше он пишет: «Коммунизм может конкурировать с западным миром в области военной силы, он может сделать это в области науки и техники социальных достижений и жизненного уровня. Достигнет ли он производительности Запада и когда — это вопрос времени и политического принципа». Страшная угроза, по его словам, состоит в том, что Советский Союз стремится к «мировому господству, что мирное сосуществование для него лишь тактическое средство партии и идеологии».

Но что такое «мировое господство»? Это верховенство одного государства над другими, их подчинение его воле. Разве коммунизм как общество будущего, а социализм как общество настоящего совместимы с подобными порядками? Ведь коммунизм предполагает добровольное братское содружество равных. Там нет места отношениям господства и подчинения. И разве в каких-либо идеологических или любых иных документах нашей партии есть хоть намек на эту версию?

Зачем же тогда понадобилась современным критикам коммунизма геббельсовская терминология?

Ларчик открывается просто: это обычный прием антикоммунизма для прикрытия агрессивной империалистической политики, ложь во спасение! Впрочем, вот что пишет сам Кнёринген: «Хотя у нас ложь и отрицается, однако она все же принадлежит к прочной составной части нашей политической и общественной жизни. Кто умеет хорошо вводить в заблуждение, тот движет народ. Кто унижает и изображает еретиком своего демократического противника, тот может рассчитывать на политический успех. Кто создает себе богатство и власть путем получения сверхприбыли за счет других, тот пользуется уважением общества. Такая атмосфера лени, ханжества и обмана отражает моральный крах нашего строя».

Цель антикоммунизма — под эгидой «всемирного правительства», образование которого он провозглашает спасительным идеалом, добиться «внутренней эрозии коммунизма» как идеологии и общественного строя.

Подобные надежды лелеют и современные правые социалисты в проекте декларации социалистического интернационала «Мир сегодня. Перспективы социалистического движения», опубликованном в январском номере австрийского журнала «Ди цукунфт». Назначение декларации — стать своего рода контрпрограммой в противовес принятой XXII съездом КПСС. В проекте прямо сказано: «Наша конечная цель — не что иное, как всемирное правительство». Для достижения этой цели, по идее ее сочинителей, все страны должны поступиться своим суверенитетом и отдаться под власть наднационального органа. И вот тогда-то и будет обеспечено «мирное сосуществование» идей, а коммунизм «погибнет от внутреннего противоречия», заверяет Вальдемар Кнёринген.

А министр юстиции США Р. Кеннеди так мыслит себе подобное сосуществование: он требует «сосуществования» буржуазной идеологии с марксистской в Советском Союзе» и «идеологического разоружения коммунизма».

Напрасные надежды! Мы за широкое развитие хозяйственных и культурных связей между Западом и Востоком, но что касается идеологических принципов, мировоззрения, наших целей — уступок быть не может! Ибо тот, кто сделает хоть один шаг назад в этой области, вольно или невольно сласт позиции противнику, предаст интересы коммунизма.

Антикоммунисты не скрывают своих целей. Западногерманский журнал «Шталхельм» поместил недавно статью военного преступника, бывшего боннского министра Оберлендера с примечательным заголовком «Революционная война». Повторив избитый тезис буржуазной пропаганды о том, что целью социалистического лагеря является «мировая революция», он утверждает, что не может быть никакого сосуществования государств с различным социальным строем. И раз так, пишет он, то необходимо мобилизовать «всю систему государств» на «революционную войну» против социалистических государств. Оберлендер объясняет, что он подразумевает под этим термином: «Ее не объявляют, и начинается она почти незаметно, при помощи публицистики, проникновения шпионажа». «Не надо бояться слова «война». Лишь наступление ведет к успеху». Так Оберлендер выбалтывает генеральную цель лозунга «сосуществования» идей.

Идеологическая борьба, а не сосуществование мировоззрений — вот основа нашей политики! Но такая борьба не колеблет основ мирного сосуществования государств с различным общественным строем.

Марксизм-ленинизм открыл перед человечеством новые горизонты, зажег сердца и умы миллионов. Никакие нападки на программу коммунистического строительства, никакие призывы к «революционной войне» против социалистического лагеря не принесут старому миру исцеления.



---

---

И. БЕЛОВ

★

## РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУМАЖНОЙ ЛЕНТЕ

### 1. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

**П**риходилось ли вам видеть современную бумагоделательную машину, «отливающую» за минуту полкилометра бумажной ленты семиметровой ширины? Молочно-зеленоватая жидкость, в которой пока лишь один процент бумажной массы, непрерывным потоком выливается из напорного ящика машины на тончайшего плетения бронзовую сетку; безостановочно движется, вибрирует сетка, пропуская сквозь поры воду. Сгустившаяся и посветлевшая бумажная масса попадает на мягкое сукно. И в это мгновение происходит «чудо»: рождается бумажное полотно. Оно еще слабенькое, жидкое. Сукно проносит его через отжимающие влагу валы, сушильные барабаны.

Короткий и стремительный путь. Он продолжается не более двадцати секунд. Из машины вырывается и наматывается на катушку блистающая белизной бумажная лента. Идеальный автоматизированный конвейер!

Рабочие поглядывают на разноцветные огоньки пультов автоматического управления. Сеточник время от времени подходит к рулону, отрывает клочок бумаги и рассматривает его на свет: нет ли пузырьков, соринок... И вдруг сигнал тревоги. Пронзительно воет сирена. Оборвалась лента! Промедли несколько секунд — и бумажная лента захлестнет все, затопит гигантский цех. Рабочие сжатым воздухом срезают вырывающиеся из машины куски ленты и направляют ее движение по технологическому маршруту.

Обрыв ликвидирован. Бумажная лента снова наматывается в рулоны. И снова сеточник время от времени отрывает клочки, разглядывает их на свету.

А я думаю о другом — о конвейере, выходящем далеко за пределы этого светлого эллинга быстроходных машин, о конвейере, в котором все эти машины — лишь одно звено. Этот конвейер начинается в бескрайних лесах. Он включает сплавные реки, по которым движутся к бумажным комбинатам миллионы кубометров древесины, предназначенной для варки целлюлозы и приготовления древесной массы — основных компонентов пульпы, из которой отливают бумагу. К ней, к этой главной линии конвейера, примыкают потоки, берущие начало на десятках предприятий-смежников, поставляющих хлор, каолин, сукна, сетки для машин. И даже бумагоделательная машина — это не последнее звено конвейера. Он продолжается в типографиях, печатающих книги и газеты, на предприятиях, потребляющих все больше и больше бумаги и картона.

На широких просторах нашей страны сосредоточена львиная доля мировых запасов древесины. Сырьевые ресурсы для производства целлюлозы, бумаги, картона неисчерпаемы.

Потребность в бумаге растет у нас буквально с каждым днем. Десятки миллионов советских людей учатся. Нигде так много и жадно не читают, как у нас. Книги выходят миллионными тиражами. В этом подлинно всенародном стремлении к знаниям, к овладению всеми богатствами культуры — один из секретов тех выдающихся успехов коммунистического строительства, которые поражают весь мир. Бумаги! Бумаги! Бумаги! — требуют издательства и редакции. Но... конвейер не поспевает за ритмом нашей жизни. Целлюлозно-бумажная промышленность недопустимо отстает от быстрорастущих куль-

турных запросов народа. И даже в последние годы, несмотря на некоторый рост производства бумаги, разрыв этот ощущается острее, чем раньше. Из-за нехватки бумаги планы издательств сокращены в нынешнем году чуть ли не на тридцать процентов. По этой же причине ограничиваются тиражи журналов и газет.

В писчебумажных магазинах Москвы, Ленинграда и даже таких центров бумажной промышленности, как Петрозаводск, Пермь, нелегко приобрести стопу писчей бумаги... В московском гастрономе на улице Горького продавщица на просьбу завернуть банку компота отвечает: «Стекло теперь не заворачиваем: нет бумаги». Чего больше: в печати промелькнуло сообщение о перебоях в работе фабрики медицинских горчичников — все из-за той же бумаги.

Тревожные сигналы о перебоях в работе большого бумажного конвейера поражают иной раз своей неожиданностью. Такие, скажем, целлюлозно-бумажные комбинаты, как Красноярский и Камский, расположенные в богатейших лесных районах, испытывают острый недостаток... древесины. Запоздывает сдача в эксплуатацию новых цехов, агрегатов...

Что же происходит? В объяснениях недостатка нет. Но опытные люди советуют: — Поезжайте на предприятия — туда, где делают бумагу. Своими глазами поглядите. Поезжайте, скажем, на Каму — основной поставщик бумаги для книг. Познакомьтесь с работой Кондопоги — крупнейшего поставщика газетной бумаги. Стоит заглянуть и в Ленинград — центр бумажной науки...

Так определился маршрут путешествия в бумажные края: Краснокамск, Пермь, Кондопога, Петрозаводск, Ленинград. Но прежде чем рассказать обо всем виденном, хочется сделать небольшое отступление.

## 2. БУМАЖНЫЙ ДОМИК

Чудеса кибернетики, овладение тайнами атома, покорение космоса — все эти поражающие воображение завоевания науки и техники как-то заслонили от широкого обозрения замечательные победы технического гения в старейших отраслях промышленности. Действительно, многие ли представляют, какое необозримо широкое применение находят себе ныне наряду с новейшими материалами изделия из бумаги и картона?

В путевых заметках И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» есть глава, в которой описан рекламный электрический домик мистера Рипли. В этом домике представлены все те услуги, которые оказывает электрическая искра человеку в его быту: электрический прибор, регулирующий комнатный климат, пылесос, электрическая кухня и холодильник, всевозможные электрические приборы, взбивающие сливки, моющие посуду, бреющие, массирующие, согревающие и т. п.

На многих промышленных выставках общее внимание привлекают домики, в которых отделка стен, мебель, посуда, украшения сделаны из пластических масс.

Жаль, что не нашелся изобретательный человек, который наглядности ради создал бы бумажный домик, чтобы показать, как много дает бумага человеку.

Представим себе такой домик. Вся внутренняя отделка — стенки, перегородки, паркет выполнены из специальных сортов картона. Стены оклеены обоями. Отделанная под красное дерево и карельскую березу, мебель также изготовлена из картона. Красивая и прочная мебель! На картонных стеллажах — книги. Откройте бельевой шкаф: он наполнен белоснежными скатертями, салфетками, простынями, бельем — все это сделано из бумаги. Теперь откройте сервант: здесь вы увидите стаканы, тарелки, бутылки из той же бумаги. Все это — недалекое будущее. За рубежом, особенно в США, производят большое количество бумажной посуды и белья для одноразового потребления. Стоимость бумажной простыни, рубашки дешевле, чем стирка такого же полотняного белья. Энергично завоевывает бумага новые позиции и в промышленности. В Большой Советской Энциклопедии приводится справка о двухстах видах технической бумаги. Эта справка безнадежно устарела. Ныне насчитывается шестьсот видов технической бумаги, обладающей самыми разнообразными свойствами: огнестойкие, водонепроницаемые, жиронепроницаемые, кислотоупорные...

Двадцатый век — время бурного развития науки и техники. Возникли новые отрасли промышленности — авиационная, радиоэлектронная, атомная... По объему производства они быстро выдвигаются на первые места, оттесняя старые. Но целлюлозно-бумажная промышленность не уступает своего места. Она внедряет новую технику, совершенствует технологию, добивается поразительных успехов в экономии основного сырья — древесины. Картон вытесняет деревянную тару, на которую расходовали миллионы кубометров леса. Десятки миллиардов бумажных крафт-мешков приходят на смену текстильным мешкам, деревянным бочкам.

Четверть века назад для производства бумаги шли только малосмолистые хвойные породы: ель, пихта. Сейчас же есть возможность наряду с ними перерабатывать во все возрастающих количествах древесину лиственных пород — ольхи, березы, осины, — не находившую применения в народном хозяйстве.

Рост производства бумаги побуждает конструкторов непрерывно совершенствовать машины и оборудование для бумажной промышленности. Не так давно предельная скорость бумагоделательной машины не превышала четырехсот метров в минуту. Скорость современных машин достигла семисот — восьмисот и даже тысячи метров в минуту. Шестьдесят километров бумажной ленты в час!

И еще одно изобретение, которое радует любителей книги. Мелованную бумагу, на которой только и можно получить высокое качество печати репродукций, еще совсем недавно изготавливали кустарным способом. По своей плотности (весу) она значительно превышала типографскую и стоила много дороже. На ней печатали обычно вкладыши для иллюстраций, обложки журналов. Но вот примерно полтора десятка лет назад появились бумагоделательные машины, которые отливают и одновременно мелуют бумажную ленту. При этом плотность ее и стоимость такие же, как у обычной типографской бумаги.

Наша отечественная целлюлозно-бумажная промышленность вплоть до начала семилетки стояла в стороне от этого динамического процесса. Получилось так, что самая богатая лесом страна, давно обогнавшая по своему интеллектуальному потенциалу передовые капиталистические страны, по нормам душевого потребления бумаги резко отстала от них. Особое беспокойство вызывала техническая отсталость бумажных предприятий. Они будто находились последние два десятилетия в заколдованном кругу, наглухо отгораживавшем их от мирового опыта, от передовых технических тенденций.

Не располагая достаточным количеством картона, мы продолжаем расходовать десятки миллионов кубометров полноценной древесины (больше, чем расходует на бумагу) для изготовления тары. Мы продолжаем рубить еловые и сосновые боры, оставляем гнить на корню миллионы кубометров древесины лиственных пород, не находя им хозяйственного применения. А мелованную бумагу мы до самого последнего времени производили устаревшим способом и в небольших количествах.

Весной 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление «О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности». Постановление предусматривает коренную техническую реконструкцию действующих предприятий, строительство новых мощных целлюлозно-бумажных комбинатов, оснащение их самой передовой техникой. Большие средства ассигнуются на закупку за рубежом современных скоростных бумагоделательных машин, установок для непрерывной варки целлюлозы и другого оборудования. Одновременно принято решение о строительстве отечественных заводов бумажного машиностроения в Петрозаводске и Ижевске с тем, чтобы уже в 1963—1964 годах они работали на полную мощность. Не забыты были и подсобники, смежники.

За семилетку, к 1965 году, производство целлюлозы должно быть увеличено втрое, картона — в пять раз, бумаги — на семьдесят процентов. И все это при широчайшем использовании дровяного, лиственного леса, камыша, отходов лесозаготовок и лесопиления, макулатуры.

За считанные годы наша целлюлозно-бумажная промышленность должна по своему техническому уровню приблизиться к зарубежной и подготовиться к новому, еще более крутому подъему, с тем чтобы занять ведущее место в мировой бумажной про-

мышленности, превзойти нормы душевого потребления бумаги в капиталистических странах. Это грандиозная программа, стремительный рывок вперед после многих лет технического застоя.

Что же происходит сейчас на бумажных комбинатах?

### 3. ВСТРЕЧИ НА КАМЕ

Много нового на Камском целлюлозно-бумажном комбинате. В прошлом году здесь начали работать машины для производства мелованной бумаги. Капитально реконструированная бумагоделательная машина впервые в нашей стране отливает типографскую бумагу со скоростью четыреста пятьдесят метров в минуту. И еще одно новшество. В нынешнем году комбинат вопреки своей давней традиции питаться одной только отборной елью должен включить в свое меню маломерную древесину, отходы лесопиления.

Высокие скорости, использование отходов, машинное мелование... Стоило поехать на Каму.

Миновав проходную, выхожу на главную аллею комбината. Разглядываю традиционную Доску почета с портретами передовиков, щиты с показателями, отражающими радости и тревоги дня. В глаза бросается свеженькая, видно только что вывешенная «молния». Полуметровые буквы сообщают:

«Бригада коммуниста Окулева выполнила норму выработки на сто пятьдесят три процента, выгрузив из воды сто десять кубометров древесины. Товарищи рабочие! Наращивайте темпы выгрузки древесины».

Все было загадочно в этом сообщении. Приехал я на комбинат зимой. Красавица Кама была еще накрепко скована льдом. И вдруг... выгружайте из воды древесину. Комбинат ведет борьбу за высокие скорости, за новую технологию мелования. А главный герой дня — добытчик леса из льда.

Это была не единственная загадка, с которой я здесь столкнулся.

Установка меловальных машин на Камском комбинате — крупнейшее событие в бумажной промышленности. По сути дела заново рождается советское производство мелованной бумаги. Две машины на Каме — первые ласточки. Они предвещают весну. Вслед за ними на других предприятиях будут установлены более мощные меловальные машины. Миллионы читателей смогут получить высокохудожественные издания полюбившихся им книг на прекрасной бумаге.

С понятным каждому интересом знакомлюсь с работой машины, ее меловального агрегата. Но что это?.. На вал наматывается матовая, шершавая бумага...

— Так это ж оберточная, — спокойно пояснил стоявший у машины рабочий.

— На меловальной машине обертка? — недоумеваю я.

— Не первый месяц...

Одна из двух машин все же вырабатывает мелованную бумагу. Матовая лента, пробегая сквозь валки меловального агрегата, покрывается одновременно с двух сторон пастой, становится блестящей, гладкой. Во всяком случае так кажется. Но технолог цеха Александр Варфоломеевич Ершов разочаровывает меня. Он отрывает от свеженького рулона клочок бумаги и показывает на ее поверхности какие-то точки, шероховатости.

Александр Варфоломеевич рассказывает грустную историю первой нашей фабрики мелованной бумаги. Две установленные на Каме машины закуплены, оказывается, за рубежом еще в 1952 году, когда они представляли последнее слово техники. На комбинат эти машины прибыли в 1953 году, и началось нечто совсем необъяснимое. Из года в год откладывали их установку. В архиве комбината хранится грозный приказ бывшего министра лесной и бумажной промышленности Г. Орлова, в категорическом тоне предлагавший сдать в эксплуатацию машины в январе 1956 года. После критических выступлений печати и указаний Центрального Комитета партии машины наконец в 1960 году начали работать.

— Всего несколько месяцев поработали машины, — вспоминает Ершов. — И стоп!

Нет каолина. А какое может быть мелование без каолина? Перешли временно на производство оберточной бумаги. А «временно» — слово неопределенное. И поныне, как вы могли убедиться, одна машина крутит обертку. А вторая?.. Разве это мелованная бумага? Современная техника позволяет производить основу для мелования из низших сортов древесины и затем покрывать ее тончайшим слоем мелующей пасты. Вес квадратного метра бумаги — шестьдесят граммов, показатель гладкости идеальный — девятьсот шестьдесят. А наша? Изготавливаем все из той же елки, а мелующая паста низкого качества. Вес квадратного метра — восемьдесят граммов, показатель гладкости — триста пятьдесят. Почему такое низкое качество? Все тот же каолин. Нам нужен каолин тончайшего помола, а получаем грязный, засоренный. Его перевозят навалом. Установки для его очистки нет. И даже хранить каолин негде...

На фабрике мелованной бумаги работает небольшой коллектив. Он приступил к освоению нового производства, не имея ни опыта, ни какой-либо поддержки извне. Обстановка сложная. Препятствия на каждом шагу. Но люди полны решимости дать издательствам отличную мелованную бумагу. Они только недоумевают по поводу нелепостей, с которыми сталкиваются на каждом шагу.

Василий Ефремович Рогачев — высококвалифицированный сеточник, Герой Социалистического Труда. На фабрику мелованной бумаги его привлек интерес к новому делу.

— Ничего не пойму, — говорит он, — восемь лет валялись драгоценные машины, и никто ведь, подумайте, не хватился: ни тот, кто денежки давал, ни тот, кто покупал. Ну, ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Забудем... Но вот смонтировали наконец эти машины — и опять же никакого внимания к ним. Говорят: давай, давай бумаги побольше. А какой? Все равно какой, лишь бы побольше... Идет обертка, и то хорошо. Мы тут с Ершовым бьемся, в своем соку варимся. Никто у нас раньше на таких машинах не работал. Дело серьезное. За границей, говорят, над одним только составом меловальной пасты большие химики мудруют. А нам хотя бы для опытов немного каолина высшего сорта прислали...

При проведении коренной реконструкции такого комбината, как Камский, неизбежны, конечно, какие-то неувязки. Но уж очень много тут нелепостей.

Несколько смен я провел у модернизированной скоростной бумагоделательной машины, работающей со скоростью четыреста пятьдесят метров в минуту. Нелегко было набрать такую высокую скорость. И не потому, что так уж сложна техника. Препятствием было из рук вон плохо организованное материальное снабжение.

Мастер-скоростник Николай Петрович Селезнев с увлечением рассказывает о работе машины, о ее сложной автоматике. Но нет-нет, и в голосе его зазвучат нотки раздражения. Как в самом деле не раздражаться, если о запасных частях начисто забыли? «Ну ничего не купили — ни одного запасного отсасывающего вала. А без него машина — что человек без легких. Не дай бог авария. Машина надолго встанет...»

Поводов для возмущения много. Не хватает каолина, технических сукон, сеток, рассчитанных на высокие скорости. Представьте себе машину, которая работает со скоростью четыреста пятьдесят—пятьсот метров в минуту. Лента стремительно наматывается в огромный рулон. И вдруг... Стоп! Исчерпались запасы бумажной массы. Бассейны, где она отстаивается перед поступлением на машину, пусты. И это даже не ЧП.

Перелистываем цеховой журнал. Страницы его пестрят записями: «Работа сорвана из-за отсутствия целлюлозы и древесной массы», «Смена сдана с пустым бассейном», «Древесная масса шла на машине с перебойями».

Всего сотни метров отделяют машинные залы комбината от цехов, где готовят бумажную массу — пищу машин, — от целлюлозного и древесно-массового цехов, от биржи — склада древесины на берегу Камы. Но на коротком этом пути наглядно, как на выставочном стенде, видны противоречия между новым и старым в бумажной промышленности, пороки проектирования, бесплановость, нераспорядительность в осуществлении реконструкции.

Почему цех древесной массы посадил машины на голодный паек? Технолог этого цеха Волен Эмильевна Бебрис показывает свое хозяйство — мощные, недавно установ-



ленные дефибреры. Волен Эмильевна влюблена в свои могучие машины. Но так же, как мастера Селезнева и сеточника Рогачева, многое выводит ее из себя.

— Ребенку,— говорит она,— легко разобраться в том, что при увеличении производительности бумагоделательных машин почти на девяносто тысяч тонн в год нужно заблаговременно позаботиться о расширении цеха древесной массы. А занялись этим, когда новые машины были пущены в ход. Наспех, не считаясь с нашими требованиями, закупили за рубежом дефибреры устаревшего типа, не позаботились о механизации загрузки мощных машин. Полюбопытствуйте, что получилось...

Я увидел, как грузчики бросали в пасть машины одну за другой полуметровые чурки — десятки кубометров чурок в смену.

— Ну, ладно,— будто примирившись со всем этим, сказала моя спутница.— Ошиблись, не досмотрели. Но вот установили новые дефибреры — и опять беда. Машины голодают, древесины не хватает, к тому же она подступает обледенелой, плохо окоренной. Поглядите, что делается на бирже, на рейде. В голове не укладывается то, что там происходит. Как могли дойти до этого?..

Годами передовой комбинат варварски засорял Каму, запустил биржу, рейд. На подступах к комбинату затонули по одним версиям десятки, а по другим сотни тысяч кубометров леса. Затонули и затянулись илом, образуя мели. И теперь специальные комиссии ломают головы, как расчистить это кладбище леса.

Но мудрено, что при первом же осложнении со сплавом на рейде произошла авария. Около четырехсот тысяч кубометров древесины вмерзло, и ее приходилось зимой добывать из льда. Представьте себе эту картину. Лед взрывают, чтобы освободить пучки смерзшейся древесины, лебедки подтягивают их к берегу, и вот кран, подняв пучок, превратившийся в ледяную глыбу, с высоты бросает его на землю, поднимает и вновь бросает, пока не расколется ледяная корка. Потом рабочие ломачами отделяют бревно от бревна, скалывают с них наледь и везут на комбинат. Сотни людей заняты этим делом. Свыше семи рублей (в новом исчислении) затрачивают на освобождение каждого кубометра древесины из ледяного плена. Миллионные убытки!

Взрывы потрясают воздух над рекой. Рабочие вырывают древесину из льда. А рядом, на другом берегу Камы, шумят в предчувствии весны громады сосен, елей. Шумит лес. Он тянется отсюда, от берегов Камы, к северо-востоку на сотни километров. Он способен накормить десятки таких комбинатов, как Камский.

Сколько же бесхозяйственности и бюрократического бесстрастия нужно было, чтобы так дезорганизовать работу комбината, чтобы приступить к его реконструкции, не подготовив тылы, оставив биржу и рейд в аварийном состоянии!

...Пожилая женщина, энергично орудуя багром, подталкивает бревна по водяному лотку-каналу в древесно-массовый цех.

— Что так плохо кормите машины? — шутливо спрашиваю ее.

Она окидывает меня сердитым взглядом и, приняв, видимо, за одного из многочисленных обследователей, которые хлынули ныне на комбинат, раздраженно отвечает:

— Кто же виноват, что вы начинаете строить избу с крыши!

Нетрудно понять настроение коллектива комбината. В продолжение многих лет он выполнял план, неизменно был застрельщиком соревнования в бумажной промышленности. И вот пришли трудные дни. В прошлом году план не был выполнен, под угрозой и план нынешнего года. Тускнеет трудовая слава, снижаются заработки рабочих ведущих профессий.

Директор комбината Г. С. Завельский днюет и ночует на рейде. Много лет работал он на комбинате до того, как возглавил управление целлюлозно-бумажной промышленности Пермского совнархоза. Немалая доля вины на нем за безобразное состояние биржи, рейда. Проглядел. Но как только прозвучал сигнал тревоги, он вновь вернулся сюда.

Передовые люди комбината не опускают руки. Они делают все, что в их силах. Они непримиримы к халатности, недостаткам в своем цехе, на комбинате. Но ведь многое зависит не от них.

— Если в цехе,— говорит сушильщик Жданов,— произойдет авария, виновного сразу найдут, и статья даже есть такая, по которой из его зарплаты денежный вычет

можно сделать. А тут обертку, паршивую обертку, в которую хлеб стыдно завернуть, вместо мелованной бумаги выпускают! Разве это не авария? А попробуйте виновного найти. Не найдете!

А кто виноват в том, что на комбинате заморозили четыреста тысяч кубометров древесины, потеряли миллионы, на которые можно было бы построить десятки многоэтажных жилых домов? Виноватых нет. На комбинате во всяком случае никто не слышал, что кого-либо потянули к ответу. Старейший специалист бывший главный инженер комбината, а ныне ведающий его реконструкцией Е. Рапопорт, анализируя причины всех бед и злоключений, сумрачно говорит:

— Как-то сложилось такое положение, что при планировании бумагоделательную машину рассматривают как нечто изолированное от сложного производственного комплекса, в котором она служит лишь завершающим звеном. И поэтому реконструкцию начинают не с того конца.

Ошибки планирования? Но какой же плотности должна быть бюрократическая стена, чтобы так наглухо оторвать плановиков от реальной обстановки производства...

#### 4. ИНТЕРВЬЮ С ПЛАНОВИКОМ

Я сижу у стола плановика. Это опытейший экономист комбината. Стаж его работы в целлюлозно-бумажной промышленности исчисляется десятками лет. И признаться, я многого жду от встречи с ним. Мне хочется, чтобы он помог разобраться в технологиях «просчетов», выяснить, где и как они зарождаются, кто повинен в них...

Плановик испытующе смотрит на меня (что, мол, за человек?), будто оценивает, стоит ли заводить серьезный разговор. Ох, уж эти любопытные! Не раз, видимо, донимали они его такими вопросами. Желание поговорить о наболевшем берет, однако, верх. Он отодвигает лампу на край стола, оглядывает опустевшую комнату (рабочий день уже закончен), вытаскивает из папки листки бумаги и кладет их перед собой.

— Хороша была Кама — и вдруг села. И так села, что и предположить было невозможно. Села в прошлом году. А что будет в нынешнем? Что же с нами, краснокамцами, стряслось? Много обследователей за последнее время у нас побывало. А дело-то проще простого.

Он поднялся, подошел к окну, из которого были видны цехи комбината, уже поясавшиеся вечерними огнями, и вернулся к столу.

— Мы ратуем за единство, комплексность планирования, гармоничное развитие хозяйства. А получается вот что.— Он нарисовал на листке две линии, которые при продолжении должны были встретиться.— Посмотрите: одна линия — это план производства, вторая — план снабжения. Когда обе они встретятся, нужно привести их в полное соответствие. Нельзя же выполнить план производства, если тебя не снабжают всем необходимым. Так вот. Не получается у нас этого соответствия! На бумаге, может быть, и получается, а в жизни сплошь и рядом там, где по плану должно быть гладко, ровно, натыкаешься на кочки и овраги. Ты в этот овраг провалился, вопишь: «Караул, спасите!» А тот, кто написал на бумаге: «Все гладко», никак не хочет признать, что на этом месте овраг.

Мой собеседник задумался и спросил меня:

— Приходилось ли вам слышать такую шуточную хоровую песню — половина хора поет: «А мы просо сеяли, сеяли...», другая половина вторит: «А мы просо вытопчем, вытопчем...» Так частенько представляются нам взаимоотношения отделов Госплана, планирующих производство и снабжение. Приведу такой пример. На производство тонны типографской бумаги нужно израсходовать пятьсот килограммов каолина. Нам же планируют в среднем по триста пятьдесят килограммов на тонну. Что прикажете делать? Либо план не выполнять, либо вместо каолина расходовать целлюлозу, которой нам и так не хватает... Или такой факт: в прошлом году Госплан утвердил Камскому комбинату задание — выпустить двести тридцать восемь тысяч тонн бумаги, а целлюлозы выделил на десять тысяч четыреста тонн меньше, чем нужно для выполнения этого плана. Идет капитальная реконструкция. Предстоит

трудный год. А тут такой удар. Под угрозу поставлено выполнение плана, а следовательно, и заработки рабочих. Стали мы стучаться во все двери. В совнархоз, ВСНХ, Госплан. Что прикажете нам делать? Отвечают: «Сокращайте нормы расхода целлюлозы». Формально ничего не возразишь. Надо увеличивать выпуск целлюлозы, экономить ее. Но как это сделать, если целлюлозный цех в запущенном состоянии, хлора дают меньше нормы, если вместо нужных нам ста двадцати семи тонн кислотоупорной стали выделили на первый квартал... пять тонн? Все понимают, что мы правы. А вот поди ж: рассчитали нашу потребность по какой-то своей норме, и как говорится: «Что написано пером, не вырубишь топором». Сколько горя, сраму мы натерпелись. Комбинат не отгрузил целлюлозу ряду потребителей, подвел их, пришлось днем и ночью писать объяснения партийным органам, Госконтролю, прокуратуру.

— Кто же заварил эту кашу? — спросил я.

— Вы думаете, что-либо изменится от того, что вы узнаете фамилии?

— Все же хотелось бы узнать.

— Ладно. Назовем и фамилии. Только много вам их придется записывать... Теперь вы видите, — вернулся он к своим мыслям, — какие овраги обнаруживаются на «ровном» месте. Что же происходит при таких методах планирования, когда дорога круто поднимается вверх, когда нужно за два-три года удвоить, утроить продукцию? Просчеты на каждом шагу. Просчеты и потери. И запасных частей нет, и сукон не хватает, и сеток, каолина мало, и с древесной трудно. Когда же наконец Госплан начнет сводить концы с концами? Поверьте, так осточертел этот плановый ералаш...

Он сказал это от всей души, и нельзя было не посочувствовать ему. Положение на Камском комбинате наглядно иллюстрирует, что получается, когда плановики не сводят концы с концами.

На следующий день я получил официальную справку, в которой был приведен расчет потребности комбината в целлюлозе в сопоставлении с фондами. Они были ниже потребности на десять тысяч четыреста тонн. Расчет завершился коротким заключением: «Последствия такого планирования были тяжелыми. Не отгружена целлюлоза Украине, Белоруссии, на экспорт. Основная путаница исходит от союзного Госплана, особенно от сектора распределения (тов. Науменко В. М.)».

Справку подписал председатель комиссии партийного контроля Камского комбината.

## 5. КОНДОПОЖСКИЕ ЗАБОТЫ

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат в ближайшие два-три года станет основным поставщиком газетной бумаги. В 1959 году он выпустил семьдесят четыре тысячи тонн бумаги, в 1961 году — сто сорок четыре тысячи тонн. А в нынешнем году должна быть введена в эксплуатацию скоростная бумагоделательная машина огромной производительности. Она одна даст столько же бумаги, сколько весь комбинат дал в прошлом году. В 1963 году войдет в строй еще одна такая машина. И наконец в 1964 — меловальная машина.

Небольшая территория комбината изрыта котлованами. Строится здание для машины, которая должна быть смонтирована в нынешнем году. Экскаваторы беспощадно врываются в небольшой садик у заводоуправления: на его территории закладывают фундамент для здания еще одного машинного цеха. Нужно торопиться. Машины не заставляют себя ждать.

В кабинете директора комбината В. М. Холопова обращаю внимание на диаграмму с двумя стремительно расходящимися кривыми. Кривая выпуска бумаги рвется вверх, а кривая выпуска товарной целлюлозы, сползая вниз, близка к нулю. Комбинат уже в нынешнем году расходует почти всю вырабатываемую им целлюлозу. А чем же будут кормить новые машины?

— Вопрос уместный, — отозвался директор. — А вот те, кто по долгу службы обязан быть в курсе наших дел, не задумываются над ним.

И он показал мне переписку с совнархозом, касающуюся строительства нового целлюлозного завода. По постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР на Кондопожском комбинате намечено строительство нового целлюлозного завода. Уже

в текущем году он должен был дать восемнадцать тысяч тонн целлюлозы, а в 1963 году — произвести двадцать пять тысяч тонн! При этом условии можно обеспечить работу новых машин. Но строительство целлюлозного завода затягивается. Чтобы предотвратить надвигающуюся диспропорцию, нужно немедленно развернуть строительство всего целлюлозного комплекса. Из титульного списка строительства исключили очистной цех, без которого нельзя получить целлюлозу; не отпущены деньги на оборудование для ряда других цехов. В своих письмах директор взывает к здравому смыслу. И хотя на площадку прибывают уже узлы новых бумагоделательных машин, спорные вопросы строительства целлюлозного завода не решаются.

Немного позже беседую с директором об эксплуатации новой бумагоделательной машины. Ее проектная скорость — шестьсот двадцать метров в минуту.

— Работаем на пятистах метрах, — рассказывает директор, — дотянем до пятисот пятидесяти и... остановимся.

— Почему же? Ведь проектная ее скорость шестьсот двадцать метров.

— Добьемся и шестисот пятидесяти, когда нам дадут сульфатную целлюлозу.

(Включение небольшого количества сульфатной целлюлозы в бумажную массу предотвращает обрывы бумажной ленты при работе машины на высоких скоростях.)

Новая кондопожская машина пока самая быстроходная в СССР. В опыте ее эксплуатации заинтересована вся бумажная промышленность, поскольку в нынешнем году начнут входить в строй машины-гиганты, вырабатывающие бумажную ленту шириной в 6,9 метра со скоростью семьсот пятьдесят — восемьсот метров в минуту.

И вот, представьте, не находят хотя бы сотни тонн сульфатной целлюлозы для проверки работы первой скоростной машины на предельных ее скоростях.

Кто будет снабжать Кондопогу целлюлозой, когда начнут работать новые машины?

Начальник управления целлюлозно-бумажной промышленности Карельского совнархоза Борис Ильич Рогачевский считает, что директор Кондопожского комбината чрезмерно мрачно глядит на ближайшие перспективы.

— Впрочем, — тут же говорит он, — вряд ли удастся получить целлюлозу с нового завода ранее 1964 года... Придется подкинуть Кондопоге целлюлозу со стороны.

— Кто же все-таки даст эту целлюлозу? — допытываюсь я.

Начальник управления неопределенно поглядывает вверх: найдут, мол, целлюлозу, когда закутится новая машина. Не будут же ее останавливать.

«Найдут!» Уж очень часто приходилось слышать это слово. Когда цифры не сходятся, когда нет реального плана покрытия потребности, когда не удастся свести концы с концами, в силу вступает формула «надо чайти», «найдем».

Мария Наумовна Скоморовская всегда горячо реагирует на причуды планирования. Невозможно ее уговорить, что дважды два пять, даже если в этом будет убеждать ее начальство. Я знал ее, когда она работала в Министерстве целлюлозной и бумажной промышленности. И вот встретил в Карельском совнархозе. Рядом с ее столом стоял работник планово-производственного управления совнархоза и умолял:

— Разверстайте шестьдесят семь тысяч тонн...

— Не буду верстать эту цифру, не буду, — кипятилась Мария Наумовна. — Никто меня не заставит.

Спор шел вот по какому поводу. Управление целлюлозно-бумажной промышленности совнархоза подсчитало, что для выполнения плана производства бумаги предприятиям совнархоза понадобится семьдесят три тысячи сто двадцать тонн целлюлозы! А в Госплане срезали шесть тысяч тонн, и нужно было распределить предприятиям заведомо недостаточное для выполнения плана количество целлюлозы.

Карельцы подняли крик: «Раздевают!»

В управлении целлюлозно-бумажной промышленности ВСНХ начали пересчитывать, прикидывать и так и эдак и пришли к выводу, что карельцам при самых жестких нормах расхода целлюлозы нужно не меньше, чем семьдесят тысяч восемьсот тонн целлюлозы. «Ладно, шубу сняли, хоть жилетку оставил», — утешались в Петрозаводске.

И вот последнее, окончательное решение прибыло из Госплана — шестьдесят семь тысяч тонн целлюлозы, ни грамма больше. Мотивировка: целлюлозы не хватает, надо выходить из положения.

Но Мария Наумовна решила оспаривать это решение...

Спустя несколько дней я стал невольным свидетелем еще одной попытки заставить ее сделать невозможное. Звонили из Москвы, из ВСНХ. Вот краткая запись разговора по телефону:

Москвич: Должен уведомить вас, что на первый и второй квартал вам запланировано отгрузить по три тысячи тонн товарной целлюлозы.

Мария Наумовна: Константин Матвеевич, откуда нам взять ее? Может быть, посоветуете...

Москвич (после непродолжительной паузы): Надо бы снизить нормы расхода целлюлозы.

Мария Наумовна: Но вы ведь знаете, что это невозможно. Мы переходим на высокие скорости, и вот у меня на столе присланная вами же справка. В ней черным по белому написано, что при повышении скорости расход целлюлозы увеличивается, а не уменьшается.

Даже со стороны слышен тяжелый вздох Константина Матвеевича. Крыть, как говорится, нечем. Но найти целлюлозу надо.

Когда разговор заканчивается, я спрашиваю у Марии Наумовны, кто это такой Константин Матвеевич.

— Дело не в фамилии,— отвечает она.— Это чудесный человек. Он прекрасно знает, что неоткуда нам взять эти три тысячи тонн целлюлозы, и от всей души сочувствует мне. Но для сведения баланса хотя бы на бумаге не хватает какого-то количества целлюлозы. На него жмет начальство. Он нажимает на нас. Это опытейший бумажник. Обидно, что этот уважаемый нами человек предлагает делать то, что — он это прекрасно знает — невозможно...

Совнархозу придется в конце концов включить в план три тысячи тонн товарной целлюлозы, чтобы хоть на бумаге свести концы с концами. Но что это даст? Ничего, кроме дополнительных осложнений на производстве. Кому-то не отгрузят целлюлозу (как это произошло на Краснокамском комбинате), тот в свою очередь оставит без бумаги какое-то издательство. Десятки тысяч читателей не получают книги, на которые уже приняты заявки.

Кто же все-таки обеспечит новые машины Кондопоги целлюлозой?

И еще одна забота волнует коллектив комбината. Главный инженер Г. Г. Бойков познакомил меня с интересным расчетом. Суточная выработка комбината увеличится в 1963 году на восемьсот тонн. Если взять за основу самые высокие нормы производительности труда, комбинату потребуется дополнительно восемьсот квалифицированных рабочих. «А мы,— говорит он,— не получили денег на подготовку людей. Что будет, когда введут в строй две сверхмощные машины, не знаю. Когда мы пускали пятую машину (первую скоростную), пришлось в ущерб делу снять лучших рабочих с других машин. Когда пустим шестую, переведем на нее рабочих с пятой. Для других начнем набирать необученных людей. А что будет с седьмой машиной — не представляю».

В Карельском совнархозе в отделе труда и зарплаты пытаюсь выяснить, кто будет готовить рабочих для новых машин Кондопоги. Заведующий отделом Сидоров пытается что-то вспомнить. Рядом сидящий работник подсказывает:

— ...Куда-то бумажку послали, просили помочь, а вот результатов не знаю.

К концу семилетки лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность Карелии будут давать до сорока процентов валового выпуска всей продукции промышленности республики. А вот специализировать хотя бы одно техническое училище для подготовки квалифицированных рабочих-бумажников не догадались ни совнархоз, ни Госплан, ни Комитет по профессионально-техническому образованию.

## 6. ЗАПИСИ ИЗ БЛОКНОТА

Начальник управления целлюлозно-бумажной промышленности Пермского совнархоза Вениамин Ионович Есафов рассказал мне о необычайном происшествии на строительстве Левшинского комбината. На этом предприятии впервые в СССР будут вырабатывать химическую древесную массу для картона и бумаги из лиственных пород —

тех самых, древесина которых часто гибнет на корню, не находя себе хозяйственного применения. Освоение новой технологии откроет для бумажной промышленности неисчерпаемые сырьевые ресурсы. В будущем году Левшинский комбинат должен дать первую продукцию. На строительную площадку поступает ценнейшее оборудование из-за границы, разворачиваются строительные работы.

— И вдруг напасть,— рассказывает начальник управления.— В Госплане РСФСР вычеркнули из титульного списка теплоэлектроцентраль.

— Теплоэлектроцентраль? — переспрашиваю я, полагая, что мой собеседник оговорился. Нельзя ведь производить древесную массу без пара, так же как молочную кашу без молока.

— Теплоэлектроцентраль,— повторил он.

— Кто ж это так нашкодил?

— Представьте, установить трудно. Всего вероятней, в каком-нибудь отраслевом управлении.

— Что ж предполагаете делать?

— Будем добиваться исправления ошибки, но боюсь, что на это уйдет много времени и сроки пуска комбината придется отложить.

В постановлении о преодолении отставания целлюлозно-бумажной промышленности предусматривается строительство двух мощных заводов бумажного машиностроения. В 1964 году они должны работать на полную мощность. Один из этих заводов строится в Петрозаводске. По первоначальному плану он должен был дать в 1960 году продукции на миллион двести тысяч рублей, в 1961 — на четыре с половиной миллиона рублей, в 1962 году — на десять с половиной, а в 1963 — на десять миллионов восемьсот тысяч рублей.

Пока же управление строительством, директор завода, его штаб размещены в небольшом домике; на строительной площадке только еще начинают подниматься стены будущих цехов.

Директор завода Петр Иванович Глушков и главный инженер Вячеслав Иванович Чичаев делятся своими заботами. Завод проектируется, не располагая утвержденной номенклатурой продукции, которую он должен выпускать. Потребность в оборудовании приходится определять по укрупненным, взятым с потолка данным. Трудно с размещением оборудования. И уж совсем неожиданное препятствие: Госстрой, ставя перед собой благородную задачу удешевить строительство, вычеркнул из списка литейный цех. Год пришлось затратить, чтобы доказать, что завод не может работать без литейного цеха. Цех восстановили, но в урезанном виде. Борьба продолжается. Ко всему этому проектирование крупнейшего предприятия бумажного машиностроения ведет почему-то... Гипролестранс — организация, проектирующая узкоколейный лесной транспорт.

— Скоро ли завод начнет выпускать машины?

Директор и главный инженер неопределенно разводят руками... Трудно это предсказать даже сегодня, когда завод должен был бы уже работать...

Как же умудрились в Госплане СССР запланировать в 1960 году постройку крупного завода с тем, чтобы в том же 1960 году он дал первую продукцию? Вот уж действительно — по щучьему велению.

Конструкторы Центрального научно-исследовательского института бумажного машиностроения, с которыми я беседовал в Ленинграде, с раздражением говорили о непонятной, нелепой спешке, которая сопутствует проектированию новых бумагоделательных машин. На проектирование скоростной меловальной машины для Сыктывкарского комбината отведено всего несколько месяцев. Это при отсутствии точных исходных данных для проектирования.

— Научно-исследовательский институт бумажной промышленности,— говорит молодой конструктор Владимир Добров,— не может дать ни технологических параметров, ни механических. Еду на Камский комбинат посмотреть меловальную машину. А времени отпущено в обрез. Не пойму, к чему такая ненужная спешка? Всем известно, что

строительство Сыктывкарского комбината затягивается, а Днепровский завод, который должен делать машину, перегружен. Все равно проект положат на полку...

Конструкторы вооружили меня списком проектов, которые преспокойно лежат на полке, хотя выполняли их в «пожарном порядке», не считаясь со сверхурочными. Вот уж действительно концы с концами не сводятся.

Работа Центрального научно-исследовательского института бумажной промышленности (ЦНИИБ) в продолжение многих лет подвергалась резкой критике в печати. Шестнадцать лет строил институт свою научно-экспериментальную базу в Красногродке, и она превратилась по существу в производственное предприятие. Само собой разумеется, что нельзя преодолеть отставание бумажной промышленности без широко поставленных научных исследований и экспериментов, без научно-экспериментальной базы.

В прошлом году меня познакомили с проектом новой научно-исследовательской базы в Дубровке под Ленинградом. В Госплане СССР эту базу гордо называли «Лужниками бумажной промышленности». Стоимость ее определялась миллиардами (в старых деньгах). От «Лужников» пришлось, однако, отказаться. Сейчас только намечается развитие новой научно-экспериментальной базы.

Я беседую с начальником бумажной лаборатории ЦНИИБа тов. Рюхиным. Перед этой лабораторией поставлены большие задачи: нужно разработать оптимальную технологию мелования, подвести итоги первого опыта освоения скоростей, помочь конструкторам разработать технологические параметры для проектирования нового оборудования. Каковы же успехи?

— Что я могу сделать, — говорит Рюхин. — В нашей лаборатории всего один кандидат технических наук, остальные двадцать шесть сотрудников — молодежь без производственного стажа. Опытных работников трудно привлечь: конструктор получает у нас восемьдесят рублей. Мне неудобно иной раз посылать сотрудников лаборатории на предприятия. Что они могут им дать?

Вот тебе и «Лужники»! Два года прошло после исторического для бумажников постановления, а на важнейшем участке борьбы за овладение новой технологией и техникой это время затратили на бюрократические утопии вместо того, чтобы укрепить единственный в стране научно-исследовательский институт бумажной промышленности.

## 7. ДУМЫ О ПЛАНИРОВАНИИ

Никогда еще, пожалуй, так наглядно, как в наши дни, не раскрывалась мощь социалистической экономики. Грандиозные замыслы коммунистического строительства успешно осуществляются. Высокие темпы намечены и для целлюлозно-бумажной промышленности.

И по мере того, как растут масштабы и темпы развития нашего хозяйства, все более строгие требования предъявляются плановикам. Они обязаны неукоснительно соблюдать принцип комплексности в планировании. Само собой разумеется, что скачок в какой-либо одной отрасли промышленности неосуществим, если ему не сопутствует синхронное развитие смежных производств, предприятий-поставщиков.

Но вот только-только тронулась бумажная промышленность по пути к подъему — сразу же обнаружились просчеты в планировании. Не хватает каолина, хлора, сеток, сукон, не хватает даже древесины. Баланс целлюлозы в стране крайне напряжен. А на предприятиях форсируют монтаж бумагоделательных машин, мало заботясь о расширении производства целлюлозы, древесной массы.

На крутом подъеме обнаруживаются серьезные недостатки планирования.

В. И. Ленин, оценивая опыт первоначального этапа планирования народного хозяйства, писал: «Главная ошибка всех нас была до сих пор, что мы рассчитывали на лучшее; и от этого впадали в бюрократические утопии... Надо это в корне переделывать. Рассчитать на худшее».

Работники планирующих организаций, как мы видели, не всегда руководствуются этими ленинскими указаниями.

В Москве; в Госплане СССР, я встретился с В. М. Науменко, которого плановики Краснокамского комбината считают виновником многих своих бед.

— При чем тут Госплан СССР? — недоумевает он. — Ведь задания для предприятий утверждает Госплан РСФСР вместе с ВСНХ. Мы же сводим общий баланс потребности целлюлозы по республикам.

— Почему же все-таки на Каме жалуются на Госплан СССР?

Сотрудники отдела вспоминают, что в прошлом году понадобилось дополнительно сверх плана тринадцать тысяч тонн целлюлозы. Да, наряд на отгрузку этой целлюлозы был выдан на Камский комбинат, но одновременно был снижен план выпуска бумаги по Российской Федерации на двадцать тысяч двести тонн... Так что спрашивайте в Госплане РСФСР, почему не сведен на Каме баланс целлюлозы.

Как же так? Целлюлозу забрали у Камского комбината, а план производства бумаги снизили каким-то другим предприятиям.

Повисла в воздухе и обида карельских бумажников. В. М. Науменко вытащил толстую ведомость: «Да, Карельскому совнархозу выделено шестьдесят семь тысяч семьсот тонн целлюлозы, это соответствует нормам расхода ее на тонну продукции. Вот посмотрите: на тонну газетной бумаги требуется двести сорок килограммов целлюлозы, на обертку — двести шестьдесят два килограмма и т. д. В итоге получается точно: шестьдесят семь тысяч семьсот тонн.

Почему же в Карелии оспаривают эти цифры? Неужели Скоморовская ищет легкой жизни?

— О нет... Марию Наумовну мы знаем... Это серьезный, знающий дело человек.

Не прояснилась картина и в Госплане РСФСР. Начальник отдела целлюлозно-бумажной промышленности Н. М. Румянцев не отрицает расхождений с предприятиями. Дело в том, что нормы расхода целлюлозы разрабатывались лет пять назад, исходя из сложившейся в то время обстановки на предприятиях. Так, Кондопоге разрешили расходовать двести сорок килограммов целлюлозы на тонну газетной бумаги, Балахне — двести пятьдесят три, ленинградскому предприятию дали по двести шестьдесят килограммов, новому Красноярскому комбинату — столько же. С той давней поры норма не пересматривалась, не приспособлялась к реальной обстановке на предприятии.

Предприятие планирует, исходя из реальной обстановки, а ВСНХ и Госплан — из «теоретических» норм. Вот почему тревоги карельских бумажников не встречают отклика в планирующих организациях. ВСНХ пытался было отстаивать интересы Карельского совнархоза, но спасовал все перед той же нормой.

В отделе целлюлозно-бумажной промышленности Госплана РСФСР пытаюсь выяснить, кто и почему вычеркнул из титульного списка теплоэлектроцентраль Левшинского комбината.

— Это не мы, это отраслевой отдел электрификации. И он даже не посоветовался с нами.

Начальник отдела электрификации В. В. Гурлин не скрывает, что по его инициативе из титульного списка исключена ТЭЦ Левшинского комбината. Почему же это сделано?

— Потому что не представили вовремя положенной документации.

— Но как же быть? Ведь на стройплощадку прибывает оборудование, на которое затрачены миллионы рублей, строят цехи. Приближаются пусковые сроки.

— Дадим в будущем году.

И тут же Василий Васильевич советует покрепче критиковать бумажную промышленность, которая, не продумав, завозит оборудование, не вводит его в эксплуатацию, замораживает огромные средства.

Трудно подыскать пример, который бы более наглядно иллюстрировал разобщенность, схематичность в планировании народного хозяйства.

Работник Госплана вычеркивает из титульного списка теплоэлектроцентраль,



из-за чего затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию крупнейшего комбината стоимостью в десятки миллионов рублей. И тут же с гражданским пафосом рекомендует жестче криковать бумажников, которые непродуманно ведут капитальное строительство, замораживают ценнейшее оборудование.

Работники Госплана, ВСНХ отлично знают М. Н. Скоморовскую из Карельского совнархоза, ценят ее как честного работника. А когда она добивается правильного решения вопроса, имеющего жизненное значение для карельских бумажников, в расчет принимаются не реальная обстановка, а давно устаревшие бумажные нормы.

Слабое, явно недостаточное участие общественности в контроле над планированием затрудняет борьбу с ошибками, просчетами. Любая неувязка в цехе незамедлительно обсуждается на производственных совещаниях. Виновные изобличаются, недостатки устраняют. Вопросы же планирования, определяющие работу больших коллективов на год, остаются за пределами широкого общественного контроля и критики.

В исторической работе «О роли и задачах профсоюзов» Владимир Ильич Ленин писал: «...деятельность профсоюзов должна все шире и глубже втягивать рабочий класс и трудящиеся массы во все строительство госхозяйства, знакомя их со всем кругом хозяйки, со всем кругом промышленной работы, начиная от заготовки сырья и кончая реализацией продукта, и давая все более конкретное представление как о едином госплане социалистического хозяйства, так и о практической заинтересованности рабочего и крестьянина в осуществлении этого плана».

А почему бы, исходя из этого ленинского совета, не ввести в практику обсуждение коллективами предприятий плановых наметок (до их окончательного утверждения) от заготовки сырья до реализации продукции? Это дало бы возможность предупредить ошибки, просчеты, повысить ответственность плановиков. Пришлось бы тогда В. М. Науменко и Н. М. Румянцеву защищать нормы не заочно, а на предприятиях, работу которых они планируют.

На предприятиях бумажной промышленности работа планирующих организаций подвергается резкой критике. Одновременно высказываются и конструктивные мысли, предложения, как улучшить систему планирования. Но это тема специального выступления. Во всяком случае в связи с возрастающими масштабами и темпами развития народного хозяйства назрела необходимость широкого общественного обсуждения работы Госплана.

Но вернемся к бумажной промышленности. Не ясно ли, что надо проверить наметки Госплана, внести в них коррективы с тем, чтобы обеспечить комплексное ее развитие, не допуская при этом снижения темпов.

И еще одно предложение. Велика радость писателя, когда он держит в руках только что вышедший томик его произведений, напечатанных на отличной бумаге. Понятно волнение журналиста, просматривающего только что вышедший номер газеты или журнала, в котором напечатана его статья. Все мы хотим, чтобы выходило больше книг, газет, журналов... А для этого, разумеется, надо выпускать больше бумаги.

Писатели, журналисты кровно заинтересованы в успешном осуществлении постановления ЦК КПСС и Совета Министров о преодолении отставания целлюлозно-бумажной промышленности. Вот почему они должны быть в курсе всего комплекса производства бумаги. Они могут и должны помочь бумажникам. Печать должна взять под свой контроль ход реконструкции и строительства новых предприятий, производственную их деятельность — от заготовки сырья до реализации продукции.

Не следует ли подумать о действенном шефстве Союза советских писателей и Союза журналистов над бумажной промышленностью?

Быстро летит время. Почти полгода прошло со времени первой моей поездки на предприятия бумажной промышленности. Срок немалый. Что же изменилось за эти полгода?

Камскому комбинату повезло. В нынешнем году паводок наступил рано. Это предотвратило угрозу простоя комбината из-за недостатка древесины. Но медленно,

недопустимо медленно осуществляется реконструкция биржи и очистка рейда, несмотря на суровый урок прошлого года.

Баланс целлюлозы продолжает оставаться напряженным.

По-прежнему плохо обстоит дело со снабжением комбинатов каолином, сепками, сукнами. Почему так вяло, медленно устраняются недостатки? Когда задумываешься над этим, вспоминается беседа с плановиком.

— Попробуйте подсчитать,— советовал он,— через какое количество инстанций проходит план предприятия до окончательного утверждения.— И тут же начал считать, загибая пальцы.— Плановый отдел предприятия, отраслевое и плановое управления совнархоза — три... Теперь пойдем дальше. Отраслевое и плановое управление ВСНХ, Госплан РСФСР, СССР. А недавно родилась еще одна инстанция — Государственный комитет по лесной, целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности.— Он поглядывал на согнутые пальцы.— Совсем, как в народной поговорке: «Семь нянек...» Ни в одной, так в другой из этих инстанций могут ошибиться. Ничего не поделаешь, все мы люди... А исправить ошибку ни одна инстанция не решается, да и не всегда может. Вот и затягивается подчас решение вопросов на долгие месяцы.



---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных изданий*

## РОБ-ГРИЙЕ ИЩЕТ ТОЧКИ ОПОРЫ

*Франция*

«Ревю де Пари» («Парижское обозрение») — ежемесячный литературно-публицистический журнал, № 9, 1961. Год издания 68-й.

★

В литературной прессе Франции часто затрагивается «новый роман» — нашумевшее за последние годы направление в современной французской литературе. Собственно разговоры и споры вокруг «нового романа» ведутся с тех пор, как появились книги, статьи и декларации Алена Роб-Грийе, Натали Саррот, Мишеля Бютора, Клода Симона и других литераторов-модернистов. Некоторые буржуазные критики в исканиях этой группы поспешили увидеть выход из кризиса, в котором, мол, оказался французский роман.

История «нового романа» уходит в прошлое десятилетие. Уже тогда названные выше авторы стали дружно доказывать, что традиционное искусство романа устарело и не в состоянии выразить требований нашего времени — тех изменений, которые произошли в мире, в жизни человека, в исследовании вселенной.

Одним из главных теоретиков «нового романа» является Роб-Грийе. Еще в 1956 году в статье «Путь романа будущего» он провозгласил, что вместо мира «значений» — психологических, социальных, функциональных — в будущем романе будет создан мир более непосредственный. Вещи, движения — вот что воплощает все... Должен измениться, уже меняется язык литературы. Герой будущего романа будет свободен от навязываемой персонажам в традиционном романе психологической, социальной, политической функции... Так Роб-Грийе определял главные черты «новой литературы».

Романы «Ревность» Роб-Грийе, «Портрет неизвестного», «Планетариум» Натали Саррот и другие стали «классическими» образцами этой новой литературы. Роб-Грийе действительно заменил в своих книгах раскрытие внутреннего мира людей, их взаимоотношений в обществе описанием вещей, движений, жестов. Романы его лишены персонажей, сюжеты — социальных событий.

Натали Саррот поставила своей целью «открывать неизведанные частицы бытия», «расщеплять материю романа» подобно тому, как физики расщепляют атомы. Эти «нерасщепленные частицы» она ищет в тайниках подсознания. В ее романах персонажи присутствуют символически. «Глубокий смысл», вкладываемый автором в повествование, читатель должен выискивать в подтексте часто банальных фраз.

Во Франции успели появиться даже эпигоны «неороманистов», продолжающие модернизацию литературы по примеру Роб-Грийе и Натали Саррот. Среди книг прошлого года, например, претендовавших даже на литературные премии, — роман некоего Марка Сапорта, название которого условно можно перевести как «Разверстка». Как пишет «Экспресс», этот автор ставит своей главной целью «свести персонажи к состоянию объекта» — подменить образы живущих и действующих людей статичными портретами. Он отбрасывает такие атрибуты эпического жанра, как развитие действия, интригу, фабулу. Он просто располагает на страницах своего произведения детальным образом выписанные портреты, предоставляя читателю «установить между ними связь и домыслить то, что должно происходить в романе».

Похвал и восторгов «новый роман», однако, в последнее время вызывает все меньше. К нему присмотрелись, и теперь все чаще на страницах прессы появляются язвительные реплики и резкие критические оценки. «Новый роман» уже так стар», — заметил

в одной из статей известный романист Поль Виалар, называя приверженцев этой школы «пленниками собственной ловушки, из которой они уже не знают, как выбраться». Другой романист — Эрве Базен, характеризуя «новый роман» как несозвучный своей эпохе, идущий против ее требований и являющийся «завершенной формой своего рода интеллектуального пуританства», говорит о том, что «новый роман» отказывается от обычных путей к читателю и «словно стыдится признать простейшую истину, что искусство — не только средство общения с человеком, но и возможность доставить ему глубокое наслаждение». «Новый роман» страшится мысли. Он избегает всех специальных, политических проблем. Его страшит сущность, и он предпочитает останавливаться на деталях, отказывается познавать истину.

Марксистский журнал «Нувель критик» опубликовал большой критический очерк о «новом романе», в котором раскрыл социальные и эстетические корни этого явления во французской литературе. Авторы очерка, поддерживая стремление неороманистов к художественному поиску, «направленному против самых низких форм буржуазного романа нашего времени», подчеркивают в то же время отказ этого направления от достижений критического реализма, его связи с декадентской линией развития литературы XX века. «Они являются не революционерами, а эпигонами», — пишут Э. Лоп и А. Соваж в «Нувель критик» о неороманистах.

Позиции буржуазных интеллигентов, не имеющих силы взглянуть открыто на современный мир в целом, на происходящие в нем исторические процессы, определяют философию и эстетику представителей «нового романа» и их последователей.

Своейственное неороманистам внимание к форме, художественной детали могло сыграть положительную роль в процессе развития современной литературы. Но отказ от выражения больших общественных идей, от раскрытия величия человека в совокупности его дел лишает значимости художественные поиски «неороманистов».

Отношение критики, складывающееся явно не в пользу «нового романа», встревожило Роб-Грийе. В конце прошлого года в журнале «Ревю де Пари» появилась его новая теоретическая статья «Новый человек — новый роман». Он включил ее затем в недавно вышедший «Словарь современной литературы».

«Вот уже в течение нескольких лет пишут так много о «новом романе», — говорит он. — К несчастью, у критиков, которые нас не щадили, а часто и в похвалах было столько крайних упрощений, столько заблуждений, недоразумений, что сложился своего рода чудовищный миф. В представлении читателей «новый роман» стал чем-то противоположным тому, что думаем о нем мы».

И Роб-Грийе принимается разрушать «чудовищный миф». Первым делом он опровергает злые толки о том, что его «школа» разрушает роман, что, в частности, он, Роб-Грийе, в своих беллетристических сочинениях в центр внимания ставит описание мертвого мира вещей, изгоняя человека как предмет художественного изображения. (Заметим, что во Франции направление получило название «шозизм» от слова «chose» — вещь.) Одновременно он пытается доказать (далее мы увидим, каким образом), что «новый роман» продолжает позитивную эволюцию французского искусства и самым лучшим образом выражает дух и требование современности. Разумеется, Роб-Грийе считает необоснованным мнение тех, кто говорит о заумности и недоступности «нового романа» для широкого круга читателей.

Убедившись, очевидно, в недостаточности прежних деклараций, Роб-Грийе стремится найти новые точки опоры для непрочно возведенной эстетической конструкции. С этой целью он и пытается установить связь «новой школы романа» с национальной литературной традицией, а также объяснить ее появление исключительно требованием современности.

В суждениях и заключениях Роб-Грийе нет последовательности. Его попытка найти опору на зыбкой почве интеллектуального и художественного упадка лишней раз показывает несостоятельность его эстетики и философии. Он прежде всего отвергает «абсурдное утверждение, кочующее от пера к перу, из уст в уста», о том, что «новый роман» — результат губительных теорий его основоположников. Никаких теорий! Мы далеки от того, чтобы создавать теории, навязывать какие-либо правила или законы самим себе

или же другим, говорит Роб-Грийе. Мы на том и сошлись, что боремся против строгих законов. «Новый роман» — это только поиск, свободный поиск.

Роб-Грийе (как это делают и многие критики) не склонен называть представителей своего направления единой школой, поскольку поиски, скажем, Натали Саррот, Клода Симона и его собственные различны. Не общее понимание задач современного романа сближает и объединяет корифеев «нового романа», не единая эстетическая платформа, а лишь общее стремление «избежать склероза», не свыкнуться с «застывшими», привычными формами, заявляет он.

Итак, неограниченные поиски новых форм искусства! Вот возвышенная идея (кто ее не поддержит!), на которой Роб-Грийе хотел бы базировать репутацию своей школы. Вот найденная им главная точка опоры.

«Во все времена и во всех областях искусства формы существуют и отмирают. Их необходимо непрерывно обновлять». Установление же и признание эстетических законов, правил и норм, по мнению Роб-Грийе, сковывает, ведет к тому самому склерозу, которого его единомышленники так стремятся избежать.

Что же Роб-Грийе считает отмершим или отмирающим в искусстве французского романа, к какому новаторству призывает? Мертв, оказывается, в его представлении социальный реализм. «Структура романа, характерная для XIX века, которая была выражением самой жизни сто лет назад, сейчас лишь устая формула, годная разве только для скучных пародий», — читаем мы. Столь же устаревшими считает Роб-Грийе требования относительно характеров, анализа чувств... Больше всего возмущает Роб-Грийе то, что это требование «скрыто признают все или почти все во Франции» и что его единомышленников не хотят никак понять, когда они предлагают иное, не желают «культивировать и повторять то, что уже было».

Какие же новые пути развития романа он предлагает? Последовательный противник законов, теорий и правил, он не предлагает ничего, никаких критериев. «Мы не знаем, каким должен быть роман и что нужно называть настоящим романом. Мы только знаем, что современный роман будет таким, каким мы его сделаем».

Другую точку опоры для своей школы Роб-Грийе находит в связях с исторической традицией. Однако он вовсе не возражает против разговоров о кризисе традиционных форм романа. Он только старается опровергнуть утверждения о разрыве «нового романа» с прошлым французского искусства, с закономерной эволюцией его. «Мы больше всего соглашались с нашими предшественниками, наше единственное стремление — продолжать их». Роб-Грийе даже не стесняется изобразить себя наиболее последовательным поборником традиций, видя заслугу «нового романа» в том, что именно он «заставляет широкую публику осознать всеобщую эволюцию жанра».

Как не согласиться с Роб-Грийе, когда он говорит, что было бы заблуждением считать, что «настоящий роман» застыл в строгих и окончательных формах эпохи Бальзака. Но попробуйте представить Кафку и Джойса продолжателями бальзаковского романа. А так именно представляет читателю Роб-Грийе развитие романа после Бальзака: Флобер, Достоевский, Прус, Кафка, Джойс, Фолкнер, Беккет, «новый роман». Итак, «новый роман» возник не на пустом месте. Революция, свершенная им, опирается на великую традицию.

Наш теоретик в одном проявляет последовательность. Считая социальный реализм классического французского романа «мертвой формулой», он сбрасывает со счетов действительную эволюцию французского социального романа: Золя, Франс, Барбюс, Роллан, Роже Мартен дю Гар, Арагон... И здесь не откажешь ему в последовательности. Отход от широких социальных проблем, от глубоко реалистического описания жизни, подчинение творчества узко субъективистской и формалистической проблематике, замена художественных образов призраками, а психологического раскрытия «расщеплением сознания» — вот что в конечном итоге интересует Роб-Грийе в той эволюции, которую он провозгласил.

Создатели «нового романа» претендуют на более глубокое исследование «материи романа», чем их предшественники. Они считают, что совершают подвиг, равный исследователям материального мира, проникая в неведомые ранее тайны. Этой именно претензией Роб-Грийе пытается опрокинуть критику, утверждающую, что «новый роман»

изгоняет человека из искусства. «Поскольку в наших книгах нет персонажей в традиционном смысле слова,— пишет Роб-Грийе,— постольку критики поспешно заключили, что в наших романах человек совсем не присутствует. Нас просто плохо читают. Человек в наших книгах на каждой странице, в каждой строке, в каждом слове».

Как же советует читать непонятый романист его романы, чтобы видеть и понимать изображенного в них человека? Оказывается, нужно вчитываться в описание вещей. Роб-Грийе изображает человека посредством описания предметов. На множестве объектов, тщательно нами описываемых, разъясняет Роб-Грийе, всегда отражается взгляд, который на них падает, мысль, которая их воспроизводит, чувство, которое по-своему реагирует на их форму. В наших романах нет вещей вне человеческого восприятия. Роб-Грийе уточняет, что это даже не предметы в их реальном облике — это понятия предметов, которые задерживаются в человеческом уме.

Вот, оказывается, в каком виде предстает человек в «новом романе»: через сложное опосредствование, смутное отражение в субъективных восприятиях, через символы вещей, составляющие «материю произведения». Трудная задача для читателя — представить по смутным призракам, витающим в мозгу автора, образы действующих лиц, их облик, внутренний мир, их мысли и дела.

Претензия на современность «нового романа» оказывается таким образом фикцией. Реальная современность с ее острыми социальными конфликтами, потрясениями, жизнью, трудом, борьбой людей, их мыслями и взглядами исчезает, растворяется в намеках. Роб-Грийе тем не менее стремится убедить, что подобная трансформация творчества вызвана изменениями, происходящими вокруг нас, положением самого человека в мире. Он прибегает к рассуждениям о логике эволюции. Во времена Бальзака человек был в центре вселенной, являлся хозяином всех вещей, которым он и придавал смысл. Сейчас же, по мнению Роб-Грийе, от бывшего величия человека ничего не осталось. «Имеет ли смысл наша жизнь вообще?» — вопрошает он. Окружающий нас мир кажется ему временным, противоречивым и всегда устрашающим. Смысл его открывается нам лишь частично.

Отчаявшийся философ переносит эти мысли на искусство. Может ли произведение искусства претендовать на то, чтобы выражать какой бы то ни было определенный смысл, если современный художник не в состоянии ответить на вопрос: имеет ли сама действительность этот смысл? Поэтому современный роман ничего не может объяснить и тщетно от него требовать объяснения мира,— окончательный вывод автора.

Начав за здравие, Роб-Грийе кончил за упокой. Попытка связать появление «нового романа» со «всеобщей эволюцией» жанра погребовалась ему лишь для того, чтобы доказать закономерность упадка, оправдать хоть как-нибудь художественное творчество без ясной цели, объяснить искания, в которых трудно найти разумное начало.

Философия неверия, бессилия и абсурда потребовалась Роб-Грийе для оправдания безыдейности, аполитизма, ухода от больших социальных и политических проблем. «Отныне неразумно претендовать на то, чтобы своими романами мы служили политическим целям, даже если эти цели кажутся нам справедливыми, даже если в политической жизни мы боремся за их торжество». Романист, в понимании Роб-Грийе, никогда не знает, что он хочет выразить и как. Лишь смутные намерения в процессе написания книги становятся ее содержанием. «Для искусства нет ничего, известного заранее. Думать, что романисту есть что сказать, когда он создает произведение,— самая глубокая бессмыслица».

Нет, после этого выступления главного теоретика репутация «нового романа» отнюдь не улучшилась. Не существуют и потому не могут быть найдены для него надежные точки опоры. Мы стали свидетелями еще одной неудавшейся претензии модернистов на роль открывателей новых путей в искусстве.

**Е. ТРУЩЕНКО.**

## САМОУЧИТЕЛИ ПОШЛОСТИ

Англия

У непскушенного читателя английских журналов может сложиться впечатление, что основная и наиболее важная проблема, стоящая перед английской прессой и журналистами,— это вопрос о том, как заполнить страницы газет и журналов. То и дело патыкаешься на объявления, статьи и заметки, рекламирующие деятельность различных «институтов» и «центров», которые обучают, как писать для газет и журналов. Вот на страницах журнала «Аргози» красуется объявление — оно занимает целую страницу,— призывающее обзавестись проспектами и брошюрами (разумеется, с оплатой) так называемого «Риджент институт»: «Изучите с помощью почты литературную технику — как писать, о чем писать, как готовить рукописи и как продавать их по наиболее высокой цене».

Тут же напечатаны выдержки из писем неких студентов, укрывающихся под номерами, о тех суммах — в фунтах, гинейх и шиллингах,— которые им удалось заработать в часы досуга. Студент за № 357/3015 пишет: «Мой рассказ был принят журналом «Блеквудс», который заплатил мне 25 фунтов». Студент № 184/316 спешит оповестить города и веси: «Я послал свою статью в «Нью стейтсмен», и редакция приняла ее; вторую статью я послал в журнал «Только для мужчин»...»

Наивным начинающим журналистам внушается, что для них открыт путь к легкому и немалому заработку. Это же внушают не только журнальные объявления, но и солидные книги более или менее известных авторов. Они служат как бы учебниками журналистики и даже руководствами по некоторым видам художественной литературы.

Вот перед нами книга Джона Боланда, озаглавленная «Вольная журналистика» (точнее, «Журналистика вольного стрелка» — «Free Lance Journalism»), она вышла в серии «Путеводитель для новых писателей», выпускаемой лондонским издательством «Бордмен», имеющим свой филиал в Нью-Йорке.

Конечно, в этом руководстве содержатся и бесполезные практические советы: как строить заметку, как избегать тавтологии и добиваться краткости изложения. Но они занимают в книге очень небольшое место. Главное в ней — как проникнуть на «рынок», этот термин повторяется на страницах «учебников» многие десятки раз. Главное — как «делать деньги», как потрафить издателю, как угодить читателю, который ищет в газете отвлечения от волнующих его забот, а не правдивой информации. Те, кто вздумает учиться журналистике по книге Боланда, вольно или невольно обречены превратиться в поставщиков пошлости. Боланд, на первый взгляд, как будто бы не следует распристраненной в западной журналистике «теории», согласно которой сенсационной может быть лишь заметка о собаке, укушенной человеком, а не наоборот. Боланд разъясняет, что темы для газетных заметок и статей встречаются буквально на каждом шагу. Надо лишь уметь ими воспользоваться — все может быть описано, и за всякое описание можно получить деньги. Последуем за автором, подхватим ариаднину нить, с помощью которой мы сможем пройти по лабиринтам «вольной журналистики».

Быть «вольным стрелком» в области газетного дела, уверяет Боланд, это «самый легкий способ заработать за то, что ты написал». Учтите, повторяет он вновь и вновь, что вы ни в коем случае не пишете для своего удовольствия, а пишете лишь для того, чтобы доставить удовольствие другим — тем, кто покупает газеты, в которых напечатан ваш материал. Посему, джентльмены, «вы должны заранее точно изучить, что от вас требуется, изучить рынок, для которого предназначена законченная вами статья». А у каждого «рынка» свои запросы. Если для какого-нибудь научного издания подойдет статья о детской преступности, озаглавленная «Детская преступность — социальная проблема нашего времени», то для популярного массового издания более уместен заголовок «Маленькие воробушки, поджариваемые на сковородке».

Боланд наставляет начинающих журналистов: то, о чем думаете вы как отдельная личность, не представляет абсолютно никакого интереса ни для редактора, ни для чита-

Джон Боланд — «Вольная журналистика». Издательство «Бордмен», 1960.

Энн Бриттон и Мэрион Коллин — «Романтическая литература». Издательство «Бордмен», 1960.

Джон Боланд — «Как писать рассказы». Издательство «Бордмен», 1960.

★

телей. Разве только если вы пользуетесь исключительной известностью в своей области. Вот когда у вас будет «имя», тогда за вашим мнением будут охотиться, но пока вы начинающий, вы должны избегать выражения своего личного мнения. Вам советуют всячески завуалировать свою индивидуальность, стать предельно безличным, выражать лишь то, что может потрафить вкусу толпы.

Быть «вольным стрелком», расшифровывает Боланд,— это все равно, что содержать магазин. Если вы являетесь владельцем магазина, вы прилагаете все усилия для того, чтобы распродать выставленный на витрине товар; то же самое вы пытаетесь сделать, будучи «вольным стрелком». Вы демонстрируете свой товар, предлагаете его для продажи и рассчитываете найти покупателя. Впрочем, с владельцем магазина можно сравнить лишь опытного журналиста. Начинаящего же Боланд сравнивает с бродячим разносчиком, предлагающим свой товар у каждой двери.

Одна из главных задач начинающего, как уже отмечалось,— «изучить рынки». Иной читатель по простоте душевной подумает, что большую часть времени ему следует уделить совершенствованию своей работы, но это наивное заблуждение. «Изучать рынки — это занятие приносит наибольший дивиденд журналисту, рассчитывающему поставлять материал на тот или иной рынок». Редакторы меняются, на смену одним газетам приходят другие, но бессмертным остается читательский вкус. Так, неизменным пребывает широкий интерес читателя к животным. Предположим, вы узнали от кого-либо из соседей, что в одном семействе на положении домашнего любимца живет ручной лисенок. Остается лишь разузнать, нет ли подобных «любимцев» в других семьях,— и статья о «необычных домашних животных» готова. Так, подчеркивает Боланд, поступит д у м а ю щ и й журналист.

Известным источником дохода для «вольного стрелка», продолжает Боланд, могут служить «городские сплетни». Некоторые «вольные стрелки» стараются еженедельно продать в газету хотя бы некоторое количество этих «сплетен». Они дают небольшой, но постоянный и верный доход.

«Вольный стрелок» может стать и иностранным корреспондентом. Представим себе, что он попал за границу и располагает достаточным временем, чтобы написать о своих впечатлениях статью. Если он знаток гастрономии, почему бы ему не описать продуктовые магазины страны, обратив внимание на то, меньше ли там мух, чем в английских, и т. д. Чем отличаются группы женщин у витрин магазинов в Англии от аналогичных сборищ во Франции? Короче говоря, налицо обильная пища для наблюдений и размышлений. А об уровне их можете судить сами. Во всяком случае запомним совет Боланда и главное — аргументацию, его подкрепляющую: путешествуя, храните свои записные книжки, в них можно будет откопать «идеи, приносящие гиней».

Но мало только вести записи. Надо, чтобы они не приходили в противоречие с интересами тех, кто финансирует издание газет. «Если газета получает много объявлений от фирм по производству холодильников, то едва ли редактор напечатает статью, озаглавленную «Холодильники бесполезны». Разве только статья будет носить юмористический характер и в конце концов сведется к доказательству того, что холодильники необходимы». И дело не в том, что рекламодатели осуществляют свою цензуру над каждой заметкой, поступающей в газеты, но «редактор должен учитывать экономические факторы, обуславливающие существование его газет»; маловероятно, что он согласится опубликовать какой-либо материал, доказывающий, что «те товары, которые рекламируются газетой, не представляют никакой ценности».

Если вы нарушите эти правила, ваш товар не будет продаваться. А что может быть хуже? Ведь «вольная» журналистика — это бизнес... «Вольный стрелок» должен изучать свои прибыли и убытки.

Мы почти исчерпали содержание книги. Она не может не поразить своей мелко-травчатостью и пошлостью. Итак, журналист — это обыватель, пишущий для обывателей и отлично изучивший их вкусы. Ни одной большой мысли, ни одной идеи, кроме «идей, приносящих гиней».

Предположим теперь, что читатель Боланда постиг всю изложенную в его книге премудрость, освоил основы «журналистики» и решил подняться ступенью выше, начав писать рассказы для журналов. Ну, скажем, для журналов, предназначенных для жен-



щин, а таких изданий в Англии немало, и тиражи их исчисляются многими миллионами. Овладеть тайнами этого ремесла отнюдь не сложнее, чем секретами журналистики, изложенными в книге Боланда. Для этого вам надо лишь обратиться к выпущенной уже известным нам издательством «Бордмен» книге, озаглавленной еще более поэтично, чем сочинение Боланда, а именно — «Романтическая литература». Это руководство написали писательницы Энн Бриттон и Мэрион Коллин. И в основу своей книги в отличие от Боланда, оперирующего «гипотетическими» случаями, они положили разбор действительных, реально существующих литературных произведений с указанием фамилий их авторов.

Хотя в книге двух почтенных писательниц речь идет о предметах более возвышенных и поэтичных, чем, скажем, приручение лисиц, мы, к немалому своему удивлению, обнаружили, что и в данном случае одним из наиболее часто употребляемых слов явилось слово «рынок». Это слово, право же, встречается не реже, чем слово «любовь».

Что такое рассказ для женского журнала? Это «романтический эпизод, который мог бы случиться в жизни любой современной девушки». Главное — чтобы он не носил социального характера, не вызывал каких-либо «опасных» мыслей. Поэтому тематику следует максимально ограничить.

Авторы сразу же предупреждают о существовании ряда «табу» — на сюжеты, нежелательные для журналов, так как они могут якобы показаться обидными для той или иной группы читателей. Во-первых, ни один из героев рассказов не должен появляться в состоянии опьянения. Не следует также описывать уродства; можно иногда прислать в редакцию трогательный рассказ о слепой девушке или о девушке, слегка прихрамывающей, но во всяком случае читателю следует внушать надежду, что со временем девушка выздоровеет; не надо упускать из виду, что такой рассказ может найти лишь очень ограниченный рынок сбыта. Но уж чего следует избегать категорически — так это появления героини с одной ногой. «Никто не купит такого рассказа».

Весьма деликатной составительницы пособия считают тему развода: она может показаться оскорбительной для многих читателей и повлечь за собой запрет распространения согрешившего журнала в Ирландии. Что касается внебрачных детей, то о них не может быть и речи. «Во всей Англии найдутся, может быть, два или три издания, которые решатся затронуть эту тему». И наконец самое строгое «табу» наложено на тему расового общения. В настоящее время изобразить в рассказе смешанный брак, подчеркивают авторы книги, — значит неизбежно вызвать отклонение рассказа редакцией».

Кому не известны столь частые на Западе разглагольствования о свободе творчества? Никто не в состоянии, мол, посягнуть на писательское воображение, чем-либо стеснить или ограничить его. Авторы «Романтической литературы» смотрят на вещи гораздо более трезво. «Писатели, — заявляют они, — могут утверждать, что все эти трагедии, о которых идет речь, совершаются в современном мире в переживаемое нами время. Но они не в силах изменить того факта, что женские журналы добиваются прежде всего наибольшего распространения... Их предназначение — развлекать». Следовательно, они должны уважать предрассудки, живущие в умах большей части читающей публики, и избегать таких тем, которые могут побудить ту или иную читательницу отказаться от возобновления подписки.

Надо отдать должное Энн Бриттон и Мэрион Коллин: они пошли дальше своего коллеги Боланда, который так и не рискнул поставить точку над «i». Говоря о тайнах ремесла, они не сочли себя вправе умолчать и об этой тайне, давно уже ставшей секретом полишинеля: любая статья или заметка, содержащая элемент критики общественных устоев и традиций, не сможет увидеть света.

Но в других отношениях «Романтическая литература» мало чем отличается от «Вольной журналистики». Это такой же самоучитель пошлости.

После глубокомысленного замечания о том, что «писать рассказ — это не то же, что вязать джемпер», авторы книги переходят к практическим советам.

Совет, или, вернее, заповедь № 1, гласит, что следует придерживаться определенной схемы. Да, вступая в противоречие с теми западными теоретиками, которые пространно и охотно рассуждают об оригинальности творчества, чуждого социальной теме,

об отсутствии в нем какого-либо схематизма, Э. Бриттон и М. Котлин провозглашают господство схемы, во всяком случае в области «литературы для женщин».

Каждый писатель, который придумывает сюжет, нарушающий принятые формы и правила, воздвигает для себя преграды, зачастую непреодолимые. Лучше всего держаться обычных, зарекомендовавших себя сюжетов. При этом рассказы с печальным концом продать довольно трудно, ибо «в большинстве изданий существует табу на подлинную трагедию». Даже рассказы о несчастной любви должны заканчиваться оптимистической ноткой, предсказанием новой любви. Вот пример рекомендуемой концовки: «Итак, все кончилось, и она была этому рада. Не надо было больше мучительно смотреть на телефон, который не звонил, и дожидаться письма, которое так и не пришло. Завтра она почувствует себя лучше, готовая встретить новый день, новую жизнь».

Возникает и такая сложная проблема: как изображать женщин старше сорока лет. В журналах, предназначенных для читателей моложе двадцати одного года, еще допустимо снабдить персонаж старшего возраста какими-нибудь антипатичными чертами, но в тех журналах, где возраст читательниц не лимитирован, таких неосторожностей следует избегать.

Еще одна заповедь, обязательная для всех начинающих: героиня рассказа должна быть обязательно британкой.

Любопытная деталь: авторы напоминают начинающим писателям, что их читателями будут, как правило, так называемые «маленькие люди». Поэтому не надо опасаться, чтобы героиней или героем рассказа были клерк, машинистка, механик или приказчик. Но при этом важно, чтобы читатель, узнав о необычайном происшествии, случившемся с героиней или героем, мог бы с удовлетворением сказать: «Нечто подобное могло бы произойти и со мной». Иными словами, если в рассказе идет речь о скромной секретарше, вышедшей замуж за богатого шефа, тысячи читательниц журнала должны мысленно поставить себя в положение этой счастливицы.

В заключение нам остается вообразить, что начинающий автор, освоив основы журналистики и правила «романтического творчества», собирается перейти в высший класс — начать писать рассказы для общей прессы без каких-либо ограничений. И тут ему снова, как говорится, «книги в руки». В данном случае речь может идти о книге уже знакомого нам Джона Боланда «Как писать рассказы». В ней читатель также найдет некоторые полезные советы и практические указания. Но и это руководство учит подходить к литературе только как к ремеслу. «К счастью,— пишет Боланд,— для начинающего автора существует шаблон», без соблюдения которого «тысячи написанных рассказов не имеют шансов привлечь внимание редактора, не говоря уже о возможности быть напечатанными и оплаченными». Исходя из того, что «шаблон» этот таков: «некто хочет получить нечто — на его пути возникают препятствия,— он их преодолевает»; автор приводит ряд житейских ситуаций, могущих стать сюжетной основой рассказа, причем именно такие «темы» пользуются «наибольшим спросом». Мы вновь узнаем, что «публика хочет, чтобы ее развлекали». Поэтому, «если главное действующее лицо — симпатичная девушка, которая хочет выйти замуж, она должна добиться этого, и читатель будет доволен». Но если в центре повествования убийца, который, чтобы завладеть наследством, убивает старика, то «читатель будет рад, если преступника изловят».

Что касается целей, которые могут ставить перед собой герои рассказов, то диапазон их велик: «Речь может идти о желании свергнуть правительство или же о желании миссис Смит купить себе новую шляпу». Для удобства автор оставляет в стороне первую тему и всячески обыгрывает вторую.

Разумеется, и покупка шляпы может послужить темой для рассказа — не об этом речь. Мы помним, например, что о приобретении новой шинели был когда-то написан рассказ, глубоко волнующий уже не одно поколение читателей. Удивляет другое — то, что автор руководства изговаривает свои наставления с такой прямолинейностью и категоричностью, словно учит печь пончики.

В книгу включено несколько «всамделишных» рассказов — в качестве образцово-показательных; они сопровождаются специальным разбором. Один из них посвящен сложным отношениям между дочерью владельца авиакомпании Грэйс и служащим ком-

пани красавцем летчиком Биллем. Грэйс очень нравится летчик, но тот, памятуя, что она дочь его патрона, проявляет чрезмерную робость, называет ее «мисс» и т. д. С помощью хитроумных комбинаций Грэйс добивается наконец успеха. Мораль: подчиненный, знай свое место — и твоя скромность будет вознаграждена. В другом рассказе речь идет о том, как дочь богатого помещика, подарив пятнадцать фунтов бедному мальчику Джо, помогает ему осуществить свою мечту — стать цирковым артистом. Через много лет разбогатевший Джо возвращается в родные края. Помещица тем временем разорилась (ее отец проиграл почти все состояние в карты) и живет в крайней нужде. Джо находит способ, не уязвляя ее самолюбия, передать ей крупную денежную сумму. Мораль: долг платежом красен. В третьем рассказе — старый служитель при конюшне на бегах обидел цыганку; та проклинает его, и в результате он постепенно превращается в лошадь, чем остается весьма доволен. Тут уж никакой морали не извлечешь.

Мы, разумеется, далеки от мысли, что те английские читатели, которые даже выучат на зубок советы и заповеди, приведенные в подобных книгах, смогут благодаря этому стать писателями и извлекать гинеи из соответствующих «рынков». Но один тот факт, что такие книги пишутся, печатаются и рекламируются, в какой-то мере характеризует и состояние книжного рынка и прессы в Англии, и запросы издателей, и вкусы — увы! — немалой еще части читательской аудитории.

Вл. РУБИН.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Г. МУНБЛИТ

★

## ДВЕ ВСТРЕЧИ

*(Из воспоминаний об А. С. Макаренко)*

**В** то лето в Ялте, где мне довелось впервые увидеть Антона Семеновича, стояла тропическая жара. Судьба свела нас в писательском доме отдыха, который, сколько я помню, не носил еще тогда гордого наименования «Дом творчества», что, впрочем, не мешало проживавшим в нем литераторам не столько отдыхать, сколько предаваться этому самому творчеству целые дни напролет.

По утрам, после завтрака, стараясь не глядеть в сторону ласково блестящего моря и с трудом преодолевая сонную истому, обитатели дома расходились по своим комнатам и выходили из них только к обеду, когда можно было наконец всласть побеседовать с собратьями по перу, с гордой небрежностью сообщив им, сколько страниц было сегодня написано, и не без огорчения установив, что и собратья написали не меньше. После краткого послеобеденного отдыха многие снова садились за стол и только под вечер позволяли себе сходить к морю или поиграть в волейбол, которым в те годы увлекались у нас и стар и млад, причем этот самый «стар» часто предавался перебрасыванию мяча через сетку с такой самозабвенной запальчивостью, что невинное это занятие можно было с полным на то правом причислить к разряду азартных игр.

К середине месяца, когда все обитатели дома между собой уже перезнакомились и размеренный, отдохновенно-трудолюбивый образ жизни всем нам порядком надоел, между нами появилось новое лицо. Машина, которой новый отдыхающий приехал из Симферополя, пришла перед самым ужином, и приезд новичка наблюдали все старожилы. Это был пожилой, коротко остриженный, похожий на композитора Рахманинова человек в железных очках, полувоенном парусиновом костюме и высоких, тщательно начищенных сапогах. Появление его не вызвало особого интереса, несмотря на то, что в приезде узнали автора ставшей уже знаменитой к этому времени книги — авторы хороших книг были не так редки в писательских домах отдыха. Но в ближайшие дни всеобщее любопытство было разбужено.

Как уже говорилось, Антон Семенович приехал под вечер, а ранним утром следующего дня все собравшиеся на веранде в ожидании завтрака могли наблюдать, как он появился на лужайке перед домом, сгибаясь под тяжестью огромной пишущей машинки канцелярского образца. Поставив ее на скамью, он куда-то исчез и вскоре вернулся, неся небольшой столик и стул. И уже через час к воробьиному стрекотанию портативных машинок, принятых на вооружение всеми писателями, присоединился могучий грохот печатного агрегата, на котором работал Макаренко.

Удивительной показалась всем нам и эта машинка, и то, что работал Антон Семенович, несмотря на жару, все в том же тщательно отглаженном парусиновом костюме и ослепительно начищенных сапогах, и то, что в отличие от обычного писательского стремления найти для работы местечко потише и поукромнее он

писал, сидя на самом людном месте, совершенно не обращая внимания на сновавших вокруг обитателей и работников дома.

Прошло еще несколько дней, и наше представление о новом отдыхающем как о человеке особенном окончательно укрепилося.

Для Макаренко не существовало часов отдыха, морских соблазнов, жары, потребности пообщаться с себе подобными. Он не интересовался суждениями соседей по столу о международном положении, о литературе, даже о его собственной книге. Он ел, спал и работал. И молчал. Упорно, непоколебимо молчал, отделяясь односложными замечаниями в ответ на все попытки присяжных говорунов втянуть его в разговор.

С утра до поздней ночи он сидел за машинкой, делая перерывы лишь для того, чтобы передвинуть свой столик в тень. И только изредка, в сумерки, его подтянутую фигуру можно было видеть на тропинке, которая вела в гору мимо теннисных кортов и волейбольных площадок.

Но однажды, в один из таких вечеров, отступив от обычного своего распорядка, Макаренко не отправился на прогулку, а свернул с тропинки и уселся на одной из скамеек, врытых в землю рядом с волейбольной площадкой, где шла обычная в это время игра.

Играли в тот вечер с обычным азартом и гамом. Особенно волновался и горевал по поводу каждого проигранного мяча некий автор исторических романов, молодой уже человек, известный всем своей голубиной кротостью, что не мешало ему на волейбольной площадке становиться свирепее тигра.

К тому времени, как Макаренко появился на площадке, атмосфера здесь накалилась до крайности. Дело было в том, что в одной команде с историческим романистом оказались двое подростков (кто-то сказал нам потом, что это были сыновья директора дома отдыха), которые решительно не желали серьезно относиться к игре. Они дурачились, балагурили, били по мячу кое-как и пропускали мячи один за другим, даже и не думая принимать близко к сердцу интересы своей шестерки. Некогдае время все это сходило им безнаказанно, но наконец разразилась буря.

Исторический романист остановил игру и голосом, дрожащим от ярости, обращаясь к мальчуганам, воскликнул:

— Ребята, я вас прошу, играйте как следует! А если не хотите, убирайтесь с площадки! Вы нам все портите!

— А что она, ваша, что ли, площадка? — с невозмутимой наглостью процедил один из подростков.

— Немедленно убирайтесь отсюда! Слышите? — взвизгнул исторический романист, впадая в обычное свое волейбольное неистовство.

Мальчуганы на мгновение опешили, но тут на помощь им пришел широколицый, очкастый, заросший черными жесткими волосами литературный критик, которому не раз попадало от старичка романиста за суматошную и бессмысленную беготню во время игры.

Критик стал доказывать, что к игре не следует относиться серьезнее, чем она того заслуживает, что ребята поэтому ничего дурного не совершили и что наконец он не потерпит диктаторства на волейбольной площадке. Кроме того, он отпустил какое-то весьма язвительное замечание о «непедагогических выкриках», которые позволяют себе некоторые лица, без всякого на то основания склонные всех учить.

Было совершенно очевидно, что замечание о «непедагогических выкриках» было рассчитано на одобрение Макаренко, который и ухом не повел во время всей этой перебранки.

Игра возобновилась, но очень скоро стало ясно, что теперь уж с мальчуганами сладу не будет. Они дурашливо гоготали, били по мячу ногами — словом, ссысем закусили удила. Исторический романист чуть не плакал, все мы пришли в уныние, и только очкастый критик пытался делать вид, что все идет так, как надо.

Увы, именно ему вскоре пришлось убедиться в том, как жестоко он ошибался.

Проиграв очередную подачу и делая вид, что перебрасывает мяч под сеткой на противоположную сторону, один из подростков явно рассчитанным движением изо всей силы стукнул бедного критика по затылку, да так, что тот зашатался, поводя перед собой растопыренными руками.

На площадке воцарилась мертвая тишина. Все замерли. И тут Макаренко поднялся со скамьи.

Сколько я помню, он не сделал никакого жеста, даже, кажется, не повысил голоса. Он лишь шагнул вперед, пристально поглядел на провинившегося мальчугана и негромко сказал:

— Убирайтесь вон с площадки. Оба. Немедленно.

— А вы кто такой? — гнусавым, насморочным голосом заверещал тот из мальчишек, что был постарше. — Вот скажу отцу... Посмотрим, кто кого выгонит!

И тут мы увидели Макаренко таким, каким минуту назад даже и представить себе невозможно было этого корректного, сдержанного, молчаливого человека. Он выпрямился, стекла его очков сверкнули, и голосом, каким, вероятно, подают кавалерийскую команду в степи, оглушительно гаркнул:

— Вон!

Гаркнул он так, что подростков словно смыло с лица земли. Они исчезли, как дурной сон, словно их никогда и не было.

И тогда, неожиданно улыбнувшись, Антон Семенович повернулся к очкастому критику.

— Очень много вреда молодежи приносят такие защитники, — сказал он с мягким пренебрежением. — И знаете, я бы на вашем месте ни при каких обстоятельствах не пробовал браться за педагогическую работу. Она вам противопоказана, все равно как слепому — управление автомобилем. Вы меня понимаете?

— Ничего я не понимаю, — буркнул очкастый смущенно. — Что это за методы такие — горланить на детей, как на собак.

— С детьми следует быть справедливым, — сказал Макаренко, подняв перед собой очень длинный и очень строгий палец. — Это главное. А кричать на них пришлось именно потому, что вы несправедливо взяли их под защиту.

И, круто повернувшись на каблуках, он зашагал прочь от нас по тропинке, ведущей в гору.

\* \* \*

Вторая встреча с Антоном Семеновичем произошла в том же году, несколькими месяцами позднее, в одной из московских редакций.

В большой приемной, уставленной тяжелой кожаными креслами и диванами, было пусто и против обыкновения тихо. За окнами валил пушистый, словно бы даже теплый, медленный снег.

Антон Семенович вошел, протирая стекла очков, и кивнув мне, уселся рядом. Он выглядел возбужденным. Чувствовалось, что ему необходим слушатель. И действительно, отдышавшись, он поглядел на меня оценивающим взглядом, видимо прикидывая, годен ли я для предстоящего разговора, и, словно отвечая на мой вопрос, промолвил:

— Только что из суда. Пригласили в качестве, так сказать, специалиста по малолетним правонарушителям. И ведь какое счастье, что пригласили! Вы в юриспруденции что-нибудь смыслите?

Увы, я ничего не смыслил в юриспруденции, но это не помешало Антону Семеновичу начать свой рассказ.

— Вообразите себе такой состав преступления, или как это у них называется, — заговорил он, потрясая сжатой в кулак рукой. — Четверо мальчишек-восьмиклассников вечером — заметьте: не ночью, а вечером, когда на улице полно народу, — взломали продуктовый ларек и вытащили бутылку портвейна и круг колбасы. Вино выпили, колбасу съели и что бы вы думали учинили после всего этого? Сбили замок у сарая на соседнем дворе, выволокли салазки и принялись кататься с горы. За этим занятием их всех и застукали. Нравится? Да уж, ко-

нечно, хорошего мало. Но вы мне вот что скажите. Как, по-вашему, все это происшествие называется на юридическом языке? Кража со взломом — вот как оно называется! Да еще двойная кража к тому же. И причитается за правонарушения этого рода, даже принимая во внимание возраст учинивших его, несколько лет тюрьмы.

Макаренко помолчал, видимо заново переживая обстоятельства дела, о котором рассказывал. Потом заговорил снова.

— Сижу, понимаете, слушаю и диву даюсь. Люди серьезнейшим образом доискиваются, имело место преступление или нет. Допрашивают, уличают, сопоставляют. А никто ничего и не отрицает. Мальчишки сознались, сторож свидетельствует, чего еще? И, можете себе представить, никому и в голову не придет спросить себя: правильно ли называть эту ребячью выходку преступлением? Или это не преступление вовсе, а шалость? Глупая, граничащая с преступлением, но шалость! Вы вспомните про салазки, да еще взятые на соседнем дворе. По-моему, чрезвычайно характерная деталь. А это ли не характерно — ведь, помимо круга колбасы и бутылки дрянного портвейна, в ларьке было и еще кое-что?! Так ведь не взяли! Ничего больше не взяли! Значит, цели-то были очень уж не далеко идущие, как вы считаете? Вот про это про самое я и произнес речь на суде. И уже после моего выступления выяснилось, что в зале сидят школьные учителя и товарищи взломщиков, и пришли они, чтобы засвидетельствовать, что взломщики эти никогда и ни в чем дурном доселе замечены не были и что все четверо — отличнейшие ребята, хорошие товарищи. Пришли, чтобы засвидетельствовать, а сидят и молчат. Вас это не удивляет?

Меня это не удивляло. потому что мне была известна сила инерции, иной раз клонящей дело в одну, а иной раз в другую сторону, когда встать и сказать слово вразрез с тем, что говорится вокруг, труднее, чем броситься в огонь или в ледяную воду. Что-то похожее я и попытался высказать. Макаренко кивнул головой.

— Это вы правильно говорите, — промолвил он. — Но откуда инерция эта самая взялась? Ведь знаете, чего не хватало судье, который вел дело? Здравого смысла — вот чего ему не хватало! Способности на мгновение отвлечься от всяких там процессуальных хитросплетений и взглянуть на вещи попросту, по-человечески, со стороны. А взгляни он так, сразу бы ему стало ясно, что перед ним мальчишки, которые до смерти напуганы тем, что натворили, и которые не только сами никогда в жизни не учинят ничего подобного, но и детям своим и внукам закажут близко подходить к продуктовым палаткам. Профессиональное отношение к делу — необходимейшая вещь, но иногда человек должен уметь... Одним словом, помните — у Пруткова скачался; специалист подобен флюсу. Вам понятно?

Мне было понятно. Убедившись в этом, Антон Семенович подмигнул мне, осмотрелся по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь нас может услышать, и прошептал:

— Помните, тогда, в Ялте... С мальчишками на волейбольной площадке?

Я с удивлением посмотрел на него, не сразу сообразив, в какой связи он вспомнил то происшествие.

— Так вот... Я тогда действительно поступил непедагогично, — сказал Макаренко и коротко рассмеялся. — Непедагогично, но правильно. Вы согласны со мной?

Я был согласен. Больше того, мне вдруг подумалось, что наш разговор становится еще интереснее и серьезнее, чем мне представлялось вначале.

— И вот что я вам еще скажу, — промолвил Макаренко, сжав губы. Он иногда сжимал их в ниточку, отчего суховатое его лицо становилось еще замкнутее и суше. — Вот что я вам скажу. Не приходило ли вам в голову, что высшая профессиональность состоит именно в том, чтобы уметь без вреда для дела стать выше этого самого профессионального к нему отношения. И будучи во всеоружии знания и понимания своего предмета, суметь взглянуть на вещи прямо и просто, вооружившись одним только здравым смыслом? Вы не согласны?

Я был согласен и с этим. Но мне не терпелось узнать, чем кончилось судебное разбирательство, в котором Макаренко сегодня участвовал.

— Чем кончилось? А тем, чем должно было кончиться. Решили совершенно правильно, — отвечал он на мой вопрос. — Приговорили к году условно. Что? Да нет... Можете быть спокойны. Легче себе представить в роли взломщиков нас с вами, чем этих ребят во всю остальную их жизнь.

И, помолчав, Антон Семенович сказал доверительно:

— Если же говорить прямо, то мое сегодняшнее выступление в суде я считаю одним из самых важных дел моей жизни.

\* \* \*

Рассказав обо всем этом, я вдруг подумал, что суждения Антона Семеновича, высказанные им в совершенно частном разговоре, могут быть восприняты некоторыми теоретиками как новые начертания на педагогических скрижалях. Дело в том, что имя Макаренко в последнее время стали очень часто упоминать как имя пророка и законоучителя. И за всем этим иногда забывают, что Макаренко был живым, горячим, размышляющим человеком, и далеко не все его рассуждения следует возводить в степень законов.

И еще одно. «Педагогическая поэма», помимо узко воспитательного своего значения, попросту великолепная книга, и это, пожалуй, не менее важно в ней, чем все остальное.

Решительно в способах, какими следует прославлять писателей, есть какая-то тайна. И если не знать здесь меры, даже от большого художника может остаться одно только имя.

Было бы очень прискорбно, если бы это случилось с Макаренко. Он ведь не виноват в том, что некоторым его последователям дороги не столько его книги и мысли, сколько возможность стать первосвященниками в храме, воздвигнутом в память о нем.





---

---

Н. СТАЛЬСКИЙ

★

## МОЛОДОЙ КИРШОН

(К 60-летию со дня рождения В. М. Киршона)

**О**сенью 1923 года я приехал в Ростов-на-Дону по путевке ЦК РКСМ. Мне не было еще полных двадцати лет.

Юго-Восточное бюро ЦК поручило мне редактировать комсомольский литературно-художественный журнал «Искры».

Город оказался очень большим, очень шумным и совсем не похожим на те немногие города, которые я знал. Днем на черной бирже в Ткачевском переулке толкалась толпа темных дельцов. Вечерами широкая Большая Садовая (тогда никто еще не называл ее улицей Энгельса) сверкала и переливалась огнями так, как не сверкали улицы оправляющейся после разрухи Москвы. Нас, приехавших из суровых, по-революционному подтянутых городов Центральной России, непознательная как-то особенно поразила.

Рабочие окраины жили своей новой жизнью — жизнью начавшей строить социализм революционной страны. Вставали из развалин фабрики, железнодорожные мастерские, полным ходом шла работа на знаменитой Ростовской табачной фабрике, оживали судоремонтные заторы на Дону. Пролетарский индустриальный Ростов рос, креп, усиливался. Его представители управляли городом и краем, налаживали жизнь и хозяйство. Пролетарский Ростов выходил на улицу Энгельса шумными волнами демонстраций в дни революционных торжеств.

На окраинах — в Темернике, в Нахичевани, в мастерских и заторах — работали свои комсомольские ребята. С ними было хорошо и привычно.

В маленькую редакционную комнату нашего журнала «Искры», которая помещалась на первом этаже знаменитого дома на Старо-Почтовой улице, № 100, приходило много гостей: очеркисты и публицисты, комсомолы, тянувшиеся в литературу, молодые поэты, местные начинающие писатели. Как-то пришел ко мне молодой, только что окончивший Свердловский университет преподаватель Ростовской совпартишколы Владимир Киршон.

До этого я знал Киршона лишь как автора злободневной песни «Карманьола», которую мы с удовольствием горлачили на демонстрациях. И вот теперь передо мной он сам — молодой, черноглазый, с правильными чертами спокойного лица, вдруг неожиданно и мгновенно изменяющегося до неузнаваемости. Выразительное лицо Киршона не знало постепенных переходов. Веселый смех сменялся злой иронией молниеносно и неуловимо.

Может быть, вы видели где-нибудь в Литературном музее первую обложку «Комсомолии» Безыменского? Радостный парень в рубашке с засученными рукавами, в кепке со стоящим вертикально огромным козырьком торжественно потрясает поднятым ввысь комсомольским билетом.

Таким мне вспоминается Киршон в молодости — веселый и простой парень, привлекающий всех жизнерадостностью, обаянием деятельной юности.

Он был природным организатором. Главная задача, о которой он говорил со мною во время первой же нашей беседы, — организовать и сплотить вокруг журнала молодых комсомольских поэтов и писателей.



Он способен был на улице громко, в упор сказать первому встречному:

Мы б его спросили:

— А ваши кто родители?

Чем вы занимались

до 17-го года? —

Только этого Дантеса бы и видели.

Он любил ранние стихи Тихонова и Сельвинского. Часто читал вслух «Балладу о синем пакете», «Вышел на арапа...». Он был способен настойчиво и упорно повторять запомнившиеся ему строчки стихов. Он любил остроумную пародию, хорошо знал Козьму Пруткова и сам нередко пользовался этой литературной формой. Он прекрасно применял перемену интонаций, понимал звучание слова, его изменчивый смысл. Он любил словесные находки и ценил удачу других. Он мог часами, как горошину, перекачивать во рту удачно найденное слово.

Киршон был непримирим ко всему буржуазному, мещанскому в литературе. Беспощадно высмеивал Романова. Но он был нестоицимо любопытен и жаден ко всему талантливому, своеобразному. Высмеивая лефовские декларации, он тут же читал вслух миниатюры Бабеля, наизусть знал «Соль», любил разговаривать языком Бени Крика. Он один из первых оценил талант Кирсанова и одновременно раскритиковал пресловутый «Юго-Леф».

Часто он встречал меня, вставая из-за стола с книгой в руках, и начинал читать вслух, так и не поднимая глаз от страницы. Он хотел разделить с другим то, что дала ему книга.

Иногда, не отрываясь от исписанного мелкими буквами листа, молча показывал вошедшему на стул, дописывал и начинал читать вслух только что созданное: очерк, киносценарий, пародию, статью, а чаще всего план чего-то: драмы, рассказа, романа.

Хороши летние вечера на ростовских бульварах... Каких только творческих замыслов в такие вечера не поверял мне Киршон! Вначале они казались мне серьезно продуманными, выношенными, но потом я понял, что они рождались тут же, под впечатлением прочитанного, увиденного или рассказанного кем-то случая и нередко здесь же и умирали... А замыслы были своеобразные, свежие, любопытные.

— Я обязательно об этом напишу! Вот увидишь. Я из этого сделаю... рассказ, драму, очерк, сценарий.

Но в девяти случаях из десяти он ничего не успевал сделать.

— Володя, а как то, о чем ты мне рассказывал?

— Все готово, осталось только написать...

Но я не закончил бы этих заметок, если бы не рассказал о моих встречах с пьесами Кирсона в 1935 году. Я работал тогда на Нижней Волге, мне приходилось «шефствовать» над театрами. В 1935 году в межрайонном колхозном театре у нас ставили «Чудесный сплав». Пьеса привлекала своей необыкновенной сценичностью, трогала искренней романтикой молодости, комсомольской страстностью героев. Как прекрасно звучали для нашего поколения «вечных комсомольцев» заключительные слова пьесы: «Я хочу быть твоим барабанщиком, моя молодая страна!»

Эти слова больше всего напомнили мне молодого Кирсона.

Талант Кирсона не смог развернуться в полную силу: его творчество, его жизнь были пресечены необоснованными репрессиями периода культа личности. Но и того, что он успел создать, достаточно, чтобы его имя и произведения жили в советской литературе.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИННА СОЛОВЬЕВА

★

## ПРОБЛЕМЫ И ПРОЗА

*(Заметки о творчестве Владимира Тендрякова)*

**В**ладимир Тендряков — не просто «читаемый» автор. От него ждут немало. Его любят очень серьезно; он влиятелен.

О Тендрякове много пишут. Интересно, как пишут. Разговор переходит на проблемы социальные, этические без сколько-нибудь длительного торможения на разборе прозы как таковой. Разговор имеет этот уклон независимо от того, присоединяется критик к авторской точке зрения на проблему или оспаривает ее.

Так не только пишут о Тендрякове — так его читают, причем так его читают и читатели вовсе не профессиональные. Писатель сам делает все для того, чтобы его читали именно так. Его мысль сосредоточена на острых проблемах, к такой же сосредоточенности он хотел бы призвать того, кто возьмет в руки книжку.

Писателя «принимают» или «не принимают» в зависимости от согласия или несогласия с его точкой зрения на ту или иную жизненную проблему. Меньше всего спорят о художественной природе его работы.

1

Одну из первых крупных вещей — «Ненастье» (1954) — Владимир Тендряков назвал очерком. К слову сказать, такое жанровое определение носили многие произведения, отметившие собою переломные пятидесятые годы: «Районные будни» Валентина Овечкина, материалы, составившие потом «Деревенский дневник» Ефима Дороша. При переизданиях подзаголовков «очерки» обычно бывал снят, при появлении почти всегда присутствовал. Очерк — жанр

литературной разведки, опыт литературного промера «уровня воды»: как быстро она прибывает, как нарастает скорость течения, как движется дело к весне.

Тендряков писал и раньше — работал в «Огоньке». Писателем он стал в годы 1953—1956; он — одна из характерных фигур литературного процесса этих лет. Его развернуло мгновенно, пружинисто: еще «Среди лесов» (1953) — это в ряду с прочим, не выше, а в феврале 1954 года печатается «Ненастье», через несколько месяцев «Не ко двору», за пятьдесят пятый написаны «Ухабы» и «Тугой узел».

«Тугой узел», «Ухабы» уже не имели подзаголовков «очерки». Но, как и в очерках, здесь совершенно слитно движение фактов и движение мыслей. Мысль рождается тут не по индукции, не по сложной ассоциативной связи — мысль появляется на свет как немедленно требующееся объяснение факта, как его опознание, как его сопоставление со смежными фактами.

Композиция рассказов и повестей Тендрякова строится по единому принципу: нормальное течение жизни нарушается неожиданной неполадкой. Неполадка сама по себе действительно более или менее случайная. Но неполадка открывает нам неверную налаженность общего хода дел. Дождь, разлившийся над районом, где секретарствует Глухарев, — неожиданность, таких дождей старики не упоминают; но то, что Глухарев заставляет колхозников сеять вопреки собственному разумению, заставляет выбрасывать семена на верную гибель, — это не результат неполадки, а следствие где-то возникшей неверной налаженности. То, что парень, выбираясь по раскисшей, немислимой

дороге из городишка Густой Бор, попадает в аварию,— несчастный случай; но то, что Княжев, сам тянувший носилки с раненым до медпункта, не дает трактору, чтобы вывезти волокушу до самого города, и что никто не может его урезонить, и что участковый, которого просят помочь, никакой помощи оказать не может и беспокоится только о протоколе по форме,— это уже не дорожный несчастный случай...

Конкретность факта и конкретность мысли тут заодно, в поддержку друг другу. Именно эта плотность сросшихся между собой наблюдений и раздумий составляет силу прозы Тендрякова.

Композиция совпадает с системой рассуждений. Можно сказать и иначе: система рассуждений — это и есть тут композиция.

Тендряков берет какой-то драматический случай — некоторое «вспучивание» жизненной земной коры, иногда большое, иногда малое, но всегда в этом «вспучивании земной коры» ощутимы какие-то более существенные — несравнимо более существенные — тектонические сдвиги. Писатель рассматривает противодействие расширяющих и сжимающих сил. Рассматривает пристально, с упорством. Поэтому действие его рассказов так долго задерживается в одних и тех же местах: в сущности, герои всей прозы Тендрякова живут по соседству. Повторяются названия: Густой Бор, Загарье. Повторяются пейзажи. Повторяясь, они будят сходные хозяйственные тревоги. Раскисшие, разъезженные дороги с утопленными в колеях слегами, со стволками, изжеванными колесами пытавшихся выбраться из грязи машин, с намертво застрявшими и терпеливо ждущими выручки грузовиками; покосы, заросшие кустарником, только на бумагах и числятся покосами. Пейзаж Вологодской области или мест по соседству, на Вятке. И хозяйственные беспоконья именно этих областей: разрушение естественного земледельческого цикла, болезненное превращение исконно животноводческого края в какое-то подобие зернового, планирование без учета векового опыта. Автору важно постоянство наблюдений. Кстати, опять можно упомянуть и Овечкина и Дороша: очеркисты прекращают разъезды, ищут не разнообразия впечатлений, а их последовательности. Промеры исторического течения, сделанные, кажется, в самых спокойных, самых затиш-

ных местах, дают интереснейшую шкалу изменений.

Повторим даты: 1953—1956. Время существеннейших исторических сдвигов в жизни страны, в ее хозяйстве, в ее духовном хозяйстве тоже. Сдвигов общих, глубинных, в самом деле тектонических. Связь поверхностных, ежедневных фактов с исторической, социальной основой в эти годы — как во всякие годы общественных сдвигов — это связь вплотную, впритык. Расстояние между бытовым и его исторической подосновой сокращается до минимума.

Улегшееся время возвращает этому расстоянию его протяженность. Связи житейского с историческим теряют свою прямоту, они растягиваются, они ветвятся — короче, они усложняются.

Писатель, нашедший себя в минуту исторического сдвига, может несколько растянуться, когда кончается «тектоника».

Тендряков не меняет места действия. Роман «За бегущим днем» разворачивается в знакомой местности. Его герой, учитель Андрей Бирюков, родом из Густого Бора — близ этой деревни-города случилось несчастье в «Ухабах». Районный центр Загарье, где Бирюков преподает русский язык и литературу, живет той же жизнью, что село Коршуново из «Тугого узла». Учительница Парасковья Петровна из «Чудотворной» — в подчинении загарьевского района и ходит посоветоваться к секретарю райкома Ваченкову, который действует и в «За бегущим днем» и в «Чрезвычайном». Не застав Ваченкова, беседует с Кучиным — тоже персонажем из «За бегущим днем».

Любопытная вещь: если устанавливать по каким-то деталям датировку, то время действия «За бегущим днем» и того же «Ненастья», того же «Тугого узла» — одно и то же. В самом деле: Андрей Бирюков попадает в Загарье сразу после педагогического института. Когда он поступил в институт, известно: в первый послевоенный год. Стало быть, окончил его и приехал в Загарье в пятидесятом или в пятьдесят первом. А на последних страницах герой следит в небе за полетом маленькой самодельной звезды, размышляет о спутнике. Это осень пятьдесят седьмого.

Но в романе отражено не то время, которое в нем названо, а то время, когда роман писался. Роман же вышел года через три после «Тугого узла», в пятьдесят девя-

Действие охватывает несколько лет, происходит в одном и том же знакомом писателю месте. А писатель словно забывает, какие «промеры» он сам делал здесь же в эти же годы. Жизнь кажется ему медлительной, уравновешенной, малоподвижной. Самая главная опасность в ней — это поддаться уютному быту, «врасти», жить изо дня в день, от недели к неделе.

В «Тугом узле» тоже возникал пейзаж сельской неторопливости, сельской размерности: «По утрам в Коршунове с первым грузовиком, подымающим пыль на шоссе, голосили петухи. Кривой на один глаз пастух дед Емельян, покрикивая на коров и хозяек, собирал стадо. Днем около районного Дома культуры козы объедали афиши, извещавшие коршуновское население о новой кинокартине. По вечерам на дощатой площадке в роше играл доброволец баянист, молодежь танцевала... Жители же более почтенного возраста — бухгалтеры, делопроизводители, заведующие райторгами, райтопами, райфо и прочие, — засучив рукава нательных рубах, трудились в поте лица — окучивали картошку». И этот пейзаж своей невозмутимостью рождал тревогу. Но любопытно, у кого и какую. Этот пейзаж раздражал Павла Мансурова, беспокоил: неужели всю жизнь просидишь в такой дыре, неужели это уже его, Мансурова, «потолок»?

В «За бегущим днем» в пейзаже один постоянный мотив — пробитая тропинка. Деталь откровенно аллегорическая. Вообще же в романе преобладает интерьер. Домашняя обстановка. Дом, семья. Интерьер обставлен, обилен. Основной его мотив — не однообразие только, но избыток. Избыточна и стать жены, этакое обильное тело — и маленькая несоразмерная головка. От этого избытка претит. Все эти куры, подвинки, хлевушки, ушаты и тяпки, шашки по вечерам и пироги — опасность.

Едва ли тут Тендряков точен. Едва ли именно пироги в избытке были главной опасностью в деревне пятьдесят второго, да и более поздних лет. Не от избытка кидали в грязь считанное, сбереженное на посев зерно в «Ненастье».

Тут впервые у Тендрякова возникает несовпадение матернала и мысли, возникает своеобразный зазор между ними.

Страх перед бытом, перед достатком как целью существует у писателя безотносительно к предмету его повествования в «За

бегущим днем». Не случайно так легко вместо «примера Загарья» для подтверждения мысли привлекается «пример Швеции».

Андрей Бирюков тревожно переписывает — в прямой связи со своими размышлениями — сведения, вычитанные из журнальной статьи о Швеции. Сведения эти известны: разлад между нравственным уровнем и уровнем благосостояния, учащение самоубийств при полном комфорте и обеспеченности. Благополучие в связи с безыдейностью, в связи сложной, причинно-зависимой. Благополучие, добытое для себя, отравляет и обирает если не того, кто сам этого благополучия добивается, то его наследников.

Этот мотив надолго займет воображение писателя. В его последней повести, в «Коротком замыкании», мы встретим владельцев «москвича», о них нам скажут: «Все силы души, тела, мозга, все их время до последней минуты уходило на то, чтоб себе заработать, себе купить, себя развлечь». Даже по конструкции совпадает с тем, что думает о шведах герой «За бегущим днем»: дед тех юношей, которые от бессмысленности жизни хулиганствуют или готовы пустить себе пулю в лоб, «исступленно мечтал: для себя добыть кусок хлеба, для себя построить дом, себя обеспечить, своих близких. В этом была цель жизни». Куда девать себя, где найти выход силам? В благородных поступках?.. «Комфортablyно живущие люди не нуждаются в помощи», — размышляет Андрей Бирюков о Швеции. В «Коротком замыкании» о владельцах «москвича» сказано, что они никогда не волновались за других, жили сами для себя не от природной черствости, просто «никто особо и не нуждался в их помощи».

Да, это все серьезные размышления. Серьезные сами по себе. Но они, повторим, безотносительны к предмету повествования в «За бегущим днем» (и, как мы узнаем позже, в «Коротком замыкании» тоже). Связь устанавливается самая прямая, но и самая механическая: вот на уроке каждый учит сам за себя, ищет своего успеха, своей пятерки, и это опасно. Поэтому Андрей Бирюков хочет перестроить занятия, и мы подробно узнаем, как он их перестраивает.

В романе впервые нарушается естественная слитность размышлений и фактов. Их соседство оказывается более или менее произвольным.

Быт, достаток... Для Тендрякова — это угроза всякой идейности. Быт вытесняет ее, растворяет в себе, деформирует...

Будни в конфликте с будущим — так, собственно, задуман роман «За бегущим днем». Этот конфликт предусмотрен уже стыком патетического, звучного вступления — и скромного предмета повествования. Роман, действие которого с какой-то странности замкнется в тихом райцентре, в беспокойствах загарьинской десятилетки, откровенно так: «Мое будущее началось до моего рождения. Баррикады на Пресне и неуклюжий самолет братьев Райт, красный флаг на «Потемкине» и открытие Эйнштейна, Ленин, произносящий речь с броневика. орудия «Авроры», уставившиеся в Зимний дворец, декреты на оберточной бумаге: «Мир народам! Земля крестьянам!», чертежи межпланетной ракеты калужского затворника Циолковского — где-то во всем этом появилась не только та жизнь, которой я жил и живу, но и то, что ждет меня впереди, то незнакомое, таинственное, манящее — мое будущее». И в конце снова послышатся слова, полные патетики, — следя глазами за летящей в небе новой звездой, сделанной человеческими руками, герой думает: «Завтра — новый день. Завтра я понесу дальше свой счастливый крест к неизведанному, к непрожитому, в бесконечность».

Та связь между повседневным, житейским и историческим, которая в ранней прозе Тендрякова устанавливалась сама собой, без громких слов, с очевидностью, теперь устанавливается внешним способом, словесно.

Тендряков написал о будущем — около страницы в начале, несколько абзацев по ходу повествования. Надо было затем писать будни. Написать этот самый быт, в глубине которого писателю видится такая серьезная угроза.

Задача вроде бы и не трудная для Тендрякова. Просмотрим хотя бы первые страницы «Тугого узла», то же описание деревни, которое было приведено выше, или описание похорон в райцентре с запахом погребя от могилы, с командой «пли» («десять парней из общества Досааф ударили из винтовок в воздух»), с беспечным любопытством старушки — кладбищенского завсегда: «— Кого, милый, хоронят? — Секретаря райкома, бабушка... — Старушка, повернувшись лицом к могиле, перекрестилась.—

Прими, господи...» Тендряков умеет видеть, умеет слышать, он внимателен. Но его зоркость особая. Его пленяет сокращенность расстояния между наблюдением и выводом. Только возможность и близость вывода делает ценными в глазах писателя его же наблюдения.

Тендряков привык к уверенности, что факт обязательно дает росток мысли. Ради этого ростака он и напрягал внимание, изошрял слух. Характеристика Глухарева из «Ненастья», Мансурова из «Тугого узла», Княжева из «Ухабов» излагалась без спешки, с житейской обстоятельностью. Из этих-то житейских обстоятельств немедленно — и законно — концентрировались обобщения. Сообщались самые простые, обыденные вещи: ну, скажем, что у Павла Мансурова нет профессии. Он не инженер, не экономист, не земледелец — руководитель, другой специальности нет. Другого просто не умеет. Поэтому приходится держаться за пост. Характеры до черточки совмещались с социальными явлениями. В этом не было насилия над их своеобразием: бывают люди, в которых время и социальные обстоятельства выражаются отчетливо, а главное, бывают времена и социальные обстоятельства, которые так или иначе отчетливо выражаются едва ли не в каждом человеке. Течение фактов само выносило к концепциям.

Это совершенно возможный, совершенно законный путь. Течение фактов может выносить к концепциям. Так же, как может и не выносить к ним. Индивидуальный характер может совпадать с социальным характером, как может и не совпадать с ним. Не во всякую эпоху во всяком драматическом событии удастся сразу угадать логику исторической тектоники. Могут быть и просто драматические события: умирает ребенок, болеет старик, женатый человек любит замужнюю женщину...

Но интерес Тендрякова избирателен. Характер, прямо приравненный социальному явлению, — это ему интересно. Характер, связь которого с социальным таким способом — через знак равенства — не устанавливается, — для Тендрякова спорно само существование таких характеров. Любопытное дело: когда для Тендрякова человек — социальное явление, он его великолепно пишет. Человек оказывается на страницах «плотным созданием», по слову Гоголя. Если же социальные связи не могут так

вот, сразу же раскрыться — образ мутится, расплывается в литературных вялостях. Пожалуй, это бессознательная писательская хитрость: всякая необъяснимость характера для Тендрякова подозрительна как литературщина.

Тендряков готов исследовать жизнь во всей ее сложности, если речь о сложности ее социальной структуры. Тут он ничего не боится, ни перед чем не теряется. Его желание понять любое психологическое явление в прямой связи с социальным бывает отважно.

Однако улегшееся время устанавливает свои связи между житейским и историческим. Не прямые.

В романе «За бегущим днем» буквально от страницы к странице видно, как писатель разочаровывается в своей любви к бытовой зарисовке, к психологической подробности, к тому, что в старину называли «картинами жизни». Он становится небрежен, как никогда не бывал. Рецензент не преминул бы огорчиться, что автор пишет: «Еловые лапы... прямо в глаза строят немые снежные рожки», что автор пишет: «Мое одичавшее после целого дня шатаний по зимнему лесу обличье»... А Тендрякову словно бы безразлично это огорчение. Он охладевает к предмету. Берет движение событий в свои руки, заставляет героев страницы напролет спорить на интересующие его, автора, темы. Интонация стерта, определить, кто какую фразу произносит, почти нельзя, но автору и не важно, кто произнесет фразу, была бы произнесена вообще. Факты, факты... Мысль из них сама собой больше не вытекает, автор ее выжимает.

Отсюда аллегоризм деталей. Мы уже говорили о постоянно возникающей в пейзаже пробитой тропинке: пробитая тропинка, которой идет в своей ежедневной работе школа и сам герой. В лесу Андрей Бирюков видит березы, согнутые под тяжестью снега: «Раз уже поддалась, раз уже оказалась согнутой — жить ей и дальше смиренной калекой всю жизнь. В следующую зиму еще больше согнет ее снег, еще ниже придавит к земле — не тянуться вверх, не воевать за солнце». Березку Андрей видит как раз перед тем, как решает вопрос: отстаивать ли ему свои пробы в педагогике, уступить ли. Образность становится пояснительной. Лексика тоже. Со значением повторяются слова «время», «будущее». «Я ждал будущего, пусть трижды тяжелого, трижды не-

устроенного, но заполненного большими делами». «Вступай в свое будущее и живи достойно, ты — единица из сотен миллионов, человек своей страны, своего народа!» «Человек чаще всего, упрямей всего думает о будущем!» «Прошлое роднит, но еще крепче роднит людей будущее». Эти фразы (их гораздо больше) разделены в книге десятками, иногда сотнями страниц. Но между ними нет расстояния: мысль стоит на месте, переминаясь с предложения на предложение. Больше, чем предложение, из материала выжать не удастся. И Тендрякову становится постылым этот материал; материал надоедает писателю; вся эта бытовая плоть, не проросшая выводами, не проросшая обобщениями, становится ему в тягость.

Вывод! Немедленный, очевидный, доведенный до формулировки. Притом неожиданный. Притом опровергающий общепринятое. Притом жизненно нужный. Для Тендрякова нет ничего привлекательней, ничего важнее. Только возможностью выводов влекла его бытопись. Когда она этой возможности не дает, он ее отбрасывает.

С этих пор конструкции и логике очерка Тендряков предпочтет конструкции и логике притчи. Мысль не рождается из материала. Она существует «до прозы». Она сама себе выбирает материал и в соответствии со своими надобностями формует его.

## 2

Владимир Тендряков пишет проблемно.

Проблемы, которые его тревожат и которые он старается решить, из жизни и для жизни.

Этот творческий стимул — «для жизни» — в работе Тендрякова стимул первый. Его гражданская отзывчивость прекрасна. Он с готовностью берется за решение вопросов, стоящих на повестке дня, — скажем, за антирелигиозную пропаганду. Так появляются «Чудотворная», потом «Чрезвычайное». Эти книжки с их энергичным безбожничеством, с их разоблачением лояльного «советского» поповства — дельные книжки, вплоть до того, что в «Чрезвычайном» — чтоб на местах не возникли перегибы — сказано, что ни одна из церквей в городке (герой считает, что их надо бы развалить) не являлась архитектурным памятником старины.



Но в «Чудотворной» и в «Чрезвычайном» есть и иной пласт. Произошел случай: мальчишка Родька нашел икону. Произошел случай: десятиклассница Тося Лубкова обронила дневник, выяснилось, что она верит в бога. Случай оказывается удобным для размышлений автора. Они-то, эти размышления, составляют в повести главное.

(Существенное изменение конструкции: жизненный случай как повод для рассуждений — вместо жизненного случая, в котором реально выразилась жизнь.)

Мы уже имели возможность видеть, как важен для Тендрякова мотив быта, житейской оседлости. Будни разлагают, испаряют духовное начало. Но и сами пересыхают без него. Тендряков великолепно чувствует эту диалектику: быт, разлагающий идейность и жаждущий ее замен; бездуховность, тоскующая по духовности, но по духовности, которая ей сродни.

В «Чудотворной», в «Чрезвычайном» мы видим как раз такую «пересохшую» среду, «сухую землю», готовую жадно впитать любую пролитую на нее идею, иллюзию идеи. Учительница Парасковья Петровна, возвращаясь из дома своей былой ученицы, где теперь из угла дико, бело смотрят глаза Николы-угодника, размышляет: что заставило Варвару метнуться к чудотворной иконе, как шла Варварина жизнь? «Боронила, косила, жала, молотила, делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить ее: «Ну-ко, пораскинь мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы». Никто не учил: думай над жизнью, вникай в нее. Все, от колхозного бригадира Федора до районного начальства, только приказывали: борони, жни, коси, по возможности быстрее, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберемся. Помнили: она рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме этого, человек, — забывали... Она покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой».

Многое в распространении религии — от войны, от военного страха, от военного бездоля. Тендряков не забывает об этом. И все же главное — главное не в вопросе об оживлении религии, а в системе рассуждений писателя — в «недокорме» души.

Руки много работают, голове становится привычным «не рассуждать лишка». Все же и этот человек тянется к духовной пище. К той, какую может усвоить. К той, которая испокон века и рассчитана на голову, «не рассуждающую лишка», которая испокон века готовилась на человека, бедного душой.

В «Чудотворной» тянутся к грозной глазастой доске. В «Чрезвычайном» — к ненавязчивому, легкому богу тети Симы. В том же «Чрезвычайном» мельком рассказано о спившемся люмпене, которого охотно поят и слушают в чайной, когда он читает навзрыд «Москву кабацкую». Такой же кабацкий, трогающий душу распев заставляет тесниться вокруг койки Николая Бушуева обитателей общежития сплавщиков в «Тройке, семерке, тузе». Висела в красном уголке гитара, купленная потому, что были выделены деньги на культурно-массовое обслуживание. Висела и висела. Потом ее взял Бушуев.

Деньги на культурно-массовое обслуживание были выделены так же исправно, как все исправно на участке. «Александр Дубинин живет в будничных заботах: надо следить, чтобы работа распределялась равномерно, чтоб расчет за работу был справедлив, чтоб в столовой кормили сытно, чтоб в общежитии было чисто, чтоб простыни менялись каждую неделю...» И работа распределяется по чести, платят без обсчета, на еду в столовой жалуется разве что прижимистый Егор Петухов, которому вообще жалко вынуть гривенник, простыни меняют. Сплавщики зарабатывают нелегко и помногу. Идя по слеланной «между делом» огромной каменной дамбе за поселком, Дубинин думает: «Если бы вся работа — разборка завалов, очистка берегов и мелей — каким-то чудом вдруг превратилась в сложенные один на другой камни... выросла бы на этом участке гора, снежной вершиной уходящая за облака». Руки работают. «Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно — сон да работа, работа да сон...»

Три события отвлечают от этого ритма «сон да работа», становятся событиями для всех или хоть для кого-то. Лешка Малинкин спасает человека, по неумелости чуть не погибшего на реке. Спас, помог, сделал что-то для другого. Лешка по-особенному относится к спасенному: он ему, как ни странно, благодарен.

Разбирая слипшиеся, промокшие бумаги спасенного, мастер сплава участка Саша Дубинин едва ли думает о своей жизни. Наверно, просто разбирает бумаги. Но именно в этот момент автор рассказывает нам его жизнь. «Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей, не знал (а если и знал, то очень смугно, понаслышке), что существовали на свете люди великой души, которые ради счастья других поднимались на костры, выносили пытки, сквозь стены казематов заставляли потомков прислушиваться к своему голосу.

Был сплащиком, стал мастером — только и всего.

Лет шестнадцать тому назад произошла неприятность».

Лет шестнадцать назад раздробило бревнами обе ноги семнадцатилетнему пареньку Яше Сорокину. Дело было к тому же в войну. Отец Сорокина погиб. Осталась старуха, сестры-девчонки. В увечье Сорокина мастер не виноват, это было просто несчастье. И вот Дубинин взвалил тогда на себя ношу. Ломал спину на две семьи (у самого — жена, ребенок). Вырывал на крик в райсобесе пособие для Якова. Требовал, чтобы в колхозе помогли семье фронтовика. Взял за шиворот самого Яшку Сорокина, потерявшего себя, вымогавшего деньги («Мне теперь одно осталось — погибать. Уж погибать, так весело»).

И вот об этом времени, об этой беде, когда старался не для себя, для других, Дубинин вспоминает (или за него вспоминает автор) как о лучшем времени. Но беда в прошлом. «Давно уже Яков Сорокин работает в колхозе счетоводом, женился, имеет двоих детей. Его сестры выросли, уехали из деревни, одна замужем, другая учится на фельдшерницу.

Александр Дубинин живет в будничных заботах...»

У других сплащиков, так же, как и Дубинин, не приученных к книгам, не зажигавшихся от них благородными порывами, не открывавших для себя высоких идей, — нет даже и воспоминаний о таком вот счастье: «Поднять упавшего, успокоить отчаявшегося, защитить слабого, чувствовать при этом, что ты способен радовать других, ты щедрый, ты сильный — это ли не счастье!»

Чуток этого счастья выпадет на долю владельцев «москвича» в «Коротком замы-

кании», когда они захотят помочь случайному встревоженному человеку, попросившему подвести его до хижкомбината. Чуток этого счастья выпал на долю Лешке Малинкину — за это счастье он благодарен вытащенному из воды Бушуеву. Но короткое замыкание — быстро исправляемая авария. Беда на реке и вовсе недолга. Человека спасли, откачали, чего об этом рассуждать. Опять «все хорошо, все налажено... сон да работа, работа да сон...»

В чахломе Николае Бушуеве есть духовность. Духовность низкопробная, духовность с отрицательным зарядом, но духовность. Низкопробная, как его щиплющая сердце гитара (она стала его гитарой, без толку провисев на стене красного уголка, где никто ее и не трогал).

Песни Бушуева, всхлипывания блатной лирики становятся вторым событием на сплава участке. «Сплащики были не слишком привередливы» Ко всем этим негромким гитарным вопросам — «почему у одних жизнь прекрасна и полна упоительных грез» — прислушиваюгся. Бушуев поет «для души»... Душа недокормлена, с небрежливостью голодного она поглощает, что дают и что способна воспринять.

Наконец третье событие. Карточная игра, сначала медлительная, шутливая, потом вовлекающая всех, молчаливая, потная, с кучами денег, разложенных по койкам, с жадными взглядами, останавливающимися на ловких плоских руках Бушуева, которые тасуют колоду.

Интересно, что Бушуев не ворует. Он играет. Никто из сплащиков не стал бы воровать вслед за ним. Но играть вслед за ним кидаются. «Дух денег» «Дух азарта». Именно дух, а не просто деньги. Эрзац духовной жизни. Как оказывается ее эрзацем религиозность в «Чудотворной» и в «Чрезвычайном».

У Тендрякова есть и другой постоянно тревожащий его мотив. Это мотив «простой жизни». «Нерушимый покой, прочная, здоровая жизнь» окружает Дубинина. Весь сплава участок — словно бы намеренно сделанная «выгородка». Могучий лес, могучая река, могучий труд. Здесь все живут естественно — физическая работа, порядок, твердые нравственные устои «простой жизни». Еще более образцова «простая жизнь», которой живет медвежатник Семен Тетерин в «Суде»: человек в единении с природой, мужественный хотя бы по требованиям про-

фессиональной пригодности (так же мужественны сплавщики). В «Коротком замыкании» о владельцах «москвичка» тоже сказано особо: «Они оба жили жизнью, которую принято похвально называть простой». Правда, жизнь этих «собственников», служащих при автобазе, лишена героизирующего оттенка; более или менее откровенно понятие «простой жизни» в «Коротком замыкании» приравнено к понятию «обывательской жизни». Для Тендрякова это приравнение имеет принципиальный смысл. Можно сказать даже так: он именно для того и в «Тройке, семерке, тузе» и в «Суде» берет героизированный вариант «простой жизни», чтобы дискредитировать ее там, где ею восхищаются неоруссоисты. (Тема «простой жизни» достаточно существенна в современном искусстве.)

Вся вторая половина «Суда» — с того момента, когда кончается охота и начинается следствие, — сосредоточивается на Тетерине. Тетерин не выдерживает испытания. Он сам к себе теряет уважение, теряет к нему уважение его товарищ по охоте, начальник строительства Дудырев. «Дудырев, сидевший в машине, которая несла его по черной, отчетливо выделявшейся среди покрытых снегом полей дороге, думал о Семене... Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться... Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву». Этот-то человек с его первобытной силой и цельностью больше всех сплеховал. Знал, где правда, попробовал рассказать о ней — и растерялся при первом натиске, даже и натиска-то особого не было... Все установления его «простой жизни» — правдивость, желание не оставить друга в беде, бесстрашие — разом осели, едва только перед Семеном Тетериным с казенного кресла поднялся следователь: «узкий, прямой... длинная сухая шея, бледное пористое лицо кабинетного человека, большие уши, мягкий старушечий рот». Семен Тетерин боится этого человека: он видит в нем «что-то особое, какую-то силу, способную обвинять».

Так же теряется перед следователем, приехавшим на сплавучасток, Лешка Маллинкин в «Тройке, семерке, тузе»: все пугает — «фуражка с лакированным ко-

зырьком. на груди светлые пуговицы, из-под лакированного козырька спокойно и холодно смотрят глаза. Он встретил пугающими словами, что надо говорить только правду. иначе «будете привлечены к ответственности», «статья...», «уголовный кодекс...». Что это за статья, что такое кодекс — Лешка не знал, но представлял — должно быть, страшные вещи». И Лешка так же не защищает известную ему правду, как не защищает ее Семен.

«Простая жизнь» в числе иных своих традиций имеет этот страх перед «светлыми пуговицами», «простая жизнь» становится испуганно бездеятельной, едва завидит их. Это очень важно для Тендрякова, как важно для него и другое: казенщина — это, в сущности, тот же быт, быт служащих людей, днем судят, вечером окучивают картошку, ни то, ни другое особой идейностью не пронизано. Семен смотрит в суде на женщину, председательствующую за столом: «Теплякова — женщина тихая, многосемейная, вечно озабоченная... Руки, лежащие на каких-то бумагах, — руки хозяйки, шершавые, с коротко подстриженными ногтями, видать и белишко стирает... тоже бабе приходится из кульки в рогожку переворачиваться». У врачихи, которая приезжает на вскрытие в «Тройке, семерке, тузе», тоже увядшее, какое-то домашнее лицо. Она старательно и заботливо осматривает труп, потом заполняет бумаги, трудолюбиво склонившись над столом. Врачиха, которой в «Суде» предстоит та же работа, — помолже, в пестром платье, но лицо у нее тоже потное, усталое. Стола нет, бумаги она заполняет тут же, на прогалине, где лежат медвежья туша и тело убитого случайным выстрелом парня. Докладывает следовательно и прокурору старательно. Сердится, что не предупредили насчет медведя: вот не предупредили, а инструменты не подходят, тоже удовольствие — тоненьким скальпелем копаться в этакой туше.

Житейское, деловитое перед лицом смерти всегда производят впечатление стыдного, даже когда отдаешь себе отчет, что они обязательны. Житейская деловитость вскрытия, следствия, суда подчеркивает у Тендрякова мотив бездуховности, продолжает его в новом повороте.

Есть еще много вопросов, объективно беспокоящих писателя. Вопрос о крупной личности и о тех, кто, как сказано в «Коротком замыкании», составляет своей

жизнью «будни необъятного человечества». Об ответственности перед завтрашним днем, о том, что оставляет человек по себе на земле. Все это — не в общефилософском аспекте, а в связях с конкретной сегодняшней социологией нашего общества.

Круг этих вопросов не вымыслен. Даже то, с какой энергией, не жалея газетного дорогого места, с Тендряковым начинают полемизировать, едва выйдет в свет его очередная повесть,— свидетельство того, что он касается тем безразличных. С ним и спорят, обращаясь прежде всего к терминологии не литературоведческой, а социологической. Прочитав последнее из газетных выступлений, связанное с «Коротким замыканием». Д. Стариков в «Литературе и жизни» начинает так: «...Да, дело доходило даже до того, что один критик (автор этих строк) счел своим долгом напоминать читателям «Тройки, семерки, туза» прописную истину: в социалистическом обществе люди становятся хозяевами своего труда, впервые в истории обретающего человечность, ибо ликвидирована основа «отчуждения» труда — частная собственность на орудия и средства производства; размышления других критиков (в частности М. Гуса, В. Сурганова) над следующей повестью В. Тендрякова «Суд» также сами собой приводили к необходимости толковать, казалось бы, о столь же азбучных истинах: об утопичности «естественного человека», о социальной природе государства, о том, что в социалистическом обществе народовластие ликвидирует и основу «отчуждения» государства от человека, снимает антагонизм общества и личности, общественной и «естественной» морали, закона и совести...»

(Напоминать обо всем этом Тендрякову не было нужды: сам Тендряков разоблачает иллюзии насчет «естественного человека».)

Повторим уже сказанное: Владимира Тендрякова «принимают» или «не принимают» в зависимости от согласия или несогласия с его точкой зрения на жизненные проблемы. Не спорят о художественной природе его работы. Он сам ею заинтересован не в первую голову. Он торопится разобраться в занимающих его проблемах. Литературные заботы кажутся ему подчас волокитей, мешающей помочь жизни сразу же.

Он торопится.

## 3

Повесть «Суд» разломана надвое. Идет охота. Это одно. Это написано густо, плотно, зримо. Написан медленный, лениво клонящийся к концу день, не день, а растянувшееся ожидание ночи, когда должна начаться охота. Привал не утомленных, а только ждущих людей, с необязательным разговором, с воркованьем спрятанного в кустах переката, с бесхитростным звуком гармошки, неожиданным в лесной глуши: «Отвори да затвори...» — идет парень в суконом не по погоде черном костюме, отложной воротник чистой рубашки выпущен наружу, в руках поблескивает лаком хромка... И благодуще привала, и эта случайная встреча, и словно бы досужие — во время привала — рассуждения о каждом из участников охоты пронизаны особым ритмом. Это ритм растянутого предвкушения, когда и час, и два, и три ждешь тех двух-трех минут, ради которых всё. Двух-трех минут охотничьего ужаса и счастья.

Написано наступление темноты, когда ночь в лесу ползет снизу, из-под корней деревьев, земля истекает из всех пор черноземным, жирным мраком. Написана монолитно темная чаща. Овраг, откуда тянет прелью, как из ямы с прошлогодней картошкой; мрак на дне оврага — слежавшийся, плотный. Поле овса, куда охотники выходят после чашобы «светло, тихо, покойно... матовое озеро средь вздыбленных черных берегов». И это «медвежье» слово — «вздыбленный» — поставлено с необдуманной точностью, оно естественно оказалось под рукой, как у мастера всегда под рукой именно тот инструмент, какой нужен.

Написаны все звуки ночного, располосованного охотой леса: слабый плачущий голос отбившегося от своих Митягина, тотчас впитанный сырой темнотой; утомленный крик дергача, невесело исполняющего свою ночную обязанность; тугой звук неудачного выстрела, болезненно свирепое, короткое, как криканье с насады, рычание медведя; сорванный голос собаки, с упорством до помешательства, с бесстрашием до самозабвения преследующей зверя. И вот в скупой брезжущих сумерках, когда молча, без рычания медведь встал на дыбы и пошел навстречу охотникам, за кустами возникает «отвори да затвори» — бездумный, веселенький звук гармошки.

«— Не стреляй! — крикнул Семен.

Но было поздно, два ружья разом грохнули, хрипло завизжала Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед медведю. Вялый ветерок понес пахнувший затхлостью дым пороха.

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то далеко в лесных чашах. Дудырев и Митягин стояли не шевелясь, держа на весу ружья, все еще сочившиеся дымком. И чего-то не хватало, что-то исчезло из этого скудно освещенного мира».

Охота написана великолепно. С редким чувством непосредственной образности самого слова (эти сочашенся дымком ружья, предваряющие образ раны, нанесенной одним из этих ружей...). Так сильно — с такой мощью изобразительности, так сильно по ритмам — Тендряков еще не писал.

Но мы дочитываем повесть до конца. Социолог и проблемист перебивают автора рассказа об охоте. Словно не доверяя, что он и сам может довести дело до конца, отгесняют его от листа бумаги. На пластическую художественную систему накладывается система логических рассуждений. Между ними возникает все дальше расходящаяся трещина. Возникает несовпадение; в результате художественное или гибнет, или опрокидывает возведенное над ним логическое построение.

Дудырев переживает. Страшно предположить, что ты — пусть совершенно нечаянно — убил человека. В результате этих переживаний он начинает больше заботиться о быте рабочих на вверенном ему строительстве. Возвращаясь от следователя, шокированный тем, что юристы явно предпочитают доказывать виновность безответного фельдшера Митягина, а не виновность его, Дудырева («он, Дудырев, не только выдающаяся личность в районе, он еще нужный человек, чудотворец, создающий дороги, налаживающий автобусное движение, поднимающий жизнь из сонного застоя. А Митягин?.. Как его легко обвинить!»). — Дудырев едет через построенный им поселок. «Среди торчавших пней стояли бараки, все, как один, новенькие, свежие, не обдутые еще ветрами, какие-то однообразно голые, с унылой ровностью выстроенные в ряды. Чувствовалось, что здесь люди живут временно, некрасиво, бивуачно. Сам поселок раздражает своей казарменной сухостью.

Будет отстроен комбинат, вокруг него

вырастут дома, быть может благоустроенные, быть может красивые, но рядом с ними останутся и бараки. В них, уже покосившихся, осевших, латаных и перелатанных, непременно кто-то будет жить. Секрет прост: те строители, которые займут его, Дудырева, место, станут планировать жилье с расчетом на эти бараки. Раз стоят, значит жить можно, мало ли что некрасиво и неудобно — не до жиру, быть бы живу. Они, какследователь Дитятинчев, не захотят лишних осложнений, станут искать решения попроще.

Он возмущался следователем. А сам?.. Наставвал строить не капитальное жилье, а бараки, приводил веские доводы — быстро, дешево, просто... Главное, просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, не надо задумываться — откуда оторвать рабочую силу, не надо беспокоиться, что сорвешь утвержденные планы. Проще! Легче! Разве это не называется — искать под фонарем?..

Дудырев сейчас начинал понимать то, о чем раньше, как ни странно, не задумывался: истина и счастье людей неотделимы друг от друга, а счастье же слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко; под фонарем, где светлей да удобней, его не найдешь».

Истина и счастье людей в самом деле неотделимы друг от друга, но почему именно на этой, а не на иной странице появляется упоминание об этом — неясно. Просто Тендряков считает эту мысль существенной. Ее надо высказать. Он ее и высказывает.

Важен для него и вопрос, какой обсуждают в повести Семен Тетерин и председатель колхоза Донат Боровиков. Это вопрос о соотношении правды и пользы дела. Донат верит охотнику, что тот, разделявая медвежью тушу, нашел пулю, не отысканную врачом, который делал вскрытие. Верит и тому, что пуля подходит к ружью Митягина, что именно выстрел Митягина свалил зверя. Парня же убил пуля, посланная Дудыревым. Донат верит, что это все правда. Но стоит ли ее отстаивать? Стоит ли доказывать вину Дудырева? Дудырев — человек, полезный краю. (Мельком упоминается, что он проложил дорогу, о которой понапрасну летали районные власти вот уж сколько лет: дорогу от Густого Бора к станции, пятьдесят километров твердого покрытия. Это та самая дорога, на которой

когда-то погиб парень в «Ухабах», теперь по ней ездят в свое удовольствие.) Митягина вряд ли засудят, говорит Донат. Но вообще-то речь не о Митягине. Донат произносит такую фразу: «Кроме митягинской правды, которую ты выковырял из медведя вместе с пулькой, есть и другая». Сказано коряво, не по-мужицки коряво, а просто по мысли не очень четко. Все же можно понять. Речь идет о том, что вот существует объективная правда и существует «правда пользы», правда разумного поведения, правда целесообразности. Когда они, эти две правды, разъединены, возникает драматическая ситуация.

Примирение конфликта между правдой и пользой, истиной и счастьем происходит в повести по логике алгебраического уравнения. Происходит отдельно от сюжета, вне сюжета. И моменты соприкосновения этого «уравнения» с живой плотью вещи вызывают такое ощущение, как от звука ножа по стеклу. Это соприкосновение разнородного.

«Дудырев собирает бараки сносить, каждой семье квартиру обещает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходитель, он и добр...» Семен Тетерин ко всем этим пересудам относится недоверчиво, ему кажется, что Дудырев откупается, «спасается» всем этим творимым добром...

По логике «уравнения» Тетерин не прав. По логике художественности, по логике самостоятельного существования написанных характеров вывод получается иной. Чувствуешь то же, что чувствует Тетерин. Конечно, Дудырев «спасается».

Размышляя о Тетерине уже в финале повести, Дудырев мягко в своем осуждении спасовавшего «простого человека», даже готов признать и себя виновным в том, что такой вот кряжистый медвежатник спасовал. «Мало поднять комбинат, проложить дорогу, переселить людей в благоустроенные дома. Это нужно, но это еще не все. Надо учить людей, как жить».

Насколько верна эта фраза отдельно от положений повести, отдельно от Дудырева, настолько неуместна она в данной ситуации. Не Дудыреву учить Тетерина.

Мы же помним, как он встретил Тетерина, когда тот принес ему пулю-улику. Что, он тогда не поверил медвежатнику? Поверил же. Пуля для него была страшна именно несомненностью: теперь он знал, что он — именно он, Дудырев, — убил парня.

Знал. И это состояние Тендряков написал с такой художественной убедительностью, что все остальное поведение Дудырева — его поездку к следователю, его речь в суде — иначе как самоозащиту, как «спасение души», как ложь перед собой и ложь небескорыстную не воспримешь.

А нам говорят: он теперь понял, что должен был учить людей жить. И что мало учил — признает себя виновным...

Логика художественности и логика социологическая тут во взаимных неладах.

Первая часть «Суда» — настоящая проза, художественно самовольная, сильная. Во второй части проза подминается решением проблем.

Такое усмирение прозы ради полногласия проблем в конечном счете оказывается во вред проблемам же. В «Суде» этот вред был еще минимален. В «Коротком замыкании» разъединение авторских размышлений и простейшей, жизненной (и художественной) логики изображенных событий приобретает уже аварийный характер.

#### 4

«Короткое замыкание» — своего рода каталог тем и приемов писателя. Характерное «тендряковское» построение: завязка — несчастный случай. В вечер пол Нового года происходит беда на высоковольтной линии, случайно ослабел зажим, мощные провода распались — короткое замыкание. В диспетчерском управлении дежурил Василий Васильевич Столярский. В момент катастрофы — собственно, в момент ее возможности, настоящей катастрофы так и не произошло — он вел себя неуверенно, не решился воспользоваться всей полнотой врученной ему власти. Его начальник Иван Соковин сам сделал то, на что не рискнул не приученный к самостоятельности Василий Васильевич: на короткий срок отключил весь город, ни с чем не считаясь. Эта крутая мера выправила положение, хотя и привела к каким-то несчастьям. Применить ее было необходимо — рано или поздно. Если бы ее не применить, город все равно остался бы без энергии, только уже надолго.

Через какое-то время положение выровнялось, а аварийная служба выполнила свое дело.

Итак, несчастный случай, при котором нет юридически виновных и который в то

же время для Тендрякова существен как возможность провести нравственное и социальное расследование. Нам изложены внешние обстоятельства дела. Автор настойчиво подчеркивает: внешние. Кажется, что нет виновных. Автор настойчиво подчеркивает: кажется.

Повесть «Короткое замыкание» как бы двухслойная. Слой сюжета нарочито поверхностен, это плотная и прозрачная пленка, оберегающая от стирания то, что написано под нею.

В «Коротком замыкании» погибает человек. Фамилия его Горяев. Описано его мертвое тело, грязная голубая рубашка, засаленный ватник; описан морг. Но мертвое тело тут условие. Погибший человек становится доводом в споре. Спор в повести — главное.

Спорят отец и сын Соковины: Иван Капитонович — начальник областной энергосистемы и Вадим — энергетик с химкомбината. «Давнишний, длящийся, верно, не первый год спор... спор, не совсем ясный для других, скрытая семейная война...»

Что неясный для других, что скрытый — это обмолвка. Спор вынесен перед всеми, лишен житейской оболочки.

В приступе новогоднего красноречия Соковин-отец толкует о великом боге — Времени, славит тут же и другое божество, то, которому служит и которое служит ему. Он славит обоготворенную энергетику. Сын возражает, что любви к машинам и власти над ними мало. Отец раздраженно восклицает: «Ах, я не упомянул — любовь к человеку!..»

По совести, у отца есть основания раздражаться, потому что сын ему навязывает спор действительно «давнишний, длящийся не первый год». Так спорили еще в «Весеннем потоке» Ю. Чепурнина с размахистым и по-своему обаятельным Барсуковым, который больше думал о строительстве плотины, чем о благоустройстве рабочих и о технике безопасности. Пьеса шла в пятьдесят четвертом году, и после нее было много пьес и много романов, где спор больше вторялся, чем варьировался в своей сути.

Спор давно разрешен, если он формулируется так: «Любить технику или любить людей». Впрочем, автор дает понять, что это только первый, поверхностный слой спора.

Однажды, после резкой публичной перепалки (речь шла о том, строить или не

строить собственную небольшую ТЭЦ при химкомбинате, и Иван Капитонович доказал нерентабельность этого дела), сын сказал отцу: «Я часто думаю, что если б не случилось революции, ты бы в своей Лапшевке, пожалуй, кулаком стал. Сам, может, ходил бы с грыжей, но уж работников-то наверняка в гроб вгонял».

Читатель, пристальный к прозе Тендрякова, сразу угадывает знакомый и важный в кругу авторских раздумий мотив. Мысль о невыгоревшей собственной крестьянской душе тревожила Тендрякова — автора «Не ко двору», автора «Тугого узла». Она может прорасти, эта собственническая душа, в привычном скопидомстве Ряшкиных, искать своего исконного выхода в том, чтобы наживать малую толику, беречь по дедовским укладкам, калечить соседскую козу, пощипавшую огурчики... Она может «выходить боком»: в карьере Павла Мансурова — отзвук того напора, который был насильственно остановлен как напор социальный, как напор экономический, психологическую же и иную силу еще не утратил.

Очевидно, вот она, самая глубина спора, его сердцевина.

В «Коротком замыкании», разбитом на тридцать восемь главок, каждая из главок имеет философскую концовку, «отжимающую» смысл изображенных событий до плотности сентенций. Фраза о том, что из Ивана Капитоновича в прежнее время вырос бы кулак, поставлена именно в конце главки, на место резюме. Фраза сама по себе серьезная, ее положение заключительной фразы усиливает ее многозначительность. Кажется, завязав узел. Но это вроде узелка для памяти. Никакие нити повести в этот узел не сведены, ничего ни от него, ни к нему не тянется.

Просто помянут существенный для Тендрякова вопрос.

Так же помянуты и многие иные, тоже существенные для него вопросы. Мы помним, как настойчиво в романе «За бегущим днем» повторялось слово «время», слово «будущее». Здесь эти слова возникают с той же настойчивостью. Или, этими словами, отбиты красная строка повести и ее ключевые абзацы: «Через пять минут Новый год, триста шестьдесят пять новых дней. Как их прожить? Стоит подумать», — наставительно напоминает нам автор. И сам момент аварии избран автором с обдуманностью. Новгод-

ний вечер—это не только ради того, чтобы контрастной сопоставить город в праздничной иллюминации, спешно заканчивающий дела, толпящийся в магазинах,— с тем же городом, застигнутым врасплох полной темнотой. Новогодний вечер—это прежде всего рубеж лет, их перевал. Думает о времени Иван Соковин, думает о времени Василий Васильевич, думает о будущем Вадим, ждущий звонка из роддома: жена рождает.

(У Тендрякова появилось странное пристрастие к философским общезвестностям; вот рассуждения Вадима: «Смерть и рождение—в этом не только прочность жизни, ее непрерывность, неуклонность развития, в этом и сложность бытия. Не было б рождения, не было б и смерти, не было бы горя, не по чему тогда измерять счастье, оно бы отсутствовало. Мир состоит из вопиющих противоположностей, во вселенной рядом с космическим холодом—раскаленная плазма звезд».)

Слова «время», «будущее» расставлены в повести «Короткое замыкание» как слова опорные, они должны нести на себе конструкцию вещи. На самом же деле они ничего не несут. Как колонны в павильонах ВДНХ—это мнимые несущие, они не принимают распора сводов, стоят так себе.

Снова просто помянут существенный для Тендрякова вопрос.

В повести есть один мотив, одна сюжетная опора, которая действительно могла бы ее «держать». Речь о персонажах, которых мы упоминали уже не один раз: владельцы «москвича», муж и жена. Люди торопятся встречать Новый год, везут проигрыватель; неожиданно их просят подвезти довольно далеко, за город, на химкомбинат. Они видят, что человек в самом деле в крайней тревоге, везут его. Сами они ни о чем не говорят, только прислушиваются, как работает мотор, спрашивают один другого, не постукивает ли... Пока они молчат, Тендряков—это звучит здесь как медленный голос за кадром—о них рассказывает, за них размышляет. «Они оба жили жизнью, которую принято похвально называть простой. И она действительно была проста, как то заснеженное поле, среди которого они сейчас ехали,— сколько ни оглядывайся ни вперед, ни назад, не на чем зацепиться. Он работал завхозом при автобазе, она учительницей. Все силы души, тела, мозга, все их время до последней минуты уходило на то,

чтобы себе заработать, себе купить, себя развлечь. И высшим жизненным успехом, приносившим им и радость и огорчения, был «москвич». Радость, когда можно выехать за город, покататься, раскинуть на траве скатерку с закусками, отмыться до блеска машину. Огорчения, когда нерасторопный шофер грузовика помнет бампер... Они могли думать и беспокоиться друг о друге, но никогда еще им не приходилось волноваться и думать за других. И не потому, что они были от природы черствы, нет, никто от них не требовал, да, пожалуй, никто особо и не нуждался в их помощи, так же, как никому и в голову не приходило упрекнуть их за простоту жизни.

И вот сейчас за их спиной кричал завод. Сейчас они, быть может, впервые помимо сознания были охвачены волнением за чью-то чужую непонятную беду... Кричал завод в снежной пустыне... Что-то страшилось, что-то появилось в эту минуту неизмеримо более важное, чем стучащий кардан или подозрительный писк в ступице колеса».

Можно замкнуться в своем доме, в своих личных делах, в заботах о «москвиче». Можно замкнуться и в своей работе. Это тоже может быть замкнутость: ходишь на службу, снимаешь табель... Происходит беда, и беда как-то расшатывает эту упрочняющуюся с благополучием замкнутость.

Практически никакого подвига, даже никакого полезного поступка в тревожную ночь, когда погас город, владельцы «москвича» не совершают. Довезли Вадима, отъехали, остановились. Потом повернули назад—туда, где пахло прорвавшимся газом и кричала о беде сирена. Но там они не понадобились, уже опять дали свет, и «скорая помощь» уже увозила единственного погибшего. Что еще было? Перебаламутили понапрасну душу Ивану Капитоновичу, по ошибке решив, что погиб на комбинате именно их случайный попутчик, и отправившись разыскивать его семью. Возли старшего Соковина в морг. Испуганно и терпеливо ждали у больничного подъезда. Потом обрадовались, что ошибка; съездили за Вадимом (тот все еще был на химкомбинате) и доставили отца с сыном до дому. Всё. Поехали дальше. «У хозяина «москвича» на широком лице счастливое облегчение. У хозяйки лицо смущенное, застенчивое и тоже счастливое». Эту главу—в нарушение заведенного—Тендряков не подытоживает рассуждением о том, что эти



люди были счастливы, в минуту общей беды приобшившись к ней. Здесь из рассказанного, из явленного вживе не приходится выжимать вывод, тем более не приходится накладывать вывод поверх рассказанного.

Ночная поездка останется для хозяев маленькой машины воспоминанием, сходным с воспоминаниями Саши Дубинина о несчастье Яшки Сорокина или с воспоминаниями героини пьесы Александра Володина «Моя старшая сестра». Вспоминая голод и войну, детдомовскую юность, девушка с неожиданной тоской, силой, страстью спрашивает: неужели этого никогда больше не будет? Это тот же ход чувств, что в тендряковском «Коротком замыкании». Беда, заставляющая подставить другу плечо и почувствовать такое же дружеское плечо, готовое тебе в поддержку. Беда, при которой замкнутость — это уже подлое исключение, а товарищество и общность — норма. Конечно, мечтаешь не о том, чтобы повторилась беда, а о входящей в силу норме единения, норме неодинокости.

Но, торопясь вводить в материал рассказа новые и новые рассуждения, новые и новые утверждения, автор «Короткого замыкания» небрежен к тому, как эти новые рассуждения соприкасаются с соседствующими мотивами. Небрежность опасная. В частности, интереснейший мотив, разработанный в рассказе о владельцах «москвича», не только остается без отзвука, какой был бы ему нужен, но получает отзвук, его разрушающий.

Введен в числе постоянно интересующих Тендрякова вопросов вопрос о переживаниях. Мать говорит Вадиму, грустящему о погибшем на химкомбинате парне: «Не можешь... К чему?.. Одни пустые переживания». Следует абзац: немного мысли Вадима, больше — мысли автора. «Не можешь? Пустые переживания? Саньке действительно ничем не можешь, но переживания никогда не проходят бесследно. Они заставляют думать, они делают человека мягче, отзывчивее, глубже. А разве этого мало? Разве это пустое? Шарахаться от переживаний, стыдиться их — обкрадывать себя, а вместе с собой и всех».

И через какое-то время (опять на итоговом месте, в финале очередной главки): «Пусть будут переживания, они не проходят даром...»

Переживания, как мы уже видели, «пошли на пользу» Дудыреву в «Суде». Если бы Иван Капитонович Соковин не съездил — по ошибке — в морг, не пережил бы нравственного потрясения, он не поехал бы утешать обиженного им несправного подчиненного (и родственника). По-видимому, так же обогатились внутренне и радуются именно своему душевному обогащению владельцы «москвича»? А поначалу ведь шло к выводам более серьезным...

Мысль об облагораживающей роли переживаний кажется Тендрякову важной. Он спешит ее выразить. Притом не замечает, в какой сюжетный контекст ее ставит.

Трещина между логикой авторских рассуждений и логикой сюжета расходится так далеко, что в нее начинают обваливаться существенные для Тендрякова мысли.

В ночь, когда стряслась авария, Вадим Соковин стоял над трупом своего одногодка, рабочего парня Саньки Горяева, и думал: «Нелепая несправедливость: отец Вадима, чтобы спасти город, должен был убить Саньку. Нельзя винить отца!..»

В ту минуту, когда отец отдавал приказ, — он не был виновен. Минута безвыходная, замешкайся, не решишь, она так или иначе привела бы к более тяжелым катастрофам, быть может, к более тяжелым жертвам. Но ведь не только в эту минуту, а всегда отец считал: прежде всего проблема... Кто, как не он, возражал, чтоб тут, при комбинате, строилась ТЭЦ... Нерационально! Не выгодно! Не выгодно? Но какими выгодами окупить теперь смерть Саньки Горяева? Лежит Санька, задрав подбородок...» Лежит Санька — тяжелый довод в споре.

Иван Капитонович сам молчаливо признает себя виновным. Виновным во всем сразу. И в том, что погиб Санька. И в том, что его подчиненный Василий Васильевич под его властной рукой рос самостоятельным, безынициативным.

По логике рассуждений, по логике социологической — именно такую двойную вину и надо было доказать. А по логике сюжета выходит уже нечто трагикомическое.

Иван Капитонович признан виновным в смерти Саньки, потому что он, Иван Капитонович, слишком решителен, слишком привык мыслить «масштабно», не видит живых людей и не берет их в расчет. Иван Капитонович признан виновным также в том, что его подчиненный Василий Васильевич

нерешителен, не привык мыслить масштабно, слишком многое берет в расчет. Иван Капитонович виновен в том, что убил Саньку. Иван Капитонович виновен также в том, что Василий Васильевич не решился убить Саньку на полчаса раньше. Ведь Василий Васильевич убил бы Саньку на полчаса раньше, если бы Иван Капитонович вырастил его инициативным...

Куда ни кинь...

Клина бы не было — очевидно, — если бы, с одной стороны, Иван Капитонович согласился бы на нерентабельное строительство ТЭЦ при химкомбинате (забота о людях) и, с другой стороны, воспитал бы рядом с собою деятельных, смелых работников (доверие к людям).

Но ведь в час, когда произошла авария на линии и пришлось на время погрузить город в темноту, могло быть любое иное несчастье. Мог умереть больной на хирургическом столе, лежавший со вскрытой грудной клеткой, — не может же хирург оперировать при спичке! Маневровый паровозик, который врезался в электричку, оставившуюся в неполюженном месте, мог бы убить того же Саньку, ехавшего из-за города на новогоднюю вечеринку, или любого другого Саньку. Обязан ли Иван Капитонович создавать подстанцию при больнице или при железной дороге? А закозление электропечей? Это ведь тоже грозит жертвами?

Из размышлений обдумывающего виновность своего отца младшего Соковина мы выпустили было одно звено. Восстановим его. «Нельзя винить отца! Нельзя... Но человек-то мертв. Думал ли отец об этом, когда отдавал приказ? Отец не новичок в энергетике, он предугадывал, он знал. Но знать — значит ли думать? Он спасал положение, решал проблему».

Так вот что, оказывается, надо было делать Ивану Капитоновичу! То же самое,

что он сделал (это ведь неопровержимо доказано в повести), но при этом думать о Саньке (о возможности человеческой жертвы). Нужно было переживагь. Что способствует смячению нравов, как мы уже знаем. «Шарахаться от переживаний... — обкрадывать себя».

Оказывается, чего Ивану Капитоновичу не хватало? Иван Капитонович обкрадывал себя, отказывал себе в горечи раскаяния, в утонченной боли угрызений, в остроте минутного сомнения. В результате — обеднял свой духовный мир...

Сюжет не безразличная среда, пропускающая непреломленными существующие отдаленно, вне сюжета, мысли автора. А Тендряков в «Коротком замыкании» перестает считаться с этим. Перестает считаться и с такой простой вещью: читатель всегда больше убежден плотью художественной вещи, всегда больше убежден непосредственно написанным писателем, чем писательским же комментарием к написанному. И если, скажем, написан человек, который в праздничных узких ботинках среди ночи вылетает на место аварии, — хоть ты что, а мне, читателю, этот человек будет всегда симпатичней тех, кто, сидя дома, о нем рассуждает и философствует.

Безусловно, существует логика решения проблем. Но существует и логика построения художественной прозы. Проблема, введенная в прозу, должна держать собою художественную конструкцию вещи, а не наваливаться на нее сверху; иначе плохо и для проблемы и для прозы.

Разлад между Тендряковым-проблемистом и Тендряковым-прозаиком во вред им обоим.

И здесь можно повторить только то, что уже сказано вначале: Владимир Тендряков — не просто «читаемый» автор. От него ждут немало. Его любят очень серьезно. И тревожатся за него...



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Янов Хелемский.** Четыре века белорусской поэзии.— **Э. Кузьмина.** Таежные звезды.— **И. Виноградов.** К вопросу о «беллетристике»...— **Н. Капиева.** Мал золотник, да дорог.— **И. Левидова.** Сага о сумрачной династии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**О. Лацис.** Будущее в пути.— **Виктор Шиловский.** Две книги о металле.— **В. Далин.** Мастерство исторического повествования.— **Э. Мурзаев,** доктор географических наук. Исследователь Средней Азии.— **С. Эпштейн.** Политическая эконоμία банкротов.

## Литература и искусство

### ЧЕТЫРЕ ВЕКА БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

**Анталогія беларускай паэзіі. У трох тамах. Дзяржаўнае выдавецтва БССР.** Мінск. 1961. Рэдакцыйная калегія: Пятрусь Броўка, Кандрат Крапіва, Максім Лужанін, Максім Танк.

**(Антология белорусской поэзии. В трех томах. Государственное издательство БССР. Редакционная коллегия: Петрусь Бровка, Кондрат Крапива, Максим Лужанин, Максим Танк.)**

1 том — 635 стр. 2 том — 726 стр. 3 том — 662 стр.

Эти тома стихов, эти книги в зеленых обложках, украшенных желтыми листьями, легли на стол белорусского читателя совсем недавно.

Раскрывая их, мы сразу входим в большой мир, многозвучный и многокрасочный, полный движения и живого тепла.

Мы вступаем под сомкнутые кроны бело-вежских дубрав. Шагаем по боровым дорогам Полесья, озаренным лиловыми вспышками осеннего вереска. Любуемся мерцанием тихих озер, окруженных камышом и замшелыми валунами.

Однако движемся мы не только в пространстве, но и во времени. Начав свое путешествие среди курных изб и черных торфяников, среди заболоченных полей, нарезанных на скудные полоски, мы завершаем его на светлых августодах, по которым мчатся мощные «МАЗы» мимо спящих разливов цветущего льна.

Пройдя сквозь руины, вдохнув гарь пожара и дым партизанских костров, мы вступаем на улицы городов, возрожденных с таким размахом и вкусом, что на этих

юных проспектах дышится так же легко, как в сосновой чаще или на берегах Нарочи.

Поэзия — сестра истории.

На первых страницах трехтомника мы слышим неторопливую, назидательную речь белорусского первопечатника, философа и писателя, снискавшего славу во всем славянском мире, — Георгия Скарыны. На последних страницах издания звенит взволнованный голос Дануты Бичель — студентки Гродненского педагогического института, выпустившей в прошлом году свою первую книжечку стихов.

Эти два имени отделены друг от друга четырьмя с лишним столетиями. И новая, изданная в Минске «Антология белорусской поэзии» вобрала в себя все, чем жил народ в течение этих веков.

Перед нами нечто большее, чем собрание стихов и поэм. Перед нами живая песенная летопись. И начинается она с борьбы белорусов за право жить, быть самими собой, сохранить родную речь.

Лицая первый том, с пронзительной силой сщущаешь, как черны были столетия двойного национального гнета, как жестоко тормовзили они развитие мысли, языка, творчества.

Когда видишь, что между строками Симеона Полоцкого и напечатанной рядом с ними анонимной поэмой «Энеида навыворот» огромный разрыв во времени, то, даже допуская, что какие-то произведения вообще до нас не дошли, а некоторые не включены в антологию составителями, все же зримо представляешь себе, в какое длительное и горькое молчание погружалась белорусская словесность.

Если в 1696 году польские паны решением сейма запретили белорусский язык, то в 1840 году указ русского царя повелел именовать Белоруссию Северо-Западным краем, дабы уничтожить самое слово Беларусь.

И все же вхождение в состав России — а произошло это в конце восемнадцатого столетия — способствовало развитию народной литературы. Передовая русская мысль, доходившая до самых забытых окраин империи, озарила и бедный болотистый край и того мужика, чей образ, вылепленный Некрасовым в нескольких строках, стал как бы слепком с целого народа:

...волосом рус,  
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,  
Высокорослый больной белорус:  
Губы бескровные, веки упавшие,  
Языы на тощих руках...

Но вот о себе заговорили сами белорусы. Вслед за устными творениями безымянных авторов — «Богач», «Правда», «Разговор Данилы со Степаном», вслед за пародийным «Тарасом на Парнасе» в середине века зазвучали живые голоса поэтов Павлюка Багрима, Викентия Дунина-Марцинкевича, Янки Лучины и наконец Францишека Богусевича, увенчавшего эту плеяду.

К оружию поэзии обратился славный революционер Кастусь Калиновский, казненный царскими палачами. Перед смертью он написал и передал из тюрьмы на волю стихи, прозвучавшие как завешание, как призыв, как пророчество:

Бывай здаровы, мужыцкі Народзе!  
Жыві у шчасці, жыві ў свабодзе  
І часам спамяні пра Яську свайго,  
Што згінуў за праўду для добра твайго.  
А калі словы пчаройдзе ў дзела.  
Тагды за праўду станавіся смела...

Слово все зримей переходит в дело, все яснее и целеустремленней становится рожденная народом поэзия. Начинается новое столетие, и, переворачивая страницу антологии, мы переворачиваем страницу истории. Первые строки молодых поэтов Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Алоизы Пашкевич (Тётки) как бы освещены заревами девятьсот пятого года.

В дальнейшем это побуждает Горького в статье «О писателях-самоучках» написать знаменательные слова: «Я обращаю внимание скептиков на молодую литературу белорусов — самого забитого народа в России...» И в подтверждение своих слов Алексей Максимович блистательно переводит на русский стихи Янки Купалы, ставшие всемирно известными:

А кто там идет по болотам и лесам  
Огромной такую толпой?  
— Белорусы.

А что они несут на худых плечах,  
Что подняли они на худых руках?  
— Свою кривду.

...А чего ж теперь захотелось им,  
Угнетенным века, им, слепым и глухим?  
— Людьюми зваться.

Образ изможденного лихорадкой некрасовского мученика получил свое революционное продолжение в этом раннем творении Купалы. Белорусы захотели «людьюми зваться».

Перекликаясь с горьковским «Буревестником», Якуб Колас восклицал:

Грымні ж ты, бура, ды грымні дужэй!

И вот уже, переполненный грянувшей грозой, полноводным становится этот поток поэзии. В него вливаются новые песенные ручьи — строки Змитрока Бядули, Тишки Гартного, Янки Журбы.

Страницы антологии, отражающие первые послеоктябрьские годы, полны высокого напряжения тех лет. Пусть в некоторых стихах больше плакатной патетики, чем глубины. Но молодая революционная поэзия постепенно набирает силы, обретает зрелость.

В нее входят новые герои — красноармейцы и активисты комбеда, первые комсомольцы и крестьяне, осушающие болота на освобожденной земле.

Все яснее просгупают черты, присущие каждому из авторов, вступающих в литературу.

Один из самых ярких поэтов первого советского поколения — Михась Чарот (Михаил Куделька) раскрывает смысл своего псевдонима в стихотворении «Бунтарь»:

Я шумлівы чарот, я мяцежны бунтар.  
Я балота буджу гучным шумам.

И читая его ранние стихи, мы слышим этот шум очерета, волнение камыша, бунтующего под ветром, будоражащего сонные трясины прошлого.

А входящий следом в поэзию молодой Кондрат Крапива (Кондрат Атрахович) заявляет о себе так:

Я ў мастацкім агародзе  
Толькі марная трава.  
А якая?— смех, дый годзе:  
Я — пякучка-крапіва.

Я расту вось тут пад плотам  
І не так даўно ўзышла.  
А ўжо многім абармотам  
Рукі-ногі папаякла.

Все, по-моему, ясно без перевода.

Рядом с романтикой начинает действовать сатира. И уже прокладывает себе дорогу эпос.

Одно из первых стихотворных повествований создает в 1921 году тот же Михась Чарот. Это поэма «Босыя на вогнішчы», в которой несколько отвлеченная приподнятость отдельных глав сливается с реалистическими картинками революции. И она сразу завоевывает сердца молодежи.

Здесь следует сделать некоторое отступление от хронологии и сказать о том важном месте, которое занимает в белорусской поэзии эпический жанр. Его истоки, очевидно, можно искать в тех устных творениях, в тех народных поэмах, которые предшествовали появлению письменной литературы.

Активное обращение к этому роду поэтического оружия стало традиционным, и значение его с годами возрастало.

Огромное влияние на развитие белорусской поэмы оказали Якуб Колас и Янка Купала, которые дали непревзойденные образцы стихотворной повести.

В двадцатые годы Колас завершает начатые еще до революции широко развернутые полотна «Новая земля» и «Симон-музыкант». Купала радует читателей поэмой «Над рекой Оресой».

Прозрачность письма и лирическая наполненность этих поэм, полные красок и запа-

хов реалистические описания, сочный, полный юмора и народного остроумия язык, выразительная лепка характеров — всем этим наделяны нестаряющиеся творения двух богатырей белорусской поэзии.

Поэма «Над рекой Оресой» звучит как песнь во славу полесских коммунаров, преображающих заболоченную, скудную землю:

І ляжаць канавы,  
Тыя магістралі,  
Па іх воды рэчкай  
Усё далей, далей...

Бягуць па Арэсе  
Сярод яшчэ нустак —  
Цаліной балота  
Залягае густа.

Люди, поднимавшие болотную целину на заре советской власти, первые в большой и яркой галерее открывателей и новоселов, тружеников и мечтателей, которая развернется затем в поэмах Петруся Бровки, Аркадия Кулешова, Антона Белевича, Аляся Зарицкого и многих других.

Но авторы этих будущих творений еще делают первые шаги и зачитываются поэмой «Дзесяты падмурак» Павлюка Труса — поэтическим рассказом о многострадальной земле, на которой зажигаются огни новой жизни. Они увлекаются «Ярилой» и «Полесскими сказками» замечательного мастера Эмитрока Бядули.

Достоянием белорусской поэзии становится лирическая проникновенность и песенность Петра Глебки и Петруся Бровки. Все уверенней пробуют свои голоса Максим Лужанин, Юлий Таубин и Эмитрок Астапенко. Аркадий Кулешов стремится сочетать в своих стихах и поэмах традиции народной поэзии с орагорской интонацией, идущей от Маяковского. Печатает первые стихи Пимен Панченко.

Совершенно ясно, что в журнальной рецензии невозможно обозреть все имена и все произведения, вошедшие в трехтомник, или хотя бы пунктирно проследить, как развивалась большая поэзия большого народа.

Можно лишь попытаться напомнить читателю о некоторых знаменательных вехах. И среди них — тот сентябрь, когда воссоединилась не только белорусская земля, но и белорусская литература.

Осенью тридцать девятого года фронт поэзии, как и прозы, счастливо расширяется: в нее входят новые имена писателей из

западных областей. Прошедшие сквозь годы подполья, мужавшие в застенках панских тюрем, отстаивавшие родной язык в условиях продолжавшегося национального притеснения, западнобелорусские поэты попадают в объятия друзей.

Автору этой рецензии посчастливилось в далекие сентябрьские дни быть свидетелем того, как вышел из гродненской тюрьмы освобожденный народом Пилип Пестрак, как взволнованно читал свои стихи новым минским соратникам совсем еще молодой, но прошедшей суровую подпольную школу Максим Танк.

Валентин Тавлай, Михась Машара, Микола Засим, Михась Василек, Нина Тарас...

От имени всех их говорил Тавлай, пятнадцатилетним подростком вступивший на путь поэзии и революции, написавший многие свои стихи в одиночной камере, автор замечательных поэм «Товарищ» и «Песня о сухаре».

Маяковский завещал: до срока  
Не спешите с рук стихи сбывать.  
Написал — запри. Отточись строки —  
Выноси на суд, сдавай в печать.

Следовать хорошему совету  
Мне жандарм заботливо «помог» —  
Вместе со стихами и поэта  
Запер, но не в ящик, а в острог...

Но зато в одном достиг я цели,  
Словно сталь звена шлифую стихи, —  
Кандалы на мне тогда звенели,  
Сталь теперь звенит в строках моих.

(Перевод мой. — Я. Х.)

Западнобелорусским поэтам не пришлось долго входить в новую среду, это была родная семья, они здесь были своими. И когда через полтора года белорусская земля запылала под фашистскими бомбами, поэты западных и восточных областей встретили час испытания в одном строю.

Осенью сорок первого на Брянском фронте мне пришлось видеть, как действовали они в это трудное время. Рядом с нашей фронтовой газетой «На разгром врага» по осенним дорогам двигалась походная редакция, в которой работали Кондраг Крапива, Пётрусь Бровка, Петро Глебка, Максим Танк, Пимен Панченко. Они выпускали на родном языке газету, которая самолетами забрасывалась в партизанский край. Их стихи и публицистика делали свое дело в тылу врага.

С фронтовыми друзьями взаимодейство-

вали поэты, сражавшиеся в партизанских отрядах, — Микола Засим и Анатолий Астрейко, Антон Белевич и Рыгор Нехай.

Когда перечитываешь страницы антологии, посвященные годам войны, тебя обдает палящим дыханием тех дней, необычайным накалом чувств, горькой и необоримой страстностью, ненавистью и верой в победу.

Высокий взлет, который переживала в то жестокое и высокое время вся советская поэзия, окрылил и белорусских мастеров стиха.

Какой взрывчатой силой наполнены их творения, созданные во фронтовых или партизанских землянках, с каким волнением перечитываешь не стареющие и ныне «Знамя бригады» Кулешова, «Надю-Надейку» Петруся Бровки, «Янука Селибу» Максима Танка, «Эдем» Змитрока Астапенки, «Партизан» Петра Глебки, фронтовую лирику Панченки.

На всю страну слышны были гневные и обнадеживающие голоса Янки Купалы и Якуба Коласа, напряженно творивших в военную пору. Образцы их поэтической публицистики занимают достойное место на военных страницах антологии.

Впервые в этом издании так полно представлены произведения поэтов, которые пали в боях смертью героев. Многие из них не успели издать даже первых книг. Многие из написанного ими погибло. Всего несколько лет назад, к примеру, обнаружена была рукопись замечательной поэмы «Эдем» Змитрока Астапенки, чью жизнь оборвала фашистская пуля. Его большой талант не успел развернуться во всю мощь, но о том, какой это был талант, свидетельствует и то, что он сделал.

Хочется перечислить имена поэтов-героев. Кроме Астапенки, это Алесь Жаурук, Андрей Ушаков, Сергей Кривец, Леонид Гаврилов, Алексей Коршак, Микола Семашко, Израиль Плавник, Аркадий Гейне, Алесь Дубрович, Гальяш Левчик, Янка Бобрик, Микола Сурначов... Одни погибли в бою, другие были расстреляны гитлеровцами, третьи погибли в блокированном Ленинграде.

В антологии они по праву стоят в одном строю с живыми. Их строки, оборванные смертью, продолжают свою жизнь.

После войны сказали свое весомое слово в поэзии те, чьи первые книги родились на фронте.

Так же как в русскую поэзию влилась сильная плеяда поэтов, чья юность совпала с военными испытаниями, так и в Белоруссии свежо зазвучали стихи Василя Витки и Анатоля Вялюгина, Кастуся Киреенки и Микола Аврамчика.

Не случайно то обстоятельство, что новый подъем послевоенной поэзии начался в Белоруссии именно с побед, достигнутых в эпическом жанре. Антология отражает это, к сожалению, далеко не полно. В силу большого их объема поэмы представлены здесь лишь в отрывках и, конечно, не все.

Ну что ж, эти творения живы в памяти не только белорусского, но и русского читателя. В них запечатлены первые борозды на поле, где плуг натывается на осколки снарядов, первые дома на месте землянок, молодые сады на месте пожарищ, новые русла рек, проложенные мирными руками.

«Новое русло» и «Только вперед» Аркадия Кулешова, «Хлеб», «Полонянка», «Ясный Кут», «Голос сердца» Петруся Бровки, «Золотое дно» Алеся Зарицкого, «Дневник мира» Максима Танка. Одно это перечисление говорит о многом.

«Дневник мира» написан Танком после поездки в Прагу на конгресс, объединивший всех, кто выступает против новой войны.

Расширяется география поэзии. Белорусские поэты — частые гости в братских странах. Они увидели Европу, Африку, Азию, Соединенные Штаты. Увидели не как туристы, а как борцы за мир.

Когда-то Аркадий Кулешов написал «Слово к Объединенным Нациям»:

О бомбе скажу я смело —  
Бахвалиться ею рано.  
Не очень большое дело  
Разрушить атом урана.

Мы большее дело когда-то  
В своей стране совершили —  
Мы старого мира атом  
В семнадцатом расщепили...

Я наложить решился  
На бомбу законное вето.—  
Сын у меня народился,  
Пусть знает весь мир про это.

(Перевел К. Титов)

Это было сказано в 1947 году. Автор не думал тогда, что четырнадцать лет спустя ему доведется, как и другим белорусским писателям, быть делегатом Ассамблеи ООН. И, право же, он мог бы там прочи-

тать эти стихи с трибуны, их звучание не ослабло, а злободневность не миновала.

Зарубежные стихи естественно входят в новые книги поэтов. «Ave Maria» Максима Танка и «Военный оркестр на Бродвее» Петруся Бровки, помещенные в антологии, — отличные образцы этой подлинно интернациональной поэзии.

В нынешнем году Ленинской премии была удостоена книга народного поэта Белоруссии Петруся Бровки «А дни идут...». Это свидетельство творческого успеха не только выдающегося мастера, как бы переживающего свою вторую молодость. Это признание достижений всей белорусской поэзии.

Залогом ее движения и развития можно считать первые, но ощутимые удачи совсем молодых, недавно заявивших о себе — Нила Гилевича, Степана Гаврусева, Владимира Короткевича, Рыгора Бородулина, Евдокии Лось, Дануты Бичель. Их стихами завершается трехтомная антология.

Мне кажется, что этих разных поэтов объединяет одна черта. Они сочетают в своих стихах давние традиции родной поэзии с самым современным поэтическим языком. У них остро развито чувство времени. Они и похожи и не похожи на своих предшественников.

Бесспорно, что такие стихи, как «Партизанская баллада» и «Заяц варит пиво» Короткевича или «Колыбель» и «Америка» Бородулина, уже сейчас ставят их в первые ряды белорусской поэзии.

Хочется привести несколько строф из «Колыбели» (перевод мой.— Я. Х.), эпиграфом к которой молодой поэт взял слова Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели».

Небо синим нависло пологом.  
Мой поклон колыбели милой!  
Не взрастила ты хворого, квёлого,  
Наши думы не приземлила.

...Гималаями и Карпатами  
Разгороженная, как хата,  
Как ладонь человека шербата,  
Человеку уже мала ты.

В межпланетье взлетим по праву мы,  
И тогда за чертой земною  
Ты, пропахшая терпкими травами,  
Станешь нам путеводной звездой.

...За созвездьями и туманами  
В час, когда мы достигнем цели,  
Нам припомнятся руки мамини,  
Нас укачивавшие в колыбели.

Эти добрые руки первыми  
От земли нас подняли в гору:  
— Глянь, сыночек,— звезда вечерняя!  
— Глянь — плывут журавли над бором!

От молодого поколения белорусских поэтов ждешь многого. С этим чувством ожидания и закрываешь последнюю страницу последнего тома.

Можно было бы, конечно, посожалеть о том, что подбор произведений того или иного из ста двадцати шести авторов антологии не всегда удачен. Жаль, что совсем отсутствует раздел народных песен — среди них есть подлинные жемчужины поэзии.

Но спасибо составителям за то, что сделано ими, потому что предела совершенствованию нет, а сделанное приносит белорусскому читателю большую радость.

Надо полагать, что со временем новая «Антология белорусской поэзии» станет достоянием и русского читателя.

Яков ХЕЛЕМСКИЙ.

★

## ТАЕЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Виктор Астафьев. Звездапад. Повести и рассказы. Редактор В. Сякин. «Молодая гвардия». М. 1962. 336 стр.

«На крутом, лобастом мысу, будго вытряхнутые из кузова, рассыпались десятка два изб, крытых колотым тесом и еловым корьем,— это кержацкое село Вырубы».

Так описано место действия повести Виктора Астафьева «Стародуб». И уже в этих нескольких строках видно то, что характерно для прозы В. Астафьева: суровая, корявая шершавость звучания, неприглаженность, необструганность деталей и образов несут в себе своеобразие и колючесть всего, рожденного глухой тайгой,— будь то ствол дерева, изба, людской характер,— со всеми сучками и задоринками, с иглами, с почвой.

Из самой сибирской глуши возник материал повести. Еще далеко до революции, ничто не нарушает оцепенения застылого края. Сумрачные старoverы, спрятавшись от мира за лесами и дикими скалами да еще друг от друга за тесаными заборами. Еда и молитва. Ничего больше не нужно. Неподвижная злобная жизнь. Приди сюда голодный — запрут ворота, не услышат стука, не протянут корки хлеба. Стань чуждый человек рядом с вырытой могилой — подтолкнут, землей забросают и опять запрут за заборами: молитвы творить. Выбросила река с разбитого плота чужого парнишку — убивать грех, а вот спихнуть его, покалечен-

ного, беспамятного, на плотике обратно на пороги — тут греха нет: бог, если захочет, спасет. И совесть чиста. Волоком ташат десяток здоровых мужиков одного малого человека на верную смерть, а он хватается за чужой берег разбитой, раздавленной рукой, где на месте пальцев торчат ослепительно белые косточки. Только Каторжанец Фаефан спас мальчишку от божьих людей.

Так остался в Вырубах чужой человек, прозванный Культа, Култыш.

Да и сам по себе путь, пройденный белорусской поэзией за последнее десятилетие, настолько весом, он отмечен столькими новыми произведениями и именами, что без обозрения этого последнего отрезка времени общее представление бесспорно останется обедненным.

Как удалось В. Астафьеву воссоздать этот ушедший, почти невероятный для нас звериный мир? И как удалось ему не оглушить, не подавить чигателя беспросветностью этого мира?

И в том и в другом прежде всего помогает сама могучая сибирская тайга. По тому, как входит в нее человек, сразу видно, живой ли он или мертвая у него душа. Для старoverов тайга — как еще один забор, ограда от людей. Они и сами ее боятся, но трусливо, исподтишка стараются урвать, что могут,— без разбору, без понятия. Так жесток к природе Амос, сын Фаефана. Еще подростком, еще даже не по злобе, а потому, что ему все равно, ему тут ничего не дорого, он может убить соболешку, когда у нее дети, а сама она еще не выкунула, и никакой



корысти от неё ему нет. Понятно, взрослым он станет жесток сознательно, уже разберется, что надо убить сперва детеныша, а потом мать: она в его руках, от детеныша не уйдет. Да еще будет гордиться: человека не перехитришь! И каков человек ко всему живому в тайге — таков он и к людям.

Да, охотник — Фаефан, Култыш — тоже убивает, иначе в тайге не проживешь. Но это честный, равный поединок. «Неписанный таежный закон... давал право жить и охотиться только тому, кто знал тайгу, умел, когда требовалось, трудиться до последнего вздоха, гнать зверя до того, что в глаза наливалась кровь и сердце отказывалось работать». А главное, охотнику тайга — теплый, любимый дом, ему многое говорит каждый стебелек, трепетание берестинки на ветру. Он подолгу не видит людей, и река, лес, зверь, понимаемые с полшелеста, полшороха, для него — то друзья, то враги, то собеседники, живые и равные. С Фаефаном входит в суровый колорит повести первая светлая краска — вот это ощущение живой, дышащей природы. А дальше, с Култышом, приходит и чувство прекрасного.

Это уже совсем здесь непонятно и невиданно. Мальчишкой он «в вешнее разноцветье... заваливал всякой цветущей всячиной избушку». И сватать Клавдию он не пойдет без цветов стародуба в руках — ярко-желтых цветов с горящей, точно уголья, сердцевинкой. А чтоб скорей расцвели они, не дожидаясь он солнышка, опускается на колени и дышит на каждый стебелек, подгоняя его. Стародуб — так называли цветок люди, пришедшие в край кедрачей и пихт оттуда, где росли дубы и яблони. Это память о светлой родине, огонек нежности и любви. Не только в честь цветка названа повесть. Что-то от этого огонька есть и в самом герое — Култыше.

Он одинок. Его приемный отец Фаефан умер. Клавдию выдали замуж за Амоса. Староверы, которые едва не убили Култыша в детстве, еще долго считают его «поганым» и если и пускают в избу, то пить дают не из своей, а из кошачьей посуды. Но среди зверства и дикости Култыш сохраняет любовь к красоте и доброту к людям. И в голодное время он выручает деревню, отдавая жителям всю свою охотничью добычу, по-глупому, как они сами считают, «за так».

Передать выпукло свет и тени В. Астафьеву удается и благодаря богатству интонации, свободному выбору средств. Общая

ткань повести — очень плотный, насыщенный реализм. Но, рисуя озверелых, бесчеловечных кержаков, писатель резко снижает стиль, возникаюг неприятные натуралистические подробности. С появлением любимых героев — прежде всего Култыша — все преобразуется, светлеет. Порою автор сознательно выходит за рамки сдержанного реалистического повествования. Музыка каких-то охотничьих легенд, сказаний звучит в сцене сватовства Култыша: он идет к своей невесте с цветами в руках прямо по бурлящей реке, сквозь ледоход, среди черных молний, рушащих яростные льдины.

Головокружительная схватка человека-песчинки, мураша, с этакой бешеной силой, победа человека над нею, этот гимн человеку еще долго гулом отдается в ушах, и уже никакие уродства и злобствования старообрядческого села не подавляют читателя, не создают в книге мрачного, безысходного настроения.

И в том, как умирает герой, скажется, что он за человек. Подробно и безжалостно описывает автор ошалелое предсмертное кружение Амоса по равнодушной страшной тайге. Хорошие люди, они, конечно, тоже умирают, но так просто, незаметно, естественно, как мечтал о том когда-то автор «Трех смертей», — как умирает дерево, единая часть неумирающей природы: без трагизма, без себялюбивого надрыва. Поэтому самая смерть, самое умирание даже не описано, с большим тактом писатель прибегает здесь к целомудренному умолчанию. «Когда наступил рекостав, Клавдия... поехала в Изыбаш попроведать охотника. Култыш лежал на нарах в чистой рубаше. В изголовье у него слой мха и пихтовых веток... В руке Култыша вместо свечи цветок стародуб... Осиротела охотничья избушка. Но осталась в ней истопля дров, узелок с солью, коробок спичек... Приходи, добрый человек, занимай всегда открытую охотничью избушку. И уловишь ты неслышанный запах цветов, услышишь, как призывно шумит в горах осиротелый Изыбаш!..» Самая мысль о смерти вытесняется ощущением красоты и непрерывности жизни.

Правдиво и мужественно показал В. Астафьев трудный быт забытой богом и людьми глухомани сибирской. И лишь слабой ниточкой в будущее тянулась принесенная Фаефаном с каторги, от «бунтовщиков», мысль, что придет когда-то на землю перемена, станут люди лучше.

В повести «Перевал» В. Астафьев снова рисует сибирскую деревню: та же глушь, тоже и грудно и голодно, а дышится легче. А главное, уже нет той отрезанности, разобщенности, затерянной звериной берлоги. Нет тех неодолимых заборов между людьми. Когда Илька в детском озлоблении чуть не убил мачеху, все соседи сбегаются на помощь. В голодное время Ильку подкормила, пристроила к делу грубовато-добрая тетка Парасковья, бывшая партизанка.

Скалы перестали быть оградой от враждебного мира. Раньше, если по реке принесло к кержакам мальчишку, это уже дурное знамение, от него спешат отделаться. Теперь река стала связью с огромной и не чужой страной. Дальними восточками доплескивает сюда какая-то добрая и светлая жизнь. Иногда приезжают студенты-горожане, и к ним тянется вся деревня, бабы, ребятишки. Уже вместо знакомой с детства песни «Александровский централ» поет Илька новое, задорное «Нас утро встречает прохладой».

Главное — нет того душевного зверства в обычной повседневной жизни. Удирает Илька из дому после стычки с мачехой — зол на нее, а все же сапоги — одни на всю семью — не взял: ей нужнее. И по тому, насколько душевно легче читать вторую повесть Астафьева, заново ощущаешь, как же бесчеловечна, противоестественна была жизнь Вырубов, встающая со страниц первой повести «Стародуб». И понимаешь необыкновенно ясно: да, о Вырубях стоит писать, иначе не оценить, какую громаду подняла, какую наледь растопила революция.

В книге нет высоких слов о грандиозных свершениях революции. И все же она постоянно здесь. Простота и гуманность ее первых шагов, когда нужно и важно сразу все: и построить колоссальный завод и взять в добрые руки этого неприкаянного мальчика, который уже кидается на людей и думает жить один на острове, бог весть чем питаясь. Это время, когда чуть не единственными представителями новой жизни могли оказаться в глухой деревне простые полуграмотные сплавщики или лесорубы. Но самое замечательное — что они действительно приносили свет новых человеческих отношений, новое, советское входило в их обычную жизнь. Они переворачивали жизнь одинокого мальчугана просто, хотя бы тем, как они принимали его в рабочий класс. Это было очень торжественно, хотя его «ФИО» и «соц-

происхождение» преисполненный необыкновенной важности сплавщик Дерикруп записывает всего-навсего в графу наряда «Кол. куб. др-ны». Недолго пробыл Илька со сплавщиками, но многое увидел и понял впервые.

Разве не чудо, что люди вшестером переспорили бурную реку, оседлали ее, запрудили, заставили ее саму расчистить огромный затор из бревен у самого опасного и непроходимого порога!

А урок умной самоотверженности, когда бригадир умело спасает одного из сплавщиков на бурлящем перекате, а Дерикруп кидается на помощь безрассудно, не умея плавать, и только дает другим еще работу спасти и его. Не всякому удастся рано понять, что самоотверженность без ума и умения немногого стоит.

И даже просто уроки — ведь парнишке надо идти в школу, и мужики по-своему, коряво, неумело, учат его считать, один рассказывает об Украине, другой — как партизанил в гражданскую...

Ильке повезло. Ему не пришлось, как Култышу, умереть в одиночестве, не видя настоящих людей. Обе повести В. Астафьева — как будто на одном материале, выросли на одном месте, но от одной до другой пролегла целая эпоха. И то общее, что в них есть, только заставляет реальнее ощутить всю огромность свершившегося.

В «Перевале», как и в «Стародубе», есть светлые пунктиры, намечающие будущее. Автор на миг приоткрывает то, что Ильке еще неизвестно: что это ради него сплавщики надрывали спины, сплавливая бревна к большим стройкам; что в этих суровых местах откроют целебные источники, «появится зелень, утесы прорежет дорога», иным станет родной край.

Устремленность в будущее заставляет писателя вырваться из описываемого времени, и забегать вперед, она становится тем невидимым стержнем, который объединяет все произведения В. Астафьева.

Третья повесть — «Звездапад» — как будто далека от других по материалу. Это уже Отечественная война, и дело происходит даже не в Сибири, а в Краснодаре, хотя герой по-прежнему сибиряк. Но это тот самый мир, к которому устремлено было движение двух предыдущих повестей. Это не значит, что все стало идеально и легко, — ведь автор берет трудное военное время.

Но душа человека распрямилась, расправи-лась, она чистая, незамутненная. «Звезда-пад» — это удивительно лиричная история очень простой, обыкновенной любви девятнадцатилетнего Мишки-Михея, который еще смущается, задавая девушке «смелый» вопрос: «Как вас зовут?», который наивно пытается разыгрывать небрежность, а если она, Лида, не обращает на него внимания, сам не знает, что сделает: «Окно разобью, лампу, а может, и зареву». Нет, это не идиллия со счастливым концом. Любовь обрывается горестно и бесповоротно. Они только успели нескладно, неумело объясниться, а назавтра ему уходить из госпиталя на фронт. И все. «В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было». И от того, как просто, обычно это описано, вдвойне впечатляет то благородное, высокое, что приоткрывается нам в человеческом сердце. Что-то новое появилось в людях, что заставляет отказаться от единственной любви, что дает силу выстоять, когда любимая женщина хочет удержать, укрыть тебя от долга всеми неправдами. И самое высокое мужество — вспоминать о потерянной, единственной любви, о разлуке, оставившей шрам на всю жизнь, не с отчаянием, не с обидой и злобой на весь мир, а со светлой печалью. Ведь все хорошее, даже если оно было недолгим, хранится и живет в душе, согревает сердце, как свет далеких, уже померкших звезд.

Несколько рассказов, помещенных в той же книге, значительно слабее. Тут нет новой, выношенной писателем, дорогой ему мысли, каких-то по-своему увиденных, впервые под-нятых пластов жизни.

Автор взял ситуации, которые драматичны сами по себе, какой бы человек в них ни оказался. Женщина принимает на себя все презрение односельчан к сыну-предателю; связист гибнет, налаживая провод под пулями; бабушка и внучек не боятся немцев, стоящих в их избе. Автор понадеялся, что ситуация сработает сама за себя, и не осветил изнутри характеры героев, не нашел того неповторимого, что отличает каждого из этих людей от всех других в том же положении. Вот почему рассказы воспринимаешь как что-то знакомое, не раз уже читанное. Им недостает открытия, находки, какой-то «особинки».

Хочется отдельно сказать несколько слов о языке книги. У писателя под руками коренные, глубинные пласты свежего народного языка. И он умеет черпать из этих россыпей удивительно полнозвучные, полнозначные слова. Думается, что ему нужно только остерегаться перейти какую-то грань, не увлечься погоней за «почвенностью», словесными узорами. Временами у В. Астафьева проскальзывают отголоски так называемой «орнаментальной прозы» двадцатых годов. Но в целом — у В. Астафьева живое чувство слова, свежесть восприятия, зоркий глаз (стоит вспомнить его пейзажи, какой-нибудь смородинник «в черных, будто чугунных, каплях», тени от прибрежных скал, отливающие на быстрине «блеском глухаринного крыла»). Цельность, единство мысли, образа и языка — вот что привлекает в повестях молодого писателя.

Э. КУЗЬМИНА.



## К ВОПРОСУ О «БЕЛЛЕТРИСТИКЕ»...

Федор Колунцев. У Никитских ворот. Роман. Редактор В. Вилкова. «Советский писатель». М. 1962. 388 стр.

Имеет ли право на существование «настоящее» искусство?

Праздный вопрос, могут сказать. Оно же существует. И даже в необъятном количестве.

Действительно существует. Вопрос в этом смысле и в самом деле праздный.

Но есть ведь и неотъемлемое читательское право признавать или не признавать то, что «существует». Неотъемлемое наше право судить, насколько нужно нам то, что «существует». Не все действительно разумно, как говорится.

Речь идет, понятно, не о тех романах или

повестях, которые пишутся в форме романов и повестей именно потому, что публицисту, мыслителю, социологу почему-либо удобнее именно так высказать важные для общества мысли. Такая необходимость в истории бывает. И нередко. И хотя перед нами здесь именно самое настоящее «настоящее искусство», тут-то как раз все ясно. Без него иной раз действительно не обойтись людям.

Речь идет и не о тех беспардонно-откровенных подделках под художественную литературу, которыми всякого рода мертвечи-

на заявляет о своей жизнеспособности и тшится утвердить свое место под солнцем. Тут тоже все ясно.

Речь идет о той литературной продукции, которая хотя и не может быть названа истинной художественной литературой, хотя и не несет индивидуально неповторимого, своеобразного художнического видения и переживания мира, хотя и не будит в нас «ни новых чувств, ни новых сил», однако по крайней мере ставит перед собой, в своих субъективных устремлениях, добрые цели. Это лучшая часть той самой продукции, которую мы привычно называем «беллетристикой» и характер восприятия которой действительно весьма существенно отличен от восприятия истинного искусства, — это хорошо и тонко показано в недавней статье И. Роднянской «О беллетристике и «строгом» искусстве» (см. «Новый мир», 1962, № 4).

Так вот. Говорят, что такая беллетристика в общем-то даже, пожалуй, полезна. Конечно, она не настоящее искусство. Конечно, она не дает нам всего того, что дает настоящее искусство. Конечно, она не помогает формированию хорошего эстетического вкуса. Но ведь способна же она, по крайней мере не искажая жизни, не говоря неправды о ней, распространять в обществе пусть не новые, но хорошие, добрые идеи и чувства? Способна же она оказывать тем самым полезное нравственно-воспитательное воздействие?

Предполагается, что именно способна. Ну, а если все-таки вдуматься?..

Перед нами роман Ф. Колунцева «У Никитских ворот».

В подмосковном военном госпитале умирает от тяжелой болезни полковник Досужев. Перед смертью он думает о своей дочери: «Он оставляет Люсе мир, построенный собственными руками... Что будет делать в нем семнадцатилетний человек, без профессии (аттестат зрелости — какая это профессия?), без близких?.. Что она станет делать, как поведет себя?»

Полковник умирает, чтобы никогда, естественно, не появиться уже на страницах романа, а роман, тема которого так открыто программирована в его вводной главе, и рассказывает о том, как входят в самостоятельную жизнь Люся и ее друзья-одноклассники. Это год их жизни — первый год после окончания школы. Здесь и споры, и юношеские мечты о счастье, и первая рабо-

та с ее трудностями, и первая влюбленность, и первые страдания неразделенной любви, и многое другое — все то, что открывает перед героями жизнь с каждым новым их шагом по ее дорогам.

Здесь и разные дороги героев. Люся — главная героиня романа — поступает сначала в типографию, но потом, решив, что она должна делать людям, так сказать, «кошутимое» добро, переходит в больницу, становится медсестрой. Первый самостоятельный год ее жизни приносит ей первую горечь разрыва старой дружбы с Кириллом, ее одноклассником, который любит ее и которому она не может ответить тем же. Но год этот приносит ей и первую любовь — к Алексею, рабочему, бригадире из типографии, где она работает, грубоватому и «неотесанному», но прямому, честному и открытому парню. Она и сама — честная, искренняя, очень, как говорят о ней ее друзья, «правильная» девочка. Она смотрит на жизнь смело, идет по ней если и не всегда верно, то уверенно, и голова ее упрямо и постоянно работает над тем, чтобы выработать окончательный и твердый свод жизненных принципов, решить, «что такое хорошо и что такое плохо».

Кирилл несколько проще ее, но тоже ясен и определен: он идет работать в типографию по необходимости — сначала грузчиком, потом цинкографом; он знает, что будет в конце концов инженером — и хорошим инженером, добротой делающим свое полезное дело. В конце года он решает уехать на стройку Братской ГЭС — может быть, для того прежде всего, чтобы быть подальше от Люси. Но он и так бы поехал: он хочет посмотреть жизнь, почувствовать себя самостоятельным.

Другой одноклассник Люси — Андрей — человек такого же «правильного» склада, как и она. Андрей поступает в МГУ на механико-математический, но через год вместе с Кириллом — и по тем же соображениям, что и он, — оставив временно университет, уезжает в Братск. Подруга Люси — Надя — тихая, неприметная, ничем не выделяющаяся, совершенно «обычная» девушка. Ее путь — замужество, она мечтает о семье, ребенке, она хочет стать опорой своего мужа — хирурга, человека много старше ее, хочет создать ему семейный уют, счастье и в этом видит своего рода призвание. Ей кажется, что у нее нет ни способностей, ни склонностей особых, и почему она должна

что-то выдумывать, к чему-то себя принуждать? Ведь стать хорошей женой и матерью — это тоже много.

Наконец Виктор Адамов — путь его прослежен так же подробно, как и путь Кирилла и Люси, — добрый, неглупый, искренний, но слабохарактерный парень. Виктор подпадает под «дурное влияние» этакое остроумного эффектного прожигателя жизни, молодого циника Анатолия Медовара, человека без определенных занятий. Виктор кончает плохо: после одной из пьянок Виктор и Медовар попадают в нелепую и некрасивую историю и по обвинению в грабеже (хотя это была всего лишь пьяная шутка) оказываются в заключении. Через несколько лет Виктор вернется и, надо думать, найдет в себе силы начать новую жизнь. Метания Виктора мотивированы отчасти той семейной драмой, которую приходится ему пережить. Отец его, журналист Адамов, уходит из семьи — ему кажется, что он должен наконец сделать этот честный шаг, хотя бы за плечами и было двадцать лет семейной жизни, — должен уйти от жены, которую не любит, должен попробовать жить один, без лжи и обмана. Уже в тюрьме Виктор узнает о трагической гибели отца во время одной из его командировок.

Такова сюжетная канва романа, и, как видим, она дает уже некоторое представление о том, что устремления автора были и в самом деле вполне добрыми и хорошими. Показать, как молодежь наших дней стремится прежде всего к самостоятельному утверждению себя в жизни, как активно и серьезно думает она о своем месте в ней, — что же может вызвать тут возражение? Не приходится отрицать и то, что роман написан достаточно умелой, профессиональной рукой. В нем немало живых сцен, удачных, выразительных эпизодов, верно подмеченных деталей, характерностей быта и т. д. Да и сами герои его отнюдь не кажутся придуманными — мы узнаем в них некоторые знакомые нам и по жизни лица современной нашей молодежи.

Автор умеет видеть и слышать, речь его героев достаточно индивидуальна и выразительна, его изображения — касается ли это диалога, раздумий героев или описаний их поступков, их душевных состояний и т. д. — обладают по большей части таким важным качеством, как «похожесть» на жизнь. Здесь действительно есть та иллюзия жизненной достоверности, которая рождает у читателя

доверие к автору. И все это действительно позволяет как будто бы сказать, что роман, не искажая жизни, не греша неправдой, достоверно воспроизводит реальность, несет в себе некоторые хорошие, добрые идеи и чувства и тем самым доказывает по крайней мере известную свою общественную полезность.

Однако так ли это? Вряд ли. Роман этот как раз не «настоящее искусство», а лишь «беллетристика».

Почему же это не «настоящее» искусство? А вот потому как раз, что нет в нем того главного, что и делает художественную литературу художественной литературой. Нет в нем той значительности, свежести, своеобразия писательского видения жизни, что позволяет проникнуть в не изведенные еще глубины жизни, художественно освоить новые ее пласты и дать нам радость творческого открытия и переживания этого как будто и знакомого нам, но по-новому представшего перед нами мира. Именно с этой точки зрения роман не обладает какими-либо заметными достоинствами, которые вывели бы его из границ беллетристики и делали явлением художественной литературы. Ощущения, что написан он потому, что автор не мог его не написать, не мог не высказать, не поделиться тем новым, что он увидел, понял и что считал важным для своих современников, — такого ощущения при чтении его как раз и не возникает. Я не говорю здесь, понятно, о субъективных творческих устремлениях автора — очень может быть, что у самого автора такое ощущение и было; я имею в виду объективное впечатление от романа — то, что он дает своим содержанием.

В самом деле, ведь те жизненные явления, которые отражены в романе, те события, поступки, сюжетные истории, которые составляют основу его композиции, те наконец человеческие характеры, которые привлекли внимание автора, сами по себе еще ни о чем не свидетельствуют, сами по себе они не только не новы, но, можно сказать, «типичны» для нашей сегодняшней литературы о молодежи. Сколько раз мы встречали на страницах самых различных повестей и романов и «правильных», честных и несколько прямолинейных девочек и мальчиков, и добродушных, но упорных парней, стремящихся к самостоятельности и идущих поэтому после школы не в институт, а на производство, и остроумных и эф-

фектных стилиг-молокососов, юных циников и прожигателей жизни, и слабохарактерных, неплохих ребят, подпадающих под дурные влияния, но выбирающих постепенно на правильную дорогу. Все это знакомо, как знакомы описания первых влюбленностей и разочарований, как знакомо вообще все, что составляет комплекс обязательных проблем «молодежного» романа. Очевидно, все это может оказаться значительным и по-настоящему интересным и новым только в том случае, если писатель сумеет увидеть это привычное существенно новым взглядом, сумеет глубоко и по-новому осмыслить и художественно выявить это привычное.

Этого-то, повторяю, в романе и нет. Привычное так и остается здесь привычным. Просто описано оно живет, более искусной рукой, чем обычно. Автор бесспорно улавливает, например, некоторые действительные настроения, поиски, тенденции, мысли, стремления, даже психологические черты нашей современной молодежи. Но вот чтобы осмыслить и выявить эти явления не просто в их бросающихся в глаза первоначальных, лежащих на поверхности приметах, а проникнуть в них, вдуматься в их истоки, связать их с атмосферой нашего времени, с его задачами, противоречиями, трудностями, понять их социальную обусловленность и выйти на основе всего этого к каким-то действительно важным и общезначимым, интересным «и большим и детям» художественным обобщениям нашей современной общественной жизни,— на это автора уже явно не хватает. Ф. Колунцев берет своих героев, в сущности, изолированно, вне связи с теми особенностями времени, с теми первопричинами, которые формируют общественную психологию людей нашего времени, в том числе и молодежи.

Я говорю об этом, разумеется, не в том смысле, что у героев нет общественных интересов и они не участвуют в общественной жизни,— все это есть и даже более чем достаточно. Я говорю именно о существе дела — о том, на какую «глубину» видит автор своих героев.

Что же получается в результате? Нет, не просто «недостаточная глубина проникновения в характер». Не просто «нехватка» того, что может быть дополнено читательским воображением. Ибо есть глубина и «глубина». Есть глубина, при которой читательский домысел и органичен, и естествен, и необходим как условие восприя-

тия образа. И есть «глубина», которая не вызывает ни желания, ни потребности в дальнейшем читательском «углублении» образа. Есть тот уровень «глубины», который неминуемо ведет уже и просто к неверному осмыслению жизни. При всем внешнем правдоподобию и «похожести» изображения на доподлинную жизнь. Происходит это потому, что «похожесть» заставляет соотносить образ именно с тем жизненным явлением, которое имеет в виду автор, а неглубокая авторская интерпретация принуждает понять явление не в его истинной глубине и сути, а как-то иначе — то есть неверно.

Взять хотя бы ту же самую Люсю. Это, как я уже говорил, прямая, определенная, правильная девушка. У нее четкие и твердые представления о добре и зле, она неуступчива и прямолинейна в своих суждениях, в своем отношении к другим. Адамова беспокоит поведение сына? «Вы не беспокойтесь, Юрий Николаевич. У Виктора сейчас переходной возраст». Алексей не понимает, почему у нас встречаются люди, которые презирают труд? Ей это ясно: «Это пережиток прошлого». Адамов ушел из семьи, потому что решил больше не лгать, не притворяться? «А я все равно знаю, что, если человек бросает семью, уходит из дому, значит, он эгоист и ему безразлично, что будет с его близкими и с его детьми. А на свете еще существует такое понятие, как долг. И человек не имеет права бросать семью!» Надо повлиять на Виктора, попытаться спасти его от Медовара? Ну что ж. «Витя,— сказала она,— мы все здесь твои старые друзья. И, скажу откровенно, нас всех очень беспокоит твоя судьба и твое... поведение... И если ты не изменишь своего поведения и... своего мировоззрения, мы не сможем больше дружить с тобой. Циники и бездельники нам не нужны. Так что решай».

Как относится автор к этим чертам Люси? Несколько иронически, как бы немного подсмеиваясь над ними. Но в общем вполне добродушно. Ему представляется, видимо, что все это, так сказать, болезнь роста, юношеский ригоризм, доктринерство, свойственные иным молодым и честным душам. И потому-то он и рисует свою героиню в высшей степени светлыми красками, считая, что все это доктринерство не коренится глубоко в натуре Люси, что оно временно. Ведь так действительно бывает.

Однако отношение к Люсе, которое скла-

дывается у читателя, расходится с отношением автора — и очень существенно. Люся вызывает все-таки в целом не очень приятное чувство. Почему? Да потому, что читатель вопреки желанию автора не находит в ней того, почему он должен был бы верить, что все это неприятное — лишь «пережиток» молодости, и что в основе своей Люся действительно добрая, хорошая девушка. Если бы за рассуждениями и за поступками Люси, непосредственно вытекающими из этих рассуждений, читатель чувствовал бы ее сердечную, душевную потребность в том, что она делает, тогда другое дело, тогда он понял бы, что доктринерство Люси — действительно просто переходная, незрелая, слишком прямолинейная форма выражения ее внутренней доброты, ее добрых, хороших душевных устремлений. Но то, как показывает Люсю автор, отнюдь не создает у читателя такого впечатления. Все у Люси идет от головы, от разума, любой поступок ее мотивирован действительно только соответствующим размышлением, в результате которого Люся приходит к выводу, что надо поступить так, а не иначе, но не чем-то более глубоким, внутренним, эмоционально органичным. Даже такой важнейший шаг Люси, как переход на новую работу, в больницу, обоснован именно длинной цепью рассуждений, в итоге которых Люся приходит, так сказать, к логическому выводу о том, что ей нужно делать «ощутимое», непосредственное добро людям, — тогда и работа будет ее удовлетворять. Даже в любви своей она идет от «правил». И не случайно, видимо, другие герои повести то и дело говорят о ней: «Тебе надо было в учительницы пойти. «Детки, будьте вежливыми», «Детки, не курите папиросы». А я не детка. Догадываешься?»; «Как на собрании — одними лозунгами разговариваете»; «А вы сухари... Вычитали где-то, каким должен быть человек, и всех этой меркой меряете... Вы и Витьку обидели. У него трагедия в семье, парень извелся, а вы над ним суд устроили»; «...она все наизусть зазубрила и теперь других учит. Думает, что раз выучила все по книжкам, что хорошо, а что плохо, значит, можно кого хочешь учить... Мы всегда считали, что она добрая, а я теперь иногда думаю: может, у нее вообще ничего за душой нет, кроме этих поучений?». Не случайно, видимо, и сама Люся чувствует, что не выходит у нее что-то со стремлением делать другим

добро: «И почему так получается!.. Людям хочешь помочь, а они...» Впрочем, она тут же делает вывод, что нельзя действовать так прямолинейно, нужно осторожнее вмешиваться в чужую жизнь, находить, так сказать, индивидуальный подход...

Можно, конечно, предположить, что наше отношение к Люсе, явно расходящееся с намерениями автора, возникает потому, что автор не сумел, так сказать, донести до нас свой замысел. Можно указать, например, на чрезмерное обилие внутренних монологов, которые, может быть, и создают впечатление Люсиной рационалистичности, на отсутствие других средств раскрытия образа. Можно подумать, что автор слишком увлекся этим приемом и просмотрел, к чему это приводит. Значит, и дело все в том, чтобы просто «довыявить» замысел, «очеловечить» Люсю, подбавить ей теплоты, подумать о более серьезных мотивировках ее поступков, — словом, посоветовать писателю пойти именно по пути беллетриста.

Но ведь он и так уже немало потрудился на этом пути. И именно потому, что не сумел с него сойти, так и получилось. Ведь дело-то все именно в том и состоит, что автор не потрудился здесь как художник. Не потрудился осмыслить то, что могло бы сделать Люсю по-настоящему интересным и значительным художественным типом. Потому что в образе героини романа, в ее рассуждениях и поступках проступает действительно существующее среди некоторой части нашей сегодняшней молодежи психологическое явление. Мальчики и девочки, твердо верящие в свое право учить других, как надо жить, убежденные в незыблемости своих схем, с юных лет не видящие живой жизни. Мальчики и девочки, которым грозит духовное очерствение, одиночество среди живых людей, если они не сумеют и жизнь не поможет им открыть глаза. Автор «наткнулся» на этот психологический тип. И — не пожелал взглядеться. Ограничился тем, что взял на карандаш кое-какие характерные его приметы. В результате единственное, что он смог нам предложить, — это итоговая сентенция: «Людям надо помогать, а не учить их! Когда человеку плохо, на помощь ему должна приходиться любовь».

Ну что ж. истина, конечно, хорошая. Верная истина. Полезная. Только как же с Люсей-то быть? И с читателем, которому хотелось бы кое-что понять?

Или, например, Анатолий Медовар. По всему видно — это человек с каким-то своим, продуманным отношением к миру, его цинизм — не бравада. Это отнюдь не «типичный» стилиага и тунеядец, хотя по философии своей и весьма схож с ними. Человек, который мог убежденно и искренне сказать: «А я знаю другое: любовь — это всегда жертва. А если человек не может уйти от нелюбимой жены к любимой женщине, потому что боится, что его за это «общественность осудит», значит, он трус и ханжа», — такой человек, очевидно, не так уж прост и с ним не разделаешься при помощи соответствующей статьи уголовного кодекса. В него надо взглядеться, понять его, попытаться уловить истоки его психологии. А между тем автор опять-таки проходит мимо этой трудной, но интересной и единственно верной дороги, которая могла бы привести его к важным и значительным художественным открытиям. Он словно боится вступить на нее, словно боится приоткрыть душу своего героя и опять-таки отделяется внешней выразительностью, «не замечая» того, что нет-нет, да и проскользнет в Медоваре нечто такое, что требует к себе гораздо более пристального внимания. И опять-таки все дело сводится лишь к общим полезным истинам: надо трудиться, дружба с тунеядцами к добру не приведет и так далее в том же роде.

Наконец даже то общее для положительных героев романа стремление самостоятельно утвердить себя в жизни, дойти до всего «своим умом» — даже это стремление, характерное для молодого поколения нашего времени, в сущности, не осмыслено автором как явление времени. В чем его причины? Какими обстоятельствами жизни оно вызвано? На эти вопросы читатель не получит ответа. Более того, он может даже, читая роман, и не осознать, что ведь следует же все-таки поставить эти вопросы. Что в них вся суть. Он получит просто опять-таки лишь комплекс добрых наставлений...

А между тем кто знает, попытайся Ф. Колунцев последовать за своими героями, «копнуть» их поглубже, может быть, он при-

шел бы к результатам и интересным и важным...

Но это действительно «кто знает». Чего нет, того нет. А вот то, что есть, как раз и позволяет спросить: так как же — достаточно ли «полезности» всех тех добрых и хороших наставлений, которыми действительно пронизан, как мы видели, роман, чтобы говорить о полезности «беллетристического» изображения жизни?..

А ведь это еще один из тех романов, которые хотя и не являются «настоящим искусством», но представляют собой все-таки бесспорно лучшие образцы «беллетристики». Что же сказать о прочей, еще более «беллетристичной» беллетристике? Неужели и вправду, как говорят, есть какая-то общая «психологическая первооснова» у «потребности» в искусстве и «потребности» в беллетристике? Неужели и вправду это сходные потребности? И в том ли тут различие, что «беллетристика» просто не поднимается до удовлетворения тех потребностей, которые удовлетворяются настоящим искусством, в то время как настоящее искусство, делая это, вместе с тем удовлетворяет и те «наивные потребности» читателя, которые диктуют спрос на беллетристику?

Нет, нельзя с этим согласиться. И когда И. Роднянская допускает в своей статье формулировки подобного рода, она просто противоречит себе — сама того не желая, она поддерживает то, против чего борется. Потребности, которые удовлетворяются настоящим искусством и беллетристикой, — это потребности именно кардинально противоположные. Искусство и правда неразделимы. «Беллетристика» — всегда «эрзац» искусства. «Эрзац» правды. Искусство будит в человеке живую творческую мысль, ведет его дорогой самостоятельного познания окружающего. Беллетристика поощряет благодушное отношение к жизни. Невнимательность к жизни. Сонность инерции готовых решений.

И это отнюдь не «наивная читательская потребность». Это потребность, которой не стоит увлекаться. И в этом-то все и дело.

И. ВИНОГРАДОВ.



## МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Ибрагим Ибрагимов. Чудесный характер. Перевод с кумыкского М. Зделя.  
Редактор Н. И. Голосовская. «Советский писатель». М. 1961. 272 стр.

Если вам попадется на библиотечной полке или на прилавке магазина небольшая книжка с добрым названием «Чудесный характер», загляните в нее. В книге собраны рассказы, которые вряд ли оставят вас равнодушными. Молодой дагестанский прозаик Ибрагим Ибрагимов познакомит вас со старым колхозником Кагиром. Живет Кагир в кумыкском ауле Нижнее Казанище и славится умением рассказывать разные поучительные и забавные истории. Сам автор аттестует книгу как «своего рода аульный клуб устных рассказов», себе же отводит скромную роль: он только записывал рассказы Кагира-аги — в этом и вся его заслуга. Прием, как видите, не новый («Вечера на хуторе близ Диканьки» тоже ведь «записаны» пасечником Рудым Паньком), но прекрасно оправдывающий себя и в наши дни. То, что повествование ведется от первого лица, придает рассказам живость и непринужденность.

Нет необходимости, да и возможности останавливаться на каждом из рассказов книги в отдельности (их более сорока). Различна их тональность. Различны художественные приемы. Здесь есть лирическая новелла о горянке, близкая к стихотворению в прозе, — «Возродись, Разият, молю тебя!». Есть юмористические зарисовки — «Бюджет и коровник», «О тебе мои помыслы». Есть рассказы, написанные в духе народной притчи, — «Шкворень». Соль книги — едкая, умная сатира. Пресекая зло, Кагир борется за новую, коммунистическую мораль. И уж тут он никому не спустит: поборники угнетения женщин, ревнители кровной мести, хапуги и карьеристы, отравившиеся от народа руководители, молодые бездельники, ханжи и бюрократы, зазнайки и болтуны — все получают по заслугам. Множество людей населяет рассказы Кагира, и что ни человек — живой образ, выписанный порой с гротесковой резкостью.

Вот маленькая новелла «Гаписова болельщик». Среди бела дня случается на улице аула странное происшествие: молодой парень, сын пасечника, только что закончивший обучение в городе, начинает на глазах у всех непомерно увеличиваться в объеме, пухнуть и крениться набок. «Очень инте-

ресно... почему его все тянет вниз и кренит на левую сторону? Почему именно влево?..» Полез кто-то в левый карман Гаписа «и достал оттуда большую печать с деревянной ручкой». «Где ты работаешь? — спрашиваю я у Гаписа, — рассказывает Кагир. «— Зав... заве... завед... — никак не выговорит он. — А, понятно! — говорю я. — Дальше можешь не говорить...»

Стоило сельчанам освободить Гаписа от его «груза», как парень сразу становится нормальным человеком. «Рано ему еще печати с собой носить, не под силу они ему», — решает народ.

Или рассказ «Новая мода». Зазналась жена председателя колхоза. Сам председатель — человек работающий, скромный, а вот супруга его возомнила о себе невесть что. Она уже не хочет походить на своих соседей, ей уже и продукты подавай на дом — «недоставало, чтобы жена председателя, как рядовая колхозница, шла на склад и в счет трудодней получала фрукты и мед, как все», — и в магазине она желает получить товар только дефицитный, только из-под прилавка — «иначе какой же смысл быть женой хакима, руководящего лица?» А тут «трагедия!» В сельпо завезли товары, которые долгое время были дефицитными. И тюль, и бостон, и плюш открыто лежат на прилавке... И вот, чтобы обеспечить председателю спокойствие в семье, заведующий магазином идет на хитрость: делает вид, что для председателяши он достает товары из-под прилавка.

С тем же умением найти ситуацию, в самой основе которой заложен комизм, написаны рассказы «Бумага в клетку», «Али-активист», «Архилох». Все это весело, остроумно, зорко выхвачено из жизни. Все пересыпано меткими словечками, рассказано языком, иронически сталкивающим древние понятия с самыми наисовременнейшими: «женщина, близкая к духовенству, и профессиональный организатор яса, массового плача», «активное привидение», «запланированная свадьба»...

Так что же, так-таки все и превосходно в этой книге? Нет, не все. Вероятно, не стоило бы включать в нее «Рассказ Сертюкея», «Стрекозу», «Чертов холм». В этих рассказах нет той точности прицела, той

зоркой сатиричности, на которую показал себя способным молодой прозаик. Правда, они составляют в книге малую часть, но, если бы эту часть сократить, книга выиграла бы.

В тридцатых годах, на заре своего развития, кумыкская проза уже выдвинула одного сатирика, творческий путь которого был, к сожалению, рано оборван. Это Юсуп Гереев — автор юмористических рассказов, до сих пор весьма популярных у кумыков. И. Ибрагимов развивает традицию своего предшественника. Но его проза красочнее, живописнее. Он свободен от натурализма, от грубоватости сатирических приемов, какими нередко грешил Ю. Гереев. Кроме того, у рассказов И. Ибрагимова есть одно отличительное свойство. «Чудесный характер» — не собрание разрозненных историй на случайные сюжеты. Книга сильна не только единством темы — мыслью о новой морали, — но и «цементирующим» ее образом своеобразного героя. Мало ли в дагестанской прозе изображалось «седобородых»? Но в самом понятии «старость» И. Ибрагимов подчеркнул и углубил то новое, современное национальное содержание, которое некогда открыл Э. Капиев своим Сулейманом в «Поэте». Старость Кагира не просто «по адату» обязывает окружающих к привычно почтительному отношению. Она не щит, которым удобно прикрывать косность, духовное отупение, бездеятельность.

Старость десятикратно увеличивает право на новизну суждений, независимость, смелость по-хозяйски, уверенно решать семейные, колхозные, государственные дела. Таков герой...

Фигура Кагира-аги — удача писателя. И. Ибрагимов воплотил в этом образе черты народного характера, национально-своеобразного и в то же время современного. Это действительно «чудесный характер». В его Кагире есть что-то от Кола Брюньона: жизнелюбие, озорной задор, понимание своей ценности на земле. Но если это и Кола, то чисто кумыкский.

Мы часто жалуемся на вольность обращения переводчиков с произведениями в прозе, на отсебятину, пропуски, «улучшательство». У меня была возможность сравнить перевод М. Эделя с подстрочником рассказов И. Ибрагимова. Конечно, какие-то потери при «пересадке» живой художественной ткани из стихии одного языка в другой неизбежны. Кумыкские литераторы утверждают, что в оригинале книга тоньше, остроумнее. И все же М. Эдель перевел И. Ибрагимова с пониманием качеств оригинала, тактично сохраняя колорит кумыкского образа мышления и юмора.

Книга И. Ибрагимова (первая его книга на русском языке) невелика по объему, но, как говорится, «мал золотник, да дорог»!

Н. КАПИЕВА.

★

## САГА О СУМРАЧНОЙ ДИНАСТИИ

Уильям Фолкнер. *Особняк*. Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. «Иностранная литература», № 9—12, 1961.

Он словно видел, как он уходит туда, «...О к тонким травинкам, к мелким корешкам, в ходы, проточенные червями, вниз, вниз в землю, где уже было полно людей, что всю жизнь мотались и мыкались, а теперь свободны, и пускай теперь земля, прах, мучается, и страдает, и тоскует от страстей, и надежд, и страха, от справедливости и несправедливости, от горя, а люди пусть лежат себе спокойно, все вместе, скопом, тихо и мирно, и не разберешь, где кто, да и разбирать не стоит, и он тоже среди них, всем им ровня — самым добрым, самым храбрым, неотделимый от них, безмятный, как они: как те... что там, на самой вершине, среди сияющих видений и снов, стали веками в

долгой летописи человечества: Елена и епископы, короли и ангелы-изгнанники, надменные и непокорные серафимы».

Так кончает свою жизнь старый каторжник, убийца Минк Сноупс; так завершается «Особняк» и вся трилогия Уильяма Фолкнера («Деревня», 1940; «Город», 1957; «Особняк», 1959), с последней частью которой познакомил нас в прошлом году журнал «Иностранная литература». Это первое крупное произведение одного из самых значительных мастеров современной американской литературы, переведенное на русский язык и открывшее Фолкнера-романиста советским читателям. Надо отметить сразу, потому что это очень важно — особен-

но важно для такого писателя, как Фолкнер, — что «открытие» состоялось в полной мере лишь благодаря удивительному мастерству переводчика Р. Райт-Ковалевой. Ее работа отмечена не только технической виртуозностью, но, самое главное, очень точным и бережным ощущением атмосферы, эмоциональных оттенков и наконец ритма романа. Ритм — неотъемлемый элемент стиля Фолкнера, нередко приближающегося к поэтическому, и разрушение этого рисунка, не рисунка даже, а скорей «волны» повествования, было бы пагубным для Фолкнера. Трудность этой задачи представит себе каждый, кто прочитал «Особняк». Но в русском тексте нет никаких следов состоявшегося единоборства переводчика с оригиналом. Перед нами самый доподлинный Фолкнер, о котором можно судить без скидок на перевод.

Этот впервые открытый Фолкнер далеко не всем нравится, судя по тем устным читательским отзывам, которые довелось пока услышать. И если уж не нравится, то не нравится активно, но зато если производит впечатление, то впечатление сильное и глубокое; нейтральных высказываний, всякого рода «ничего» и «так себе», о нем не услышишь. И это естественно. Собственно говоря, так же относятся к нему и соотечественники, если не считать многочисленных «примазавшихся», литературные вкусы которых аккуратно следуют за литературной модой.

Книги Фолкнера не могут доставлять радости, потому что они в основе своей мучительны, и даже юмор его — юмор смачный, фольклорный, гротескный — не веселит, а скорее поражает воображение. Фолкнер — художник поистине гигантского воображения, обращенного внутрь, и все, что он узнал и ощутил за свою долгую человеческую и писательскую жизнь, всегда было только сырьем для клокочущего котла собственных его внутренних вихрей, антагонизмов и столкновений. И, конечно, Йокнапатофский округ где-то на севере штата Миссисипи, так подробно и осязаемо, с топографической точностью изображенный в стольких книгах Фолкнера, коренного обитателя штата Миссисипи, — это в самом точном смысле слова в о о б р а ж е н ы й о к р у г, и все, что в нем происходит, неизменно гиперболично, анекдотично, фантастически кошмарно или фантастически нелепо.

Но если бы на этом все и кончалось, то Уильям Фолкнер никогда не оказался бы художником большого масштаба и резонанса, остался просто-напросто маленьким пророком маленькой «южной школы» американской литературы, мастером причудливого, изломанного жестокого толка, — их в Америке немало, и среди них есть одаренные и по-своему искренние люди. Но все дело в том, что воображаемый мир Фолкнера тысячу нитей связан с американской реальностью — не с житейской, повседневной реальностью, а со сгустком ее. Та философская, историческая, моральная оценка, которую дает ей писатель, столь же многослойна и осколочна, как и мир, возникающий на страницах его книг, потому что сам человеческий облик Фолкнера складывается из многих граней и противоречий. Здесь и традиции, связанные с его родословной — он из старинной южной аристократии, некогда стоявшей «у руля», позднее отнесенной новой буржуазией, — и сложное отношение к неграм, вернее к негритянской проблеме Юга (нередко в Фолкнере борются просвещенный гуманист и консервативный «южный джентльмен», если не сказать резче), и жгучий антимилитаризм, закалившийся в двух мировых войнах, и несомненная притягательность для писателя всего, что связано с большими и уродливыми проявлениями человеческой психики, с жесткостью и насилием, извращенностью и деградацией. Если фарсовое, свирепо анекдотическое начало у Фолкнера восходит к Твену (напомним меткую фразу Хемингуэя о том, что вся современная американская литература вышла из «Гекльберри Финна»), то в этих темных, мучительных своих тяготениях он — наследник По и Бирса, разумеется далеко ушедший наследник.

Ни одного из писателей XX века не изучают в США так тщательно, как Фолкнера. О нем написано огромное множество книг и несметное количество статей; диссертанты, студенты и даже школьники занимаются доскональным анализом тех или иных стилистических, формальных приемов писателя, занимаются с основательностью, доходящей порой до абсурда, до пародийно звучащей наукообразности. Фолкнер действительно интереснейший мастер, иногда мощный художник, а иногда просто экспериментатор, очертя голову бросающийся в водоворот образов и ассоциаций или взмахлев «шаманящий», держась на одной лишь эмоциональ-

ной силе воздействия, которой он безусловно наделен.

Но в трилогии, последняя часть которой появилась теперь по-русски, это относится меньше всего. Тема «сноупсизма», или «сноупсовщины», проходящая через все три части, очевидно, так важна для писателя, что она подчинила себе даже буйную стихию фолкнеровского воображения и словотворчества: «Деревня», «Город» и «Особняк» принадлежат к числу самых строгих, дисциплинированных, да и самых удобочитаемых его произведений. И прежде всего к числу наиболее «отчетливых» произведений в социальном, а в последней книге и политическом плане.

Фолкнера, как и любимых им героев в этой трилогии — Гэвина Стивенса, Рэтлифа, Чарльза Маллисона, видимо, неудержимо влекут к себе Сноупсы, как может притягивать человеческий взгляд удав, расправляющийся с кроликом. С очарованным отвлечением и опаской следит он за их карьерой. Первые Сноупсы появляются во Французовой Балке еще в начале века — «Деревня» рассказывает о том, как эта пришлая семья издолщиков, за которой ползут тревожные рассказы о конокрадстве и поджогах, «вгрызаются» в жизнь деревушки и как самый «сноупсистый» из всех Сноупсов Флем — серый человечек с глазами цвета стоячей воды и маленьким хищным носом — медленно и верно прибирает к рукам и лавку и землю местного богача Уорнера.

Во второй части Флем Сноупс, высосав все что можно из Французовой Балки, перебирается в ближний город Джефферсон и за два десятка лет становится там президентом банка, крупнейшим в округе капиталистом; путь его к этой вершине усеян дерзкими мошенничествами, головоломными интригами и просто гнусными сделками.

В последней части, действие которой происходит (если не считать ретроспективных глав, занимающих добрую половину книги) уже в тридцатые — сороковые годы, Флем Сноупс — лицо пассивное. С первых же страниц он обречен погибнуть от руки своего родича Минка, тридцать восемь лет — весь срок каторги — готовившего себя к тому, чтобы отомстить Флему за предательство: в свое время он один мог помочь Минку, судившемуся за убийство, и не захотел этого сделать, а потом, боясь мести, «устроил» ему еще двадцать лет заключения. Собственно говоря, эта мысль мелькнула и

у самого Минка, — оба они уже старики, жить осталось мало, могли бы просто мирно посидеть на солнышке, покурить, отдохнуть напоследок, но «сноупсовское» в Минке не дает ни отдохнуть, ни умереть, пока не будет выполнено «дело» — месть Флему. Злоба, зависть и мстительность — вот, кажется, и весь материал, который пошел на Минка. И вместе с тем Фолкнеру удалось это замечательно — этот низкорослый, «чуть повыше ребенка», заморыш вызывает не то чтобы жалость, а какое-то неравнодушие к своей судьбе и смутное ощущение, что она могла бы стать иной, и сам он со своей невероятной внутренней стойкостью стать иным, если бы с самого начала жизни не знал, что он только беспомощная пешка перед «ними», хозяевами, — всеильными, самоуверенными, высокомерными...

Очень интересно обнаруживается, как изменилось отношение самого Фолкнера к Минку за двадцать лет — от «Деревни» до «Особняка». Вся история убийства Минком фермера Хьюстона впервые рассказана в «Деревне», но рассказана несколько иначе, чем в «Особняке», хотя факты и совпадают. В первой части автора меньше всего занимает причина преступления, она только названа, и сам Хьюстон раскрыт совсем с другой стороны: это не заносчивый богатый фермер, который вкладывает в свою формальную, юридическую правоту высокомерное отвращение к «голодранцу», желание как можно больнее задеть и унижить его, а просто одержимый горем вдовец, к тому же сам находящийся в зависимости от богача Уорнера.

В «Деревне» все внимание автора сосредоточено на подробностях самого убийства, вернее попыток Минка избавиться от тела убитого. В «Особняке» художник с удивительной яростной силой, с проникновенностью, начисто лишенной какой бы то ни было чувствительности, раскрывает косноязычную трагедию «недочеловека», взращенного жестокой, жадной, животнопримитивной средой. Линия Минка не раз заставляет вспомнить Бунина, не потому, конечно, что есть что-либо общее в методе этих художников — классика русокой реалистической школы и «черного романтика» современной Америки, — а по общности восприятия «идиотизма сельской жизни» в буржуазной стране в одну и ту же примерно эпоху — на рубеже XIX и XX веков.

Глава о каторжнике Минке и обо всем,

что с ним связано, — самая сильная и разработанная часть «Особняка»; но банкир Флем Сноупс, посидевший в полном одиночестве и бездействии в дальней комнате своего отвоёванного у аристократа Де Спейна особняка, в этой книге предстает несколько «затушеванным», блеклым. Впрочем, блеклость — вообще отличительная черта Флема, и ни в один из кризисных моментов его карьеры, внимательно прослеженной в «Деревне» и главным образом в «Городе», мы не наблюдаем чего-либо, что даже с самой большой натяжкой может быть названо «движением души». Души нет как таковой, нет и движений, если не считать непрерывного, управляемого инстинктом «всасывания» всего, что плохо (и хорошо) лежит в пределах досягаемости его шупалец.

Если зрительный образ Минка — маленький злобный хищник в клетке («минк» значит «норка»), то с Флемом, пожалуй, связано представление о спуте — это нечто рыхлое, безликое и холодное. Вот две разновидности Сноупсов, две «главные особи»: в одной сосредоточена злоба, в другой алчность — два разрушительных стимула человеческой деятельности, которые наблюдает в жизни своей страны Фолкнер — моралист и социолог.

Но, как говорилось уже, не это главное у писателя, и не стоит, пожалуй, проводить напрашивающуюся параллель между Сноупсами и Форсайтами. Фолкнер обитает в своем мире, настолько отличном от мира того же Голсуорси, что возникшая было параллель быстро обрывается. Разумеется, сами социальные явления, которые столь преображенным гротескно-романтизированным образом входят в толщу фолкнеровского творчества, реальны и универсальны; подходя с этой стороны, можно сказать, что Сноупсы — это своего рода «первобытные Форсайты», Форсайты, еще не облекшиеся в шкуру цивилизованного человека, да и просто человека с присущими людям эмоциями, психологическими коллизиями и тонкостями.

Но люди — и люди очень добротные — существуют в трилогии и на протяжении всех трех ее книг наподобие античного хора пристально наблюдают и отнюдь не бесстрастно комментируют процесс «вгрызания» Сноупсов в экономику, политику, мораль Йокнапатофского округа. И не только лишь комментируют, но и в час наиболь-

шей опасности кидаются на чудовище с поистине рыцарской безрассудностью. Безрассудностью, ибо в этой борьбе они весьма одиноки. Этим рыцарей трое: прокурор Гэвин Стивенс (питомец Гарвардского и Гейдельбергского университетов), его племянник и духовный крестник Чарльз Маллисон и В. К. Рэтлиф — не слишком грамотный коммивояжер, умница и «всеобщий опекун». Каждый из них периодически вступает в повествование и ведет его некоторое время за собой, в своем ключе, под своим углом зрения. Фолкнер очень любит этих людей, и немножко жалеет, и чуть подсмеивается над ними, потому что, по сути, все их благородство, и ум, и принципиальность лишь иногда и далеко не в главном оказывают воздействие на ход событий. По сути, они мало отличаются от всех тех гуманных, бескорыстных и наивных интеллигентов, которые, как говорит автор, верят, что зло будет побеждено само собой, просто потому, что сами они хорошие, и отдают свои голоса одному из Сноупсов — политику Кларенсу, отпетому мерзавцу, в тактических интересах временно выступившему против ку-клукс-клана...

И все же они ближе и понятнее Фолкнеру, чем Линда Сноупс, падчерница Флема, первая коммунистка, появившаяся на страницах фолкнеровских книг. Ветеран войны в Испании, вдова погибшего в Испании американского коммуниста, гордая, статная, обаятельная женщина, она предстает подлинной героиней, благородной и целостной в своей верности памяти мужа и своим идеям. Но в Джефферсоне Линда одинока и чужеродна, все ее попытки заняться негр-итянскими школами, сплотить вокруг себя каких-то людей терпят полный крах. И ранняя седеющая прядь в волосах Линды, «как надломленное перо», и даже сама ее глухота — рационально объясненная контузией, полученной на фронте, — оказываются и символами — символами поникшей доблести, беспомощности, замкнутости в мире прекрасных, но несуществующих, по мнению Фолкнера, идеалов. Коммунистке в Джефферсоне делать нечего — не потому, что агенты ФБР преследуют ее с крысиной настойчивостью, и не потому, что неизвестные личности пишут на тротуарах малоцензурные пожелания, обращенные к «любительнице черномазых», но прежде всего потому, что Джефферсон хочет торговать, наживаться и мошенничать без помех, на этом

он стоит и будет стоять — таково мрачное, но непоколебимое убеждение автора.

И Гэвин, и Рэтлиф, и Чарльз оказались в переведенной части трилогии в невыгодном положении. Значительно полнее и интереснее раскрываются они в предшествующей части — «Город», а у Рэтлифа еще больший стаж «сноуповеда»: он этим начал заниматься еще в «Деревне». Здесь же они в художественном плане явно «не в фокусе», и читатель, только по воспоминаниям Рэтлифа узнающий историю любви Гэвина к жене Флема (и матери Линды) Юле, склонен воспринять Гэвина как скучноватого резонера. «Передача слова» этим действующим лицам гораздо эффективней в «Городе», где происходят остро драматические события, связанные с Флемом, его продвижением к респектабельности и власти, его соперничеством с Де Спейном — последним могикинином джефферсоновской аристократии, с горькой и романтической любовью Гэвина к женщине, любящей другого.

В «Особняке» же эти комментарии и отступления очень часто носят ретроспективный характер, они звучат вяло, как-то утомленно, и отношения Гэвина (которому суждено судьбой быть верным другом и рыцарем женщин из династии Сноупсов) с Линдой тоже кажутся несколько надуманными и неживыми в своем многоречивом прекрасноречии. Здесь многое идет по нисходящей. Первая часть трилогии — «Деревня» — была целостной, органичной, как поднятый, вывернутый пласт земли с оборванными, заскорузлыми, кривыми корнями, с запахом прели и пота человеческого. «Город» был очень интенсивно развивающимся романом характеров, и социально раскрытых характеров, разумеется в фолкнеровском поэтически-гротескном преломлении. «Город», конечно, надо было перевести еще тогда, когда он вышел, — в 1957 году. Многие в «Особняке» звучало бы совсем иначе, если бы читатель имел возможность познакомиться с событиями, важными для героев, «по первоисточнику», а не в воспоминаниях действующих лиц. Если «Де-

ревня» с точки зрения сюжетной связи — далекая предыстория, то «Город» — просто начало «Особняка».

В «Особняке» есть, на наш взгляд, композиционные неудачи, и вся великолепная повесть о Минке могла бы существовать совершенно отдельно; она слабо связана с джефферсоновскими главами не только фабульно, но и внутренне — это скорее два параллельных повествования, которые вообще встречаются у Фолкнера. В джефферсоновской части очень интересны (и новы для Фолкнера) авторские отступления, посвященные американской политике, — недвусмысленные, горькие, резкие, его размышления об испанских и американских антифашистах, исполненные глубокого уважения к ним и едкой ненависти к фашистам всех оттенков, и заграничным и отечественным. Действие «Особняка» доходит лишь до конца второй мировой войны, и на первый взгляд может показаться, что невелика доблесть писать сейчас с сочувствием об испанских лоялистах и бойцах интернациональных бригад. Но именно сейчас в США и тридцатые годы и война в Испании — отнюдь не история, а предмет ожесточенных политических споров и, что важнее, политических преследований. Поэтому то, что Фолкнер пишет в 1959 году о коммунистах тридцатых годов, и актуально и показательно для его умонастроения не в том смысле, что Фолкнер питает какую-либо склонность к коммунистическим идеям, а в том, что он не боится высказывать сейчас «непопулярные» мнения.

Можно спорить о том, надо ли было начинать знакомство с Фолкнером-романистом именно с «Особняка», а не со всей трилогией в последовательном порядке. Но хорошо все же, что знакомство состоялось, и его надо продолжить. Знакомство с писателем трудным, во многом чужим и даже отталкивающим, но, конечно, стоящим того, чтобы преодолеть и то, что трудно, и даже то, что отталкивает. Привлекает нечто гораздо большее — большой талант, тревожная, больная человечность, мысли о вещах, важных для всех.

И. ЛЕВИДОВА.

Политика и наука

## БУДУЩЕЕ В ПУТИ

Общественные фонды и рост благосостояния народа в СССР.  
Под редакцией Е. И. Капустина. Соцэкгиз. М. 1962. 223 стр.

«Через двадцать лет». Мы часто говорим так. Через двадцать лет в нашей стране будет в основном построен коммунизм. Через двадцать лет наша промышленность будет выпускать продукции в шесть раз больше, чем сегодня. Через двадцать лет общественные фонды потребления будут составлять примерно половину реальных доходов населения.

Однако в Программе КПСС эти слова звучат несколько иначе: не «через», а «в течение» двух десятилетий будет создана материально-техническая база коммунизма. «В течение». На первый взгляд — пустячная разница, чисто стилистическая. На деле — огромная. 1980 год не отделен от нашего сегодня разверстой пропастью, которую мы в один прекрасный день перепрыгнем, оказавшись вдруг в новом мире. Никакого «вдруг» не будет. Двадцать лет, двести сорок месяцев, семь тысяч триста дней. Их надо пройти все, каждый день производя больше, чем вчера, чтобы завтра потреблять больше, чем сегодня.

Постепенно, шаг за шагом придет советское общество к коммунистическому уровню производства и как следствие — к коммунистическим формам распределения. Эти формы вызывают нередко особый интерес. Странно, мол, представить себе, что все будет «задаром», бери что хочешь и сколько хочешь. Ленин высмеивал обывательские взгляды, подчеркивая, что распределение при коммунизме предполагает совсем иной уровень производства и совсем другого человека. Но вот мы уже гораздо ближе, чем сорок лет назад, и к этому уровню производства и к созданию нового человека. Если смотреть не по-обывательски — каким же все-таки будет оно, коммунистическое распределение? Тот, кто хочет всерьез разобраться в этом вопросе, пусть раскроет выпущенный Соцэкгизом сборник «Общественные фонды и рост благосостояния народа в СССР».

Общественные фонды потребления — это и есть начатки коммунистического распределения, существующие уже сегодня. Их изучение помогает понять, какими путями

это распределение постепенно станет преобладающим.

Что же представляют собой общественные фонды? Если не вдаваться в детали — это все то, что распределяется бесплатно, независимо от количества и качества труда. Это самый простой, но не самый точный ответ. Разве, например, пенсии не связаны с затраченным когда-то трудом — пусть не столь непосредственно, как зарплата? В сборнике подробно рассказывается об источниках формирования общественных фондов, их распределении и развитии.

Да, коммунистическое распределение в какой-то степени уже вошло в наш быт. Мы часто не замечаем этого, и лишь человеку из капиталистической страны подчас бросится в глаза то, что для нас уже стало привычным.

Медицинское обслуживание в нашей стране бесплатно, и трудно даже представить себе иной порядок. А государству пребывание одного больного в клинике обходится в пять рублей каждые сутки. Только за 1960 год расходы государства на здравоохранение составили 4 миллиарда 824 миллиона рублей. Не будь этой мощной материальной основы, мы не имели бы армии врачей, значительно большей, чем в США и любой другой стране мира. У нас в среднем на одного врача (без зубных) приходится пятьсот сорок человек населения (в США — семьсот пятьдесят, в Англии — тысяча сто пятьдесят, в Иране — девять тысяч). В СССР самая низкая в мире смертность населения. А средняя продолжительность жизни у нас — шестьдесят девять лет. (Заметим, что в царской России в последние перед революцией годы средняя продолжительность жизни составляла тридцать два года.)

Наше государство взяло на себя все расходы по образованию граждан, чего не сделала и не может сделать ни одна капиталистическая держава. В стране, где полвека назад семьдесят шесть процентов населения в возрасте старше восьми лет было неграмотным, сейчас достигнута поголовная грамотность. Дипломированных инженеров у нас занято в народном хозяйстве

вдвое больше, чем в США, а выпускается ежегодно втрое больше. В 1959 году у нас из каждой тысячи человек, занятых преимущественно физическим трудом, триста шестнадцать имели среднее и высшее образование.

В потреблении за счет общественных фондов все большая доля отводится детям. В 1960 году более пяти миллиардов рублей было израсходовано на развитие общественных форм воспитания и содержания детей.

Более трехсот шестидесяти рублей в год стоит в среднем содержание одного ребенка в детских яслях и саду. При этом родители покрывают лишь шестнадцать процентов расходов по содержанию детей в яслях и двадцать четыре процента по содержанию в детских садах.

Около трех миллиардов рублей затрачено в 1960 году на обучение детей в общеобразовательных школах — в среднем по девянсто рублей на учащегося.

Уже сегодня государство берет на себя двадцать — двадцать пять процентов затрат на воспитание и содержание детей. А к 1980 году эта доля возрастет до семидесяти пяти — восьмидесяти процентов.

Квартиру мы получаем даром — это обычное дело. Больше того, даже расходы по эксплуатации жилья наша квартплата покрывает далеко не полностью. По расчетам, приведенным в сборнике, мы платим в среднем один рубль сорок шесть копеек

за квадратный метр жилой площади в год, а государство расходует на содержание и ремонт каждого квадратного метра жилой площади четыре рубля пять копеек. К концу двадцатилетия Советский Союз, как известно, станет первой в мире страной с бесплатным жильем. И это тоже общественные фонды.

То бесплатно, другое бесплатно. Откуда же все берется? Ничто ведь не падает манной с неба. В специальной главе книги рассказывается об источниках формирования общественных фондов.

Возможно, следовало бы более подробно, чем это сделано в сборнике, рассказать об этих источниках. Наверняка нужно было гораздо больше сказать и о том, какой вред причиняет излишне поспешное расширение объема потребления за счет общественных фондов. Забегание вперед в этом деле приводит к простой уравниловке в распределении жизненных благ. Может быть, стоило более критически отнестись к некоторым примерам широкого развития потребления за счет общественных фондов в некоторых колхозах — эти примеры приведены в сборнике в качестве положительных.

В целом же эта книга — интересный и полезный труд. Она помогает яснее представить одну из важнейших сторон развития нашего общества в ближайшие годы.

О. ЛАЦИС.

★

## ДВЕ КНИГИ О МЕТАЛЛЕ

**И. Пешкин.** *Русский металл.* Научный редактор **А. В. Лесков.** «Советская Россия». М. 1961. 244 стр.

**М. Васильев.** *Металлы и человек.* Научный редактор **И. Н. Плaksin.** «Советская Россия». М. 1962. 416 стр.

**Н**е следует преувеличенно говорить об отсутствии металла и неумении работать с металлом в старой России.

Металл хорошо лили, хорошо ковали.

Отливки старых пушек и колоколов поразительны, им можно удивляться в Москве, в старом Кремле. Жалко только, что их покрасили масляной краской. Старую бронзу красить не надо, она красива сама по себе.

Елизаветинская и екатерининская Россия больше вывозила металла, чем ввозила; искусство металлургов Урала было превосходным, но Россия отстала в начале

XIX века и даже забыла про свой великий железный век.

Описывая старую Ясную Поляну в начале романа из эпохи молодости Петра I, Л. Н. Толстой рассказывает, что деревня с тех пор переменялась, что переменялись дороги, что стало меньше помещиков, а земля потеряла свою силу и леса порублены. Можно добавить, что в петровское время в этой самой Ясной Поляне около речек Ясенка и Воронка стояли железоплавильные печи и что, кроме господских мужиков, были под Тулой и работали кузнецы и рабчие, добывающие железную руду.



Могилы Толстого вырыта в шлаке старых домниц (о том, что Лев Николаевич похоронен в старом шлаке, написано в книге его сына Сергея Львовича). Гора, в которой зарыта зеленая палочка — символ возрождения человечества, детская сказка семьи Толстых, — случайно (и об этом забыто) связана с трудом старых русских плавильщиков. И если идти по Ясной Поляне, то по дороге к реке Воронке с правой стороны, у подножья березовой роши, ниже белых столбов видишь лиловато-серую окантину старых домниц, которые были и в этом месте.

Давно не был в Ясной Поляне, но этот лиловато-серый тон под белыми березами хорошо помню.

В широколиственных лесах старых Засек, которые идут за Ясной Поляной, есть большие провалища: это раны, оставшиеся от старых неглубоких рудников.

Но все это было забыто и поросло не только быльем, но и лесом.

Россия эпохи севастопольской обороны была маложелезной страной. В начале нашего века Россия по выработке металла была на предпоследнем месте в Европе. Мы добывали шесть сотых мировой добычи, за нами была Испания.

Помню первую мировую войну и молчание нашей артиллерии. Помню недостаток патронов и русскую деревню с деревянными лопатами, с деревянными розвальнями и с постройками, в которых железо было так скупо введено, что его было не больше, чем соли в шах.

Во время стройки Магнитки, когда советские писатели приехали туда писать историю заводов, выступал я в цирке перед показом ученых морских львов Дурова. Должен сказать, что я имел успех, с ними сравнимый. Рассказывал о том, как под городом Космачкой пошли в разведку, как принесли стальную штюковину большую, решили, что это мина, призвали минеров, развинтили ее, удаливши людей вокруг, сняли верх.

Пошел пар: оказалось, разведчики принесли большой термос с рисовой кашей. В маложелезной нашей армии термосов не было.

Пятилетки возвеличили железо в России. Мы сейчас по металлу вторая в мире страна. Вот эта история возвращения железа рассказана в книге И. Пешкина «Русский

металл», изданной в издательстве «Советская Россия» в прошлом году.

С металлом надо было торопиться, металл нужен был для крыш, гвоздей, тракторов и для обороны. Знали, что существует Магнитная гора на Урале, что в ней, используя глыбы богатой руды, ковали оружие башкирские кузнецы во времена Пугачева.

А еще раньше в темных преданиях говорилось, что войска монголов, идя из Азии на Еврону, обошли Магнитную гору, чтобы она не пригнула к себе оружие.

Так рассказывал один монах, посетивший Каракорум.

Но когда начали разрабатывать Магнитную гору, оказалось, что богатая руда — это верхний слой выветрившейся руды.

Уже стояли домны, но надо было переоборудовать метод плавки руды, придумать, как очищать руду от серы, как уменьшить расход марганца. Каждый шаг к металлу был шагом труда и изобретения. Руки учили голову.

Металл оказался кладом, а разговором на клад была техника.

Книга И. Пешкина рассказывает о цепи подвигов, которые в результате создали нашу многожелезную страну. Рассказываются о том, как катали броню во время Великой Отечественной войны на магнитогорском блюминге, как создавалась сибирская металлургия, как пересоздавалась металлургия Урала, как создавалась металлургия на северо-западе нашей родины и как, победив воду, вырыли советские люди широкие котлованы, дошли до земной железной груди — до руды Курской магнитной аномалии.

Книга И. Пешкина — это книга о сотворении металлургического мира. Я ее пересказывать не буду, потому что ее нужно прочесть. Она занимательна. Описанные в ней подвиги требуют внимания к себе. Мы должны знать, как создан железный гемоглобин индустриальной крови нашей родины.

И еще одну книгу надо прочесть: она издана тем же издательством «Советская Россия» в 1962 году и называется «Металлы и человек». Написал ее М. Васильев.

В середине XIV века человек, который не знал латыни, считался человеком мертвым, потому что он не мог понять культуру, не мог участвовать в просвещении своего времени. Об этом рассказано в Девятой новел-

ле Шестого дня в «Декамероне» Боккаччо. Гуманист Гвидо Кавальканти на кладбище говорит неученым дворянам, что они — дома среди мертвых. Один из дворян потом соглашается: «...простецы и неученые, сравнительно с ним и другими учеными людьми, хуже мертвых и потому, находясь здесь, обретаемся у себя дома».

В наше время человек, не знающий основ техники, не может прочесть газеты, он не может принять участия в труде и жизни общества. Новый гуманизм требует дополнительно новых знаний.

Книга М. Васильева — научно-популярный очерк, хорошо написанный. Это популярная энциклопедия с объяснительными рисунками. Жалко, что к ней не приложен указатель, для того чтобы человек, прочтя книгу, мог бы возвращаться к ней, справляясь о том, что такое современная сварка,

современное литье, какие сейчас есть легчайшие сплавы.

Книга несколько перегружена. Размещение материала спорно. Но она дает читателю представление о злободневности науки, о том, что таблицу Менделеева человек должен сейчас знать так же, как свою фамилию и свой адрес. Без нее заблудишься.

Эти две книги имеют право быть в библиотеке каждого, они могут ее начинать. И хорошо, если у их читателей будут на полке и другие книги о новой науке и технике.

Такие библиотечные полки необходимы, чтобы подниматься по ним, как по ступеням, на горы времени. Чтобы удивляться тому, что уже создано. Чтобы гордиться своей страной, надо ее хорошо знать.

Виктор ШКЛОВСКИЙ.



## МАСТЕРСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

А. З. Манфред. Очерки истории Франции XVIII—XX вв. Сборник статей.  
Редактор Э. Л. Гейлинман. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 616 стр.

Едва ли к истории какой-либо из европейских стран проявлялось у нас столько интереса, сколько к истории Франции. «Русская школа», представленная Н. И. Кареевым, М. М. Ковалевским, И. В. Лучицким, Е. В. Тарле, внесла крупнейший вклад в изучение Великой французской революции, совершенно единодушно признанный всеми без исключения французскими историками, от наиболее умеренных до самых прогрессивных. Советская историческая наука, несмотря на то, что ее тематика безгранично расширилась по сравнению с дореволюционным периодом, сохраняет живейший интерес к истории Франции. Свидетельство этого — новая книга видного советского ученого, профессора А. З. Манфреда.

Об одном достоинстве этой работы нам хотелось бы сказать прежде всего. Было время, когда историческое произведение почти всегда отличалось художественными достоинствами. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха были и всегда останутся ценным историческим памятником, но кто может усомниться в их выдающихся литературных качествах? Не случайно, вероятно, «экстраординарным профессором» истории был Фридрих Шиллер, а «историографом государства Российского» — Н. М. Карам-

зин. А разве не мечтал о создании подлинной «всеобщей истории» Николай Васильевич Гоголь, бывший, пусть и недолго, руководителем университетской исторической кафедры?

После того как с открытием материалистического понимания истории были подняты глубинные пласты документов об экономическом и социальном прошлом человечества и история стала подлинной наукой, от историка потребовались новые качества. Он должен был оперировать статистическими данными, делать выводы из сухого перечня цифр, разглядеть классовые антагонизмы и услышать приглушенный голос народных масс в списках налогоплательщиков, в бесчисленных нотариальных записях. Менялись источники, которыми пользовался ученый, менялись объекты исследования, и это не могло не отразиться на форме изложения. Достаточно сравнить знаменитую «Историю Франции» Жюль Мишле, написанную в XIX веке, с такой общепризнанной жемчужиной французской историографии XX века, как монография Жоржа Лефевра «Крестьяне департамента Севера в годы революции».

Однако и сейчас не только широкие круги читателей, но и сами специалисты высоко

ценят тех историков, которые соединяют талант серьезного, глубокого исследователя с высоким мастерством исторического повествования. Такими качествами щедро был наделен Е. В. Тарле. К этому типу историков в нашей современной литературе наряду с такими общепризнанными мастерами, как М. В. Нечкина и С. Д. Сказкин, должен быть отнесен и А. З. Манфред. Ему в наибольшей степени присуща живость изложения, некоторые страницы его работ написаны с подлинным воодушевлением, из них лежит печать совершенно бесспорного, очевидного литературного таланта.

Мы не ставим себе целью дать представление о всех работах, вошедших в том и публиковавшихся автором на протяжении почти двадцати лет. Отметим лишь некоторые статьи — наиболее интересные как по существу освещаемых в них проблем, так и по характерной для автора новизне трактовки.

Почти треть тома посвящена исследованиям истории Великой французской революции, которой А. З. Манфред много и плодотворно занимался. Наряду с очень талантливой статьей о Марате хотелось бы выделить этюд «Споры о Робеспьере». Вот уже более полутора веков не прекращается самая ожесточенная борьба вокруг оценки «Неподкупного». А. З. Манфред очень тщательно прослеживает различные точки зрения, нашедшие свое отражение в огромной литературе вопроса. Он чужд стремления во что бы то ни стало обелить Робеспьера, которое так сказывалось на работах блестящего «робеспьериста» Альбера Матьеза. Но он дает совершенно правильную и справедливую историческую оценку огромной роли Робеспьера в борьбе за демократические традиции французского народа. «Споры о Робеспьере» — это споры прежде всего об этих великих традициях. Не случайно как раз накануне майского путча в 1958 году в Алжире предложение об ознаменовании двухсотлетия со дня рождения Робеспьера было встречено в штыки представителями воинствующей реакции и раньше всего одним из вдохновителей подготовлявшегося мятежа — Ж. Бидо, ныне беглым оасовцем. Политический смысл этой борьбы вокруг Робеспьера превосходно вскрыт А. З. Манфредом. «Споры о Робеспьере» — одна из лучших статей в сборнике, очень живо написанная.

Во втором разделе книги, где речь идет о проблемах французской истории второй

половины XIX и начала XX века, очень интересен этюд о Центральном комитете Национальной гвардии 1871 года. В литературе, посвященной Коммуне, меньше всего уделялось внимания как раз первым десяти дням — от 18 марта до завершения выборов и провозглашения Коммуны. Между тем еще Энгельс в одной из своих речей на заседании Генсовета Интернационала отмечал, что пока делами руководил Центральный комитет Национальной гвардии, все шло хорошо. А. З. Манфред попытался заполнить этот пробел. Кое-что в его безусловно яркой статье может показаться спорным, но совершенно очевидно, что она значительно расширяет наши представления о первых «десяти днях» в истории Коммуны.

Нельзя не выделить также очерк, написанный к столетию со дня рождения Жана Жореса. В годы господства культуры личности у нас преобладала узко догматическая оценка Жореса, подчеркивался почти исключительно его реформизм. Нисколько не отказываясь от критики реформистских иллюзий и ошибок Жореса, А. З. Манфред очень убедительно характеризует все своеобразие Жореса, огромные его заслуги в борьбе против колониальной политики и назревавшей войны, когда голос Жореса звучал в предвоенной Европе, как тот шиллеровский колокол, о котором он напомнил в своей блестящей речи в Базельском соборе на последнем предвоенном социалистическом конгрессе в 1912 году.

О широком диапазоне интересов историка говорит этюд о русско-французских культурных связях, написанный на основании многочисленных, ранее не публиковавшихся архивных документов.

Исследованию проблем новейшей истории Франции отведен третий раздел книги. В нем обращает на себя внимание очерк «Замогильные записки» — о воспоминаниях бывшего президента А. Лебрена и начальника генштаба Гамелена. Жанр исторического портрета вообще очень близок А. З. Манфреду. В «Замогильных записках» превосходит весьма легко написанный портрет Гамелена — «будды в генеральском мундире».

Содержательный очерк посвящен политическому кризису 1958 года во Франции. Уже в декабре 1958 года, буквально по следам событий, А. З. Манфред глубоко проанализировал причины, вызвавшие кризис, и совершенно правильно определил, что режим Пятой республики после первого референдума «относительно не стабилизировался».

Конечно, не со всеми утверждениями автора можно согласиться. Мы не думаем, например, что 9 термидора было «последним днем Великой французской революции». Этим днем заканчивалась восходящая линия ее развития и начинался стремительный спад. Но только 18 брюмера — «возвышение Бонапарта» — прикрыло Францию чугунной доской деспотизма и окончательно ликвидировало уже крайне урезанную, но все еще сохранявшуюся буржуазную демократию. На наш взгляд, трудно также доказать, что Марат в последние месяцы своей жизни пришел к выводу, что «революционная диктатура не может быть диктатурой одного или нескольких лиц, опирающихся на народ, а должна быть диктатурой самого народа». Именно этого вывода Марат и не сделал, оставшись, как и в начале революции, сторонником диктатуры древнеримского или средневекового итальянского типа. Не со всем можно согласиться и в очень интересных, основанных на новых материалах этюдах из истории французской дипломатии, о которой А. З. Манфред написал ряд серьезных

научных исследований. Наконец при анализе причин политического кризиса 1958 года, как нам кажется, следовало подробнее, чем это сделано, остановиться на кризисе французской колониальной империи и на всем комплексе последствий, с этим связанных, — в частности, на выяснении роли и психологии французских военно-колониальных кругов, решившихся играть «ва-банк».

Однако не эти частные замечания определяют значение книги, о которой идет речь. Было бы печально, если бы такая работа не давала почвы для оживленных научных споров.

«Очерки истории Франции» — это не систематическое изложение всех событий на протяжении двух столетий. Это собрание очерков, посвященных отдельным важным страницам бурной французской истории. Но этюды, выполненные очень любовно и тщательно, пронизанные единой мыслью, воспринимаются как единое целое. Это талантливая и интересная книга, которую можно рекомендовать широкому кругу наших читателей.

**В. ДАЛИН.**

★

## ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ

**Л. В. Ошанин и А. А. Азатьян. Василий Федорович Ошанин. Очерки жизни и деятельности. Ответственный редактор доктор биологических наук Е. П. Коровин. Географгиз. М. 1961. 95 стр.**

**Л**едник Федченко — самый большой горный ледник умеренных широт. Грандиозная ледяная река со многими ледяными притоками протянулась на семьдесят один километр. О леднике этом знают решительно все. Но далеко не всем известно, кто открыл ледник и кто дал ему имя Федченко.

Это сделал в 1878 году Василий Федорович Ошанин. «Я желал этим выразить, — писал он, — хоть в слабой степени, мое глубокое уважение к замечательным ученым трудам моего незабвенного товарища, которому мы обязаны разъяснением стольких темных вопросов в географии и естественной истории Средней Азии... Пусть «Федченковский ледник» и в далеком будущем напоминает путешественникам имя одного из даровитейших и ценнейших исследователей Средней Азии».

Сам В. Ф. Ошанин был человеком больших дарований и еще большей скромности. Может быть, поэтому его знают сравнительно

но мало и имя его упоминается не столь часто, как прославленные имена других исследователей Туркестанского края — А. П. Федченко, Н. А. Северцова, А. Н. Краснова, И. В. Мушкетова.

Свыше тридцати лет В. Ф. Ошанин, после окончания Московского университета, прожил в Ташкенте, где заведовал шелководственной фабрикой и школой шелководства, а затем был учителем и директором одной из ташкентских средних школ. За эти годы он глубоко изучил далекую и глухую в те времена окраину России с ее высочайшими горами и необозримыми пустынями.

Первая часть книги написана сыном Василия Федоровича — профессором Л. В. Ошаниным, крупнейшим антропологом, знатоком населения Средней Азии. Глава «Жизненный путь В. Ф. Ошанина» в значительной мере мемуарна, и в этом ее своеобразие.

Не будучи профессионалом-ученым,

В. Ф. Ошанин много сил и времени отдавал изучению насекомых Туркестана, организовав для этого экспедицию. Он собрал уникальную коллекцию и опубликовал восемьдесят научных работ. Выйдя в отставку и переехав в Петербург в 1906 году, В. Ф. Ошанин продолжал работать в Зоологическом музее Академии наук до конца своей жизни (он умер в январе 1917 года).

В Ташкенте В. Ф. Ошанин сблизился с прогрессивными людьми. Некоторые были сосланы сюда за революционную деятельность. Таковы П. И. Хомутов, позже ставший крупным общественным и государственным деятелем Туркестана, Д. Л. Иванов — талантливый геолог, исследователь Средней Азии и писатель, автор «Солдатских рассказов» и первого словаря шугнанского языка, опубликованного Академией наук. Этот незаурядный человек за свои революционные настроения был исключен из Горного института и отправлен солдатом в Туркестанский край, где испытал всю тяжесть военной муштры. Он писал и для детей, иллюстрируя свои рассказы собственноручными рисунками.

Вслед за Ивановым оставила Петербург и приехала в Ташкент его сестра, Е. Л. Иванова, чтобы разделить судьбу брата. Она была энергичным общественным деятелем.

Особенно колоритной была фигура Германа Александровича Лопатина, народовольца, узника Алексеевского рavelина Петропавловской крепости и Шлиссельбурга. В 1879—1882 годах Г. А. Лопатин отбывал ссылку в Ташкенте, где и сблизился с В. Ф. Ошаниным. Его жизнь, полная опасностей и героизма, произвела на молодого Ошанина глубокое впечатление.

Они были разными людьми — Г. А. Лопатин и В. Ф. Ошанин. Но тем трогательнее была их многолетняя дружба.

В. Ф. Ошанин Лопатин особо выделял из числа крупных русских натуралистов. «Ведь он не написал и десятой доли из того, что мог бы написать. А главное — он прекрасная личность».

В. Ф. Ошанин не мог целиком отдаться науке — нужно было работать на шелкомотальной фабрике, а затем учить ташкентскую молодежь уму-разуму в гимназии. Годы, десятилетия ушли на это. И все же след, оставленный им в истории естествознания, глубок.

Как биолог В. Ф. Ошанин был ярко выраженным дарвинистом и эволюционистом.

Широко образованный человек, он хорошо владел западноевропейскими языками, был знаком с мировой литературой. Он свободно говорил по-узбекски, читал арабскую письменность, мог объясняться и читать по-персидски. Все это пригодилось ему в путешествиях по Туркестану, который стал для него близким и родным.

Вторая часть книги, посвященная географическим и зоологическим работам В. Ф. Ошанина, написана А. А. Азатыяном, уже много лет разрабатывающим увлекательную тему о русских исследованиях Туркестанского края в XIX веке.

В. Ф. Ошанин не ограничился собиранием коллекционного материала по энтомофауне Туркестана и рассказами о новых, никем из ученых не посещенных до него горных районах. Он первым дал схему поясного расчленения растительности и почвенного покрова на склонах гор. Его исследования Дарваза и Каратегина (в Таджикистане) помогли ясно представить сложную картину высочайших гор и долин этого заоблачного края. Привычные теперь названия хребтов — Петра Первого и Каратегинский — даны В. Ф. Ошаниным.

Еще в 1891 году он опубликовал большую работу «Зоогеографический характер фауны полужесткокрылых Туркестана», в которой высказал взгляд, что Средняя Азия в фаунистическом отношении представляет единое целое с Передней Азией и странами Средиземноморья. Ледниковый период, считал он, мало повлиял на формирование среднеазиатской фауны, в которой встречается небольшое количество представителей тундры или северной тайги. Взгляды Ошанина получили признание и развитие во многих последующих работах зоологов и ботаников, занимавшихся изучением Средней Азии.

Характерная черта научного творчества Ошанина — учет влияния жизненной среды на развитие животных и формирование энтомологических комплексов. Важнейшим экологическим условием ученый считает очень высокую на равнинах Средней Азии летнюю температуру.

Самая значительная работа В. Ф. Ошанина, итог жизни ученого — систематический и географический каталог всех палеоарктических полужесткокрылых. Он был закончен в 1892 году, затем переведен автором на немецкий язык и в 1906—1910 годах издан

Зоологическим музеем Академии наук. Три тома этого труда насчитывают тысячу девятьсот тридцать семь страниц текста. Можно представить сложность и трудоемкость такого издания; не случайно оно получило известность у энтомологов всего мира.

В Петербурге В. Ф. Ошанин полностью обрабатывает свои удивительные коллекции насекомых, общается со многими учеными, пишет научные статьи, рецензирует европейские энтомологические труды. Это десятилетие (1907—1916 гг.) было очень плодотворным. Он написал и опубликовал сорок семь работ, то есть значительно больше, чем за все предшествовавшее время его научной деятельности.

Последние годы жизни В. Ф. Ошанина совпали с мрачным периодом русской истории — реакцией 1907—1912 годов и с первой

мировой войной. Немного не дожил ученый до Великой Октябрьской революции.

Авторы сделали хорошее и нужное дело, рассказав о жизни и работе Василия Федоровича Ошанина — одного из первоисследователей Средней Азии, человека, безгранично любившего труд, отдавшего все свои помыслы, темперамент и страсть благородному делу познания природы.

Географгиз издает немало книг и брошюр о замечательных географах и путешественниках. Отрадно видеть среди героев этих книг, наряду с громкими и блестящими именами, такими, как Колумб, Гумбольдт, Миклухо-Маклай, Анучин, Реклю, также имена пусть не столь известные, но не забытые и глубоко чтимые нами, благодарными потомками.

**Э. МУРЗАЕВ,**

*доктор географических наук.*



## ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БАНКРОТОВ

**Л. Б. Альтер. Буржуазная политическая экономия США (На основных этапах развития американского капитализма). Редактор И. Жук. Соцэкгиз. М. 1961. 808 стр.**

Свежим ветром повеяло в области социальных наук после XX съезда партии. Появились новые крупные исследования по экономике, истории, философии.

Книга Л. Альтера представляет собой критическое изложение истории американской политической экономии, доведенное до сегодняшнего дня. Само появление такого труда в известном смысле симптоматично.

Догматизм не интересуется и о в ы м: готовые, апробированные ответы, исключающие работу мысли, могут быть даны на любой вопрос. Это относится и к недавнему прошлому нашей экономической науки. Не случайно в прошлые годы мало выходило работ, которые анализировали бы процессы, совершающиеся в экономике и накладывающие отпечаток на экономические теории современного империализма. Да и в этих немногих работах слишком мало было нового.

Полемика Маркса против вульгарной политической экономии XIX века по-прежнему злободневна, ибо старые теории в конечном счете лежат и в основе теперешней вульгарной политической экономии. Но буржуазная политическая экономия развивалась и после Маркса, применяясь к новым обстоятельствам. В условиях монополистиче-

ского капитализма идеологи буржуазии постоянно совершенствуют приемы и средства затуманивания подлинного характера капиталистической системы. Это предъявляет требования к марксистской экономической мысли. Критика Мальтуса, Сэя, Кэри и других вульгаризаторов прошлого помогает борьбе против новейших врагов коммунизма, но не заменяет этой борьбы.

В новой книге Л. Альтера из восьмисот страниц половина посвящена политической экономии США после второй мировой войны. Автор излагает теории американских экономистов на фоне развития американского капитализма. Фактический материал не только помогает понять возникновение этих теорий, но и служит критерием для их оценки. А так как Америка теперь центр буржуазной экономической мысли, то критика автора по существу направлена против всей политической экономии капитализма.

Нет таких грязных дел капитализма, которые не находили бы теоретического «обоснования». Давно ли американские профессора писали трактаты о безусловной необходимости детского труда! Корифей американской политической экономии Кэри с пафосом превозносил «гармонию интересов» рабов и рабовладельцев. Другой экономист,

Купер, писал, что негры — «низшая разновидность человеческого рода, не поддающаяся усовершенствованию». Теперешние буржуазные экономисты так или иначе доказывают вечность наемного рабства, оправдывают безработицу и милитаризм, политику монопольных цен, обосновывают идею мирового господства США и подчинения народов американскому империализму.

Канули в историю времена, когда буржуазная политическая экономия могла позволить себе объективность. С тех пор, указывал Маркс, как буржуазия во Франции и Англии завоевала политическую власть, «пробил смертный час для научной буржуазной экономии. Отныне дело шло уже не о том, правильна или неправильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна... Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой». Что касается США, то здесь и не было периода классической политической экономии. Научные элементы были в американской политической экономии, по выражению Л. Альтера, только эпизодами (например, гениальная догадка Франклина о труде как источнике меновой стоимости). Возник лишь своеобразный стиль вульгаризации экономической науки. На передний план выступил инстинкт «ученых приказчиков класса капиталистов», как окрестил буржуазных профессоров-экономистов Ленин.

«Я все больше задумываюсь,— признавался недавно президент Американской экономической ассоциации Ф. Найт (во вступительном слове на конгрессе в Чикаго),— над тем, является ли моя работа работой или жульничеством (а racket). Не напоминают ли экономисты, и особенно экономисты-теоретики, авгуры древнего Рима (авгуры—жрецы, толковавшие волю богов по полету птиц.— С. Э.), которые при встрече на улице, по преданию, стеснялись глядеть друг другу в лицо и отворачивались или раздражались смехом... Любой политик может всегда найти «экономиста», чтобы обосновать любую позицию, но, может быть, в этом и состоит подлинная функция нашей «науки» при демократии».

Л. Альтер убедительно показывает, что в основе модных теорий лежат старые пошлости, приспособляемые к защите монополистического капитализма. Частная собственность — «закон природы», всякое ее

ограничение — «насилие над законами природы». Капитал — результат «сбережения», «плата за надзор» или «рента за способности» капиталиста. Рабочие могут класть деньги в банк, писал еще в 1883 году Ф. Уокер (предвосхищая теперешних теоретиков «государства акционеро́в»), и поэтому «рабочий и капиталист являются в значительной мере одним и тем же лицом». Необходимость низкой заработной платы доказывалась еще в XVIII веке, теперь эти же доводы служат монополистам для наступления на жизненный уровень рабочего класса. Д. Рэймонд, автор одного из первых курсов политической экономии, утверждал, что война оказывает благотворное влияние на экономику и создает полную занятость. «Мир ведет к прекращению спроса, и в его результате тысячи людей оказываются без занятий», — писал он. Буквально то же самое повторяют теперь наемные писаки военного бизнеса, пугая население хозяйственной катастрофой, если «разразится мир». Сохраняя преемственность по отношению ко всем реакционным теориям прошлого, буржуазные экономисты расширяют сферу исследований применительно к новым запросам своих хозяев.

Глубокое влияние на сегодняшнюю идеологию США оказывает так называемое «этическое» направление в политической экономии, возникшее в прошлом веке и представляющее собой применение религии к экономике. «Бедные не должны завидовать богатым», «Богатые — благодетели общества». Частная собственность проистекает из «божьей воли» и приобретается благодаря таланту, «данному богом». Такие догмы рассчитаны на самую темную публику и должны восприниматься на веру.

Все чаще и чаще всплывает на страницах американской литературы имя Мальтуса. Нет более авторитетной фигуры в современной буржуазной политической экономии, чем этот английский горе-теоретик в пасторской рясе, утверждавший полтора столетия тому назад, что единственный путь человечества к благополучию лежит через войны, голод, эпидемии и прочие способы избавления от «лишнего населения». Буржуазия по сей день благодарна Мальтусу за придуманный им «вечный закон», по которому будто бы «сила размножения человеческого рода на много больше, чем способность земли доставлять пропитание...» — стало быть, нечего винить социальные условия. И хотя револю-

ция в науке и технике открыла безграничные возможности для развития производительных сил и повышения благосостояния людей, неомальтузианцы продолжают выдвигать всевозможные рецепты «сокращения населения земного шара» с помощью войн, принудительной стерилизации, поддержания болезней и голода. Между тем самым правильным рецептом была бы ликвидация капитализма, сковывающего производительные силы и угрожающего человечеству ядерной катастрофой.

Кейнсианство — наиболее типичная буржуазная теория эпохи дряхлости и загнивания капитализма. Кейнс выступил со своей теорией в конце тридцатых годов, вскоре после великого экономического кризиса, который потряс всю капиталистическую систему. До Кейнса буржуазных экономистов характеризовало самодовольство. Много десятилетий господствовал так называемый «закон Сэя», по которому самый механизм капиталистической экономики стихийным ходом развития автоматически обеспечивает гармонию: «кризис лечит сам себя». В лице Кейнса на смену самодовольству пришло смятение. Основная идея Кейнса в том, что современный капитализм не способен развиваться стихийно, он нуждается в подпорках и костылях. Для преодоления политически опасных кризисов и безработицы Кейнс предложил целый ряд способов искусственного накручивания экономической конъюнктуры с помощью государства: политику бюджетного дефицита, инфляции, налогового и кредитного маневрирования, проведение общественных работ, снижение реальной заработной платы, развитие военной промышленности.

«Теория» Кейнса, взятая на вооружение американскими империалистами, не выдержала проверки жизнью: кризисы следовали один за другим, только после второй мировой войны их было в США четыре. Зато капиталистические монополии используют аргументацию Кейнса в своих корыстных интересах, в особенности для форсирования гонки вооружения.

Разразившийся недавно на нью-йоркской бирже небывалый за много лет крах, вызвавший панику также на биржах Лондона, Парижа и Бонна, — еще одно свидетельство неустойчивости капиталистической экономики.

Мастера лжи из «Голоса Америки» внушают слушателям, что в США уже нет капитализма, что там-де существует государ-

ственное «планирование», есть государственный (читай: государственно-капиталистический) сектор, стало очень много акционеров и т. п. Возникло якобы «нечто среднее между чистым капитализмом и социализмом». Можно подумать, что происходит конкурс на более симпатичную этикетку для маскировки капиталистической эксплуатации. Каких только ярлыков ни придумали: «народный капитализм», «государство всеобщего благоденствия», «регулируемый капитализм», «смешанная экономика», «государство акционеров», «равновесие сил», даже «бесклассовое общество!» «Так как мы живем в капиталистическом обществе, то мы все являемся капиталистами», — пишет пропагандист «народного капитализма» Э. Джонстон. Все это напоминает пьесу «Чертова мельница», где для укрепления подмоченной репутации было решено ад переименовать в рай, а чертей — в ангелов. Существо этих словесных манипуляций определил президент одной из американских корпораций Д. Финн: «Мы начинаем вести себя, как ожиревшие старые леди, которые наводят косметику перед зеркалом».

Появляются экономисты, советующие заимствовать те или иные «секреты успеха» у советской экономической системы с тем, однако, чтобы сохранить неприкосновенной систему частного предпринимательства. Капитализм сам по себе неплох, внушают они, стоит лишь внести кое-какие поправки, помешать «злоупотреблениям» монополистов и т. п. Чтобы примирить население с неизбежностью безработицы, некоторые экономисты выдумывают «полезный» — и достаточно высокий — процент безработицы, однако мрачная действительность перекрывает наметки теоретиков. Аполония безработицы, пишет Л. Альтер, наиболее яркое выражение антинародного, реакционного характера современной буржуазной политической экономики.

Пропагандисты американского капитализма играют на том бесспорном факте, что в среднем (как выгодно считать буржуазии) материальный уровень жизни в США в силу ряда сложившихся условий пока относительно высок. Но в этом «государстве всеобщего благоденствия», по официальным данным, примерно пять миллионов безработных. Если же подсчитать правильно, то, как заявил недавно специальный уполномоченный по трудовой статистике Э. Клейг, общее число безработных в США составит десять милли-



онов. Весной этого года было опубликовано исследование, подготовленное под руководством Л. Кайзерлинга, в прошлом председателя Экономического совета при президенте Трумэне, под названием «Нищета и лишения в Соединенных Штатах: положение двух пятых нации». Там говорится, что в 1960 году семьдесят семь миллионов американцев, или более двух пятых населения страны, жило в бедности или на грани бедности. По подсчетам авторов исследования только около семи процентов населения можно отнести к разряду состоятельных. Кайзерлингу вторит известный социолог М. Харрингтон, автор одновременно вышедшей книги «Другая Америка. Нищета в США». «50 миллионов душ,— пишет он, — живет в иной Америке... Если они и не умирают от голода, то во всяком случае голодны... Они лишены нормальных жилищ, не получают образования и медицинской помощи». Среди них жертвы дискриминации — негры, мексиканцы, пуэрториканцы, индейцы, рабочие, выброшенные из промышленности вследствие автоматизации, перемещения заводов, а также бедные фермеры и кочующие сельскохозяйственные рабочие, старики.

В учебниках, по которым обучают американских студентов, имя Маркса не упоминается или называется вскользь, порой в сопровождении плоских острот. В лучшем случае говорят, что Маркс был кое в чем прав «для своего времени», а теперь устарел. Но такая тактика приносит обратный результат. Значительное число американского студенчества (на это с тревогой указывают представители правящих кругов) проявляет ог-

ромный интерес к идеям научного коммунизма.

Легко выбросить Маркса из учебников. Можно избежать его имени, грозного для буржуазии. Но по сути дела вся современная политическая экономия капитализма является не чем иным, как скрытой полемикой против марксизма-ленинизма.

Сегодня бороться против марксизма много труднее, и не только потому, что учение Маркса подтверждено всем развитием капитализма. Оно получило живое воплощение в мировой социалистической системе. К силе теории присоединилась сила примера. Как опровергнуть очевидные факты?

Антикоммунизм стал в наши дни главной функцией буржуазной политической экономии. Что нельзя опровергнуть, можно исказить, чтобы внести путаницу в сознание масс. В полной силе остаются слова Ленина: «...Когда господа профессора берутся опровергать социализм, то не знаешь, чему больше удивляться, их тупости или их невежеству или их недобросовестности». У них нет какой-либо конструктивной идеологии. Это политическая экономия банкротов.

Книгу Л. Альтера, остро актуальную, внимательно прочтут все, интересующиеся современными экономическими теориями. Она помогает видеть противника таким, каков он есть. Особенно полезна она для преподавателей экономических наук, которые — что греха таить — порой ограничиваются ниспровержением «теней прошлого» и не вооружают своих слушателей против современной, модернизированной идеологии империалистов.

**С. ЭПШТЕЙН.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Ф. Н. ПЕТРОВ.** 65 лет в рядах Ленинской партии. Воспоминания. Госполитиздат. М. 1962. 160 стр. Цена 39 к.

Первые лучи великого света... Так автор назвал один из разделов своих воспоминаний. Яркими лучами великого света марксистско-ленинских идей щедро освещена жизнь старейшего большевика, активного деятеля Коммунистической партии Федора Николаевича Петрова.

Для него, потомственного пролетария, с особой силой засиял свет великих идей, когда молодой революционер встретился с В. И. Лениным. Эта встреча, оставившая глубочайший след в жизни Петрова, произошла в 1900 году. Владимир Ильич готовился к изданию «Искры» и с увлечением говорил о роли массовой газеты. «Не тогда ли,— замечает автор,— родилось во мне стремление активно работать в печати...» И верно, с той далекой поры до наших дней Федор Николаевич тесно связан с большевистской печатью.

Очень увлекательна биография этого человека. В глухое время дворянской диктатуры он совершил редчайший для рабочего человека подвиг: получил высшее образование и диплом врача. При этом совмещал учение с революционной работой. Участие в вооруженном восстании и семь лет одиночки в Шлиссельбургской крепости. Поселение в Сибири. Партизанские бои. Руководство Главнаукой. Редактирование Большой Советской Энциклопедии.

А рядом с какими людьми он боролся против самодержавия и работал после революции! Орджоникидзе, Дзержинский. Фрунзе, Куйбышев, Луначарский, Крупская... Федор Николаевич встречался с Ланжевенем, Ролланом, Андерсеном-Нексе, Тагором. Он хорошо знал Павлова, Мичурина, Цюлковского, Горького, Маяковского и многих других деятелей советской и мировой культуры. И для каждого из них он нашел живое слово, яркий штрих.

Воспоминания Ф. Н. Петрова — не только повествование о минувшем и далеком. Некоторые главы поднимаются до боевой партийной публицистики. Активный участник коммунистического строительства, делегат XXII съезда КПСС, автор страстно пропагандирует высказанные им на съезде предложения, в частности о выпуске нового, возможного только в наше время издания — Всемирной энциклопедии коммунизма.

Книга читается с большим интересом, и у нее есть лишь один существенный недостаток: она коротка. Хочется пожелать, чтобы автор расширил и продолжил свои воспоминания.

**В. Низковский.**

★

**И. В. ДУБИНСКИЙ.** Трубачи трубят тревогу. Воениздат. М. 1961. 304 стр. Цена 60 к.

В библиотеке советской военной мемюаристики появилась еще одна интересная книга — воспоминания И. В. Дубинского о своей боевой службе в рядах червонного казачества.

В годы гражданской войны и интервенции корпус червонных казаков во главе с Виталием Примаковым, чья слава на Украине не уступала славе Николая Шорса, совершил много героических дел. К сожалению, в литературе как исторической, так и художественной боевые дела червонных казаков до сих пор не были оценены по заслугам. И это понятно, так как ряд прославленных героев червонного казачества, в числе их сам комкор Виталий Примаков и его ближайший соратник начдив Дмитрий Шмидт, пали жертвой клеветы в годы культа личности.

В воспоминаниях автора встают события, относящиеся к последнему периоду борьбы с петлюровскими самостийниками, когда они уже на исходе гражданской войны, будучи изгнанными из Украины, дважды пытались с помощью своих зарубежных подстрекателей и союзников вернуться назад с оружием в руках.

Речь идет о так называемом «зимнем походе» петлюровцев в конце 1920 года и о попытке повторить этот поход поздней осенью 1921 года.

Контрреволюционные националисты надеялись, что им удастся повернуть крестьянство против советской власти и таким образом собрать под свои желто-белитные знамена многочисленную армию. На деле же и в первом и во втором походе они потеряли все, с чем пришли из-за кордона. Не помогли и многочисленные подпольные атаманы, оставленные Петлюрой на Украине. Даже зажиточные слои украинской деревни остались глухи к призывам петлюровских атаманов. Части Красной Армии закончили с петлюровцами в считанные дни.

Рассказывая о том, как все это было, И. В. Дубинский сумел воссоздать и дух, и обстановку того времени, и черты людей — своих соратников по службе в частях червонного казачества. Мы встречаемся в его новой книге с такими известными командирами советской конницы, как Примаков, Котовский, Шмидт, Микулин, встречаемся и с многими другими командирами, политработниками, рядовыми бойцами, имена которых были нам еще неизвестны. И в большинстве случаев это хоть и короткие, но запоминающиеся, радостные для читателя встречи.

Интересно рассказывает И. В. Дубинский о партийной работе в частях червонных казаков, о боевом братстве и боевой учебе, о том, как рабочие, крестьяне, учителя, студенты, в числе их и сам автор — в ту пору командир полка «конных марксистов», — недавно впервые севшие на коня и взявшие в руки саблю, учились в короткие передышки между боями овладевать «тремя китами конного дела» — конем, строем и тактикой.

Автор не скрывает, что ему и его боевым соратникам победа давалась нелегко, что крови проливалось много, что не все были герои и что в рядах героев не все всегда было хорошо.

В общем книга оставляет впечатление правдивого свидетельства участника гражданской войны, и написана она талантливо. В ней есть много подлинно художественных страниц. В мемуарах это особенно радует.

**Е. Герасимов.**

★

**А. ПИРОГОВ.** Этого забыть нельзя. Воспоминания бывшего военнопленного. Литературная запись А. Ключника. Одесское книжное издательство. 1961. 240 стр. Цена 55 к.

«Нет, мы не можем забыть прошлого, — камни Маутхаузена, как и других таких же лагерей, напоминают о страшных злодеяниях гитлеровских извергов», — говорил Н. С. Хрущев на митинге в Маутхаузене в июле 1960 года. Никита Сергеевич назвал советского майора А. И. Пирогова как одного из руководителей восстания узников лагеря смерти Маутхаузен.

И вот перед нами правдивый и волнующий рассказ А. И. Пирогова о великом мужестве, проявленном советскими людьми в одном из самых ужасных гитлеровских застенков, об их безграничной воле к борьбе, верности интернациональному долгу и пламенной любви к своей родине.

Перед читателем проходят страшные картины самого большого и усовершенствованного предприятия нацистского «обезличивания» Европы, с газовыми камерами, пытками, изощренными издевательствами, перед которыми бледнеют ужасы средневековой инквизиции.

Но оказавшиеся в лагере коммунисты — бесстрашные борцы за счастье народов — продолжали самоотверженную борьбу и за

колючей проволокой лагерей смерти. Был создан руководящий центр, который координировал действия антифашистов всех национальностей. Дружно боролись чехи, поляки, испанцы, французы, норвежцы, югославы, немцы, венгры. Сказывалась непреодолимая сила интернациональной сплоченности. Организация советских военнопленных была самой боеспособной. Их оружием была несокрушимая сила великих ленинских идей, источником их оптимизма была немеркнущая вера в нашу победу.

Книга написана просто, сдержанно, и это только усиливает впечатление. Величие подвигов беззаветных героев Маутхаузена говорит само за себя и волнует до глубины души. Книга заканчивается призывом: «Люди хотят мира, они ненавидят войну. И я хотел бы, чтобы тот, кто прочитал эти записки, сказал:

— Вечное проклятье войне!»

Эти слова найдут отклик в сердце каждого читателя.

**Я. Штернштейн.**

★

**О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛОСЬ В СВОДКАХ.** Воспоминания участников движения Сопротивления. Составители сборника Куликов И. Н., Плотников Ю. А., Сахаров Б. Л. Редактор Белановский А. В. Госполитиздат. М. 1962. 456 стр. Цена 69 к.

Их было девять человек, девять военнопленных, объединенных одной мыслью — бежать при первом удобном случае.

Когда эшелон следовал через Хорватию в Триест, они сочли момент благоприятным. «Как только поезд трогался и раздавался стук колес, мы принимались за работу, — вспоминает А. Н. Черноморов. — ...Обливаясь потом, по очереди кромсали пол железной скобой, отрывая шепки руками... Наконец дыра расширилась настолько, что в нее мог протиснуться человек... Кто первый?.. Мы не слышали ничего, но все как будто физически почувствовали, как он тяжело ударился о шпалы, бешено убегающие назад... После него все, не раздумывая, таким же образом один за другим стали быстро исчезать в дыре...»

Они не ушли с поля боя! Как тысячи их братьев по оружию и трагической судьбе, они порвали цепи фашистского плена не ради того, чтобы отсидеться где-нибудь в тихом уголке и сохранить свою жизнь, а для того, чтобы продолжать бороться с ненавистным врагом на далекой от родины земле.

Герои этой книги — они же и ее авторы — советские люди, бывшие военнопленные, которые, бежав из гитлеровских концлагерей и тюрем, влились в ряды борцов движения Сопротивления, по зову сердца продолжали борьбу за свободу родины и оккупированных фашистской Германией европейских стран.

От разрозненных диверсионных актов до крупных военных операций, которые завершались освобождением городов и целых

районов, разгромом живой силы и техники противника,—таков был размах боевой деятельности советских людей в Польше, Бельгии, Югославии, Франции, Голландии, в Апеннинских и Карпатских горах, в фьордах Норвегии...

«Нельзя написать историю освобождения Франции от гитлеровских орд,—говорил Гастон Ларош, один из бывших уполномоченных Национального фронта Франции по работе среди советских борцов Сопротивления во Франции,—не рассказав о советских людях, которые бок о бок с французами участвовали в этой борьбе... Французский народ исполнен вечной благодарности к своим братьям по оружию—советским партизанам, сражавшимся на земле Франции...»

Антифашисты европейских стран высоко ценили подвиги наших людей и в свою очередь оказывали им всяческую помощь и поддержку. Страницы сборника рассказывают о том, как чехи, поляки, югославы, греки, французы, бельгийцы, итальянцы, голландцы, норвежцы, рискуя жизнью, помогали бежавшим из плена советским людям.

Мыслью о дружбе между народами, участвовавшими в войне против фашизма, сознанием необходимости бороться за укрепление мира проникнута книга.

★

И. Лунин.

**ЕФИМ ЗОЗУЛЯ. Я дома. Рассказы. «Советский писатель». М. 1962. 252 стр. Цена 45 к.**

Книги известного советского публициста и рассказчика Ефима Давидовича Зозули, так часто выходившие в довоенные годы, теперь уже стали библиографической редкостью. Может быть, так и должно было быть: привязанные к определенным дням своего создания, зачастую к конкретнейшим событиям того времени, они и не претендовали на долгую жизнь?

На этот-то вопрос и должно было ответить новое издание, и, судя по тому, как трудно его уже теперь найти в магазинах, можно вполне убедиться, что и сегодня эта книга нужна и интересна читателям.

«Я дома». Да, и сейчас Зозуля мог бы повторить эти слова, потому что его рассказы живут, волнуют людей, помогают им. Горячим сердцем писателя-современника Зозуля очень тепло и правдиво передал жизнь своей молодой республики, жизнь новую и очень разную.

В книге даны и дореволюционные рассказы писателя—«бесполотные»—о бедных, очень грустных людях, которым трудно, неуютно, как-то бесцельно живется на земле («Пленный», «В таком плохом кинематографе» и т. д.).

И вот пришли годы революции, они перевернули страну, перевернули и писателя. влили в него новые силы, чтобы рассказать об обыкновенных людях, которые в своей стране получили наконец крылья (новеллы из цикла «Тысяча», «Мелочь» и т. д.).

Читатель, впервые знакомящийся с творчеством Зозули, не может не заметить своеобразие манеры писателя. Е. Зозуля—мастер острого гротеска («Живая мебель»). Композиция его рассказов часто неожиданна. Автор вдруг переключает наше внимание на совершенно иные события, чем те, о которых, казалось бы, начал говорить, и вывод на наших глазах приобретает емкость, многогранность («Собственность», «Кошка», «Помощь»).

Серьезное и очень теплое предисловие написал к книге друг писателя А. Дейч.

Р. Борисов.

★

**Р. А. ШТИЛЬМАРК. Повесть о страннике российском. Географгиз. М. 1962. 238 стр. Цена 37 к.**

На долю нижегородского купца Василия Бараншикова выпало столько необычайных приключений, что, когда он кратко описал свои скитания по белу свету, его книга показалась вымыслом. Предательский схваченный работогловцами в Копенгагене, он стал солдатом датских колониальных войск, а затем клейменым рабом на испанских плантациях в Вест-Индии; потом, взятый в плен турецкими пиратами, попал в Палестину; был он и портовым грузчиком в Стамбуле, и матросом на греческом судне, и янычаром турецкого султана...

Можно удивляться силе духа этого человека. Опасности, страдания, бесконечные унижения не могли сломить его, не могли угасить «печаль» об отечестве своем России, жене и малолетних детях». Бараншиков хорошо знал, что в Нижнем Новгороде ждут его неоплатные долги, безысходная нужда,—и все-таки, рискуя жизнью, снова и снова пытался пробиться к далекой России, где встретила его долговая тюрьма и приговор к каторжным работам. Выход книги «Нешастные приключения Василия Бараншикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света—в Америке, Азии и Европе, с 1780 по 1787 г.» спас ее автора от каторги.

Большой успех, выпавший на долю записок Бараншикова, обработанных неким неизвестным чиновником—любителем литературы, объяснялся в первую очередь их сенсационным содержанием. Написаны «Нешастные приключения» бегло, почти конспективно, и при всем интересе, который представляет эта книга как исторический документ, художественной ценности она не имеет.

Для Р. Штильмарка, который ранее был известен читателю как автор приключенческого романа «Наследник из Калькутты», книга Бараншикова явилась одним из главных материалов, послуживших основой для создания повести.

Он проделал очень большую работу прежде всего как историк-исследователь. Писатель воссоздал быт и нравы в различных уголках земного шара; он сумел очень убедительно показать, что судьба Бараншикова, при всей ее необычайности, глубоко типична для той эпохи, что «нешастные при-

ключения», пережитые им, зависели не просто от удивительных случайностей, а от воздействия мощных сил, формирующих облик эпохи. Но не только этим ценна «Повесть о страннике российском». Недаром автор послесловия к этой книге академик Н. И. Конрад называет ее «незаурядным литературным произведением». Книга читается с большим интересом. Автор ведет рассказ очень динамично и выразительно; перед нами встают образы, очерченные иногда одним-двумя штрихами и все же запоминающиеся. И сам Василий Баранчиков предстает перед читателем во весь рост — сильный и добрый, терпеливый и смелый, любознательный и смекалистый, живо интересующийся тем, что творится вокруг, как бы тяжело ему самому ни приходилось в незнакомых краях.

А. Громова.

★

**ГРИГ. ПЕТНИКОВ.** Заветная книга. Крымиздат. 1961. 152 стр. Цена 32 к.

За год до Октябрьской революции в Харькове было опубликовано воззвание «Труба марсиан», в котором буржуазный мир был разделен на «людей прошлого» — «приобретателей» и «людей будущего» — «изобретателей». Вместе с Велимиром Хлебниковым и Николаем Асеевым это воззвание подписал молодой и совершенно тогда безвестный поэт Григорий Петников.

С тех пор прошло сорок шесть лет, и все эти годы Г. Петников деятельно работает в литературе. Он перевел на русский язык стихи Тараса Шевченко, Марко Вовчка, Ивана Франко, Артура Рембо, Иоганнеса Бехера, Карла Сэндберга, сказки братьев Гримм, прозу Генриха Клейста. Но самой прочной и сильной привязанностью Г. Петникова была и остается поэзия.

«Заветная книга» охватывает почти пятидесятилетнее творчество поэта. Естественно, что стихи Г. Петникова последних лет заметно отличаются от первых его поэтических выступлений, которые несли на себе явственный отпечаток литературного экспериментаторства. И все же у всех стихов этого сборника — и у тех, что написаны четыре десятилетия назад, и у тех, что написаны недавно, — есть нечто общее. Это изобразительное богатство, живописность, яркость. Перемена мест, путешествия, до которых автор «Заветной книги» большой охотник, отвечают затаенной внутренней потребности поэта раздвинуть поле своего зрения. Встреча с новыми местами дает все новую и новую пищу его наблюдательности. Об этих местах, будь то Ленинград или Подмоскovie, Крым или Кавказ, Г. Петников рассказывает с радостью первооткрывателя. И поэтому в его стихах столько живописных пейзажей.

Любители стихов не пройдут мимо этой книги одного из старейших русских поэтов.

Л. Левицкий.

★

**Д. В. ГРИГОРОВИЧ.** Литературные воспоминания. Гослитиздат. М. 1961. 216 стр. Цена 50 к.

После долгого перерыва перед нами открылась еще одна страница русской литературной жизни середины XIX века, написанная рукой большого мастера — Дмитрия Васильевича Григоровича, который много видел, знал почти всех выдающихся деятелей литературы и искусства своего времени.

Совсем еще юный Григорович, студент инженерного училища, сближается с «...юношей лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурым, с лицом, отличавшимся болезненной бледностью». Сближается и вскоре — «я... совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени плодотворно». Так появляется в книге Ф. М. Достоевский.

Вот два молодых уже известных нам друга идут в дом, что на углу Колокольного и Дмитровского переулков, одним глазком взглянуть на «настоящего поэта», хотя первый сборник его «Мечты и звуки» не произвел на друзей особого впечатления...

Живые, «зоркие» страницы раскрывают перед нами замечательную галерею: Достоевский, Некрасов, Ф. Кони, Белинский, Соллогуб, Гончаров, супруги Н. и К. Павловы, Боткин, Дружинин, Островский, Писемский, Ап. Григорьев, наконец Тургенев и Лев Толстой.

Записки Григоровича привлекают своей непринужденной, почти беллетристической формой, добродушной интонацией, большим доброжелательством, отличавшим писателя. Порой автор может показаться даже не добродушным, а просто наивным: в разрыве между Некрасовым и Тургеневым и отходе последнего от «Современника» он видит только личные причины, которые нельзя было раскрывать «перед публикой».

Григорьевич много и любовно пишет о Тургеневе, Боткине и Дружинине, но, говоря о «Современнике», лишь однажды упомянув «юношу Добролюбова», он ни разу не вспоминает Чернышевского.

Эта «забывчивость» не случайна. «Литературные воспоминания» не стоят особняком в творчестве автора «Деревни» и «Антонна Горемыки», в них, несомненно, чувствуются либерально-дворянские позиции писателя, которые в конце концов противопоставили его лагерю революционных демократов, отдалили от некрасовского «Современника».

Современного читателя привлекает в мемуарах Григоровича прежде всего описание литературного быта тех лет, литературные портреты. Книга помогает еще лучше представить себе русскую литературную жизнь середины прошлого века.

«Воспоминания» снабжены серьезным справочным аппаратом.

Б. Яранцев.

★

**М. ФОКИН. Умирующий лебедь.** Государственное музыкальное издательство. Л. 1961. 32 стр. Цена 17 к.

Научно-исследовательский институт театра, музыки и кинематографии в Ленинграде начал издавать серию небольших книжек «Сокровища советского балетного театра». Первой была опубликована интересная работа Ю. Слонимского о «Тщетной предосторожности». Затем вышел «Умирующий лебедь» М. Фокина.

Великий русский балетмейстер написал о своем лучшем концертном номере еще в двадцатых годах. Трагичной оказалась судьба книги: выпущенная в Америке, она не нашла спроса, и ее сожгли. Это было выгоднее, чем платить за помещение, где хранился нераскупленный тираж.

И вот «Умирующий лебедь» вышел у нас. В стране, где осуществилась мечта Фокина о том, чтобы «сделать из придворного балета балет народный», его труд воспринят с большим интересом. В кратком описании танца, музыки, декорации, костюма, освещения заключены мысли, которые и сегодня привлекают внимание художников различных сфер творчества.

«Это танец одухотворенный» — так называет автор первую главу своего сочинения, «это не ласкающее глаз развлечение, а трогающее душу искусство», — подчеркивает он далее. Полемичность, новаторский дух творчества Фокина ясны уже из приведенных слов.

«Лебедь» — гениальная импровизация, подготовленная годами поисков, отталкиванием от штампов императорского балета, его пустой развлекательности. С него началась слава Фокина — смелого реформатора и поэта классического танца. До конца своих дней он оставался русским балетмейстером. И не случайно его лучшие создания — от «Половецких плясок» и «Шехеразады» до «Петрушки» и «Жар-птицы» — рождены музыкой русских композиторов. А бессмертная «Шопениана», «Карнавал» Шумана, «Видение Розы» Вебера или ироничная «Синяя борода» Оффенбаха в постановке Фокина отличались глубокой человечностью и одухотворенностью, свойственными русскому балету. В 1942 году он поставил балет «Русский солдат» — на музыку Прокофьева, посвятив свое последнее творение России и ее защитникам от фашистского нашествия.

К работе Фокина, подлинник которой вместе с другими его рукописями прислал в Ленинград сын балетмейстера, приложены фотографии его жены — балерины Веры Фокиной, исполняющей «Умирующего лебедя». Несколько десятков кадров воспроизводят последовательность движений танца. Вместе с нотами пьесы Сен-Санса и, главное, с собственными объяснениями балетмейстера мы получаем полную и подлинную партитуру танца, ставшего бессмертным благодаря русским балеринам А. Павловой и Г. Улановой.

Анна Илупина.

**Д. МЕНЗЕЛ. О «летающих тарелках».** Перевод с английского К. И. Телятникова. Под редакцией Д. А. Франк-Каменецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 352 стр. Цена 85 к.

Это произошло несколько лет назад. На военно-воздушной базе Годмен (США) был замечен в небе предмет, по форме напоминающий «шарик мороженого с красной верхушкой». Тотчас четыре боевых самолета поднялись в воздух, чтобы расследовать непонятное явление. Командир звена капитан Мантел пошел на сближение с неизвестным предметом. «Эта штука по виду металлическая и огромных размеров, — радировал он на командный пункт. — Теперь она набирает высоту и идет с такой же скоростью, как и я... то есть 360 миль в час. Поднимусь до высоты 20 000 футов и, если не смогу сблизиться, прекращу преследование». На этом радиосвязь с летчиком прекратилась. Спустя несколько часов его тело было найдено среди обломков самолета.

Таинственные предметы летали днем, сверкая в солнечных лучах. Они летали и ночью, напоминая светящиеся шары или диски. Одни из них скользили над самым горизонтом, другие парили на огромной высоте; они то медленно передвигались по небу, то неслись с огромной скоростью. «Летающие тарелки» вызвали панику в США и других капиталистических странах. Министерство обороны США, засекретив информацию о «летающих тарелках», только способствовало раздуванию коллективного психоза. В книгах и бесчисленных статьях доказывалось, что «тарелки» пришли из космоса или являются летательными аппаратами, засланными русскими, чтобы выведать американские военные секреты.

Среди тех, кто не поверил подобным версиям, был Дональд Г. Мензел — видный американский астрофизик, директор обсерватории Гарвардского колледжа. Тщательно изучив все события, связанные с наблюдениями «летающих тарелок», Д. Мензел пришел к выводу, что в восьмидесяти процентах случаев речь идет о явных недоразумениях (заведомо ложные сообщения, плоды большого воображения и тому подобное). В остальных случаях люди имели дело с «истинно летающими тарелками». Глубокий научный анализ этих случаев и составляет основное содержание книги.

Автор доказывает, что появление таинственных предметов объясняется причудами атмосферной оптики — миражами, отражением света от слоя тумана, преломлением и отражением света в мельчайших кристаллах льда; некоторые из наблюдаемых явлений, возможно, связаны с полярным сиянием, некоторые — с необычными формами «падающих звезд», и лишь очень немногие принадлежат к тем явлениям природы, которые мы еще не можем пока объяснить.

Написанная увлекательно и доступно, книга Д. Мензела может служить блестящим образцом строго научного и вместе с тем популярного объяснения сложных и непонятных явлений природы.

Советские читатели с удовлетворением примут заключительный вывод автора: «Первой настоящей летающей тарелкой был знаменитый спутник, запущенный советскими учеными 4 октября 1957 года».

А. Черняк.

★

**М. ЧАЛИН.** *Философия отчаяния и страха.* Госполитиздат. М. 1962. 128 стр. Цена 16 к.

Где причина моды на экзистенциализм? Как случилось, что идеи скучнейшего Датского мистика Кьеркегора, бредовая, чело-веконенавистническая философия Ницше и наконец не лишенный изящества интуитивизм француза Бергсона, слегка приправленные феноменологией Гуссерля и «философией жизни» Дильтея, явились источниками течения, которое распространилось на самые различные области духовной жизни современного буржуазного общества и получило имя экзистенциализма? Когда задумываешься над этим, на память невольно приходят выразительные слова Достоевского: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?»

Да, это философия тех, кто оказался у последней черты и кому некуда дальше идти. Это показано в открывающей книгу главе «Истоки и разновидности течения». В следующей главе — «Оправдание незнания» — М. Чалин показывает, как старательно обходят экзистенциалисты основной вопрос философии — об отношении мышления к бытию. Некоторые из них выдают за основной «только один истинно серьезный философский вопрос — вопрос о самоубийстве». Вторая сторона основного вопроса о познании мистифицируется. Истина выступает как «озаренне», как «шифр». «Озаре-

ние» хотя и направлено на предметы, но не имеет с ними ничего общего. Теория же «шифров» мистически обновляет пресловутую теорию нероглифов и символов.

По Ясперсу, который больше других заимается гносеологией, в разряд истин можно зачислить (наряду с учением об атоме) миф о том, как Христос пятью хлебцами накормил тысячи людей. Впрочем, экзистенциализм наибольшее внимание уделяет не «чистой» философии, а социологии и морали. Общество, по утверждению сторонников этой философии, — это случайное скопление индивидов. Единственной целью всех поступков личности является достижение «бытия». Но это возможно только через испытания, крушения, неудачи. Реальная, земная жизнь не имеет ценности, ее ослепляющий блеск носит иллюзорный характер. Все нравственные рекомендации французского «атенистического» экзистенциализма пронизаны пессимизмом и нигилизмом. Смерть — единственный выход из тупика жизни.

Кому на руку эта философия? — спрашивает автор в заключение своей живо и интересно написанной книжки. В экзистенциализме, отвечает он, слились три момента: потребность буржуазии в субъективно-идеалистической обработке результатов социально-психологических исследований, потребность религии в новых способах иррационализма найти новые формы, так как философия Ницше, Шопенгауэра, Бергсона потеряла свое влияние. Экзистенциализм возник и существует потому, что в эпоху общего кризиса капитализма умирающая буржуазия ничего не может дать людям в области духовных ценностей, кроме «теоретических» абсурдов и циничных «теорий».

И. Орловский.

## В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО МИРА»

В февральском номере Вашего журнала опубликована статья Эммы Герштейн «Вокруг гибели Пушкина». Из дневников и писем жены царя Николая I установлены некоторые новые обстоятельства, новые факты, характеризующие ту светскую чернь, «жадную толпой стоящую у трона», которая так злобно и целеустремленно преследовала поэта.

Разумеется, можно оспаривать те или иные оценки и выводы автора, но совершенно бесспорно, что статья в целом — плод серьезной, добросовестной и компетентной научно-исследовательской работы и что такие исследования полезны и необходимы для истории литературы.

Между тем в майском номере журнала «Октябрь» помещен фельетон «В покоях императрицы», который в тоне чрезвычайно развязного, пошлого зубоскальства попросту отвергает и статью Э. Герштейн и вообще исследования такого рода.

Все, кому дороги честь и достоинство нашей словесности, должны решительно осудить такое злоупотребление страницами журнала, органа Союза писателей.

**АННА АХМАТОВА**  
**ВС. ИВАНОВ**  
**С. БОНДИ**  
**С. МАРШАК**

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О привлечении масс к управлению государством. Сборник. 308 стр. Цена 54 к.

**Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.** 5—9 марта 1962 года. Стенографический отчет. 485 стр. Цена 90 к.

**Н. С. Хрущев.** За новые успехи в работе железнодорожного транспорта. Речь на Всесоюзном совещании работников железнодорожного транспорта 10 мая 1962 года. 48 стр. Цена 4 к.

**Л. Ф. Ильичев.** Ленинским курсом к победе коммунизма. Доклад на торжественном заседании в Москве, посвященном 92-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 31 стр. Цена 3 к.

**Э. Горбунов.** Зарубежный мир о Программе КПСС. 32 стр. Цена 8 к.

**М. Залесский, А. Новгородов, А. Новикова.** Художественная литература в помощь изучающим историю КПСС. 536 стр. Цена 94 к.

**А. Курский.** Главная экономическая задача партии и народа. 80 стр. Цена 8 к.

**О. Лезава, Н. Нелидов, М. С. Ольминский.** Жизнь и деятельность. 240 стр. Цена 30 к.

**В. В. Луневич.** Подвижники и мученики науки (Наука и религия, их взаимоотношения в истории человечества). 216 стр. Цена 20 к.

**В. Орлов.** Техника и эстетика. 56 стр. Цена 5 к.

**Развитие социалистической культуры в союзных республиках.** Сборник статей. 612 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Юмжагин Цеденбал.** Избранные статьи и речи. Том 1 (1941—1958). 405 стр. Цена 69 к.

**IV съезд Трудовой партии Кореи.** Пхеньян, 11—18 сентября 1961 года. 376 стр. Цена 66 к.

**XIV съезд Монгольской народно-революционной партии (Улан-Батор, 3—7 июля 1961 г.).** 204 стр. Цена 25 к.

### СОЦЭКГИЗ

**А. И. Божедомов.** Нефтяная рента в странах капитализма. 339 стр. Цена 85 к.

**М. В. Мостепаненко.** Материалистическая сущность теории относительности Эйнштейна. 227 стр. Цена 30 к.

**И. Ю. Писарев.** Народонаселение СССР (Социально-экономический очерк). 190 стр. Цена 35 к.

**Хрестоматия по истории СССР. XVI—XVII вв.** 751 стр. Цена 1 р. 20 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Абашидзе.** Мошкара и дуб. Две поэмы. Перевод с грузинского. 136 стр. Цена 22 к.

**С. Алешин.** Пьесы. 212 стр. Цена 57 к.

**А. Анастасьев.** Всеволод Вишневский. Очерк творчества. 160 стр. Цена 47 к.

**Л. Балла.** Непокоренная волна. Стихи. Перевод с венгерского. 72 стр. Цена 8 к.

**О. Барнова.** Одина-единственная. Роман. 540 стр. Цена 86 к.

**Ф. Вигдорова.** Семейное счастье. Повесть. 284 стр. Цена 39 к.

**Ш. Галиев.** В свете молний. Стихи. Перевод с татарского. 84 стр. Цена 12 к.

**А. Гладилин.** Вечная командировка. Повесть. 148 стр. Цена 20 к.

**Ю. Гордиенко.** Вблизи океана. Стихи. 80 стр. Цена 12 к.

**И. Гусейнов.** Песня о свете. Стихи. Перевод с лезгинского. 72 стр. Цена 9 к.

**Г. Донец.** Приднепровье. Стихи. Перевод с украинского. 88 стр. Цена 10 к.

**А. Исбах.** Луи Арагон. Жизнь и творчество. 340 стр. Цена 69 к.

**В. Катаев.** Почти дневник. 544 стр. Цена 1 р.

**Ю. Либединский.** Связь времен. Воспоминания, повести, очерки, рассказы. 928 стр. Цена 1 р. 44 к.

**А. Макаров.** Серьезная жизнь. Статьи. 620 стр. Цена 1 р. 37 к.

**На разных меридианах.** Сборник очерков. 736 стр. Цена 1 р. 32 к.

**Р. Рома.** Рассказы про Тину. 108 стр. Цена 12 к.

**К. Симонов.** Южные повести. 192 стр. Цена 28 к.

**З. Тулуб.** Сагайдачный. Исторический роман. 808 стр. Цена 1 р. 48 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Такэо Арисима.** Женщина. Роман. Перевод с японского. 382 стр. Цена 76 к.

**Илья Гордон.** Три брата. Повести и рассказы. Перевод с еврейского. 463 стр. Цена 74 к.

**Иржи Волькер.** Час рождения. Избранные стихотворения и проза. Перевод с чешского. 375 стр. Цена 60 к.

**С. Диковский.** Патриоты. Повесть. Рассказы. 455 стр. Цена 84 к.

**В. Жирмунский.** Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. 435 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Т. Мечин.** Смерть Голубки, или Злоключенная корреспондента. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 23 к.

**Витаутас Монтовил.** Стихи. Перевод с литовского. 255 стр. Цена 40 к.

**И. И. Панаев.** Избранные произведения. 687 стр. Цена 1 р. 8 к.

**К. Паустовский.** Повесть о жизни. Книга 1. 527 стр. Цена 98 к. Книга 2. 616 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Прежихов Воранц.** Добердоб. Роман. Перевод со словенского. 415 стр. Цена 81 к.

**Сабир.** Избранные сатиры. Перевод с азербайджанского. 251 стр. Цена 39 к.

**Рабиндранат Тагор.** Четыре жизни. Повесть. Перевод с бенгальского. 80 стр. Цена 12 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Юрий Бондарев.** Поздним вечером. Рассказы. 112 стр. Цена 17 к.

**В. Буланов.** Здесь начинается день. Очерки. 192 стр. Цена 45 к.

**Ласточка.** Сборник рассказов советских киргизских писателей. 416 стр. Цена 77 к.

**А. Левандовский.** Жанна д'Арк. 287 стр. Цена 59 к.

**Д. Нагишкин.** Тихая бухта. Повесть. 136 стр. Цена 20 к.

**К. Паустовский.** Рассказы. 272 стр. Цена 41 к.

**К. К. Платонов.** Занимательная психология. 328 стр. Цена 64 к.



**Вл. Порудоминский.** Гаршин. 304 стр. Цена 61 к.

**К. Чуковский.** Современники. Портреты и этюды. 704 стр. Цена 1 р. 23 к.

**Альберт Янсон.** Пророк Эпикура. Роман. 376 стр. Цена 71 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Автоматизация процессов машиностроения.** Том 1. Общие вопросы и средства автоматизации. 459 стр. Цена 2 р. 52 к.

**Н. А. Аладжалова.** Медленные электрические процессы в головном мозге. 240 стр. Цена 1 р. 58 к.

**Н. Н. Арденс (Н. Апостолов).** Творческий путь Л. Н. Толстого. 680 стр. Цена 2 р. 5 к.

**Археографический ежегодник за 1960 год.** 504 стр. Цена 2 р. 85 к.

**И. У. Будовниц.** Словарь русской, белорусской письменности и литературы до XVIII века. 399 стр. Цена 3 р. 34 к.

**О. А. Державина.** Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII века. 191 стр. Цена 80 к.

**Б. П. Кирдан.** Украинские народные думы (XV—начала XVII в.). 288 стр. Цена 1 р. 2 к.

**И. И. Ревзин.** Модели языка. 192 стр. Цена 77 к.

**Славянский архив.** Сборник статей и материалов. 288 стр. Цена 1 р. 16 к.

**М. А. Хевеши.** Мироззрение венгерских революционных демократов (40-е годы XIX века). 208 стр. Цена 64 к.

**С. К. Шаумян.** Проблемы теоретической филологии. 195 стр. Цена 80 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Аджой Кумар Гхош.** Статьи и речи. Перевод с английского. 352 стр. Цена 65 к.

**К. Н. Григорьян.** В. Я. Брюсов и армянская поэзия. 134 стр. Цена 25 к.

**Ю. П. Дементьев.** Республика Мали. 100 стр. Цена 15 к.

**Сказание о Сери Раме.** Индонезийская Рамаяна. Перевод с индонезийского. 294 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Сказки народов Востока.** 415 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Ф. Сорокин.** Творческий путь Мао Дуня. 183 стр. Цена 60 к.

**Танец при свете костра.** Стихи африканских поэтов. 79 стр. Цена 15 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Сборник основных актов и документов Верховного Совета СССР по внешнеполитическим вопросам.** 1956—1962 гг. 224 стр. Цена 45 к.

**В помощь работникам Советов** (Ответы на вопросы читателей). 200 стр. Цена 29 к.

**Как работать депутату.** 136 стр. Цена 16 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Зуджен Барбу.** Северное шоссе. Роман. Перевод с румынского. 480 стр. Цена 1 р. 46 к.

**Бухенвальд.** Документы и сообщения. Перевод с немецкого. 770 стр. Цена 2 р. 26 к.

**Венгрия и вторая мировая война.** Секретные дипломатические документы из истории кануна и периода войны. Перевод с венгерского. 367 стр. Цена 2 р. 5 к.

**Педро Хорхе Вера.** «Вечный траур» и другие рассказы. Перевод с испанского. 134 стр. Цена 34 к.

**Пьер Декс.** Семь веков романа. Сборник статей. Перевод с французского. 482 стр. Цена 2 р. 8 к.

**Роша Помбу.** История Бразилии. Перевод с португальского. 438 стр. Цена 2 р. 44 к.

**Тамильские народные пословицы и поговорки.** Перевод с тамильского. 66 стр. Цена 11 к.

**Кальман Шандор.** Год самой тощей коро- вы. Роман. Перевод с венгерского. 374 стр. Цена 1 р. 17 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**М. Водолагин.** Волжская твердыня. 192 стр. Цена 58 к.

**Юрий Каменецкий.** Для тебя. Книга стихов. 104 стр. Цена 15 к.

**Алексей Карцев.** Магистраль. Роман. 560 стр. Цена 1 р. 9 к.

**В. И. Рыдник.** Четвертое состояние вещества. 104 стр. Цена 12 к.

**Николай Рыленков.** Традиции и новаторство. Статьи о поэзии. 136 стр. Цена 28 к.

**Ю. Рытов.** Человек у автоматов. 164 стр. Цена 19 к.

**А. Твардовский.** Слово о Пушкине. Речь на торжественном заседании в Большом театре 10 февраля 1962 года, посвященном 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина. 32 стр. Цена 5 к.

#### ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. И. Войнов.** Первые ласточки. Дневник деревенского учителя. 268 стр. Цена 59 к.

**А. М. Красильников.** Когда расцветают подснежники. Рассказы. 188 стр. Цена 30 к.

#### «КАРТЯ МОЛДОВЕНЯСКЭ» (Кишинев)

**Л. М. Барский.** Дорогами жизни. Рассказы. Перевод с молдавского. 152 стр. Цена 23 к.

**С. Д. Пасько.** Озорной олень. Рассказы. 194 стр. Цена 33 к.

**А. Н. Шаларь.** Повести. Перевод с молдавского. 322 стр. Цена 61 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),

**Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 28/V-62 г.

Подписано к печати 30/VI-62 г.

А 06721. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Зак. 1017.

9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 92 700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.